

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева

О любви
(Из дневника)
1917 г.

Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что – дыхание, как не ритм души?

Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом.

Благородство сердца – органа. Неослабная настороженность. Всегда первое бьет тревогу. Я могла бы сказать: не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь.

Сердце: скорее орган, чем орган.

Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр – всё, только не хронометр любви.

«Вы любите двоих, значит, Вы никого не любите!» – Простите, но если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же не скажете, что я того, первого, не люблю. Значит, любить одновременно живого и мертвого – можно. Но представьте себе, что Генрих Гейне ожил и в любую минуту может войти в комнату. Я та же, Генрих Гейне – тот же, вся разница в том, что он может войти в комнату.

Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту может войти в комнату, – не любовь. Для того, чтобы одновременная моя любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). – Не всегда выполнимое условие!

И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, немислима, и крик Сары (Маргариты Готье) – «О, л'Амур! л'Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее молодого друга, – смешон.

Я бы предложила другую формулу: женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне.

«Возлюбленный» – театрально, «любовник» – откровенно, «друг» – неопределенно. Нелюбовная страна!

Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.

Старики и старухи.

Бритый стройный старик всегда немножко старинен, всегда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой – и вся невозможность. Есть такая песенка Беранже:

...Взгляд твой зорек...

Но тебе двенадцать лет,
Мне уж сорок.

Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, а главное – совсем не смешно. Во всяком случае, менее смешно, чем большинство так называемых «равных» браков. Возможность настоящего пафоса.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае – трогательна. Исключение: актрисы. Старая актриса – мумия розы.

– ...и была промеж них такая игра. Он ей поет – ее аккурат Марусей звали – «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза», а она на постелю ляжет, простынею себя накроет – как есть покойница.

Он к ней: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду не умри!» – каждый раз до слез доходил. – На одной фабрике работали, ей пятнадцать годочков было, ему шестнадцать...

(Рассказ няньки.)

– А у меня муж, милые: бы-ыл!!! Только и человецкого, что обличие. Ничего не ел, всё пил. Подушку мою пропил, одеяло с девками прогулял. Всё ему, милые, скушно: и работать скушно, и со мной чай пить скушно. А собой хорош, как демон: волоса кучерявые, брови ровные, глаза синие... – Пятый год пропадает!

(Нянька – подругам.)

Первый любовный взгляд – то кратчайшее расстояние между двумя точками, та божественная прямая, которой нет второй.

Из письма:

«Если бы Вы сейчас вошли и сказали: «Я уезжаю надолго, навсегда», – или: «Мне кажется, я вас больше не люблю», – я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет – Вас нет навсегда и Вы меня не любите».

В моих чувствах, как в детских, нет степеней.

Первая победа женщины над мужчиной – рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа – рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь – моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно.

Все нерассказанное – непрерывно. Так, непокаянное убийство, например, – длится. То же о любви.

Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого-то любите? Тогда говорите о нем: «я его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что это значит.

Рассказ.

– Когда мне было восемнадцать лет, в меня был безумно влюблен один банкир, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый такой, но удивительно трогательный. Мы почти никогда не оставались одни, но когда это случалось, он мне говорил только одно слово: «Живите! Живите!» – И никогда не целовал руки. Однажды он устроил вечер, нарочно для меня, назвал прекрасных танцоров – я тогда страшно любила танцевать! Сам он не мог танцевать, потому что был слишком толст. Обыкновенно он на таких вечерах играл в карты. В этот вечер он не играл.

(Рассказчице тридцать шесть лет, пленительна.)

– «Только живите!» Я уронила руки, я уронила на руки жаркий лоб... Так молодая Буря слушает Бога где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И на высокий вал моего дыханья
Властная вдруг – словно с неба ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
Так молодую Бурю слушает – Бог.
(Nachhall, отзвук.)

Гостиная – поле, вчерашняя смолянка – Буря, толстый банкир – Бог. Что уцелело?
Да вот то одно слово, которое банкир говорил институтке и БОГ в первый день –
всему: «Живите!»

«Будь» единственное слово любви, человеческой и божеской. Остальное: гостиная,
поле, банкир, институтка – частности.

Что же уцелело? – Всё.

Лучше потерять человека всем собой, чем удержать его какой-то своей сотой.

Полководец после победы, поэт после поэмы – куда? – к женщине. Страсть –
последняя возможность человеку высказаться, как небо – единственная возможность
быть – буре.

человек – буря, страсть – небо, ее растворяющее.

О, поэты, поэты! Единственные настоящие любовники женщин!

желание вглубь: вглубь ночи, вглубь любви. Любовь: провал во времени.

«Во имя свое» любовь через жизнь, «во имя твое» – через смерть.

«Старуха... Что я буду делать со старухой??!» – Восхитительная – в своей
откровенности – формула мужского.

«Зачем старухи одеваются? Это бессмысленно! Я бы заказал им всем одинаковый...
«юниформ», а так как они все богаты, я бы создал кассу, из которой бы одевал – и
очень хорошо одевал бы! – всех молодых и красивых».

– Не мешай мне писать о тебе стихи!

– Помешай мне писать стихи о себе!

В промежутке – вся любовная гамма поэта.

Третье лицо – всегда отвод. В начале любви – от богатства, в конце любви – от
нищеты.

История некоторых встреч. Эквилибристика чувств.

Рассказ юнкера:...«объясняюсь ей в любви, конечно, напеваю...»

Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство –
мужественно.

Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы – и сколько
нематеринских – на детские!

Страстная материнская любовь – не по адресу.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Там, где я должна думать (из-за других) о поступке, сочинять его, он всегда нецелен – начат и не кончен – не объяснит не мой. Я точно запомнила А и не помню Б – и сразу, вместо Б – мои блаженные иероглифы!

Разговор:

Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына... Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу!»

Он, спокойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете».

О Песни Песней:

Песнь Песней действует, на меня, как слон: и страшно и смешно.

Песнь Песней написана в стране, где виноград – с булыжник.

Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной-единственной женщине. (Неоткрытую Америку – включая.)

Лучшее в Песни Песней – это стих Ахматовой:

«А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней».

«Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица».

Вдова, выходящая замуж. Долго искала формулу для этой отвращающей меня узаконенности. И вдруг – в одной французской книге, очевидно, женской (автора «Amitié amoureuse»)[1] – моя формула:

«Le remariage est un adultère posthume»[2].

– Вдохнула!

Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же.

Жен много, любовниц мало. Настоящая жена от недостатка (любовного), настоящая любовница – от избытка. Люблю не жен и не любовниц – «amoureuses».

Как музыкант – меньше музыки! И как любовник – меньше любви!

(NB! «Любовник» и здесь и впредь как средневековое обширное «amant». Минуя просторечие, возвращаю ему первичный смысл. Любовник: тот, кто любит, тот, через кого явлена любовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, а может быть – за тысячу верст. – Любовь не как «связь», а как стихия.)

«Есть две ревности. Одна (наступательный жест) – от себя, другая (удар в грудь) – в себя. Чем это низко – вонзить в себя нож?»

(Бальмонт.)

Я должна была бы пить Вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.

Как медленно сходятся с Вами такие-то! Они делают миллиметры там, где я делала – мили!

Зачем змей, когда Ева?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда – от всего.

Ночной разговор.

Павел Антокольский[3]: – У Господа был Иуда. А кто же у Дьявола – Иуда?

Я: – Это, конечно, будет женщина. Дьявол ее полюбит, и она захочет вернуть его к Богу, – и вернет.

Антокольский: – А она застрелится. Но я утверждаю, что это будет мужчина.

Я: – Мужчина? Как может мужчина предать Дьявола? У него же нет никакого доступа к Дьяволу, он Дьяволу не нужен, какое дело Дьяволу до мужчины? Дьявол сам мужчина. Дьявол – это вся мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, то есть женщиной.

Антокольский: – И найдется мужчина, который припишет себе честь этого завоевания.

Я: – И знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: – «Ты его любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу». – И она вернет...

Антокольский: – И разлюбит.

Я: – Нет, она не разлюбит. Он ее разлюбит, потому что теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому.

Антокольский: – И, смотря в его глаза, увидит, что все те же глаза, и что она сама побеждена – Дьяволом.

Я: – Но был же час, когда Дьявол был побежден, – час, когда он вернулся к Богу.

Антокольский: – И предал его – мужчина.

Я: – Ах, я говорю о любовной драме!

Антокольский: – А я говорю об имени, которое останется на скрижалях.

Я: – Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вздоха (глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales Handwerk»![4] Как раз по вертикали!

Антокольский: – А мужчина хочет – так: (Выброшенная рука. Прыжок.)

Я: – Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – мужчина! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo... Нет, у всех лучше...

Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха... Женщина, это вздох. Мужчина, это жест. (Вздох всегда раньше, во время прыжка не дышат.) Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.

Антокольский: – А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?

Я: – Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью.

Я, робко: – Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем – мыслью?

Антокольский, еще более робко: – Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

я: – Два отношения к миру: любовное, материнское.

Антокольский: – И у нас два: любовное, сыновнее. А отцовского – нет. Что такое отцовство?

я: – Отцовства, вообще, нет. Есть материнство: – Мария – Мать – большое М.

Антокольский: – А отцовство – большое О, то есть нуль, зеро.

я, примиряюще: – А зато у нас нет дочернего.

Говорим о любви.

Антокольский: – Любить Мадонну – все равно, что застраховаться от кредиторов. (Кредитора – женщины.)

Говорим о Иоанне д'Арк, и Антокольский, внезапным взрывом:

– А королю совсем не нужно царства, он хочет то, что больше царства – Иоанну. А Вам... А ей до него нет никакого дела: – «Нет, ты должен быть королем! Иди на царство!» – как говорят: «Иди в гимназию!»

Насыщенный раствор. Вода не может растворить больше.

Таков закон. Вы – насыщенный мною раствор.

я – не бездонный чан.

Нужно научиться (мне) подходить к любовному настоящему человека, как к его любовному прошлому, то есть – со всей отрешенностью и страстностью творчества.

Соперник всегда – или Бог (молишься!) – или дурак (даже не презираешь).

Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.

1918 г.

Суд над адмиралом Щастным. Приговор произнесен. Подсудимого уводят. И, уходя, вполборота, в толпу: «Вы придете?»

Женское: – Да!

я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда – в любовь.

«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминание о любви».

я: – Причем середина длится от 5-ти лет до 75-ти, – да?

Письмо:

«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу, наконец, к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит – внук не ешь!) – нельзя оспаривать право человека на воздух. Мой воздух с людьми – восторг. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко. Вы раздражены. Вы «измучены», кто-то звонит, Вы лениво подходите: «Ах, это Вы?» И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна (не для меня – без Вас, для меня – с собой), одних снов за три ночи – тысяча и один, а я их и днем вижу!

Вы говорите: «Как я могу любить вас? Я и себя не люблю». Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) – я уже не существую.

Дом – сплошной «нелад», жара – каждое лето, а большевики только начинаются!

Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».

Тут, дружок, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны, – летела с нью-йоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда. (Аля, двух лет, говорила: горблюд!)

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть человека таким, каким его осуществили родители.

Разлюбить – видеть вместо него: стол, стул.

Семья... Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется... Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат... (сын, отец...)» А любовнику этого не скажешь – ни за что – язык отрежешь.

В крови гнездящееся право интонации.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.

Говорить о внешности в моих случаях – неразумно: дело так явно, и настолько – не в ней!

– «Как она Вам нравится внешне?» – А хочет ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю, – на такую оценку!

Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я: незримое.

Чтите оболочку, осчастливленную дыханием Бога.

И идите: любить – другие тела!

(Если бы я эти записи напечатала, непременно сказали бы: par dépit)[5].

Письмо о Лозэне[6]:

«Вы хотите, чтобы я дала Вам краткий отчет о своей последней любви. Говорю «любви», потому что не знаю, не даю себе труда знать... (Может быть: все, что угодно, – только не любовь! Но – все, что угодно!)»

Итак: во-первых – божественно-хорош, во-вторых – божественный голос. Обе сии божественности – на любителя. Но таких любителей много: все мужчины, не любящие женщин, и все женщины, не любящие мужчин.

Он восприимчив, как душевно, так и наочно, это его главная и несомненная

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru сущность. От озноба до восторга – один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего Вы не сказали и, может быть, и не сказали бы... если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он не желая заставляет Вас быть таким, каким ему удобно. («Угодно» здесь неуместно – ему ничего не угодно.)

Добр? Нет. Ласков? Да.

Ибо доброта – чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты – ласковость, любви – расположение, ненависти – уклонение, восторга – любование, участия – сочувствие. Взамен присутствия страсти – отсутствие бесстрастия (пристрастности присутствия – бесстрастие отсутствия).

Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.

– А в любви?

Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово «любовь» его – как-то – режет. Он вообще боится слов, как вообще – всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой».

«Люби меня, как тебе угодно, но проявляй это так, как удобно мне. А мне удобно, чтобы я ничего не знал».

Воля в зле? Никакой. Вся прелесть и вся опасность его в глубочайшей невинности. Вы можете умереть, он не справится о вас в течение месяцев. И потом, растерянно: «Ах, как жаль! Если бы я знал, но я был так занят... Я не знал, что так сразу умирают...»

Зная мировое, он, конечно, не знает бытового, а смерть такого-то числа, в таком-то часу – конечно, быт. И чума – быт.

Но есть у него, взамен всего, чего нет, одно: воображение. Это его сердце, и душа, и ум, и дарование. Корень ясен: восприимчивость. Чужая то, что в нем видите вы, он становится таким.

Так: денди, демон, баловень, архангел с трубой – он все, что вам угодно, только в тысячу раз пуще, чем хотели вы. Игрушка, которая мстит за себя. *Objet de luxe et d'art*[7] – и горе вам, если это *objet de luxe et d'art* станет вашим хлебом насущным!

– Невинность, невинность, невинность!

– Невинность в тщеславии, невинность в себялюбии, невинность в беспамятности, невинность в беспомощности...

Есть, однако, у этого невиннейшего и неуязвимейшего из преступников одно уязвимое место: безумная – только никогда не сойдет с ума! – любовь к няне. На этом раз навсегда исчерпалась вся его человечность.

Итог – ничтожество, как человек, и совершенство, как существо.

Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия – и соблазн чужого.

Москва, 1918–1919

Тайный жар

«Моим стихам, написанным так рано...»

Моим стихам, написанным так рано,
что и не знала я, что я – поэт,
сорвавшимся, как брызги из фонтана,
как искры из ракет,
ворвавшимся, как маленькие черти,
в святилище, где сон и фимиам,
моим стихам о юности и смерти,
– нечитанным стихам!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Коктебель,
13 мая 1913

«Солнцем жилки налиты – не кровью...»
Солнцем жилки налиты – не кровью –
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.
Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебелек срываю и жую..
– Странно чувствовать так сильно и так просто
Мимолетность жизни – и свою.

15 мая 1913

«Вы, идущие мимо меня...»
Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, –
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растроченной даром,
И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох..
– И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!
О летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале..
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы – если б знали –
Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, –
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.

17 мая 1913

«Два солнца стынют – о Господи, пощади!..»
Два солнца стынют – о Господи, пощади! –
Одно – на небе, другое – в моей груди.
Как эти солнца – прощу ли себе сама? –
Как эти солнца сводили меня с ума!
И оба стынют – не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.

6 октября 1915

«Цветок к груди приколот...»
Цветок к груди приколот,
Кто приколот – не помню.
Ненасытим мой голод
На грусть, на страсть, на смерть.
Виолончелью, скрипом
Дверей и звоном рюмок,
И лязгом шпор, и криком
Вечерних поездов,
Выстрелом на охоте
И бубенцами троек –
Зовете вы, зовете,
Нелюбленные мной!
Но есть еще услада:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо –
И выстрелит в упор.

22 октября 1915

«Цыганская страсть разлуки!..»
Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь – уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки
И думаю, глядя в ночь:
Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Как сами себе верны.

Октябрь 1915

«Полнолуние, и мех медвежий...»

Полнолуние, и мех медвежий,
и бубенчиков легкий пляс...
Легкомысленнейший час! – Мне же
Глубочайший час.

Умудрил меня встречный ветер,
Снег умилоствил мне взгляд,
На пригорке монастырь светел
И от снега – свят.

Вы снежинки с груди собольей
Мне щеловываете, друг,
Я на дерево гляжу, – в поле
И на лунный круг.

За широкой спиной ямщицкой
Две не встретятся головы.
Начинает мне Господь – сниться,
Отоснились – Вы.

27 ноября 1915

«Руки даны мне – протягивать каждому обе...»

Руки даны мне – протягивать каждому обе,
Не удержать ни одной, губы – давать имена,
Очи – не видеть, высокие брови над ними –
Нежно дивиться любви и – нежней – нелюбви.
А этот колокол там, что кремлевских тяжеле,
Безостановочно ходит и ходит в груди, –
Это – кто знает? – не знаю, – быть может, – должно быть –
Мне загоститься не дать на российской земле!

2 июля 1916

«В огромном городе моем – ночь...»

В огромном городе моем – ночь.
Из дома сонного иду – прочь,
И люди думают: жена, дочь.
А я запомнила одно: ночь.
Июльский ветер мне метет путь,
И где-то музыка в окне – чуть.
Ах, нынче ветру до зари – дуть
Сквозь стенки тонкие груди – в грудь.
Есть черный тополь, и в окне – свет,
И звон на башне, и в руке – цвет,
И шаг вот этот – никому вслед,
И тень вот эта, а меня – нет.
Огни, как нити золотых бус,
Ночного листика во рту – вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам – снюсь.
Москва,

17 июля 1916

«После бессонной ночи слабеет тело...»

После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим, – ничьим,
В медленных жилах еще занывают стрелы,
И улыбаешься людям, как серафим.
После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг и друг.
Целая радуга в каждом случайном звуке,
И на морозе флоренцией пахнет вдруг.
Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик, – и от темной ночи
Только одно темнеет у нас – глаза.

19 июля 1916

«Нынче я гость небесный...»

Нынче я гость небесный
В стране твоей.
Я видела бессонницу леса
И сон полей.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Где-то в ночи подковы
Взрывали траву.
Тяжко вздохнула корова
В сонном хлеву.
Расскажу тебе с грустью,
С нежностью всей,
Про сторожа-гуся
И спящих гусей.
Руки тонули в песьей шерсти,
Пес был сед.
Потом, к шести,
Начался рассвет.

20 июля 1916

«Горечь! Горечь! Вечный привкус...»
Горечь! Горечь! Вечный привкус
На губах твоих, о страсть!
Горечь! Горечь! Вечный искус –
Окончательнее пасть.
Я от горечи – целую
Всех, кто молод и хорош.
Ты от горечи – другую
Ночью за руку ведешь.
С хлебом ем, с водой глотаю
Горечь-горе, горечь-грусть.
Есть одна трава такая
На лугах твоих, о Русь.

10 июня 1917

Але

А когда – когда-нибудь – как в воду
И тебя потянет – в вечный путь,
Оправдай змеиную породу:
Дом – меня – мои стихи – забудь.
Знай одно: что завтра будешь старой.
Пей вино, правь тройкой, пой у Яра,
Синеокою цыганкой будь.
Знай одно: никто тебе не пара –
И бросайся каждому на грудь.
Ах, горят парижские бульвары!
(Понимаешь – миллионы глаз!)
Ах, гремят мадридские гитары!
(Я о них писала – столько раз!)
Знай одно: (твой взгляд широк от жара,
Паруса надулись – добрый путь!)
Знай одно: что завтра будешь старой,
Остальное, деточка, – забудь.

11 июня 1917

«Только живите! – Я уронила руки...»
Только живите! – Я уронила руки,
Я уронила на руки жаркий лоб.
Так молодая Буря слушает Бога
Где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.
И на высокий вал моего дыханья
Властная вдруг – словно с неба – ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
– Так молодую Бурю слушает Бог.

20 июня 1917

Любви старинные туманы

1

Над черным очертаньем мыса –
Луна – как рыцарский доспех.
На пристани – цилиндр и мех,
Хотелось бы: поэт, актриса.
Огромное дыханье ветра,
Дыханье северных садов, –
И горестный, огромный вздох:
– Ne laissez pas traîner mes lettres! [8]

2

Так, руки заложив в карманы,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Стою. Синее водный путь.

– Опять любить кого-нибудь? –

Ты уезжаешь утром рано.

Горячие туманы Сити –

В глазах твоих. Вот так, ну вот...

Я буду помнить – только рот

и страстный возглас твой: – живите!

3

Смывает лучшие румяна –

любовь. Попробуйте на вкус,

как слезы – солены. Боюсь,

я завтра утром – мертвой встану.

Из Индии пришлите камни.

Когда увидимся? – Во сне.

– Как ветрено! – Привет жене,

и той – зеленоглазой – даме.

4

Ревнивый ветер треплет шаль.

Мне этот час сужден – от века.

Я чувствую у рта и в веках

почти звериную печаль.

Такая слабость вдоль колен!

– Так вот она, стрела Господня! –

– Какое зарево! – Сегодня

я буду бешеной кармен.

...Так, руки заложив в карманы,

Стою. Меж нами океан.

Над городом – туман, туман.

Любви старинные туманы.

19 августа 1917

«Из Польши своей спесивой...»

Из Польши своей спесивой

принес ты мне речи льстивые,

да шапочку соболиную,

да руку с перстами длинными,

да нежности, да поклоны,

да княжеский герб с короною.

– А я тебе принесла

серебряных два крыла.

20 августа 1917

«Нет! Еще любовный голод...»

Нет! Еще любовный голод

не раздвинул этих уст.

Нежен – оттого что молод,

нежен – оттого что пуст.

Но увы! На этот детский

рот – Ширази лепестки! –

все людское людоедство

точит зверские клыки.

23 августа 1917

«Семь мечей пронзали сердце...»

Семь мечей пронзали сердце

Богородицы над Сыном.

Семь мечей пронзили сердце,

а мое – семижды семь.

Я не знаю, жив ли, нет ли

тот, кто мне дороже сердца,

тот, кто мне дороже Сына...

Этой песней – утешаюсь.

Если встретится – скажи.

25 мая 1918

«Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна...»

Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна.

Я пью. Ты жаждешь. Сговориться – тщетно.

Нас десять лет, нас сто тысячелетий

разъединяют. – Бог мостов не строит.

Будь! – это заповедь моя. Дай – мимо

пройти, дыханьем не нарушив роста.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Я – есмь. Ты будешь. Через десять весен
Ты скажешь: – есмь! – а я скажу: – когда-то...

6 июня 1918

«Ночи без любимого – и ночи...»
Ночи без любимого – и ночи
С нелюбимым, и большие звезды
Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому –
Кто от века не был – и не будет,
Кто не может быть – и должен быть...
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен – вниз...
Знаю всё, что было, всё, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется – Жизнь.
Кто от века не был – и не будет,
Кто не может быть – и должен быть...
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен – вниз...
Знаю всё, что было, всё, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется – Жизнь.
Между 30 июня и 6 июля 1918

«Как правая и левая рука...»
Как правая и левая рука,
Твоя душа моей душе близка.
Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.
Но вихрь встает – и бездна пролегла
От правого – до левого крыла!
10 июля 1918

«Доблесть и девственность! – Сей союз...»
Доблесть и девственность! – Сей союз
Древен и дивен, как Смерть и Слава.
Красною кровью своей клянусь
И голову своей кудрявой –
Ноши не будет у этих плеч,
Кроме божественной ноши – Мира!
Нежную руку кладу на меч:
На лебединую шею Леры.
27 июля 1918

«Каждый стих – дитя любви...»
Каждый стих – дитя любви,
Нищий незаконнорожденный.
Первенец – у колеи
На поклон ветрам – положенный.
Сердцу ад и алтарь,
Сердцу – рай и позор.
Кто отец? – Может – царь.
Может – царь, может – вор.
14 августа 1918

Комедьянт

1
Не любовь, а лихорадка!
Легкий бой лукав и лжив.
Нынче тошно, завтра сладко,
Нынче помер, завтра жив.
Бой кипит. Смешно обоим:
Как умен – и как умна!
Героиней и героем
Я равно оболыщена.
Жезл пастуший – или шпага?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Зритель, бой – или гавот?
Шаг вперед – назад три шага,
Шаг назад – и три вперед.
Рот как мед, в очах доверье,
Но уже взлетает бровь.
Не любовь, а лицемерье,
Лицедейство – не любовь!
И итогом этих (в скобках –
Несодеянных!) грехов –
Будет легонькая стопка
Восхитительных стихов.

20 ноября 1918

2

Мало ли запястий
Плелось, вилось?
Что тебе запястье
Мое – далось?
Всё кругом до около –
Что кот с мышом!
Нет, – очами, сокол мой,
Глядят – не ртом!

19 ноября 1918

3

Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно!
Прекрасные глаза, глядите осторожно!
Баркасу должно плыть, а мельнице – вертеться.
Тебе ль остановить кружасьее сердце?
Порукою тетрадь – не выйдешь господином!
Пристало ли вздыхать над действием комедийным?
Любовный крест тяжел – и мы его не тронем.
Вчерашний день прошел – и мы его схороним.

20 ноября 1918

4

Не успокоюсь, пока не увижу.
Не успокоюсь, пока не услышу.
Вашего взора пока не увижу,
Вашего слова пока не услышу.
Что-то не сходится – самая малость!
Кто мне в задаче исправит ошибку?
Солоно-солоно сердцу досталась
Сладкая-сладкая Ваша улыбка!
– Баба! – мне внуки на урне напишут.
И повторяю – упрямо и слабо:
Не успокоюсь, пока не увижу,
Не успокоюсь, пока не услышу.

23 ноября 1918

5

Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.
– Ах, Вы похожи на улыбку Вашу! –
Сказать еще? – Златого утра краше!
Сказать еще? – Один во всей вселенной!
Самой Любви молодой военнопленный,
Рукой Челлини ваянная чаша.
Друг, разрешите мне на лад старинный
Сказать любовь, нежнейшую на свете.
Я Вас люблю. – В камине воет ветер.
Облокотясь – уставясь в жар каминный –
Я Вас люблю. Моя любовь невинна.
Я говорю, как маленькие дети.
Друг! Всё пройдет! Виски в ладонях сжаты,
Жизнь разожмет! – Младой военнопленный,
Любовь отпустит вас, но – вдохновенный –
Всё пророкочет голос мой крылатый –
О том, что жили на земле когда-то
Вы – столь забывчивый, сколь незабвенный!

25 ноября 1918

6

Короткий смешок,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Открывающий зубы,
И легкая наглость прищуренных глаз.
– Люблю Вас! – Люблю Ваши зубы и губы,
(Все это Вам сказано – тысячу раз!)
Еще полюбить я успела – постоит! –
Мне помнится: руки у Вас хороши!
В долгу не останусь, за всё – успокойтесь –
Воздам неразменной деньгою души.
Посмейтесь! Пусть нынешней ночью приснятся
Мне впадины чуть улыбнувшихся щек.
Но даром – не надо! Давайте меняться:
Червонец за грошик: смешок – за стишок!

27 ноября 1918

7

Розовый рот и бобровый ворот –
Вот лицедеи любовной ночи.
Третьим была – Любовь.
Рот улыбался легко и нагло.
Ворот кичился бобровым мехом.
Молча ждала Любовь.

8

Сядешь в кресла, полон лени.
Встану рядом, на колени,
Без дальнейших повелений.
С сонных кресел свесишь руку.
Подыму ее без звука,
С перстеньком китайским – руку.
Перстенок начищен мелом.
– Счастлив ты? – Мне нету дела!
Так любовь моя велела.

5 декабря 1918

9

Ваш нежный рот – сплошное целованье..
– И это всё, и я совсем как нищий.
Кто я теперь? – Единая? – Нет, тыща!
Завоеватель? – Нет, завоеванье!
Любовь ли это – или любованье,
Пера причуда – иль первопричина,
Томленье ли по ангельскому чину –
Иль чуточку притворства – по призванью..
– Души печаль, очей очарованье,
Пера ли росчерк – ах! не все равно ли,
Как назовут сие уста – доколе
Ваш нежный рот – сплошное целованье!

декабрь 1918

10

«Поцелуйте дочку!»
Вот и всё. – Как скупое! –
Быть несчастной – глупо.
Значит, ставим точку.
Был у Вас бы малый
Мальчик, сын единый –
Я бы Вам сказала:
«Поцелуйте сына!»

11

Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке –
Бренные губы и руки пою.
Рокот божественной вечности – глуше.
Только порою, в предутренний час –
С темного неба – таинственный глас:
– Женщина! – Вспомни бессмертную душу!

Конец декабря 1918

12

В ушах два свиста: шелка и метели!
Бьется душа – и дышит кровь.
Мы получили то, чего хотели,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Вы – мой восторг – до снеговой постели,
я – Вашу смертную любовь.

27 января 1919

13

Шампанское вероломно,
А все ж наливай и пей!
Без розовых без цепей
Напишись в могиле темной!
Ты мне не жених, не муж.
Твоя голова в тумане...
А вечно одну и ту ж –
Пусть любит герой в романе!

14

Скучают после кутежа.
А я как веселюсь – не чаешь!
Ты – господин, я – госпожа,
А главное – как ты такая ж!
Не обманись! Ты знаешь сам
По злomu холодку в гортани,
Что я была твоим устам –
Лишь пеною с холмов Шампани!
Есть золотые кутежи.
И этот мой кутеж оправдан:
Шампанское любовной лжи –
Без патоки любовной правды!

15

Да здравствует черный туз!
Да здравствует сей союз
Тщеславья и вероломства!
На темных мостах знакомства,
Вдоль фонарей – любовь!
Я лживую кровь свою
Пою – в вероломных жилах.
За всех вероломных милых
Грядущих своих – я пью!
Да здравствует комедьянт!
Да здравствует красный бант
В моих волосах веселых!
Да здравствуют дети в школах,
Что вырастут – пуще нас!
И, юности на краю,
Под тенью сухих смоковниц –
За всех роковых любовниц
Грядущих твоих – я пью!
Москва, март 1919

«Солнце – одно, а шагает по всем городам...»

Солнце – одно, а шагает по всем городам.

Солнце – мое. Я его никому не отдам.

Ни на час, ни на луч, ни на взгляд.

– Никому. – Никогда.

Пусть погибают в бессменной ночи города!
В руки возьму! Чтоб не смело вертеться в кругу!
Пусть себе руки, и губы, и сердце сожгу!
В вечную ночь пропадет – погонюсь по следам...
Солнце мое! Я тебя никому не отдам!

Февраль 1919

«Она подкрадется неслышно...»

Она подкрадется неслышно –
Как полночь в дремучем лесу.

Я знаю: в передничке пышном

Я голубя Вам принесу.

Так: встану в дверях – и ни с места!

Свинцовыми гирями – стыд.

Но птице в переднике – тесно,

И птица – сама полетит!

19 марта 1920

«О нет, не узнает никто из вас...»

О нет, не узнает никто из вас

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Не сможет и не захочет! –
Как страстная совесть в бессонный час
Мне жизнь молодую точит!
Как душит подушкой, как бьет в набат,
Как шепчет все то же слово...
– В какой обратился треклятый ад
Мой глупый грешок грошовый!
Март 1919

«Упадешь – перстом не двину...»

Упадешь – перстом не двину.
Я люблю тебя как сына.
Всей мечтой своей довляя,
Не щадя и не жалея.
Я учу: губам полезно
Раскаленное железо,
Бархатных ковров полезней –
Гвозди – молодым ступням.
А еще в ночи беззвездной
Под ногой – полезны – бездны!
Первенец мой крутолобий!
Вместо всей моей учебы –
Материнская утроба
Лучше – для тебя была б.
Октябрь 1919

«Когда-нибудь, прелестное создание...»

Когда-нибудь, прелестное создание,
Я стану для тебя воспоминаньем.
Там, в памяти твоей голубоокой,
Затерянным – так далеко-далёко.
Забудешь ты мой профиль горбоносый,
И лоб в апофеозе папиросы,
И вечный смех мой, коим всех морочу,
И сотню – на руке моей рабочей –
Серебряных перстней, – чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту...
Как в страшный год, возвышены Бедою,
Ты – маленькой была, я – молодую.
Октябрь 1919

«Да, вздохов обо мне – край непочатый!..»

Да, вздохов обо мне – край непочатый!
А может быть – мне легче быть проклятой!
А может быть – цыганские заплаты –
Смиренные – мои
Не меньше, чем несмешанное золото,
Чем белизной пылающие латы
Пред ликом судии.
Долг плясуна – не дрогнуть вдоль каната,
Долг плясуна – забыть, что знал когда-то –
Иное вещество,
Чем воздух – под ногой своей крылатой!
Оставь его. Он – как и ты – глашатай
Господа своего.
17 мая 1920

«Суда поспешно не чини...»

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной – не черни
Галчонка – белизной.
А впрочем – что ж, коли не лень!
Но всех перелюбя,
Быть может, я в тот черный день
Очнусь – белей тебя!
17 мая 1920

Пригвождена...

1

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеєю в сердце и с клеймом на лбу,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Я утверждаю, что – невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою – за счастьем.
Пересмотрите всё мое добро,
Скажите – или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке – лишь горстка пепла!
И это всё, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

2

Пригвождена к позорному столбу,
Я все ж скажу, что я тебя люблю.
Что ни одна до самых недр – мать
Так на ребенка своего не взглянет.
Что за тебя, который делом занят,
Не умереть хочу, а умирать.
Ты не поймешь, – малы мои слова! –
Как мало мне позорного столба!
Что если б знамя мне доверил полк,
И вдруг бы ты предстал перед глазами –
С другим в руке – окаменев как столб,
Моя рука бы выпустила знамя..
И эту честь последнюю поправ,
Прениже ног твоих, прениже трав.
Твоей рукой к позорному столбу
Пригвождена – березкой на лугу.
Сей столб встает мне, и не рокот толп –
То голуби воркуют утром рано..
И всё уже отдав, сей черный столб
Я не отдам – за красный нимб Руана!

3

Ты этого хотел. – Так. – Аллилуйя.
Я руку, бьющую меня, целую.
В грудь оттолкнувшую – к груди тяну,
Чтоб, удивясь, прослушал – тишину.
И чтоб потом, с улыбкой равнодушной:
– Мое дитя становится послушным!
Не первый день, а многие века
Уже тяну тебя к груди, рука
Монашеская – хладная до жара! –
Рука – о Элоиза! – Абеляра.
В гром кафедральный – дабы насмерть бить! –
Ты, белой молнией взлетевший бич!
19 мая 1920, канун Вознесения
«Восхищенной и восхищённой...»
Восхищенной и восхищённой,
Сны видящей средь бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.
И оттого, что целый день
Сны проплывают пред глазами,
Уж ночью мне ложиться – лень.
И вот, тоскующая тень,
Стою над спящими друзьями.
17–19 мая 1920
«Писала я на аспидной доске...»
С. Э.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поплёклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, –
И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец – чтоб было всем известно! –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
 что ты любим! любим! любим – любим! –
 Расписывалась – радугой небесной. Как я хотела, чтобы каждый цвел
 В веках со мной! под пальцами моими!
 И как потом, склонивши лоб на стол,
 Крест-накрест перечеркивала – имя...
 Но ты, в руке продажного писца
 Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
 Непроданное мной! внутри кольца!
 Ты – уцелеешь на скрижалях.
 18 мая 1920
 «Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе...»
 любовь! любовь! и в судорогах, и в гробе
 Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь.
 О милая! – ни в гробовом сугробе,
 Ни в облачном с тобою не прощусь.
 И не на то мне пара крыл прекрасных
 Дана, чтоб на сердце держать пуды.
 Спеленутых, безглазых и безгласных
 Я не умножу жалкой слободы.
 Нет, выпрастаю руки! – Стан упругий
 Единым взмахом из твоих пелен
 – Смерть – выбью! Верст на тысячу в округе
 Растоплены снега и лес спален.
 И если всё ж – плеча, крыла, колена
 Сжав – на погост дала себя увести, –
 То лишь затем, чтобы смеясь над тленом,
 Стихом восстать – иль розаном расцвести!
 Около 28 ноября 1920
 «Знаю, умру на заре! На которой из двух...»
 Знаю, умру на заре! На которой из двух,
 Вместе с которой из двух – не решить по заказу!
 Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
 Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
 Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь!
 С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!
 Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь
 Бог не пошлет по мою лебединую душу!
 Нежной рукой отведя нецелованный крест,
 В щедрое небо рванусь за последним приветом.
 Прорезь зари – и ответной улыбки прорез...
 Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!
 Москва, декабрь 1920
 «О всеми ветрами...»
 О всеми ветрами
 Колеблемый лотос!
 Георгия – робость,
 Георгия – кротость...
 Очей непомерных
 – Широких и влажных –
 Суровая – детская – смертная важность.
 Так смертная мука
 Глядит из тряпья.
 И вся непомерная
 Тяжесть копыя.
 Не тот – высочайший,
 С усмешкою гордой:
 Кротчайший Георгий,
 Тишайший Георгий,
 Горчайший – свеча моих бдений – Георгий,
 Кротчайший – с глазами оленя – Георгий!
 (Трепещущей своре
 Простивший олень.)
 – которому пробил
 Георгиев день.
 О лотос мой!
 Лебедь мой!
 Лебедь! Олень мой!
 Ты – все мои бденья

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И все сновиденья!
Пасхальный тропарь мой!
Последний алтын мой!
Ты больше, чем царь мой,
и больше, чем сын мой!
Лазурное око мое –
В вышину!
Ты, блудную снова
Вознесший жену.
– Так слушай же!..
(Не dokonчено за письмом)
14 июля 1921
Благая весть
С. Э.

В сокровищницу
Полуночных глубин
Недрогнувшую
Опускаю ладонь.
Меж водорослей –
Ни приметы его!
Сокровища нету
В морях – моего!
В заоблачную
Песнопенную высь –
Двумолнием
Осмелеваюсь – и вот
Мне жаворонок
Обронил с высоты –
Что за морем ты,
Не за облаком ты!
15 июля 1921
«Есть час на те слова...»
Есть час на те слова.
Из слуховых глушизн
Высокие права
Выстукивает жизнь.
Быть может – от плеча,
Протиснутого лбом.
Быть может – от луча,
Невидимого днем.
В напрасную струну
Прах – взмах на простыню.
Дань страху своему
И праху своему.
Жарких самоуправств
Час – и тишайших просьб.
Час безземельных братств.
Час мировых сиротств.
11 июня 1922
«Лютая юдоль...»
Лютая юдоль,
Дольняя любовь.
Руки: свет и соль.
Губы: смоль и кровь.
Левогрудый гром
Лбом подслушан был.
Так – о камень лбом –
кто тебя любил?
Бог с замыслами! Бог с вымыслами!
Вот: жаворонком, вот: жимолостью,
Вот: пригоршнями: вся выплеснута
С моими дикостями – и тихостями,
С моими радугами заплаканными,
С подкрадываньями, забарматываньями...
Милая ты жизнь!
Жадная еще!
Ты запомни вжим

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

В правое плечо.

Щебеты во тьмах...

С птицами встаю!

Мой веселый вмах

В летопись твою.

12 июня 1922

«Так, в скудном труженичестве дней...»

Так, в скудном труженичестве дней,

Так, в трудной судорожности к ней,

Забудешь дружественный хорей

Подруги мужественной своей.

Ее суровости горький дар,

И легкой робостью скрытый жар,

И тот беспроволочный удар,

Которому имя – даль.

Все древности, кроме: дай и мой,

Все ревности, кроме той, земной,

Все верности, – но и в смертный бой

Неверующим Фомой.

Мой неженка! Сединой отцов:

Сей беженки не бери под кров!

Да здравствует левогрудый ков

Немудрствующих концов!

Но может, в щебетах и в счетах

От вечных женственностей устав –

И вспомнишь руку мою без прав

И мужественный рукав.

Уста, не требующие смет,

Права, не следующие вслед,

Глаза, не ведающие век,

Исследующие: свет.

15 июня 1922

«Ночные шепота: шелка...»

Ночные шепота: шелка

Разбрасывающая рука.

Ночные шепота: шелка

Разглаживающие уста.

Счета

Всех ревностей дневных –

и вспых

Всех древностей – и стиснув челюсти –

И стих,

Спор –

В шелесте...

И лист

В стекло...

И первой птицы свист.

– Сколь чист! – И вздох.

Не тот. – Ушло.

Ушла.

И вздрог

Плеча.

Ничто.

Тщета.

Конец.

Как нет.

И в эту суету сует

Сей меч: рассвет.

17 июня 1922

«Ищи себе доверчивых подруг...»

Ищи себе доверчивых подруг,

Не выправивших чуда на число.

Я знаю, что Венера – дело рук,

Ремесленник – и знаю ремесло.

От высокаторжественных немот

До полного попраения души:

Всю лестницу божественную – от:

Дыхание мое – до: не дыши!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
18 июня 1922

«Помни закон...»

Помни закон:

Здесь не владей!

Чтобы потом –

В Граде Друзей:

В этом пустом,

В этом крутом

Небе мужском

– Сплошь золотом –

В мире, где реки вспять[9]

На берегу – реки,

В мнимую руку взять

Мнимость другой руки...

Легонькой искры хруст,

Взрыв – и ответный взрыв.

(Недостоверность рук

Рукопожатьем скрыв!)

О этот дружный всплеск

Плоских как меч одежд –

В небе мужских божеств,

В небе мужских торжеств!

Так, между отрочеств:

Между равенств,

В свежих широтах

Зорь, в загараньях

Игр – на сухом ветру

Здравствуй, бесстрашие душ!

В небе тарпейских круч,

В небе спартанских дружб!

20 июня 1922

«Когда же, Господин...»

Когда же, Господин,

На жизнь мою сойдет

Спокойствие седин,

Спокойствие высот.

Когда ж в пратишину

Тех первоголубизн

Высокое плечо,

Всю вынесшее жизнь.

Ты, Господи, один,

Один, никто из вас,

Как с пуховых горбин

В синь горную рвалась.

Как под упорством уст

Сон – слушала – траву...

(Здесь, на земле искусств,
Словесницей слыву!)

И как меня томил

Лжи – ломовой оброк,

Как из последних жил

В дерева первый вздрог...

Дерева – первый – вздрог,

Голубя – первый – ворк.

(Это не твой ли вздрог,

Гордость, не твой ли ворк,

Верность?)

– Остановись,

Светопись зорких стрел!

В тайнописи любви

Небо – какой пробел!

Если бы – не – рассвет:

Дребезг, и свист, и лист,

Если бы не сует

Сих суета – сбылись

Жизни б...

Не луч, а бич –

В жимолость нежных тел.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

В опромети добыч
Небо – какой предел!
День. Ломовых дорог
Ков. – Началась. – Пошла.
Дикий и тихий вздрог
Вспомнившего плеча.
Прячет...

Как из ведра –
Утро. Малярный мел.
В летописи ребра
Небо – какой пробел!
22–23 июня 1922
«По загарам – топор и плуг...»
По загарам – топор и плуг.
Хватит – смуглому праху дань!
Для ремесленнических рук
Дорога трудовая рань.
Здравствуй – в ветхозаветных
тьмах –
Вечной мужественности взмах!
Мхом и медом дымящий плод –
Прочь, последнего часа тварь!
В меховых ворохах дремот
Сарру-заповедь и Агарь –
Сердце – бросив...

– ликуй в утрах,
Вечной мужественности взмах!
24 июня 1922
«Здравствуй! Не стрела, не камень...»
Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! – Живейшая из жен:
Жизнь. Обееими руками
В твой невыспавшийся сон.
Дай! (На языке двуостром:
На! – Двуострота змеи!)
Всю меня в простоволосой
Радости моей прими!
Льни! – Сегодня день на шхуне,
– Льни! – на лыжах! – Льни! – льняной!
Я сегодня в новой шкуре:
Вызолоченной, седьмой!
– Мой! – и о каких наградах
Рай – когда в руках, у рта:
Жизнь: распахнутая радость
Поздороваться с утра!

25 июня 1922
«В пустынной хра́мине...»
В пустынной хра́мине
Троилась – ладаном.
Зерном и пламенем
На темя падала...
В ночные клёкоты
Вступала – ровнею.
– Я буду крохотной
Твоей жаровнею:
Домашней утварью:
Тоску раскуривать,
Ночную скуку гнать,
Земные руки греть!
С груди безжалостной
Богов – пусть сброшена!
Любовь досталась мне
любая: бо́льшая!
С такими путами!
С такими льготами!
Полжизни? – всю тебе!
По-локоть? – Вот она!
За то, что требуешь,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

За то, что мучаешь,
За то, что бедные
Земные руки есть...
Тщета! – Не выверишь
По амфибрахиям!
В груди пошире лишь
Глаза распахивай,
Гляди: не Логосом
Пришла, не Вечностью:
Пустоголовостью
Твоей щебечущей
К груди...

– Не властвовать!

Без слов и на слово –
Любить... Распластаннейшей
В мире – ласточкой!
Берлин, 26 июня 1922
Балкон

Ах, с откровенного отвеса –
Вниз – чтоб в прах и в смоль!
Земной любви недовесок
Слезой солить – доколь?
Балкон. Сквозь соляные ливни
Смоль поцелуев злых.
И ненависти неизбывной
Вздых: выдышаться в стих!
Стиснутое в руке комочком –
Что: сердце или рвань
Батистовая? Сим примочкам
Есть имя: – Иордань.
Да, ибо этот бой с любовью
Дик и жестокосерд.
Дабы с гранитного надбровья
Взрыв – выдышаться в смерть!
30 июня 1922

«Ночного гостя не застанешь.....»
Ночного гостя не застанешь...
Спи и прости навек
В испытаннейшем из пристанищ
Сей невозможный свет.
Но если – не сочти, что дразнит
Слух! – любящая – чуть
Отклонится, но если навзрыд
Ночь и кифарой – грудь...
То мой любовник лавролобий
Поворотил коней
С ристалища. То ревность Бога
К любимице своей.
2 июля 1922

«Неподражаемо лжет жизнь...»
Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!
Словно во ржи лежишь: звон, синь...
(Что ж, что во лжи лежишь!) – жар, вал...
Бормот – сквозь жимолость – ста жал...
Радуйся же! – Звал!
И не кори меня, друг, столь
Заворожимы у нас, тел,
Души – что вот уже: лбом в сон.
Ибо – зачем пел?
В белую книгу твоих тишизн,
В дикую глину твоих «да» –
Тихо склоняю облом лба:
Ибо ладонь – жизнь.
8 июля 1922

«Думалось: будут легки...»

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Думалось: будут легки
Дни – и бестрепетна смежность
Рук. – Взмахом руки,
Друг, остановимте нежность.
Не – поздно еще! [10]
В рас – светные щели
(Не поздно!) – еще
Нам птицы не пели.
Будь на – стороже!
Последняя ставка!
Нет, поздно уже,
Друг, если до завтра!
Земля да легка!
Друг, в самую сердь!
Не в наши лета
Откладывать смерть!
Мертвые – хоть – спят!
Только моим сна нет –
Снам! Взмахом лопат,
Друг – остановимте память!

9 июля 1922

«Руки – и в круг...»
Руки – и в круг
Перепродаж и переуступок!
Только бы губ,
Только бы рук мне не перепутать!
Этих вот всех
Суетностей, от которых сна нет.
Руки воздев,
Друг, заклинаю свою же память!
Чтобы в стихах
(Свалочной яме моих Высочеств!)
Ты не зачах,
Ты не усох наподобье прочих.
Чтобы в груди
(В тысячегрудой моей могиле
Братской!) – дожди
Тысячелетий тебя не мыли...
Тело меж тел,
– Ты, что мне пропадом был двухзвездным!..
Чтоб не истлел
С надписью: не опознан.

9 июля 1922

Берлину
Дождь убаюкивает боль.
Под ливни опускающихся ставень
Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль
Копыта – как рукоплесканья.
Поздравствовалося – и слилось.
В оставленности златозарной
Над сказочнейшим из сиротств
Вы смилоствивились, казармы!

10 июля 1922

«Удостоверишься – повремени!..
Удостоверишься – повремени! –
Что, выброшенный на солому,
Не надо было ей ни славы, ни
Сокровищницы Соломона.
Нет, руки за голову заломив,
– Глоткою соловьиной! –
Не о сокровищнице – Суламифь:
Горсточке красной глины!

12 июля 1922

«Светло-серебряная цвель...»
Светло-серебряная цвель
Над зарослями и бассейнами.
И занавес дохнёт – и в щель
Колеблущийся и рассеянный

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
 Свет... Падающая вода
 Чадры. (Не прикажу – не двинешься!)
 Так пэри к спящим иногда
 Прокрадываются в любимицы.
 Ибо не ведающим лет
 – Спи! – головокруженье нравится.
 Не вычитав моих примет,
 Спи, нежное мое неравенство!
 Спи. – Вымыслом останусь, лба
 Разглаживающим неровности.
 Так Музы к смертным иногда
 Напрашиваются в любовницы.
 16 июля 1922
 «В сиром воздухе загробном...»
 В сиром воздухе загробном –
 Перелетный рейс...
 Сирой проволоки вздрог,
 Повороты рельс...
 Точно жизнь мою угнали
 По стальной версте –
 В сиром мóроке – две дали...
 (Поклонись Москве!)
 Точно жизнь мою убили.
 Из последних жил
 В сиром мороке в две жилы
 Истекает жизнь.
 28 октября 1922
 Офелия – Гамлету
 Гамлетом – перетянутым – натуго,
 В нимбе разуверенья и знания,
 Бледный – до последнего атома...
 (Год тысяча который – издания?)
 Наглостью и пустотой – не тронете!
 (Отроческие чердачные залежи!)
 Некой тяжеловесной хроникой
 Вы на этой груди – лежали уже!
 Девственник! Женоненавистник! Вздорную
 Нежить предпочедший!.. Думали ль
 Раз хотя бы о том – что сорвано
 В маленьком цветнике безумия...
 Розы?.. Но ведь это же – тссс! – Будущность!
 Рвем – и новые растут! Предатели ль
 Розы хотя бы раз? Любящих –
 Розы хотя бы раз? – Убыли ль?
 Выполнив (проблагоухав!) тонете...
 – Не было! – Но встанем в памяти
 В час, когда над ручьёвой хроникой
 Гамлетом – перетянутым – встанете...
 28 февраля 1923
 Офелия – в защиту королевы
 Принц Гамлет! Довольно червивую залежь
 Тревожить... На розы взгляни!
 Подумай о той, что – единого дня лишь –
 Считает последние дни.
 Принц Гамлет! Довольно царицыны недра
 Порочить... Не девственным – суд
 Над страстью. Тяжéле виновная – Федра:
 О ней и поныне поют.
 И будут! – А Вы с Вашей примесью мела
 И тлена... С костями злословь,
 Принц Гамлет! Не Вашего разума дело
 Судить воспаленную кровь.
 Но если... Тогда берегитесь!.. Сквозь плиты –
 Ввысь – в опочивальню – и всласть!
 Своей королеве встаю на защиту –
 Я, ваша бессмертная страсть.
 28 февраля 1923
 Федра

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

1

Жалоба

Ипполит! Ипполит! Болит!
Опаляет... В жару ланиты...
Что за ужас жестокий скрыт
В этом имени Ипполита!
Точно длительная волна
О гранитное побережье.
Ипполитом опалена!
Ипполитом клянусь и брежу!
Руки в землю хотят – от плеч!
Зубы щебень хотят – в опилки!..
Вместе плакать и вместе лечь!
Воспалется ум мой пылкий...
Точно в ноздри и губы – пыль
Геркуланума... Вяну... Слепну...
Ипполит, это хуже пил!
Это суше песка и пепла!
Это слепень в раскрытый плач
Раны плещущей... Слепень злится...
Это – красною раной вскачь
Запаленная кобылица!
Ипполит! Ипполит! Спрячь!
В этом пеплуме – как в склепе.
Есть Элизиум – для – кляч:
Живодерня! – Палит слепень!
Ипполит! Ипполит! В плен!
Это в перси, в мой ключ жаркий,
Ипполитова вза – мен
Лепесткового – клюв Гарпий!
Ипполит! Ипполит! Пить!
Сын и пасынок? Со – общник!
Это лава – взамен плит
Под ступнею! – Олимп взропщет?
Олимпийцы?! Их взгляд спящ!
Небожителй – мы – лепим!
Ипполит! Ипполит! В плащ!
В этом пеплуме – как в склепе!
Ипполит, утоли...

7 марта 1923

2

Послание

Ипполиту от Матери – Федры – Царицы – весть.
Прихотливому мальчику, чья красота как воск
От державного феба, от Федры бежит... Итак,
Ипполиту от Федры: стенание нежных уст.
Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадая к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...
Утоли мою душу: итак, утоли уста.
Ипполит, я устала... Блудницам и жрицам – стыд!
Не простое бесстыдство к тебе вопиет! Просты
Только речи и руки... За трепетом уст и рук
Есть великая тайна, молчанье на ней как перст.
О прости меня, девственник! отрок! наездник! нег
Ненавистник! – Не похоть! Не женского лона – блажь!
То она – обольстительница! То Психеи лесть –
Ипполитовы лепеты слушать у самых уст.
– «Устыдись!» – Но ведь поздно! Ведь это последний всплеск!
Понесли мои кони! С отвесного гребня – в прах –
Я наездница тоже! Итак, с высоты груди,
С рокового двухолмия в пропасть твоей груди!
(Не своей ли) – Сумей же! Смелей же! Нежней же! Чем
В вощаную дощечку – не смуглого ль сердца воск?! –
Ученическим стилосом знаки врезать... О пусть
Ипполитову тайну устами прочтет твоя
Ненасытная Федра...

11 марта 1923

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Эвридика – Орфею
Для тех, отженивших последние клочья
Покрова (ни уст, ни ланит!..)
О, не превышение ли полномочий
Орфей, нисходящий в Аид?
Для тех, отрешивших последние звенья
Земного... На ложе из лож
Сложившим великую ложь лицемерья,
Внутри зрящим – свидание нож.
Уплочено же – всеми розами крови
За этот просторный покров
Бессмертья...

До самых летеиских верховий
Любивший – мне нужен покой
Беспамятности... Ибо в призрачном доме
Сем – призрак ты, сущий, а явь –
Я, мертвая... Что же скажу тебе, кроме:
– «Ты это забудь и оставь!»
Ведь не растревожишь же! Не повлекусь!
Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть
Устами! – С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть.
Уплочено же – вспомни мои крики! –
За этот последний простор.
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.

23 марта 1923

Раковина

Из лепрозария лжи и зла
Я тебя вызвала и взяла
В зори! Из мертвого сна надгробий –
В руки, вот в эти ладони, в обе,
Раковинные – расти, будь тих:
Жемчугом станешь в ладонях сих!
О, не оплатят ни шейх, ни шах
Тайную радость и тайный страх
Раковины... Никаких красавиц
Спесь сокровений твоих касаясь
Так не присвоит тебя, как тот
Раковинный сокровенный свод
Рук неприсваивающих... Спи!
Тайная радость моей тоски,
Спи! Застилая моря и земли,
Раковиною тебя объемлю:
Справа и слева и лбом и дном –
Раковинный колыбельный дом.
Дням не уступит тебя душа!
Каждую муку туша, глуша,
Сглаживая... Как ладонью свежей
Скрытые громы студя и нежа,
Нежа и множа... О, чай! О, зрей!
Жемчугом выйдешь из бездны сей.
– Выйдешь! – По первому слову: будь!
Выстрадавшая раздастся грудь
Раковинная. – О, настезь створы! –
Матери каждая пытка в пору,
В меру... Лишь ты бы, расторгнув плен,
Целое море хлебнул взамен!

31 июля 1923

Заочность

Кастальскому току,
Взаимость, заторов не ставь!
Заочность: за оком
Лежащая, вящая явь.
Заустно, заглазно
Как некое долгое Ёа
Меж ртом и соблазном
Версту расстояния для...

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Блаженны длинноты,
Широты забвений и зон!
Пространством как нотой
В тебя удаляясь, как стон
В тебе удлиняясь,
Как эхо в гранитную грудь
В тебя ударяясь:
Не видь и не слышь и не будь –
Не надо мне белым
По черному – мелом доски!
Почти за пределом
Души, за пределом тоски –
...Словесного чванства
Последняя карта сдана.
Пространство, пространство
Ты нынче – глухая стена!
4 августа 1923

Письмо

Так писем не ждут,
Так ждут – письма.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри – словцо.
И счастье. И это – всё.
Так счастья не ждут,
Так ждут – конца:
Солдатский салют
И в грудь – свинца
Три дольки. В глазах краснó.
И только. И это – всё.
Не счастья – стара!
Цвет – ветер сдул!
Квадрата двора
И черных дул.
(Квадрата письма:
Чернил и чар!)
Для смертного сна
Никто не стар!
Квадрата письма.
11 августа 1923

Минута

Минута: мнущая: минешь!
Так мимо же, и страсть и друг!
Да будет выброшено ныне ж –
Что́ завтра б – вырвано из рук!
Минута: мерящая! Малость
Обмеривающая, слышь:
То никогда не начиналось,
Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж
Другим, десятиричной кори
Подверженным еще, из дел
Не выросшим. Кто ты, чтоб море
Разменивать? Водораздел
Души живой? О, мель! О, мелочь!
У славного Царя Щедрот
Славнее царства не имелось,
Чем надпись: «И сие пройдет» –
На перстне... На путях обратных
Кем не измерена тщета
Твоих Аравий циферблатных
И маятников маята?
Минута: мающая! Мнимость
Вскачь – медлящая! В прах и в хлам
Нас мелящая! Ты, что минешь:
Минута: милостыня псам!
О как я рвусь тот мир оставить,
Где маятники душу рвут,
Где вечностью моею правит

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Разминовение минут.

12 августа 1923

Клинок

Между нами – клинок двуострый
Присягнувши – и в мыслях класть...
Но бывают – страстные сестры!
Но бывает – братская страсть!
Но бывает такая примесь
Прерий в ветре и бездны в губ
Дуновении... Меч, храни нас
От бессмертных душ наших двух!
Меч, терзай нас и, меч, пронзай нас,
Меч, казни нас, но, меч, знай,
что бывает такая крайность
Правды, крыши такой край...
Двусторонний клинок – рознит?
Он же сводит! Прорвав плащ,
Так своди же нас, страж грозный,
Рана в рану и хрящ в хрящ!
(Слушай! если звезда, срываясь...
Не по воле дитя с ляды
В море падает... Острова есть,
Острова для любой любви...)
Двусторонний клинок, синим
ливший, красным пойдет... Меч
Двусторонний – в себя вдвинем.
Это будет – лучшее лечь!
Это будет – братская рана!
Так, под звездами, и ни в чем
Не повинные... Точно два мы
Брата, спаянные мечом!

18 августа 1923

Магдалина

1

Меж нами – десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает,
Ты мне – чужая кровь.
Во времена евангельские
Была б одной из тех...
(Чужая кровь – желаннейшая
и чуждейшая из всех!)
К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась – светла
Масль! – очесами демонскими
Таясь, лила б маслá
И на ноги бы, и под ноги бы,
И вовсе бы так, в пески...
Страсть, по купцам распроданная,
Расплеванная – теки!
Пеною уст и накипями
Очес и потом всех
Нег... В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех.
Некою тканью под ноги
Стелюсь... Не тот ли (та!)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: встань, сестра!

26 августа 1923

2

Масти, плоченные втрое
Стоимости, страсти пот,
Слезы, волосы, – сплошное
Исструение; а тот,
В красную сухую глину
Благостный вперяя зрак:
– Магдалина! Магдалина!
Не издаривайся так!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
31 августа 1923

3

О путях твоих пытаться не буду,
Милая! – ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос –
И – слез.
Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла.
Я был наг, а ты меня волною
Тела – как стеною
Обнесла.
Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.
В волосах своих мне яму вырой,
Спеленаяй меня без льна.
– Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла,
Как волна.

31 августа 1923

«С этой горы, как с крыши...»
С этой горы, как с крыши
Мира, где в небо спуск.
Друг, я люблю тебя свыше
Мер – и чувств.
От очевидцев скрою
В тучу! С золою съем.
...С этой горы, как с Трои
Красных – стен.
Страсти: хвала убитым,
Сущим – срам.
Так же смотрел на битву
Царь – Приам.
Рухнули у – стои:
Зарево? Кровь? нимб?
Так же смотрел на Трою
Весь О – лимп.
Нет, из прохладной ниши
Дева, воздевши длань...
Друг, я люблю тебя свыше.
Слышь – и – встань.

30 августа 1923

Овраг

1

Дно – оврага.
Ночь – корягой
Шарящая. Встряски хвой.
Клятв – не надо.
Ляг – и лягу.
Ты бродягой стал со мной.
С койки затхлой
Ночь по каплям
Пить – закашляешься. Всласть
Пей! Без пятен –
Мрак! Бесплатен –
Бог: как к пропасти припасть.
(Час – который?)
Ночь – сквозь штору
Знать – немного знать. Узнай
Ночь – как воры,
Ночь – как горы.
(Каждая из нас – Синай
Ночью...)

10 сентября 1923

2

Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Сердце перебой –
На груди твоей нежной, пустой, горячей,
Гордец дорогой.
Никогда не узнаешь, каких не-наших
Бурь – следы сцеловал!
Не гора, не овраг, не стена, не насыпь:
Души перевал.
О, не вслушивайся! Болевого бреда
Ртуть... Ручьевая речь...
Прав, что слепо берешь... От такой победы
Руки могут – от плеч!
О, не вглядывайся! Под листвой падучей
Сами – листьями мчим!
Прав, что слепо берешь. Это только тучи
Мчат за ливнем косым.
ляг – и лягу. И благо. О, всё на благо!
Как тела на войне –
В лад и в ряд. (Говорят, что на дне оврага,
Может – неба на дне!)
В этом бешеном беге дерев бессонных
Кто-то насмерть разбит.
Что победа твоя – поражение сонмов,
Знаешь, юный Давид?
11 сентября 1923
«По набережным, где седые деревья...»
По набережным, где седые деревья
По следу Офелий... (Она ожерелья
Сняла, – не наряженной же умирать!)
Но все же
(Раз смертного ложа – неможней
Нам быть нежеланной!
Раз это несносно
И в смерти, в которой
Предвечные горы мы сносим
На сердце!..) – она все немногие вёсны
Сплела – проплывать
Невестою – и венценосной.
Так – небескорыстною
жертвою миру:
Офелия – листья,
Орфей – свою лиру...
– А я? –
28 сентября 1923
«Древняя тщета течет по жилам...»
Древняя тщета течет по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым!
К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль еще куда-нибудь
дальше! За предельные пределы
Станций! Понимаешь, что из тела
Вон – хочу! (в час тупящихся вежд
Разве выступаем – из одежд?)
...За потустороннюю границу:
К Стиксу!..
7 октября 1923
Побег
Под занавесом дождя
От глаз равнодушных кроясь,
– О завтра мое! – тебя
Выглядываю – как поезд
Выглядывает бомбист
С еще-сотрясеньем взрыва
В руке... (Не одних убийств
Бежим, зарываясь в гриву
Дождя!) Не расправы страх,
Не... – Но облака! но звоны!
То Завтра на всех парах
Проносится вдоль перрона

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Пропавшего... Бог! Благой!
Бог! И в дымовую опушь –
Как об стену... (Под ногой
Подножка – или ни ног уж,
ни рук?) Верстовая снасть
Столба... фонари из бреда...
О нет, не любовь, не страсть,
Ты поезд, которым еду
В Бессмертье...

14 октября 1923

«Люблю – но мука еще жива...»
люблю – но мука еще жива.
Найди баюкающие слова:
Дождливые, – расточившие всё
Сам выдумай, чтобы в их листве
Дождь слышался: то не цеп о сноп:
Дождь в крышу бьет: чтобы мне на лоб,
На гроб стекал, чтобы лоб – светал,
Озноб – стихал, чтобы кто-то спал
И спал...

Сквозь скважины, говорят,
вода просачивается. В ряд
Лежат, не жалуются, а ждут
Незнаемого. (Меня – сожгут.)
Баюкай же – но прошу, будь друг:
Не буквами, а каютой рук:
Уютами...

24 октября 1923

«Ты, меня любивший фальшью...»
Ты, меня любивший фальшью
Истины – и правдой лжи,
Ты, меня любивший – дальше
Некуда! – За рубежи!
Ты, меня любивший дольше
Времени. – Десницы взмах!
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

12 декабря 1923

Попытка ревности
Как живется вам с другою? –
Проще ведь? – Удар весла! –
Линией береговою
Скоро ль память отошла
Обо мне, плавучем острове
(По небу – не по водам!)?
Души, души! – быть вам сестрами,
Не любовницами – вам!
Как живется вам с простою
Женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),
Как живется вам – хлопчется –
Ежится? Встается – как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?
«Судорог да перебоев –
Хватит! Дом себе найму».
Как живется вам с любовью –
Избранному моему!
Свойственнее и съедобнее –
Снедь? Приестся – не пеняй...
Как живется вам с подобием –
Вам, поправшему Синай!
Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром – любя?
Стыд Зевесовой вождю
Не охлестывает лба?
Как живется вам – здоровится –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Можется? Поется – как?
С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?
Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк – крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой
Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог – и начисто разбит!)
Как живется вам с сто-тысячной –
Вам, познавшему Лилит!
Рыночную новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, бѣз шестых
Чувств?
Ну, за голову: счастливы?
Нет? в провале без глубин –
Как живется, милый? Тяжче ли,
Так же ли, как мне с другим?
19 ноября 1924

Приметы
Точно гору несла в подоле –
Всего тела боль!
Я любовь узнаю по боли
Всего тела вдоль.
Точно поле во мне разъяли
Для любой грозы.
Я любовь узнаю по дали
Всех и вся вблизи.
Точно нору во мне прорыли
До основ, где смоль.
Я любовь узнаю по жиле,
Всего тела вдоль
Стонущей. Сквозняком как гривой
Овеаясь, гунн:
Я любовь узнаю по срыву
Самых верных струн
Горловых, – горловых ущелий
Ржавь, живая соль.
Я любовь узнаю по щели,
Нет! – по трели
Всего тела вдоль!
29 ноября 1924
«Ятаган? Огонь?..»
ятаган? Огонь?

Поскромнее, – куда как громко!
Боль, знакомая, как глазам – ладонь,
Как губам –
Имя собственного ребенка.
1 декабря 1924

«Не колесо громовое...»
Не колесо громовое –
Взглядами перекинулись двое.
Не Вавилон обрушен –
Силою переведались души.
Не ураган на Тихом –
Стрелами перекинулись скифы.
16 января 1925

«Дней сползающие слизни...»
Дней сползающие слизни,
...Строк поденная швея...
Что до собственной мне жизни?
Не моя, раз не твоя.
И до бед мне мало дела
Собственных... – Еда? Спать?
Что до смертного мне тела?
Не мое, раз не твое.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
январь 1925

Стихи сироте

Шел по улице малютка.
Посинел и весь дрожал.
Шла дорогой той старушка,
Пожалела сироту...

1

Ледяная тиара гор –
Только бrenному лику – рамка.
Я сегодня плющу – пробор
Провела на граните замка.
Я сегодня сосновый стан
Обгоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан –
Как ребенка за подбородок.
16–17 августа 1936

2

Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короной скал.
(Занимаю тебя разговором –
чтобы легче дышал, крепче спал.)
феодалного замка боками,
Меховыми руками плюща –
Знаешь – плющ, обнимающий камень –
В сто четыре руки и ручья?
Но не жимолость я – и не плющ я!
Даже ты, что руки мне родней,
Не расплющен – а вольноотпущен
На все стороны мысли моей!
...Кругом клумбы и кругом колодца,
Куда камень придет – седым!
Круговую порукой сиротства, –
Одиночеством – круглым моим!
(Так вплелась в мои русые пряди –
Не одна серебристая прядь!)
...и рекой, разошедшейся на две –
чтобы остров создать – и обнять.
Всей Савоией и всем Пьемонтом,
и – немножко хребет надлома –
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым – и руками двумя!
21–24 августа 1936

3

(Пещера)

Могла бы – взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры.
В пантерины – лапы –
– Могла бы – взяла бы.
Природы – на лоно, природы – на ложе.
Могла бы – свою же пантерину кожу
Сняла бы...
– Сдала бы трущобе – в учебу:
В кустову, в хвощёву, в ручьёву, в плющёву, –
Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке
Сплетаются ветви на вечные браки...
Туда, где в граните, и в лыке, и в млеке
Сплетаются руки на вечные веки –
Как ветви – и реки...
В пещеру без света, в трущобу без следу.
В листве бы, в плюще бы, в плюще – как в плаще бы...
Ни белого света, ни черного хлеба:
В росе бы, в листве бы, в листве – как в родстве бы...
чтоб в дверь – не стучалось,
В окно – не кричалось,
чтоб впредь – не случалось,
чтоб – ввек не кончалось!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Но мало – пещеры,
И мало – трущобы!
Могла бы – взяла бы
В пещеру – утробы.
Могла бы –
Взяла бы.

Савойя,
27 августа 1936

4

На льдине –
Любимый,
На мине –
Любимый,
На льдине, в Гвиане, в Геенне – любимый.
В коросте – желанный,
С погоста – желанный:
Будь гостем! – лишь зубы да кости – желанный!
Тоской подколенной
До тьмы проваленной
Последнею схваткою чрева – жаленный.
И нет такой ямы, и нет такой бездны –
Любимый! желанный! жаленный! болезный!
5–6 сентября 1936

5

Скороговоркой – ручья водой
Бьющей: – Любимый! больной! родной!
Речитативом – тоски протяжней:
– Хилый! чуть-живый! сквозной! бумажный!
От зева до чрева – продольным разрезом:
– Любимый! желанный! жаленный! болезный!
9 сентября 1936

6

Наконец-то встретила
Надобного – мне:
У кого-то смертная
Надоба – во мне.
Что для ока – радуга,
Злаку – чернозем –
Человеку – надоба
Человека – в нем.
Мне дождя, и радуги,
И руки – нужней
Человека надоба
Рук – в руке моей.
Это – шире ладоги
И горы верней –
Человека надоба
Ран – в руке моей.
И за то, что с язвою
Мне принес ладонь –
Эту руку – сразу бы
За тебя в огонь!
11 сентября 1936

(7)

В мыслях об ином, инаком,
И ненайденном, как клад,
Шаг за шагом, мак за маком –
Обезглавила весь сад.
Так, когда-нибудь, в сухое
Лето, поля на краю,
Смерть рассеянной рукою
Снимет голову – мою.
5–6 сентября 1936
«Когда я гляжу на летящие листья...»
Когда я гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые – как художника кистью,
Картину кончающего наконец,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине – забыт.
20-е числа октября 1936
«В синее небо ширя глаза...»
В синее небо ширя глаза –
Как восклицаешь: – Будет гроза!
На проходимца вскинувши бровь –
Как восклицаешь: – Будет любовь!
Сквозь равнодушья серые мхи –
Так восклицаю: – Будут стихи!
1936
«Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!..»
Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!
Круг – вокруг головы.
Но и под мехом – неги, под пухом
Гаги – дрогнете вы!
Даже богиней тысячерукой
– В гнезд, в звезд черноте –
Как ни кружи вас, как ни баюкай
– Ах! – бодрствуете...
Вас и на ложе неверья гложет
Червь (бедные мы!).
Не народился еще, кто вложит
Перст – в рану Фомы.
7 января 1940
«Ушел – не ем...»
Ушел – не ем:
Пуст – хлеба вкус.
Всё – мел,
За чем ни потянусь.
...Мне хлебом был,
И снегом был.
И снег не бел,
И хлеб не мил.
23 января 1940
«– Пора! для этого огня...»
– Пора! для этого огня –
Стара!
– любовь – старей меня!
– Пятидесяти январей
Гора!
– любовь – еще старей:
Стара, как хвощ, стара, как змей,
Старей ливонских янтарей,
Всех привиденских кораблей
Старей! – камней, старей – морей...
Но боль, которая в груди,
Старей любви, старей любви.
23 января 1940
«– Годы твои – гора...»
– Годы твои – гора,
Время твое – царей.
Дура! любить – стара.
– Други! любовь – старей:
Чудищ старей, корней,
Каменных алтарей
Критских старей, старей
Старших богатырей...
29 января 1940
«Пора снимать янтарь...»
Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...
Февраль 1941
«Всё повторяю первый стих...»

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
«Я стол накрыл на шестерых...»

Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:
– «Я стол накрыл на шестерых»...
Ты одного забыл – седьмого.
Невесело вам вшестером.
На лицах – дождевые струи...
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть – седьмую...
Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально – им, печален – сам,
Непозванная – всех печальней.
Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете.
– Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?
Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий –
Ты сам – с женой, отец и мать)
Есть семеро – раз я на свете!
Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых –
Быть призраком хочу – с твоими,
(Своими)...

Робкая как вор,
О – ни души не задевая! –
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.
Раз! – опрокинула стакан!
И все, что жаждало пролиться, –
Вся соль из глаз, вся кровь из ран –
Со скатерти – на половицы.
И – гроба нет! Разлуки – нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть – на свадебный обед,
Я – жизнь, пришедшая на ужин.
..никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг – и все же укоряю:
– Ты, стол накрывший на шесть – душ,
Меня не посадивший – с краю.

6 марта 1941

Я благодарна поэтам

Эллису

(Л. Л. Кобылинскому, 1879–1947)

Чародей

Поэма

Анастасии Цветаевой

Он был наш ангел, был наш демон
Наш гувернер – наш чародей,
Наш принц и рыцарь. – Был нам всем он
Среди людей!
В нем было столько изобилий,
Что и не знаю, как начну!
Мы пламенно его любили –
Одну весну.
Один его звонок по зале –
И нас охватывал озноб,
И до безумия пылали
Глаза и лоб.
И как бы шевелились корни
Волос, – о, эта дрожь и жуть!
И зала делалась просторней,
И уже – грудь.
И руки сразу леденели,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И мы не чувствовали ног.
– Семь раз в течение недели
Такой звонок!

.....
Он здесь. Наш первый и последний!
И нам принадлежащий весь!
Уже выходит из передней!
Он здесь, он здесь!
Он вылетает к нам, как птица,
И сам влетает в нашу сеть!
И сразу хочется кружиться,
Кричать и петь.

.....
Прыжками через три ступени
Взбегаем лесенкой крутой
В наш мезонин – всегда весенний
И золотой.
Где невозможный беспорядок,
Где точно разразился гром
Над этим ворохом тетрадок
Еще с пером.
Над этим полчищем шарманок,
Картонных кукол и зверей,
Полуобгрызенных баранок,
Календарей,
Неописуемых коробок,
С вещами не на всякий вкус,
Пустых флакончиков без пробок,
Стеклянных бус –
Чьи ослепительные грозди
– *Clínquantes, éclatantes grappes*[11] –
Звенья опутывают гвозди
Для наших шляп.
Садимся – смотрим – знаем – любим,
И чуем, не спуская глаз,
Что за него себя погубим,
А он – за нас.
Два скакуна в огне и мыле –
Вот мы! – Лови, когда не лень!
Мы говорим о том, как жили
Вчерашний день.
О том, как бегали по зале
Сегодня ночью при луне
И что и как ему сказали
Потом во сне.
И как – и мы уже в экстазе! –
За наш непокоримый дух
Начальство наших двух гимназий
Нас гонит двух.
Как никогда не выйдем замуж,
– Так и останемся втроем! –
О, никогда не выйдем замуж,
Скорей умрем!
Как жизнь уже давным-давно нам –
Сукно игорное: – *vivat!*[12]
За Иоанном – в рай, за доном
Жуаном – в ад.

.....
Жерло заговорившей Этны –
Его заговоривший рот.
Ответный вихрь и смерч, ответный
Водоворот.
Здесь и проклятья, и осанна,
Здесь все сжигает и горит.
О всем, что в мире несказанно,
Он говорит.
Нас – нам казалось – насмерть раня
Кинжалами зеленых глаз,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Змеей взвиваясь на диване!..

О, сколько раз
С шипеньем раздраженной кобры,
Он клял вселенную и нас, –
И снова становился добрый...
Почти на час.
Чревоуещание – девизы –
Витийства – о король плутов!
Но нам уже доносят снизу,
Что чай готов.

.....
Среди пятипудовых теток
Он с виду весит ровно пуд:
Так легок, резок, строен, четок,
Так страшно худ.
Да нет – он ничего не весит!
Он ангельски – бесплотно – юн!
Его лицо, как юный месяц
Меж полных лун.
Упершись в руку подбородком,
– О том, как вечера тихи,
Читает он. – Как можно теткам
Читать стихи?!

.....
О, как он мил и как сначала
Преувеличенно учтив!
Как, улыбаясь, прячет жало
И как, скрестив
Свои магические руки,
Умеет – берегись сосед! –
Любезно отдаваться скуке
Пустых бесед.
Но вдруг – безудержно и сразу! –
Он вспыхивает мятежом,
За безобиднейшую фразу
Грозя ножом.
Еще за полсекунды чинный,
Уж с пеной у рта взвел курок.
– Прощай, уют и именинный,
Прощай, пирог!

.....
Чай кончен. – Удлинились тени.
И домурлыкал самовар.
Скорей, на свежий, на весенний
Тверской бульвар!
Нам так довольно о Бодлере!
Пусть ветер веет нам в лицо!
Поют по-гоголевски двери,
Скрипит крыльцо. –
В больших широкополых шляпах
Мы, кажется, еще милей...
И этот запах, этот запах
От тополей.

.....
Бульвар сверкает. По дорожке
Косые длинные лучи.
Бегут серсо, за ними ножки,
Летят мячи,
Другие остаются в сетках.
Вот мальчик в шапочке «Варяг»
На платьице в шотландских клетках
Направил шаг.
Сияют кудри, щечки, глазки,
Ревун надулся и охрип.
Скрипят колесами коляски,
– Протяжный скрип. –
Там мама наблюдает зорко
За девочкой с косой, как медь.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

В одной руке ее – ведерко,
В другой – медведь.
Какой-то мальчик просит кашки.
О, как он, бедный, не дорос
До гимназической фуражки
И папирос!
О вейтесь, кудри, вейтесь, ленты!
Увы, обратно нет путей!
Проходят парами студенты
Среди детей.
Играет солнце по аллеям...
– Как жизнь прелестна и проста! –
Нам ровно тридцать лет обеим:
Его лета.

.....
О как вас перескажешь ныне –
Четырнадцать – шестнадцать лет!
Идем, наш рыцарь посредине,
Наш свой – поэт.
Мы по бокам, как два привеска,
И видит каждая из нас:
Излом щеки, сухой и резкий,
Зеленый глаз.
Крутое острие бородки,
Как злое острие клинка,
Точеный нос и очерк четкий
Воротничка.
(– Кто с нашим рыцарем бродячим
Теперь бредет в луче златом?.. –)
Над раскаленным, вурдалачьим
Тяжелым ртом, –
Уса, взлетевшего высоко,
Надменное полукольцо...
– И все заглядываем сбоку
Ему в лицо.
А там, в полях необозримых,
Служа Небесному Царю,
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

.....
На всем закат пылает алый,
Пылают где-то купола,
Пылают окна нашей залы
И зеркала.
Из черной глубины рояля
Пылают грозди алых роз.
– «Я рыцарь Розы и Грааля,
Со мной Христос,
Но шел за мной по всем дорогам
Тот, кто присутствует и здесь.
Я между Дьяволом и Богом
Разорван весь.
Две правды – два пути – две силы –
Две бездны: Данте и Бодлер!»
О, как он по-французски, милый,
Картавил «эр».
Но, милый, Данте ты оставишь,
И с ним Бодлера, дорогой!
Тихонько нажимаем клавиш,
За ним другой –
И звуки – роем пчел из улья –
Жужжат и вьются – кто был прав?! –
Наш Рыцарь Розы через стулья
Летит стремглав.
Он, чуть ли не вселенной старше –
Мальчишка с головы до пят!
По первому аккорду марша
Он весь – солдат!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
чу! – Звон трубы! – Чу! – Конский топот,
Треск барабана! – Кивера!
Ах, к черту ум и к черту опыт!
Ура! Ура!

Он Тот, в чьих белых пальцах сжаты
Сердца и судьбы, сжат весь мир.
На нем зеленый и помятый
Простой мундир.

Он Тот, кто у кремлевских башен
Стоял во весь свой малый рост.
В чьи вольные цвета окрашен
Аркольский мост.

.....
Должно быть, бледны наши лица,
Стук сердца разрывает грудь.
Нет времени остановиться,
Нет сил – вздохнуть.
Магической силой руки
По клавишам – уже летят!
Гремят вскипающие звуки,
Как водопад.
Цирк, раскаленный, как Сахара,
Сонм рыжекудрых королев.
Две гордости земного шара:
Дитя и лев.
Под куполом – как царь в чертоге –
Красуется британский флаг.
Расставив клетчатые ноги,
Упал дурак...
В плаще из разноцветных блесков,
Под говор напряженных струн
На площадь вылетел подросток,
Как утро – юн!
– Привет, миледи и милорды!
Уже канат дрожит тугой
Под этой маленькой и твердой
Его ногой.
В своей чешуйке многозвездной,
– Закончив резвый пируэт –
Он улыбается над бездной,
Подняв берет.

.....
Рояль умолкнул. Дребезжащий
Откуда-то – на смену – звук.
Играет музыкальный ящик,
Старинный друг,
Весь век до хрипоты, до стоны,
Игравший трио этих пьес:
Марш кукол – Auf der Wlauen Donau[13] –
И экосез.
В мир голосов и гобеленов
Открылась тайная тропа.
О, рай златоволосых венков!
О, вальс в три па!
Под вальс невинный, вальс старинный
Танцуют наши три весны,
Холодным зеркалом гостиной –
Отражены.
Так, залу окружив трикраты,
– Тройной тоскующий тростник –
Вплываем в царство белых статуй
И старых книг.

.....
На вышке шкафа, сер и пылен,
Видавший лучшие лета,
Угрюмо восседает филин
С лицом кота.
С набитым филином в соседстве

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Спит Зевс, тот непонятный дед,
Которым нас пугали в детстве,
Что – людоед.
Как переполненные соты –
Ряд книжных полок. – Тронул блик
Пергаментные переплеты
Старинных книг.
Цвет Греции и слава Рима, –
Неисчислимы тома!
Здесь – сколько б солнца ни внесли мы –
Всегда зима.
Последним солнцем розовея,
Распахнутый лежит Платон...
Бюст Аполлона – план Музея –
И всё – как сон.

.....
Уже везде по дому ставни
Захлопываются, стуча.
В гостиной – где пожар недавний? –
Уж ни луча.
Все меньше и все меньше света,
Все ближе и все ближе стук...
Уж половина кабинета
Ослепла вдруг.
Еще единым мутным глазом
Белеет левое окно.
Но ставни стукнули – и разом
Совсем темно.
Самозабвение – нирвана –
Что, фениксы, попались в сеть?! –
На дальних валиках дивана
Не усидеть!
Уже в углу вздохнуло что-то,
И что-то дрогнуло чуть-чуть.
Тихонько скрипнули ворота:
Кому-то в путь.
Иль кто-то держит путь обратный
– Уж наши руки стали льдом –
В замороженный, невозвратный
Наш старый дом.
Мать под землей, – отец в Каире...
Еще какое-то пятно!
Уже ничто смешное в мире
Нам не смешно.
Уже мы поняли без слова,
Что белое у шкафа – гроб.
И сердце, растеряв подковы,
Летит в галоп.

.....
– «Есть в мире ночь. Она беззвездна.
Есть в мире дух, он весь – обман.
Есть мир. Ему название – бездна
И океан.
Кто в этом океане плавал –
Тому обратно нет путей!
Я в нем погиб. – Обратно, дьявол!
Не тронь детей!
А вы, безудержные дети,
С умом пронзительным, как лед, –
С безумьем всех тысячелетий!
Вы, в ком поет
И жалуется и томится –
Вся несказанная земля!
Вы, розы, вы, ручьи, вы, птицы,
Вы, тополя –
Вы, мертвых лазарей из гроба
Толкающие в зелень лип,
Вы, без кого давным-давно бы

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Уже погиб

Наш мир – до призрачности зыбкий

На трех своих гнилых китах –

– О золотые рыбки! – Скрипки

В моих руках! –

В короткой юбочке нелепой

Несущие богам – миры,

Ко мне прижавшиеся слепо,

Как две сестры,

Вы, чей отец сейчас в Каире,

Чьей матери остыл и след –

Узнайте, вам обеим в мире

Спасенья нет!

Хотите, – я сорву повязку?

Я вам открою новый путь?»

– «Нет, – лучше расскажите сказку

Про что-нибудь...»

.....
– О Эллис! – прелесть, юность, свежесть.

Невинный и волшебный вздор!

Плач ангела! – зубовный скрежет!

Святой танцор.

Без думы о насущном хлебе

Живущий – чем и как – Бог весть!

Не знаю, есть ли Бог на небе! –

Но, если есть –

Уже сейчас, на этом свете,

Все до единого грехи

Тебе отпущены за эти

Мои стихи.

О Эллис! – Рыцарь без измены!

Сын голубейшей из отчизн!

С тобою раздвигались стены

В иную жизнь...

– Где б ни сомкнулись наши веки

В безлюдии каких пустынь –

Ты – наш и мы – твои. Во веки

Веков. Аминь.

Феодосия,

15 февраля – 4 мая 1914

С. Я. Парнок

(1885–1933)

Подруга

1

Вы счастливы? – Не скажете! Едва ли!

И лучше – пусть!

Вы слишком многих, мнится, целовали,

Отсюда грусть.

Всех героинь шекспировских трагедий

Я вижу в Вас.

Вас, юная трагическая леди,

Никто не спас!

Вы так устали повторять любовный

Речитатив!

Чугунный обод на руке бескровной –

Красноречив!

Я Вас люблю. – Как грозовая туча

Над Вами – грех –

За то, что Вы язвительны, и жгучи

И лучше всех,

За то, что мы, что наши жизни – разные

Во тьме дорог,

За Ваши вдохновенные соблазны

И темный рок,

За то, что Вам, мой демон крутолобий,

Скажу прости,

За то, что Вас – хоть разорвись над гробом! –

Уж не спасти!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

За эту дрожь, за то – что – неужели

Мне снится сон? –

За эту ироническую прелесть,
что Вы – не он.

16 октября 1914

2

Под лаской плюшевого пледа

Вчерашний вызываю сон.

Что это было? – Чья победа? –
кто побежден?

Все передумываю снова,

Всем перемучиваюсь вновь.

В том, для чего не знаю слова,

Была ль любовь?

Кто был охотник? – Кто – добыча?

Все дьявольски – наоборот!

Что понял, длительно мурлыча,

сибирский кот?

В том поединке своеволий

кто, в чьей руке был только мяч?

Чье сердце – Ваше ли, мое ли

летело вскачь?

И все-таки – что ж это было?

Чего так хочется и жаль?

Так и не знаю: победила ль?

Побеждена ль?

23 октября 1914

3

Сегодня таяло, сегодня

я простояла у окна.

Взгляд отрезвленной, грудь свободней,

Опять умиротворена.

Не знаю, почему. Должно быть,

Устала попросту душа,

И как-то не хотелось трогать

мятежного карандаша.

Так простояла я – в тумане –

далекая добру и злу,

Тихонько пальцем барабаня

по чуть звенящему стеклу.

Душой не лучше и не хуже,

чем первый встречный – этот вот, –

чем перламутровые лужи,

где расплескался небосвод,

чем пролетающая птица

и попросту бегущий пес,

и даже нищая певица

меня не довела до слез.

Забвенья милое искусство

душой усвоено уже.

Какое-то большое чувство

сегодня таяло в душе.

24 октября 1914

4

Вам одеваться было лень,

и было лень вставать из кресел.

– А каждый Ваш грядущий день

моим весельем был бы весел.

Особенно смущало Вас

идти так поздно в ночь и холод.

– А каждый Ваш грядущий час

моим весельем был бы молод.

Вы это сделали без зла,

невинно и непоправимо.

– Я Вашей юностью была,

которая проходит мимо.

25 октября 1914

5

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Сегодня, часу в восьмом,
Стремглав по Большой Лубянке,
Как пуля, как снежный ком,
Куда-то промчались санки.
Уже прозвеневший смех...
Я так и застыла взглядом:
Волос рыжеватый мех,
И кто-то высокий – рядом!
Вы были уже с другой,
С ней путь открывали санный,
С желанной и дорогой, –
Сильнее, чем я – желанной.
– Oh, je n'en puis plus, j'étouffe! [14] –
Вы крикнули во весь голос,
Размашисто запахнув
На ней меховую полость.
Мир – весел и вечер лих!
Из муфты летят покупки...
Так мчались Вы в снежный вихрь,
Взор к взору и шубка к шубке.
И был жесточайший бунт,
И снег осыпался бело.
Я около двух секунд –
Не более – вслед глядела.
И гладила длинный ворс
На шубке своей – без гнева.
Ваш маленький Кай замерз,
О Снежная Королева.
26 октября 1914

6

Ночью над кофейной гущей
Плачет, глядя на Восток.
Рот невинен и распушен,
Как чудовищный цветок.
Скоро месяц – юн и тонок –
Сменит алую зарю.
Сколько я тебе гребенок
И колечек подарю!
Юный месяц между веток
Никого не устерег.
Сколько подарю браслетов,
И цепочек, и серег!
Как из-под тяжелой гривы
Блещут яркие зрачки!
Спутники твои ревнивы? –
Кони кровные легки!
6 декабря 1914

7

Как весело сиял снежинками
Ваш – серый, мой – соболий мех,
Как по рождественскому рынку мы
Искали ленты ярче всех.
Как розовыми и несладкими
Я вафлями объелась – шесть!
Как всеми рыжими лошаdkами
Я умилялась в Вашу честь.
Как рыжие поддевки – парусом,
Божась, сбывали нам тряпье,
Как на чудных московских барышень
Дивилось глупое бабье.
Как в час, когда народ расходится,
Мы нехотя вошли в собор,
Как на старинной Богородице
Вы приостановили взор.
Как этот лик с очами хмурыми
Был благостен и изможден
В киоте с круглыми амурами
Елисаветинских времен.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Как руку Вы мою оставили,
Сказав: «О, я ее хочу!»
С какую бережностью вставили
В подсвечник – желтую свечу...
– О, светская, с кольцом опаловым
Рука! – О, вся моя напасть! –
Как я икону обещала Вам
Сегодня ночью же украсть!
Как в монастырскую гостиницу
– Гул колокольный и закат –
Блаженные, как имянинницы,
Мы грянули, как полк солдат.
Как я Вам – хорошеть до старости –
Клялась – и просыпала соль,
Как трижды мне – Вы были в ярости! –
Червонный выходил король.
Как голову мою сжимали Вы,
Лаская каждый завиток,
Как Вашей брошечки эмалевой
Мне губы холодил цветок.
Как я по Вашим узким пальчикам
Водила сонною щекой,
Как Вы меня дразнили мальчиком,
Как я Вам нравилась такой...
декабрь 1914

8

Свободно шея поднята,
Как молодой побег.
Кто скажет имя, кто – лета,
кто – край ее, кто – век?
Извилина неярких губ
Капризна и слаба,
Но ослепителен уступ
Бетховенского лба.
До умиленности чист
Истаявший овал.
Рука, к которой шел бы хлыст,
И – в серебре – опал.
Рука, достойная смычка,
Ушедшая в шелка,
Неповторимая рука,
Прекрасная рука.
10 января 1915

9

Ты проходишь своей дорогою,
И руки твоей я не трогаю.
Но тоска во мне – слишком вечная,
чтоб была ты мне – первой встречною.
Сердце сразу сказало: «Милая!»
Всё тебе – наугад – простила я,
Ничего не зная, – даже имени! –
О, люби меня, о, люби меня!
Вижу я по губам – извилиной,
По надменности их усиленной,
По тяжелым надбровным выступам:
Это сердце берется – приступом!
Платье – шелковым черным панцирем,
Голос с чуть хрипотцой цыганскою,
Все в тебе мне до боли нравится, –
Даже то, что ты не красавица!
Красота, не увянешь за лето!
Не цветок – стебелек из стали ты,
Злее злого, острее острого
Увезенный – с какого острова?
Опахалом чудишь, иль тросточкой, –
в каждой жилке и в каждой косточке,
в форме каждого злого пальчика, –
Нежность женщины, дерзость мальчика.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Все усмешки стихом парируя,
Открываю тебе и миру я
Всё, что нам в тебе уготовано,
Незнакомка с челом Бетховена!
14 января 1915

10
Могу ли не вспомнить я
Тот запах white-Rose[15] и чая,
И севрские фигурки
Над пышущим камельком...
Мы были: я – в пышном платье
Из чуть золотого фая,
Вы – в вязаной черной куртке
С крылатым воротником.
Я помню, с каким вошли Вы
Лицом – без малейшей краски,
Как встали, кусая пальчик,
Чуть голову наклоня.
И лоб Ваш властолюбивый
Под тяжестью рыжей каски,
Не женщина и не мальчик, –
Но что-то сильнее меня!
Движением беспричинным
Я встала, нас окружили.
И кто-то в шутовском тоне:
«Знакомьтесь же, господа».
И руку движеньем длинным
Вы в руку мою вложили,
И нежно в моей ладони
Помедлил осколок льда.
С каким-то, глядевшим косо,
Уже предвкушая стычку, –
Я полулежала в кресле,
Вертя на руке кольцо.
Вы вынули папиросу,
И я поднесла Вам спичку,
Не зная, что делать, если
Вы взглянете мне в лицо.
Я помню – над синей вазой –
Как звякнули наши рюмки.
«О, будьте моим Орестом!»
И я Вам дала цветок.
С зарницею сероглазой
Из замшевой черной сумки
Вы вынули длинным жестом
И выронили – платок.
28 января 1915

11
Все глаза под солнцем – жгучи,
День не равен дню.
Говорю тебе на случай,
Если изменю:
Чьи б ни целовала губы
Я в любовный час,
Черной полночью кому бы
Страшно ни клялась, –
Жить, как мать велит ребенку,
Как цветочек цвести,
Никогда ни в чью сторонку
Глазом не повесть...
Видишь крестик кипарисный?
– Он тебе знаком –
Все проснется – только свистни
Под моим окном.
22 февраля 1915

12
Сини подмосковные холмы,
В воздухе чуть теплом – пыль и деготь.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Сплю весь день, весь день смеюсь, – должно быть,
Выздоровливаю от зимы.

А иду домой возможно тише:
Ненаписанных стихов – не жаль!
Стук колес и жареный миндаль дороже
Всех четверостиший.
Голова до прелести пуста,
Оттого что сердце – слишком полно!
Дни мои, как маленькие волны,
На которые гляжу с моста.
Чьи-то взгляды слишком уж нежны
В нежном воздухе едва нагретом...
Я уже заболеваю летом,
Еле выздоровев от зимы.

13 марта 1915

13

Повторю в канун разлуки,
Под конец любви,
Что любила эти руки
Властные твои
И глаза – кого-кого-то
Взглядом не дарят! –
Требующие отчета
За случайный взгляд.
Всю тебя с твоей треклятой
Страстью – видит Бог! –
Требующую расплаты
За случайный вздох.
И еще скажу устало,
– Слушать не спеши! –
Что твоя душа мне встала
Поперек души.
И еще тебе скажу я:
– Все равно – канун! –
Этот рот до поцелуя
Твоего был юн.
Взгляд – до взгляда – смел и светел,
Сердце – лет пяти...
Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути.

28 апреля 1915

14

Есть имена, как душистые цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя...
Есть темные извилистые рты
С глубокими и влажными углами.
Есть женщины. – Их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. – Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?
Вознесение, 1915

15

Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать – куда Вам путь
И где пристанище.
Я вижу: мачта корабля,
И Вы – на палубе...
Вы – в дыме поезда... Поля
В вечерней жалобе...
Вечерние поля в росе,
Над ними – вороны...
– Благословляю Вас на все
четыре стороны!

3 мая 1915

16

В первой любила ты
Первенство красоты,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Кудри с налетом хны,
Жалобный зов зурны,
Звон – под конем – кремня,
Стройный прыжок с коня,
И – в самоцветных зернах –
Два челночка узорных.
А во второй – другой –
Тонкую бровь дугой,
Шелковые ковры
Розовой Бухары,
Перстни по всей руке,
Родинку на щеке,
Вечный загар сквозь блонды
И полунощный Лондон.
Третья тебе была
Чем-то еще мила...
– Что от меня останется
В сердце твоём, странница?
14 июля 1915

17

Вспомните: всех голов мне дороже
Волосок один с моей головы.
И идите себе... – Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.
Разлюбите меня, все разлюбите!
Стерегите не меня поутру!
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.

6 мая 1915

«Руки, которые не нужны...»
Руки, которые не нужны
Милому, служат – Миру.
Горестным званьем Мирской жены
Нас увенчала Лира.
Много незваных на царский пир.
Надо им спеть на ужин!
Милый не вечен, но вечен – Мир.
Не понапрасну служим.

6 июля 1918

«И не спасут ни стансы, ни созвездья...»
И не спасут ни стансы, ни созвездья.
А это называется – возмездье
За то, что каждый раз,
Стан разгибая над строкой упорной,
Искала я над лбом своим просторным
Звезд только, а не глаз.
Что самодержцем Вас признав на веру,
– Ах, ни единый миг, прекрасный Эрос,
Без Вас мне не был пуст!
Что по ночам, в торжественных туманах,
Искала я у нежных уст румяных –
Рифм только, а не уст.
Возмездие за то, что злейшим судьям
Была – как снег, что здесь, под левой грудью –
Вечный апофеоз!

Что с глазу на глаз с молодым Востоком
Искала я на лбу своем высоком
Зорь только, а не роз!

20 мая 1920

«Душа, не знающая меры...»
Душа, не знающая меры,
Душа хлыста и изувера,
Тоскующая по бичу.
Душа – навстречу палачу,
Как бабочка из хризалиды!
Душа, не съевшая обиды,
Что больше колдунов не жгут.
Как смоляной высокий жгут

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Дымящая под власяницей...

Скрежещущая еретица,
– Саванароловой сестра –
Душа, достойная костра!

27 апреля 1921

«Косматая звезда...»

Косматая звезда,
Спешащая в никуда
Из страшного ниоткуда.
Между прочих овец приبلуда,
В златорунные те стада
Налетающая, как Ревность –
Волосатая звезда древних!

27 апреля 1921

«О первое солнце над первым лбом!..»

О первое солнце над первым лбом!
И эти – на солнце прямо –
Дымящие – черным двойным жерлом –
Большие глаза Адама.

О первая ревность, о первый яд
Змеинный – под грудью левой!
В высокое небо вперенный взгляд:
Адам, проглядевший Еву!
Врожденная рана высоких душ,
О Зависть моя! О Ревность!
О всех мне Адамов затмивший Муж:
Крылатое солнце древних!

27 апреля 1921

«Блаженны дочерей твоих, Земля...»

Блаженны дочерей твоих, Земля,
Бросавшие для боя и для бега.
Блаженны в Елисейские поля
Вступившие, не обольстившись негой.
Так лавр растет, – жестоколист и трезв,
Лавр-летописец, горячитель боя.
– Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любви.

4 октября 1921

«Не приземист – высокоросл...»

Не приземист – высокоросл
Стан над выравненностью грядок.
В густоте кормовых ремесл
Хоровых не забыли радуг.
Сплю – и с каждым батрацким днем
Тверже в памяти благородной,
Что когда-нибудь отдохнем
В верхнем городе Леонардо.

27 января 1922

Дочь Иаира

1

Мимо иди!
Это великая милость.
Дочь Иаира простилась
С куклой (с любовником!) и с красотой.
Этот просторный покроем
Юным к лицу.

2

В просторах покроя –
Потерянность тела,
Посмертная сквозь.
Деввица, не скроешь,
Что кость захотела
От косточки врозь.
Зачем, равнодушный,
Противу закону
Спешащей реки –
Слез женских послушал
И отчего стону –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Душе вопреки!

Сказал – и воскресла,
И смутно, по памяти,
В мир хлеба и лжи.
Но поступь надтреснута,
Губы подтянуты,
Руки свежи.
И всё как спросоньяца
Немеют конечности.
И в самый базар
С дороги не тронется
Отвесной. – То Вечности
Бессмертный загар.
Привыкнет – и свыкнутся.
И в белом, как надобно,
Меж плавных сестер...
То юную скрытницу
Лавиною свадебной
Приветствует хор.
Рукой его согнута,
Смеется – всё заново!
Всё роза и гроздь!
Но между любовником
И ею – как занавес
Посмертная сквозь.
3–4 февраля 1922
Сивилла

1

Сивилла: выжжена, сивилла: ствол,
Все птицы вымерли, но Бог вошел.
Сивилла: выпита, сивилла: сушь.
Все жилы высохли: ревностен муж!
Сивилла: выбыла, сивилла: зев
Доли и гибели! – Древо меж дев.
Державным жеревом в лесу нагом –
Сначала деревом шумел огонь.
Потом, под веками – в разбег, врасплох,
Сухими реками взметнулся Бог.
И вдруг, отчаявшись искать извне:
Сердцем и голосом упав: во мне!
Сивилла: вещая! Сивилла: свод!
Так Благовещенье свершилось в тот
Час не стареющий, так в седость трав
Бренная девственность, пещерой став
Дивному голосу...

– так в звездный вихрь

Сивилла: выбывшая из живых.
5 августа 1922

2

Каменной глыбой серой,
С веком порвав родство.
Тело твое – пещера
Голоса твоего.
Недрами – в ночь, сквозь слепость
Век, слепотой бойниц.
Глухонемая крепость
Над пестротой жниц.
Кутают ливни плечи
В плащ, плесневеет гриб.
Тысячелетья плещут
У столбняковых глыб.
Горе горé! Под толщей
Век, в прозорливых тьмах –
Глиняные осколки
Царств и дорожный прах
Битв...

6 августа 1922

3

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Сивилла – младенцу[16]:

К груди моей,
Младенец, льни:
Рождение – паденье в дни.
С заоблачных нигдешних скал,
Младенец мой,
Как низко пал!
Ты духом был, ты прахом стал.
Плачь, маленький, о них и нас:
Рождение – паденье в час!
Плачь, маленький, и впредь, и вновь:
Рождение – паденье в кровь.
И в прах...
И в час...
Где зарева его чудес?
Плачь, маленький: рождение в вес!
Где залежи его щедрот?
Плачь, маленький: рождение в счет.
И в кровь...
И в пот...
Но встанешь! То, что в мире смертью
Названо, – паденье в твердь.
Но узришь! То, что мире – век
Смежение – рождение в свет.
Из днесь –
В навек.
Смерть, маленький, не спать, а встать,
Не спать, а вспять.
Вплавь, маленький! Уже ступень
Оставлена...
– Восстанье в день.

17 мая 1923

Деревья
Моему чешскому другу

Анне Антоновне Тесковой

1
В смертных изверясь,
Зачароваться не тщусь.
В старческий вереск,
В среброскользящую сушь.
– Пусть моей тени
Славу трубят трубачи! –
В вереск-потери,
В вереск-сухие ручьи.
Старческий вереск!
Голого камня нарост!
Удостоверюсь
В тождестве наших сиротств.
Сняв и отринув
Ключья последней парчи –
В вереск-руины,
В вереск-сухие ручьи.
Жизнь: двоедушье
Дружб и удушье уродств.
Седью и сушью,
(Ибо вожатый – суров.)
Ввысь, где рябина
Краше Давида-Царя!
В вереск-седины,
В вереск-сухие моря.
5 сентября 1922

2

Когда обидой – опилась
Душа разгневанная,
Когда семижды зареклась
Сражаться с демонами –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Не с теми, ливнями огней
В бездну нисхлестнутыми;
С земными низостями дней,
С людскими косностями –
Деревья! К вам иду! Спаситесь
От рева рыночного!
Вашими вымахами ввысь
Как сердце выдышано!
Дуб богоборческий! В бои
Всем корнем шествующий!
Ивы-провидицы мои!
Березы девственницы!
Вяз – яростный Авессалом,
На пытке вздыбленная
Сосна – ты, уст моих псалом:
Горечь рябиновая...
К вам! В живоплещущую ртуть
Листвы – пусть рушащейся!
Впервые руки распахнуть!
Забросить рукописи!
Зеленых отсветов рои...
Как в руки – плещущие...
Простоволосые мои,
Мои трепещущие!
8 сентября 1922

3

Купальщицами, в легкий круг
Сбитыми, стаей
Нимф-охранительниц – и вдруг,
Горивы взметая
В закинутости лбов и рук,
– Свиток развитый! –
В пляске кончающейся вдруг
Взмахом защиты –
Длинную руку на бедро...
Вытянув выю...
Березовое серебро,
Ручьи живые!
9 сентября 1923

4

Други! Братственный сонм!
Вы, чьим взмахом сметен
След обиды земной.
Лес! – Элизиум мой!
В громком таборе дружб
Собутыльница душ
Кончу, трезвость избрав,
День – в тишайшем из братств.
Ах, с топчущих стогн
В легкий жертвенный огонь
Рощ! В великий покой
Мхов! В струение хвой...
Древа вещая весть!
Лес, вещающий: Есть
Здесь, над сбродом кривизн –
Совершенная жизнь:
Где ни рабств, ни уродств,
Там, где всё во весь рост,
Там, где правда видней:
По ту сторону дней...
17 сентября 1922

5

Беглецы? – Вестовые?
Отзовись, коль живые!
Чернецы верховые,
В чашах Бога узрев?
Сколько мчащих сандалий!
Сколько пышущих зданий!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Сколько гончих и ланей –
В убеганье дерев!
Лес! Ты нынче – наездник!
То, что люди болезнью
Называют: последней
Судорогою древес –
Это – в платье просторном
Отрок, нектаром вскормлен.
Это – сразу и с корнем
Ввысь сорвавшийся лес!
Нет, иное: не хлопья –
В сухолистом потопе!
Вижу: опрометь копий,
Слышу: рокот кровей!
И в разверстой хламиде
Пролетая – кто видел?! –
То Саул за Давидом:
Смуглой смертью своей!
3 октября 1922

6

Не краской, не кистью!
Свет – царство его, ибо сед.
Ложь – красные листья:
Здесь свет, попирающий цвет.
Цвет, попранный светом.
Свет – цветущей пятою на грудь.
Не в этом, не в этом
ли: тайна, и сила и суть
Осеннего леса?
Над тихую заводью дней
Как будто завеса
Рванулась – и грозно за ней...
Как будто бы сына
Провидишь сквозь ризу разлук –
Слова: Палестина
Встают, и Элизиум вдруг...
Струенье... Сквоженье...
Сквозь трепетов мелкую вязь –
Свет, смерти блаженнее
И – обрывается связь.
* * *

Осенняя седость.
Ты, Гётевский апофеоз!
Здесь многое спелось,
А больше еще – расплелось.
Так светят седины:
Так древние главы семьи –
Последнего сына,
Последнейшего из семи –
В последние двери –
Простертым свечением рук...
(Я краске не верю!
Здесь пурпур – последний из слуг!)
...Уже и не светом:
Каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
ли – и обрывается связь.
Так светят пустыни.
И – больше сказав, чем могла:
Пески Палестины,
Элизиума купола...
8–9 октября 1922

7

Та, что без видения спала –
Вздригнула и встала.
В строгой постепенности псалма,
Зрительною скалой –
Сонмы просыпающихся тел:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Руки! – Руки! – Руки!
Словно воинство под градом стрел,
Спелое для муки.
Свитки рассыпающихся в прах
Риз, сквозных как сети.
Руки, прикрывающие пах,
(Девственниц!) – и плети
Старческих, не знающих стыда...
Отроческих – птицы!
Конницу на трубу суда!
Стан по поясицу
Выпростав из гробовых пелен –
Взлет седобородый:
Есмь! – Переселенье! – Легион!
Целые народы
Выходцев! – На милость и на гнев!
Види! – Буди! – Вспомни!
...Несколько взбегающих дерев
Вечером, на всхолмье.
12 октября 1922

8

Кто-то едет – к смертной победе.
У деревьев – жесты трагедий.
Иудеи – жертвенный танец!
У деревьев – трепеты таинств.
Это – заговор против века:
Веса, счета, времена, дробь.
Се – разодранная завеса:
У деревьев – жесты надгробий..
Кто-то едет. Небо – как въезд.
У деревьев – жесты торжеств.
7 мая 1923

9

Каким наитием,
Какими истинами,
О чем шумите вы,
Разливы лиственные?
Какой неистовой
Сивиллы таинствами –
О чем шумите вы,
О чем беспмятствуете?
Что в вашем веяньи?
Но знаю – лечите
Обиду Времени –
Прохладой Вечности.
Но юным гением
Восстав – порочите
Ложь лицезрения
Перстом заочности.
Чтоб вновь, как некогда,
Земля – казалась нам.
Чтобы под веками
Свершались замыслы.
Чтобы монетами
Чудес – не чваниться!
Чтобы под веками
Свершались таинства!
И прочь от прочности!
И прочь от срочности!
В поток! – В пророчества
Речами косвенными..
Листва ли – листьями?
Сивилла ль – выстонала?
..Лавины лиственные,
Руины лиственные..
9 мая 1923[17]

Бог

1

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Лицо без обличия.

Строгость. – Прелесть.

Всё ризы делившие

в тебе спелись.

Листою опавшею,

Щебнем рыхлым.

Всё криком кричавшие

в тебе стихли.

Победа над ржавчиной –

Кровью – сталью.

Всё навзничь лежавшие

в тебе встали.

1 октября 1922

2

Нищих и горлиц

Сирый распев.

То не твои ли

Ризы простерлись

в беге деревьев?

Рощ, перелесков.

Книги и храмы

Людям отдав – взвился.

Тайной охраной

Хвойные мчат леса:

– Скроем! – Не выдадим!

Следом гусиным

Землю на сон крестил.

Даже осиною

Мчал – и ее простил:

Даже за сына!

Нищие пели:

– Темен, ох, темен лес!

Нищие пели:

– Сброшен последний крест!

Бог из церквей воскрес!

4 октября 1922

3

О, его не привяжете

К вашим знакам и тяжестям!

Он в малейшую скважинку,

Как стройнейший гимнаст...

Разводными мостами и

Перелетными стаями,

Телеграфными сваями

Бог – уходит от нас.

О, его не приучите

К пребыванию и к участи!

В чувств оседлой распутице

Он – седой ледоход.

О, его не догоните!

В домовитом поддоннике

Бог – ручкою бегонией

На окне не цветет!

Все под кровлею сводчатой

Ждали зова и зодчего.

И поэты и летчики –

Всё отчаивались.

Ибо БОГ он – и движется,

Ибо звездная книжица

Вся: от Аз и до Ижицы –

След плаща его лишь!

5 октября 1922

Скифские

1

Из недр и на ветвь – рысями!

Из недр и на ветр – свистами!

Гусиным пером писаны?

Да это ж стрела скифская!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Крутого крыла грифова
Последняя зга – Скифия!
Сосед, не спеши! Нечего
Спешить, коли верст – тысячи.
Разменной стрелой встречною
Когда-нибудь там – спишемся!
Великая – и – тихая
Меж мной и тобой – Скифия...
И спи, молодой, смутный мой
Сириец, стрелу смертную
Леилами – и – лютнями
Глуша...

Не ушам смертного –
(Единожды в век слышимый)
Эпический бег – Скифии!
11 февраля 1923

2

(Колыбельная)
Как по синей по степи
Да из звездного ковша
Да на лоб тебе да...
– Спи,
Синь подушками глуша.
Дыши да не дунь,
Гляди да не глянь.
Волынь-криволунь,
Хвалынь-колывань.
Как по льстивой по трости
Росным бисером плеща
Заработают персты...
Шаг – подушками глуша.
Лежи – да не двинь,
Дрожи – да не грянь.
Волынь-перелынь,
Хвалынь-завираль.
Как из моря из Каспий –
ского – синего плаща,
Стрела свистнула да...

(спи,
Смерть подушками глуша)...
Лови – да не тронь,
Тони – да не кань.
Волынь-перезвонь,
Хвалынь-целовань.

13 февраля 1923

3

От стрел и от чар,
От гнезд и от нор,
Богиня Иштар,
Храни мой шатер:
Братьев, сестер.
Руды моей вар,
Вражды моей чан,
Богиня Иштар,
Храни мой колчан...
(Взял меня – хан!)
Чтоб не жил, кто стар,
Чтоб не жил, кто хвор,
Богиня Иштар,
Храни мой костер:
(Пламень востер!)
Чтоб не жил – кто стар,
Чтоб не жил – кто зол,
Богиня Иштар,
Храни мой котел
(Зарев и смол!)
Чтоб не жил – кто стар,
Чтоб нежил – кто юн!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Богиня Иштар,
Стреми мой табун
В тридевять лун!
14 февраля 1923

Облака

1

Перекрытые – как битвой
Взрыхленные небеса.
Рытвинами – небеса.
Битвенные небеса.
Перелетами – как хлестом
Хлестанные табуны.
Взблестывающей Луны
Вдовствующей – табуны!

2

Стой! Не Федры ли под небом
Плащ? Не Федрин ли взвился
В эти марафонским бегом
Мчащиеся небеса!
Стой! Иродиады с чубом –
Блуд... Не бубен ли взвился
В эти иерихонским трубом
Рвущиеся небеса!

3

Нет! Вставший вал!
Пал – и пророк оправдан!
Раз – дался вал:
Целое море – на два!
Бо – род и грив
Шестие морем Чермным!
Нет! – се – Юдифь –
Голову Олоферна!

1 мая 1923

Ручьи

1

Прорицаниями рокоча,
Нераскаянного скрипача
Pisicato'ми... Разрывом бус!
Паганиниевскими «добьюсь!»
Опрокинутыми...

Нот, планет –
Ливнем!

– Вывезет!!!

– Конец... На нет...

Недосказанностями тишизн
Заговаривающие жизнь:
Страдивариусами в ночи
Проливающиеся ручьи.

4 мая 1923

2

Монистом, расколотым
На тысячу блях –
Как Дзингара в золоте
Деревня в ручьях.
Монистами – вымылась!
Несется как челн
В ручьевую жимолость

Окунутый холм.

Монистами-сбруями...

(Гривастых теней

Монистами! Сбруями

пропавших коней...)

Монистами-бусами...

(Гривастых монет

Монистами! Бусами

пропавших планет...)

По кручам, по впадинам,
И в щеку, и в пах –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Как Дзингара в краденом –
Деревня в ручьях.
Споём-ка на радостях!
Черны, горячи
Сторонкою крадучись
Цыганят ручьи.

6 мая 1923

Окно

Атлантским и сладостным
Дыханьем весны –
Огромною бабочкой
Мой занавес – и –
Вдовою индусскою
В жерло златоустое,
Наядою сонною
В моря законные...

5 мая 1923

Час души

1

В глубокий час души и ночи,
Нечислящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечислящиеся в ночах
Ничьих еще, двойной запрудой
– Без памяти и по края! –
Покоящиеся...

Отсюда

Жизнь начинается твоя.
Седеющей волчицы римской
Взгляд, в выкормыше зрящей – Рим!
Сновидящее материнство
Скалы... Нет имени моим
Потерянностям... Все покровы
Сняв – выросшая из потерь! –
Так некогда над тростниковой
Корзиною клонилась дочь
Египетская...

14 июля 1923

2

В глубокий час души,
В глубокий – ночи...
(Гигантский шаг души,
Души в ночи)
В тот час, душа, верши
Миры, где хочешь
Царить – чертог души,
Душа, верши.
Ржавь губы, пороши
Ресницы – снегом.
(Атлантский вздох души,
души – в ночи...)
В тот час, душа, мрачи
Глаза, где вегой
Взойдешь... Сладчайший плод,
Душа, горчи.

Горчи и омрачай:

Расти: верши.

8 августа 1923

3

Есть час души, как час Луны,
Совы – час, мглы – час, тьмы –
Час... Час Души – как час струны
Давидовой сквозь сны
Сауловы... В тот час дрожи,
Тщета, румяна смой!
Есть час Души, как час грозы,
Дитя, и час сей – мой.
Час сокровеннейших низов

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Грудных. – Плотины спуск!
Всё вещи сорвались с пазов,
Всё сокровенья – с уст!
С глаз – всё завесы! Всё следы –
Вспять! На линейках – нот –
Нет! Час Души, как час Беды,
Дитя, и час сей – бьет.
Беда моя! – так будешь звать.
Так, лекарским ножом
Истерзанные, дети – мать
Корят: «Зачем живем?»
А та, ладонями свежа
Горячку: «Надо. – Ляг»,
Да, час Души, как час ножа,
Дитя, и нож сей – благ.
14 августа 1923

«Не спать для кого-нибудь...»
Не спать для кого-нибудь – да! (шить, переписывать).
Не спать над кем-нибудь – да!
Не спать из-за кого-нибудь – ну, нет!

Сон

1

Врылась, забылась – и вот как с тысяче –
футовой лестницы без перил.
С хищностью следователя и сыщика
Всё мои тайны – сон перерыл.
Сопки – казалось бы, прочно замерли –
Не доверяйте смертям страстей!
Зорко – как следователь по камере
Сердца – расхаживает Морфей.
Вы! собирательное убожество!
Не обрывающиеся с крыш!
Знали бы, как на перинах лёжачи
Преображаешься и паришь!
Рухаешь! Как скорлупою треснувшей –
Жизнь с ее грузом мужей и жен.
Зорко как летчик над вражьей местностью
Спящую – над душою сон.
Тело, что все свои двери заперло –
Тщетно! – уж ядра поют вдоль жил.
С точностью сбирра и оператора
Всё мои раны – сон перерыл!
Вскрыта! ни щелки в райке, под куполом,
Где бы укрыться от вещей глаз
Собственных. Духовником подкупленным
Всё мои тайны – сон перетряс!

24 ноября 1924

2

В мозгу ухаб пролёжан, –
Три века до весны!
В постель иду, как в ложу:
Затем, чтоб видеть сны:
Сновидеть: рай Данилов
Зреть и Ахиллов шлем
Священный, – стен не видеть!
В постель иду – затем.
Разведены с Мартыном
Задекою – не всё!
Не доверяй перинам:
С сугробами в родстве!
Занежат, – лесты женской
Пух, рук и ног захват.
Как женщина младенца
Трехдневного заспят.
Спать! Потолок как короб
Снять! Синевою запить!
В постель иду как в прорубь:
Вас, – не себя топить!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Заокеанских тропик
Прель, Индостана – ил...
В постель иду как в пропасть:
Перины – без перил!
26 ноября 1924
«Жизнь я прожила в случайных местах...»
Жизнь я прожила в случайных местах, с случайными людьми, без всякой попытки
корректива.

Наибольшим событием (и наидлительнейшим) своей жизни считаю Наполеона.

Все события моей жизни настолько меньше моей силы и моей жажды, что я в них
просто не вмешиваюсь: чего тут исправлять!

Всё это: случайность людей и мест – отлично зная свою породу людей (душ) и мест,
узнавая их в веках и на картинах по первому взгляду (что вовсе не значит, что
когда-то здесь, с ними – жила! О другом узнавании говорю, об узнавании:
не-воспоминании!).

«Стрбить свою жизнь» – да, если бы на это были даны все времена и вся карта. А
выбрать – друзей – из сотни, места – из десятка мест – лучше совсем не
вмешиваться, дать жизни (случайности) самочинствовать до конца.

И в это неправое дело – не вмешиваюсь.

* * *

Чувствую свой посмертный вес.

«Высокомерье – каста...»
Высокомерье – каста:
Чем недостаток – отказ.
Что говорить: не часто!
В тысячелетье – раз.
Всё, что сказала – крайний
Крик (морьякам знаком!)
А остальное – тайна:
Вырежут с языком.
16 мая 1925
(на прогулке)
«Закрыв глаза – раз иначе нельзя...»
Закрыв глаза – раз иначе нельзя –
(А иначе – нельзя!) закрыв глаза –
На бывшее (чем топтаннее травка –
Там гуще лишь!), но ждущее – да завтра ж!
Не ждущее уже: смерть, у меня
Не ждущая до завтрашнего дня...
Так, опустив глубокую завесу,
Закрыв глаза, как занавес над пьесой:
Над местом, по которому метла...
(А голова, как комната – светла!)
На голову свою –
– да попросту – от света
Закрыв глаза, и не закрыв, а сжав –
Всем существом в ребро, в плечо, в рукав –
– Как скрипачу вовек не разучиться! –
В знакомую, глубокую ключицу –
В тот жаркий ключ, изустный и живой –
Что нам воды – дороже – ключевой.
Сентябрь 1932
Куст
1
Что нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человеческой, клянчу
Которую – голову прячу
В него же (седей – день от дня!).
Сей мощи, и плечи, и гуще –
Что нужно кусту – от меня?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Имущему – от неимущей!

А нужно! иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б – тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,
что только кустом не пуста:
Окном моим всех захолустий!
что, полная чаша куста,
Находишь на сем – месте пусте?
Эолова арфа куста!
Чего не видал (на ветвях
Твоих – хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?
Чего не слышал (на ветвях
Молва не рождается в муках!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания звуках?
Да вот и сейчас, словарю
Предавши бессмертную силу –
Да разве я то говорю,
что знала, – пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
Губ, той – за которой осколки...
И снова, во всей полноте,
Знать буду – как только умолкну.

2

А мне от куста – не шуми
Минуточку, мир человеческий! –
А мне от куста – тишины:
Той – между молчаньем и речью,
Той – можешь ничем, можешь – всем
Назвать: глубока, неизбывна.
Невнятности! наших поэм
Посмертных – невнятицы дивной.
Невнятицы старых садов,
Невнятицы музыки новой,
Невнятицы первых слогов,
Невнятицы Фауста Второго.
Той – до всего, после всего.
Гул множеств, идущих на форум.
Ну – шума ушного того,
Всё соединилось – в котором.
Как будто бы все кувшины
Востока – на знойное всхолмье.
Такой от куста – тишины,
Полнее не выразишь: полной.
Около 20 августа 1934

Любовь, Любовь...

Поэма Горы

Liebster, Dich wundert die Rede? Alle Scheidenden reden wie Trunkene und nehmen
gerne sich festlich...

Hölderlin[18]

Посвящение

Вздогнешь – и горы с плеч,
и душа – горé.

Дай мне о горé спеть:

О моей горé!

Черной ни днешь, ни впредь

не заткну дыры.

Дай мне о горé спеть

на верху горы.

1

Та гора была как грудь

Рекрута, снарядам сваленного.

Та гора хотела губ

девственных, обряда свадебного

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Требовала та гора.

– Океан в ушную раковину
Вдруг-ворвавшимся ура! –
та гора гнала и ратовала.
Та гора была как гром!
Грудь, титанами разыгранная!
(Той горы последний дом
Помнишь – на исходе пригорода?)
Та гора была – миры!
Бог за мир взывает дорого!

..... * *
Горе началось с горы.
Та гора была над городом.

2
Не Парнас, не Синай,
Просто голый казарменный
Холм. – Равняйся! Стреляй! –
Отчего же глазам моим
(Раз октябрь, а не май)
Та гора была – рай?

3
Как на ладони поданный
Рай – не берись, коль жгуч!
Гора бросалась под ноги
Колдобинами круч.
Как бы титана лапами
Кустарников и хвой –
Гора хватала за полы,
Приказывала: стой!
О, далеко не азбучный
Рай – сквознякам сквозняк!
Гора валила навзничь нас,
Притягивала: ляг!
Оторопел под натиском,
– Как? Не понять и днесь! –
Гора, как сводня – святости,
Указывала: здесь...

4
Персефоны зерно гранатовое,
Как забыть тебя в стужах зим?
Помню губы, двойною раковиной
Приоткрывшиеся моим.
Персефона, зерном загубленная!
Губ упорствующий багрец,
И ресницы твои – зазубринами,
И звезды золотой зубец.

5
Не обман – страсть, и не вымысел!
И не лжет, – только не дли!
О когда бы в сей мир явились мы
Простолюдинами любви!
О когда б, здраво и попросту:
Просто – холм, просто – бугор..
Говорят – тягою к пропасти
Измеряют уровень гор.
В ворохах вереска бурого,
В островах страждущих хвой..
(Высота бреда – над уровнем
жизни)

– На же меня! Твой..
Но семьи тихие милости,
Но птенцов лепет – увы!
Оттого что в сей мир явились мы –
Небожителями любви!

6
Гора горевала (а горы глиной
Горькой горюют в часы разлук),
Гора горевала о голубиной

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Нежности наших безвестных утр.
Гора горевала о нашей дружбе:
Губ непреложнейшее родство!
Гора говорила, что коемужды
Сбудется – по слезам его.
Еще горевала гора, что табор –
Жизнь, что весь век по сердцам базарь!
Еще горевала гора: хотя бы
С дитятком – отпустил Агарь!
Еще говорила, что это демон
Крутит, что замысла нет в игре.
Гора говорила. Мы были немые.
Предоставляли судить горе.

7

Гора горевала, что только грустью
Станет – что ныне и кровь и зной.
Гора говорила, что не отпустит
Нас, не допустит тебя с другой!
Гора горевала, что только дымом
Станет – что ныне: и Мир, и Рим.
Гора говорила, что быть с другими
Нам (не завидую тем, другим!).
Гора горевала о страшном грузе
Клятвы, которую поздно клясть.
Гора говорила, что стар тот узел
Гордиев: долг и страсть.
Гора горевала о нашем горе:
Завтра! Не сразу! Когда над лбом –
Уже не – memento[19], – а просто – море!
Завтра, когда пойдем.
Звук... ну как будто бы кто-то просто,
Ну... плачет вблизи?
Гора горевала о том, что врозь нам
Вниз, по такой грязи –
В жизнь, про которую знаем всё мы:
Сброд – рынок – барак.
Еще говорила, что все поэмы
Гор – пишутся – так.

8

Та гора была, как горб
Атласа, титана стонущего.
Той горою будет горд
Город, где с утра и до ночи мы
Жизнь свою – как карту бьем!
Страстные, не быть упорствуем.
Наравне с медвежьим рвом
И двенадцатью апостолами –
Чтите мой угрюмый грот.
(Грот – была, и волны впрыгивали!)
Той игры последний ход
Помнишь – на исходе пригорода?
Та гора была – миры!
Боги мстят своим подобиям!

.....
Горе началось с горы.
Та гора на мне – надгробием.

9

Минут годы. И вот – означенный
Камень, плоским смененный, снят[20].
Нашу гору застроят дачами,
Палисадниками стеснят.
Говорят, на таких окраинах
Воздух чище и легче жить.
И пойдут лоскуты выкраивать,
Перекладинами рябить,
Перевалы мои выструнивать,
Все овраги мои – вверх дном!
Ибо надо ведь хоть кому-нибудь

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
 Дома в счастье, и счастья – в дом!
 Счастья – в доме! Любви без вымыслов!
 Без вытья – гивания жил!
 Надо женщиной быть – и вынести!
 (Было-было, когда ходил,
 Счастье – в доме!) Любви, не скрашенной
 Ни разлукою, ни ножом.
 На развалинах счастья нашего
 Город встанет: мужей и жен.
 И на том же блаженном воздухе,
 – Пока можешь еще – грехи! –
 Будут лавочки на отдыхе
 Пережевывать барыши,
 Этажи и ходы надумывать,
 Чтобы каждая нитка – в дом!
 Ибо надо ведь хоть кому-нибудь
 Крыши с аистовым гнездом!
 10
 Но под тяжестью тех фундаментов
 Не забудет гора – игры.
 Есть беспутные, нет – беспамятных:
 Горы времени – у горы!
 По упорствующим расселинам
 Дачник, поздно хватясь, поймет:
 Не пригорок, поросший семьями, –
 Кратер, пущенный в оборот!
 Виноградниками – Везувия
 Не сковать! Великана – льном
 Не связать! Одного безумия
 Уст – достаточно, чтобы львом
 Виноградники за – ворочались,
 Лаву ненависти струя.
 Будут девками ваши дочери
 И поэтами – сыновья!
 Дочь, ребенка расти внебрачного!
 Сын, цыганкам себя страви!
 Да не будет вам места злачного,
 Телеса, на моей крови!
 Твёрже камня краеугольного,
 Клятвой смертника на одре:
 Да не будет вам счастья дольного,
 Муравьи, на моей горе!
 В час неведомый, в срок негаданный
 Опознаете всей семьей
 Непомерную и громадную
 Гору заповеди седьмой!
 Послесловие
 Есть пробелы в памяти – бельма
 На глазах: семь покрывал.
 Я не помню тебя отдельно.
 Вместо чёрт – белый провал.
 Без примет. Белым пробелом –
 Весь. (Душа, в ранах сплошных,
 Рана – сплошь.) Частности мелом
 Отмечать – дело портных.
 Небосвод – цельным основан.
 Океан – скопище брызг?!
 Без примет. Верно – особый –
 Весь. Любовь – связь, а не сыск.
 Вороной, русой ли масти –
 Пусть сосед скажет: он зряч.
 Разве страсть – делит на части?
 Часовщик я, или врач?
 Ты как круг, полный и цельный:
 Цельный вихрь, полный столбняк.
 Я не помню тебя отдельно
 От любви. Равенства знак.
 (В ворохах сонного пуха:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Водопад, пены холмы –

Новизной, странной для слуха,

Вместо: я – тронное: мы...)

Но зато, в нищей и тесной

Жизнь: «жизнь, как она есть» –

Я не вижу тебя совместно

Ни с одной:

– памяти мечь!

Прага. Гора,

1 января – 1 февраля 1924

Поэма Конца

1

В небе, ржавее жести,

Перст столба.

Встал на назначенном месте,

Как судьба.

– Бэз четверти. Исправен?

– Смерть не ждет.

Преувеличенно-плавлен

Шляпы взлет.

В каждой реснице – вызов.

Рот сведен.

Преувеличенно-низок

Был поклон.

– Бэз четверти. Точен? –

Голос лгал.

Сердце упало: что с ним?

Мозг: сигнал!

Небо дурных предвестий:

Ржавь и жечь.

Ждал на обычном месте.

Время: шесть.

Сей поцелуй без звука:

Губ столбняк.

Так – государыням руку,

Мертвым – так...

Мчащийся простолюдин

Локтем – в бок.

Преувеличенно-нуден

Взвыл гудок.

Взвыл, – как собака взвизгнул,

Длился, злясь.

(Преувеличенность жизни

В смертный час.)

То, что вчера – по пояс,

Вдруг – до звезд.

(Преувеличенно, то есть:

Во весь рост.)

Мысленно: милый, милый.

– Час? Седьмой.

В кинематограф, или?.. –

Взрыв: Домой!

2

Братство таборное, –

Вот куда вело!

Громом на голову,

Саблей наголо,

Всеми ужасами

Слов, которых ждем,

Домом рушащимся –

Слово: дом.

.....
Заблудшего баловня

Вопль: домой!

Дитя годовалое:

«Дай» и «мой»!

Мой брат по беспутству,

Мой зноб и зной,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Так из дому рвутся,
Как ты – домой!

.....
Конем, рванувшим коновязь –
Ввысь! – и веревка в прах.
– Но никакого дома ведь!
– Есть, – в десяти шагах:
Дом на горе. – Не выше ли?
– Дом на верху горы.
Окно под самой крышею.
– «Не от одной зари
Горящее?» Так сызнова
Жизнь? – Простота поэм!
Дом, это значит: из дому
В ночь.

(О, кому повем
Печаль мою, беду мою,
Жуть, зеленее льда?..)
– Вы слишком много думали. –
Задумчивое: – Да.

3
И – набережная. Воды
Держусь, как толщи плотной.
Семирамидины сады
Висячие – так вот вы!
Воды – стальная полоса
Мертвецкого оттенка –
Держусь, как нотного листка
Певица, края стенки –
Слепец... Обрато не отдать?
Нет? Наклонюсь – услышишь?
Всеутолительницы жажд
Держусь, как края крыши
Лунатик...

Но не от реки
Дрожь – рождена наядой!
Реки держаться, как руки,
Когда любимый рядом –
И верен...

Мертвые верны.
Да, но не всем в каморке...
Смерть с левой, с правой стороны –
Ты. Правый бок как мертвый.
Разительного света сноп.
Смех, как грошовый бубен.
– Нам с вами нужно бы...
(Озноб.)

– Мы мужественны будем?

4
Тумана белокурого
Волна – воланом газовым.
Надышано, накурено,
А главное – насказано!
Чем пахнет? Спешкой крайнею,
Потачкой и грешком:
Коммерческими тайнами
И бальным порошком.
Холостяки семейные
В перстнях, юнцы маститые...
Нашучено, насмеяно,
А главное – насчитано!
И крупными, и мелкими,
И рыльцем, и пушком.
...Коммерческими сделками
И бальным порошком.
(Вполоборота: это вот –
Наш дом? – Не я хозяйкою!)
Один – над книжкой чековой,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Другой – над ручкой лайковой,
А тот – над ножкой лаковой
Работает тишком.
...Коммерческими браками
и бальным порошком.
Серебряной зазубриной
В окне – звезда мальтийская!
Наласкано, налюблено,
А главное – натискано!
Нащипано... (Вчерашняя
Снедь – не взыщи: с душком!)
...Коммерческими шашнями
и бальным порошком.
Цепь чересчур короткая?
Зато не сталь, а платина!
Тройными подбородками
Тряся, тельцы – телятину
Жуют. Над шейкой сахарной
Чёрт – газовым рожком.
...Коммерческими крахами
и неким порошком –
Бертольда Шварца...
Даровит
Был – и заступник людям.
– Нам с вами нужно говорить.
Мы мужественны будем?
5
Движение губ ловлю.
И знаю – не скажет первым.
– Не любите? – Нет, люблю.
– Не любите! – Но истерзан,
Но выпит, но изведен.
(Орлом озирая местность):
– Помилуйте, это – дом?
– Дом – в сердце моем. –
Словесность!
Любовь, это плоть и кровь.
Цвет – собственной кровью полит.
Вы думаете, любовь –
Беседовать через столик?
Часочек – и по домам?
Как те господа и дамы?
Любовь, это значит...
– Храм?
Дитя, замените шрамом
На шраме! – Под взглядом слуг
и бражников? (Я, без звука:
«Любовь – это значит лук
натянутый: лук: разлука».)
– Любовь, это значит – связь.
Всё врозь у нас: рты и жизни.
(Просила ж тебя: не сглазь!
В тот час, в сокровенный, ближний,
Тот час на верху горы
и страсти. Memento[21] – паром:
Любовь – это все дары
в костер, – и всегда – задаром!)
Рта раковинная щель
Бледна. Не усмешка – опись.
– И прежде всего одна
Постель.
– Вы хотели пропасть
сказать? – Барабанный бой
Перстов. – Не горами двигать!
Любовь, это значит...
– Мой.
Я вас понимаю. Вывод?
.....

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Перстов барабанный бой
Растет. (Эшафот и площадь.)

– Уедем. – А я: умрем,
Надеялась. Это проще!

Достаточно дешевизн:

Рифм, рельс, номеров, вокзалов..

– Любовь, это значит: жизнь.

– Нет, иначе называлось

У древних...

– Итак? –

Лоскут

Платка в кулаке, как рыба.

– Так едемте? – Ваш маршрут?

Яд, рельсы, свинец – на выбор!

Смерть – и никаких устройств!

– Жизнь! – Как полководец римский,

Орлом озирая войск

Остаток.

– Тогда простимся.

б

– Я этого не хотел.

Не этого. (Молча: слушай!

Хотеть – это дело тел,

А мы друг для друга – души

Отныне...) – И не сказал.

(Да, в час, когда поезд подан,

Вы женщинам, как бокал,

Печальную честь ухода

Вручаете...) – Может, бред?

Ослышался? (Лжец учтивый,

Любовнице как букет

Кровавую честь разрыва

Вручающий...) – Внятно: слог

За слогом, итак – простимся,

Сказали вы? (Как платок,

В час сладостного бесчинства

Уроненный...) – Битвы сей

Вы – Цезарь. (О, выпад наглый!

Противнику – как трофей,

Им отданную же шпагу

Вручать!) – Продолжает. (Звон

В ушах...) – Преклоняюсь дважды:

Впервые опережен

В разрыве. – Вы это каждой?

Не опровергайте! Мечь,

Достойная Ловеласа.

Жест, делающий вам честь,

А мне разводящий мясо

От кости. – Смешок. Сквозь смех –

Смерть. Жест. (Никаких хотений.

Хотеть, это дело – тех,

А мы друг для друга – тени

Отныне...) Последний гвоздь

Вбит. Винт, ибо гроб свинцовый.

– Последнейшая из просьб.

– Прошу. – Никогда ни слова

О нас... никому из... ну...

Последующих. (С носилок

Так раненые – в весну!)

– О том же и вас просила б.

Колечко на память дать? – Нет.

– Взгляд, широко –

разверстый,

Отсутствует. (Как печать

На сердце твое, как перстень

На руку твою... Без сцен!

Съем.) Вкрадчивее и тише:

– Но книгу тебе? – Как всем?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Нет, вовсе их не пишете,
Книг...

.....
Значит, не надо.
Значит, не надо.
Плакать не надо.
В наших бродящих
Братствах рыбацких
Пляшут – не плачут.
Пьют, а не плачут.
Кровью горячей
Платят – не плачут.
Жемчуг в стакане
Плавят – и миром
Правят – не плачут.
– Так я ухожу? – Насквозь
Гляжу. Арлекин, за верность,
Пьеретте своей – как кость
Презреннейшее из первенств
Бросающий: честь конца,
Жест занавеса. Реченье
Последнее. Дюйм свинца
В грудь: лучше бы, горячей бы
И – чище бы...
Зубы
Втиснула в губы.
Плакать не буду.
Самую крепость –
В самую мякоть.
Только не плакать.
В братствах бродящих
Мрут, а не плачут,
Жгут, а не плачут.
В пепел и в песню
Мертвого прячут
В братствах бродячих.
– Так первая? Первый ход?
Как в шахматы, значит? Впрочем,
ведь даже на эшафот
Нас первыми просят...
– Срочно
Прошу, не смотрите! – Взгляд. –
(Вот-вот уже хлынут градом!
Ну как их загнать назад
В глаза?!) – Говорю, не надо
Глядеть!!!
Внятно и громко,
Взгляд в вышину:
– Милый, уйдемте,
Плакать начну!
Забыла! Среди копилки
Живых (коммерсантов – тож!)
Белокурый сверкнул затылок:
Маис, кукуруза, рожь!
Все заповеди Синая
Смывая – менады мех! –
Голконда волосая,
Сокровищница утех –
(Для всех!) Не напрасно копит
Природа, не сплошь скупа!
Из сих белокурых тропик,
Охотники, – где тропа
Назад? Наготовою грубой
Дразня и слепя до слез –
Сплошным золотым прелюбом
Смеющимся пролилось.
– Не правда ли? – Лынущий,
мнущий

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Взгляд. В каждой реснице – зуд.

– И главное – эта гуща!

Жест, скручивающий в жгут.

О, рвущий уже одежды –

Жест! Проще, чем пить и есть –

Усмешка! (Тебе надежда,

увы, на спасенье есть!)

И – сестрински или братски?

Союзнически: союз!

– Не похоронив – смеяться!

(И похоронив – смеюсь.)

7

И – набережная. Последняя.

Всё. Порознь и без руки,

Чурающимися соседями

Бредем. Со стороны реки –

Плач. Падающую соленую

Ртуть слизываю без забот:

Луны огромной Соломоновой

Слезам не выслал небосвод.

Столб. Отчего бы лбом не стукнуться

в кровь? Вдребезги бы, а не в кровь!

Страшались сопреступниками

Бредем. (Убитое – Любовь.)

Брось! Разве это двое любящих?

В ночь? Порознь? С другими спать?

– Вы понимаете, что будущее –

Там? – Запрокидываюсь вспять.

– Спать! – Новобрачными

по коврику...

– Спать! – Всё не попадаем в шаг,

в такт. Жалобно: – Возьмите под руку!

Не каторжники, чтобы так!..

Ток. (Точно мне душою – на руку

Лег! – На руку рукою.) Ток

Бьет, проводами лихорадочными

Рвет, – на душу рукою лег!

Льнет. Радужное всё! Что радужнее

Слез? Занавесом, чаще бус,

Дождь. – Я таких не знаю набережных

Кончающихся. – Мост, и: – Ну-с?

Здесь? (Дроги поданы.)

Спо – койных глаз

Взлет. – Можно до дому?

В по – следний раз!

8

По – следний мост.

(Руки не отдам, не выну!)

Последний мост,

Последняя мостовина.

Во – да твердь.

Выкладываю монеты.

День – га за смерть,

Харонова мзда за Лету.

Мо – неты тень

В руке теневой. Без звука

Мо – неты – тем.

Итак, в теневую руку –

Мо – неты тень.

Без отсвета и без звяка.

Мо – неты – тем.

С умерших довольно маков.

Мост.

.....

Бла – гая часть

Любовников без надежды:

Мост, ты – как страсть:

Условность: сплошное между.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Гнезжусь: тепло,
Ребро – потому и льну так.
Ни до, ни по:
Прозрения промежутки!
Ни рук, ни ног.
Всей костью и всем упором:
жив только бок,
О смежный теснюсь которым.
вся жизнь – в боку!
Он – ухо и он же – эхо.
Желтком к белку
Леплюсь, самоедом к меху
Теснюсь, леплюсь,
Мощусь. Близнецы Сиама,
что – ваш союз?
Та женщина – помнишь: мамой
Звал? всё и вся
Забыв, в торжестве недвижимом
Те – бя нося,
Тебя не держала ближе.
пойми! сжились!
Сбылись! На груди баюкал!
Не брошусь вниз!
Нырять – отпускать бы руку
При – шлось. И жмусь,
И жмусь... И неотторжима.
Мост, ты не муж:
Любовник – сплошное мимо!
Мост, ты за нас!
Мы реку телами кормим!
Плю – щом впилаась,
Клещом: вырывайте с корнем!
Как плющ! как клещ!
Безбожно! Бесчеловечно!
Бро – сать, как вещь,
Меня, ни единой вещи
Не чтившей в сём
Вещественном мире дутом!
Скажи, что сон!
что ночь, а за ночью – утро,
Эк – спресс и Рим!
Гренада? Сама не знаю,
Смахнув перин
Монбланы и Гималаи.
Про – гал глубок:
Последнею кровью грею.
Про – слушай бок!
ведь это куда вернее
сти – хов... Прогрет
ведь? завтра к кому наймешься?
ска – жи, что бред!
что нет и не будет мосту
кон – ца...
– конец.

.....
– Здесь? – Детский, божеский
жест. – Ну-с? – Впилаась.

– Е-ще немножечко:
в последний раз!

9

Корпусами фабричными, зычными
и отзывчивыми на зов...
Сокровенную, подъязычную
Тайну жен от мужей и вдов
от друзей – тебе, подноготную
Тайну Евы от древа – вот:
я не более чем животное,
кем-то раненное в живот.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Жжет... Как будто бы душу сдернули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.
Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!
Было тело, хотело жить,
Жить не хочет.

.....
Прости меня! Не хотела!
Вопль вспоротого нутра!
Так смертники ждут расстрела!
В четвертом часу утра
За шахматами... Усмешкой
Дразня коридорный глаз.
Ведь шахматные же пешки!
И кто-то играет в нас.
Кто? Боги благие? Воры?
Во весь окоем глазка –
Глаз. Красного коридора
Лязг. Вскинутая доска.
Махорочная затяжка.
Сплёв, пожилы значит, сплёв.
...По сим тротуарам в шашку
Прямая дорога: в ров
И в кровь. Потайное око:
Луны слуховой глазок...

.....
И покосившись сбоку:
– Как ты уже далек!
10
Совместный и сплóченный
Вздрог. – Наша молочная!
Наш остров, наш храм,
Где мы по утрам –
Сброд! Пара минутная! –
Справляли заутреню.
Базаром и закисью,
Сквозь-сном и весной...
Здесь кофе был пакостный, –
Совсем овсяной!
(Овсом своенравие
Гасить в рысаках!)
Отнюдь не Аравией –
Аркадией пах
Тот кофе...
Но как улыбалась нам,
Рядком усадив,
Бывалой и жалостной, –
Любовниц седых
Улыбкою бережной:
Увянешь! Живи!
Безумью, безденежью,
Зевку и любви, –
А главное – юности!
Смешку – без причин,
Усмешке – без умысла,
Лицу – без морщин, –
О, главное – юности!
Страстям не по климату!
Откуда-то дунувшей,
Откуда-то хлынувшей
В молочную тусклую:
– Бурнус и Тунис! –
Надеждам и мускулам
Под ветхостью риз...
(Дружочек, не жалеюсь:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Рубец на рубце!)
О, как провожала нас
Хозяйка в чепце
Голландского глаженья...

.....
Не довспомнивши, не допонявши,
Точно с праздника уведены..
– Наша улица! – Уже не наша... –
– Сколько раз по ней... –
 Уже не мы... –
– Завтра с западу встанет солнце!
– С Иеговой порвет Давид!
– Что мы делаем? – Расстаемся.
– Ничего мне не говорит
Сверхбессмысленнейшее слово:
Рас – стаемся. – Одна из ста?
Просто слово в четыре слога,
За которыми пустота.
Стой! По-сербски и по-кroatски,
Верно, Чехия в нас чудит?
Рас – ставание. Расставаться..
Сверхъестественнейшая дичь!
Звук, от коего уши рвутся,
Тянутся за предел тоски..
Расставание – не по-русски!
Не по-женски! не по-мужски!
Не по-Божески! Что мы – овцы,
Раззевавшиеся в обед?
Расставание – по-каковски?
Даже смысла такого нет,
Даже звука! Ну, просто полый
Шум – пилы, например, сквозь сон.
Расставание – просто школы
Хлебникова соловьиный стон,
Лебединый...

 Но как же вышло?
Точно высохший водоем –
Воздух! Руку о руку слышно.
Расставаться – ведь это гром
На голову... Океан в каюту!
Океании крайний мыс!
Эти улицы – слишком круты:
Расставаться – ведь это вниз,
Под гору... Двух подошв пудовых
Вздых... Ладонь, наконец, и гвоздь!
Опрокидывающий довод:
Расставаться – ведь это врозь,
Мы же – сросшиися...

11
Разом проигрывать –
Чище нет!
Загород, пригород:
Дням конец.
Негам (читай – камням),
Дням, и домам, и нам.
Дачи пустующие! Как мать
Старую – так же чту их.
Это ведь действие – пустовать:
Полое не пустует.
(Дачи, пустующие на треть,
Лучше бы вам сгореть!)
Только не вздрагивать,
Рану вскрыв.
Загород, загород,
Швам разрыв!
Ибо – без лишних слов
Пышных – любовь есть шов.
Шов, а не перевязь, шов – не щит.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– О, не проси защиты! –
Шов, коим мертвый к земле пришит,
Коим к тебе пришита.

(Время покажет еще, каким:
легким или тройным!)

Так или иначе, друг, – по швам!
Дребезги и осколки!

Только и славы, что треснул сам:
Треснул, а не расползся!
Что под наметкой – живая жиль
Красная, а не гниль!

О, не проигрывает –
кто рвет!

Загород, пригород:
Лбам развод.

По слободам казнят
Нынче, – мозгам сквозняк!

О, не проигрывает, кто прочь –
В час, как заря займется.

Целую жизнь тебе сшила в ночь
Набело, без наметки.

Так не кори же меня, что вкривь.
Пригород, швам разрыв.

Души неприбранные –
В рубцах!..

Загород, пригород...
Яр размах

Пригорода. Сапогом судьбы,
Слышишь – по глине жидкой?

...Скорую руку мою суди,
Друг, да живую нитку
Цепкую – как ее ни канай!
По – следний фонарь!

.....
Здесь? Словно заговор –
Взгляд. Низших рас –
Взгляд. – Можно на гору?
В по – следний раз!

12

Частой гривую
Дождь в глаза. – Холмы.

Миновали пригород.
За городом мы.

Есть – да нету нам!
Мачеха – не мать!

Дальше некуда.
Здесь околевать.

Поле. Изгородь.
Брат стоим с сестрой.

Жизнь есть пригород. –
За городом строй!

Эх, проигранное
дело, господи!

Всё-то – пригороды!
Где же города?!

Рвет и бесится
Дождь. Стоим и рвем.

За три месяца
Первое вдвоем!

И у Иова,
Бог, хотел займы?

Да не выгорело:
За городом мы!

.....
За городом! Понимаешь? За!
Вне! Перешед вал!

Жизнь – это место, где жить
нельзя:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Ев – рейский квартал...
Так не достойнее ль во сто крат
Стать Вечным Жидом?

Ибо для каждого, кто не гад,
Ев – рейский погром –
Жизнь. Только выкрестами жива!
Иудами вер!

На прокаженные острова!
В ад! – всюду! – но не в
Жизнь, – только выкрестов
терпит, лишь

Овец – палачу!
Право-на-жительство свой
лист

Но – гами топчу!
Втаптываю! За Давидов щит –
Мечь! – В месиво тел!
Не упоительно ли, что жид
Жить – не захотел?!
Гетто избранничеств! Вал и ров.
По – щады не жди!
В сём христианнейшем из миров
Поэты – жида!

13
Так ножи востряют о камень,
Так опилки метлами
Смахивают. Под руками
Меховое, мокрое.
Где ж вы, двойни:
Сушь мужская, мощь?
Под ладонью –
Слезы, а не дождь!
О каких еще соблазнах –
Речь? водой – имущество!
После глаз твоих алмазных,
Под ладонью льющихся, –
Нет пропажи
Мне. Конец концу!
Глажу – глажу –
Глажу по лицу.
Такова у нас. Маринок,
Спесь, – у нас, полячек-то.
После глаз твоих орлиных,
Под ладонью плачущих...
Плачешь? Друг мой!
Всё мое! Прости!
О, как крупно,
Солоно в горсти!
Жестока слеза мужская:
Обухом по темени!
Плачь, с другими наверху
Стыд, со мной потерянный.
Оди – накового
Моря – рыбы! Взмах:
...Мертвой раковинной
Губы на губах.

.....
В слезах.
Лебеда –
На вкус.
– А завтра,
Когда
Проснусь?

14
Тропою овечьей –
Спуск. Города гам.
Три девки навстречу.
Смеются. Слезам

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Смеются, – всем полднем
Недр, гребнем морским!
Смеются!

– недолжным,
Позорным, мужским
Слезам твоим, видным
Сквозь дождь – в два рубца!
Как жемчуг – постыдным
На бронзе бойца.
Слезам твоим первым,
Последним, – о, лей! –
Слезам твоим – перлам
В короне моей!
Глаз явно не туплю.
Сквозь ливень – перюсь.
Венерины куклы,
Вперяйтесь! Союз
Сей более тесен,
Чем влечься и лечь.
Самой Песней Песен
Уступлена речь
Нам, птицам безвестным
Челом Соломон
Бьет, – ибо совместный
Плач – больше, чем сон!

И в полые волны
Мглы – сгорблен и равн –
Бесследно – безмолвно –
Как тонет корабль.
Прага, 1 февраля –
Иловищи, 8 июня 1924
На радость
С. Э.

Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час
И звериные берлоги
И старинные чертоги...
Милый, милый, мы, как боги:
Целый мир для нас!
Всюду дома мы на свете,
Всё зовя своим.
В шалаше, где чинят сети,
На сияющем паркете...
Милый, милый, мы, как дети:
Целый мир двоим!
Солнце жжет, – на север с юга,
Или на луну!
Им очаг и бремя плуга,
Нам простор и зелень луга...
Милый, милый, друг у друга
Мы навек в плену!
1910
Асе
1
Мы быстры и наготове,
Мы остры.
В каждом жесте, в каждом взгляде,
в каждом слове. –
Две сестры.
Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска –
Два клинка.
Прочь, гумно и бремя хлеба,
И волы!
Мы – натянутые в небо

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Две стрелы!

Мы одни на рынке мира
Без греха,
Мы – из Вильяма Шекспира
Два стиха.

11 июля 1913

2

Мы – весенняя одежда
Тополей,
Мы – последняя надежда
Королей.
Мы на дне старинной чаши,
Посмотри:
В ней твоя заря, и наши
Две зари.
И прильнув устами к чаше,
Пей до дна.
И на дне увидишь наши
Имена.

Светлый взор наш смел и светел
И во зле.

– Кто из вас его не встретил
– На земле?

Охраняя колыбель и мавзолей,
Мы – последнее виденье
Королей.

11 июля 1913

Сергею Эфрон-Дурново

1

Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря.

Вот он встал перед тобой:
Посмотри на лоб и брови
И сравни его с собой!
То усталость голубой,
Ветхой крови.

Торжествует синева
Каждой благородной веной.
Жест царевича и льва
Повторяют кружева
Белой пеной.

Вашего полка – драгун,
Декабристы и версальцы!
И не знаешь – так он юн –
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.

Коктебель,
19 июля 1913

2

Как водоросли Ваши члены,
Как ветви мальмэзонских ив...
Так Вы лежали в брызгах пены,
Рассеянно остановив

На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
Сине-зеленых, серо-синих,
Всегда полузакрытых глаз.

Летели солнечные стрелы
И волны – бешеные львы.
Так Вы лежали, слишком белый
От нестерпимой синевы...

А за спиной была пустыня
И где-то станция Джанкой...
И тихо золотилась дыня
Под Вашей длинной рукой.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Так, драгоценный и спокойный,
Лежите, взглядом не даря,
Но взглянете – и вспыхнут войны,
И горы двинутся в моря,
И новые зажгутся луны,
И лягут радостные львы –
По наклоненью Вашей юной,
Великолепной головы.

1 августа 1913

П. Э.

1

День августовский тихо таял
В вечерней золотой пыли.
Несли звенящие трамваи,
И люди шли.
Рассеянно, как бы без цели,
Я тихим переулком шла.
И – помнится – тихонько пели
Колокола.
Воображая Вашу позу,
Я все решала по пути;
Не надо – или надо – розу
Вам принести.
И все приготавливала фразу,
Увы, забытую потом. –
И вдруг – совсем неожиданно! – сразу! –
Тот самый дом.
Многоэтажный, с видом скуки...
Считаю окна, вот подъезд.
Невольным жестом ищут руки
На шее – крест.
Считаю серые ступени,
Меня ведущие к огню.
Нет времени для размышлений.
Уже звоню.
Я помню точно рокот грома
И две руки свои, как лед.
Я называю Вас. – Он дома,
Сейчас придет.

* * *

Пусть с юностью уносят годы
Все незабвенное с собой. –
Я буду помнить все разводы
Цветных обоев.
И бисеринки абажура,
И шум каких-то голосов,
И эти виды Порт-Артура,
И стук часов.
Миг, длительный по крайней мере –
Как час. Но вот шаги вдали.
Скрип раскрывающейся двери –
И Вы вошли.

* * *

И было сразу обаянье.
Склонился, королевски-прост. –
И было страшное сиянье
Двух темных звезд.
И их, огромные, прищуря,
Вы не узнали, нежный лик,
Какая здесь играла буря –
Еще за миг.
Я героически боролась.
– Мы с Вами даже ели суп! –
Я помню заглушенный голос
И очерк губ.
И волосы, пушистой меха,
И – самое родное в Вас! –
Прелестные морщинки смеха

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
У длинных глаз.

Я помню – Вы уже забыли –
Вы – там сидели, я – вот тут.
Каких мне стоило усилий,
Каких минут –

Сидеть, пуская кольца дыма,
И полный соблюдать покой...

Мне было прямо нестерпимо
Сидеть такой.

Вы эту помните беседу
Про климат и про букву ять.

Такому странному обеду
Уж не бывать.

Вполоборота, в полумраке
Смеюсь, сама не ожидав:

«Глаза породистой собаки,
– Прощайте, граф».

* * *

Потерянно, совсем без цели,
Я темным переулком шла.

И, кажется, уже не пели –
Колокола.

17 июня 1914

2

Прибой курчавился у скал, –
Протяжен, пенен, пышен, звонок...

Мне Вашу дачу указал –
Ребенок.

Невольно замедляя шаг
– Идти смелей как бы не вправо –

я шла, прислушиваясь, как
Скрежещет гравий.

Скрип проезжающей арбы
Без паруса. – Сквозь плющ зеленый

Блеснули белые столбы
Балкона.

Была такая тишина,
Как только в полдень и в июле.

Я помню: Вы лежали на
Плетеном стуле.

Ах, не оценят – мир так груб! –
Пленительную Вашу позу.

Я помню: Вы у самых губ
Держали розу.

Не подымая головы

И тем подчеркивая скуку –
О, этот жест, которым Вы

Мне дали руку.

Великолепные глаза

Кто скажет – отчего – прищуря,
Вы знали – кто сейчас гроза

В моей лазури.

От солнца или от жары –

Весь сад казался мне янтарен,

Татарин продавал чадры,
Ушел татарин...

Ваш рот, надменен и влекущ,

Был сжат – и было все понятно.

И солнце сквозь тяжелый плющ

Бросало пятна.

Всё помню: на краю шэз-лонг

Соломенную Вашу шляпу,

Пронзительно звенящий гонг,

И запах

Тяжелых, переспелых роз

И складки в парусинных шторах,

Беседу наших папирос

И шорох,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
С которым Вы, властитель дум,
На розу стряхивали пепел.
– Безукоризненный костюм
Был светел.

28 июня 1914

3

Его дочке
С ласточками прилетела
Ты в один и тот же час,
Радость маленького тела,
Новых глаз.
В марте месяце родиться
– Господи, внемли хвале! –
Это значит быть как птица
На земле.
Ласточки ныряют в небе,
В доме все пошло вверх дном:
Детский лепет, птичий щебет
За окном.
Дни ноябрьские кратки,
Долги ночи ноября.
Сизокрылые касатки –
За моря!
Давит маленькую грудку
Стужа северной земли.
Это ласточки малютку
Унесли.
Жалобный недвижим венчик,
Нежных век недвижен край.
Спи, дитя. Спи, Божий птенчик.
Баю-бай.

12 июля 1914

4

Война, война! – Кажденья у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.
На, кажется – надтреснутом – канате
Я – маленький плясун.
Я тень от чьей-то тени. Я лунатик
Двух темных лун.

Москва,
16 июля 1914

5

При жизни Вы его любили,
И в верности клялись навек,
Несите же венки из лилий
На свежий снег.
Над горестным его ночлегом
Помедлите на краткий срок,
Чтоб он под этим первым снегом
Не слишком дрог.
Дыханием души и тела
Согрейте ледяную кровь!
Но, если в Вас уже успела
Остыть любовь –
К любовнику – любите братца,
Ребенка с венчиком на лбу, –
Ему ведь не к кому прижаться
В своем гробу.
Ах, он, кого Вы так любили
И за кого пошли бы в ад,
Он в том, что он сейчас в могиле –
Не виноват!
От шороха шагов и платья
Дрожавший с головы до ног –
Как он открыл бы Вам объятья,
Когда бы мог!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
О женщины! Ведь он для каждой
Был весь – безумие и пыл!
Припомните, с какою жаждой
Он вас любил!
Припомните, как каждый взгляд вы
Ловили у его очей,
Припомните бывшие клятвы
Во тьме ночей.
Так и не будьте вероломны
У бедного его креста,
И каждая тихонько вспомни
Его уста.
И, прежде чем отдаться бегу
Саней с цыганским бубенцом,
Помедлите, к ночному снегу
Припав лицом.
Пусть нежно опушит вам щеки,
Растает каплями у глаз..
Я, пишущая эти строки,
Одна из вас –
Неданной клятвы не нарушу
– Жизнь! – Карие глаза твои! –
Молитесь, женщины, за душу
Самой любви.
30 августа 1914

6
Осыпались листья над Вашей могилой,
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы всё-таки мой.
Смеетесь! – В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой – так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.
Опять с узелком подойду утром рано
К больничным дверям.
Вы просто уехали в жаркие страны,
К великим морям.
Я Вас целовала! Я Вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала –
Домой.
Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И, если для целого мира Вы мертвый,
Я тоже мертва.
Я вижу, я чувствую, – чую Вас всюду!
– Чтó ленты от Ваших венков! –
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!
Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
– Письмо в бесконечность. – Письмо в
беспредельность –
Письмо в пустоту.

4 октября 1914

7

Милый друг, ушедший дальше, чем за море!
Вот Вам розы – протянитесь на них.
Милый друг, унесший самое, самое
Дорогое из сокровищ земных.
Я обманута, и я обокрадена, –
Нет на память ни письма, ни кольца!
Как мне памятна малейшая впадина
Удивленного – навеки – лица.
Как мне памятен просящий и пристальный
Взгляд – поближе приглашающий сесть,
И улыбка из великого Издали, –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Умиравшего светская лесть...

Милый друг, ушедший в вечное плавание,
– Свежий холмик меж других бугорков! –
Помолитесь обо мне в райской гавани,
чтобы не было других моряков.

5 июня 1915

«Мне нравится, что вы больны не мной...»
Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочтите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!
Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня – не зная сами! –
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши негулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, –
За то, что вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не вами!

3 мая 1915

«Говорила мне бабка лютая...»
Говорила мне бабка лютая,
Коромыслом от злости гнутая:
Не дремить тебе в люльке дитятка,
Не белить тебе пряжи вытканной, –
Царевать тебе – под заборами!
Целовать тебе, внучка – ворона!
Ровно облако побелела я:
Вынимайте рубашку белую,
жеребка не гоните черного,
Не поите попа соборного,
Вы кладите меня под яблоней,
Без моления, да без ладана.
Поясной поклон, благодарствие
За совет да за милость царскую,
За карманы твои порожние,
Да за песни твои острожные,
За позор пополам со смутю, –
За любовь за твою за лютую.
Как ударит соборный колокол,
Сволокут меня черти волоком.
Я за чаркой, с тобою распитой,
Говорила, скажу и Господу, –
Что любила тебя, мальчоночка,
Пуще славы и пуще солнышка.

1 апреля 1916

Только плохие книги – не для всех. Плохие книги льстят слабостям: века,
возраста, пола. Мифы – Библия – эпос – для всех.

Даниил

1

Села я на подоконник, ноги свесив.
Он тогда спросил тихонечко: Кто здесь?
– Это я пришла. – Зачем? –
Сама не знаю.
– Время позднее, дитя, а ты не спишь.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Я луну увидела на небе,
Я луну увидела и луч.
Упирался он в твое окошко, –
Оттого, должно быть, я пришла...
О, зачем тебя называли Даниилом?
Все мне снится, что тебя терзают львы!
26 июля 1916

2

Наездницы, развалины, псалмы,
И вереском поросшие холмы,
И наши кони смиренные бок о бок,
И подбородка львиная черта,
И пасторской одежды чернота,
И синий взгляд, пронзителен и робок.
Ты к умирающему едешь в дом,
Сопровождаю я тебя верхом.
(Я девочка, – с тебя никто не спросит!)
Поет рожок меж сосенных стволов...
– Что означает, толкователь снов,
Твоих кудрей довременная просесть?
Озерная блеснула синева,
И мельница взметнула рукава,
И, отвернув куда-то взгляд горячий,
Он говорит про бедную вдову...
Что надобно любить Иегову...
И что не надо плакать мне – как плачу...
Запахло яблонями и дымком,
– Мы к умирающему едем в дом,
Он говорит, что в мире все нам снится...
Что волосы мои сейчас как шлем...
Что все пройдет... Молчу – и надо всем
Улыбка Даниила-тайновидца.
26 июля 1916

3

В полнолуние кони фыркали,
К девушкам ходил цыган.
В полнолуние в красной кирке
Сам собою заиграл орган.
По лугу металась паства
С воплями: Конец земли!
Утром молодого пастора
У органа – мертвого нашли.
На его лице серебряном
Были слезы. Целый день
Притекали данью щедрой
Розы из окрестных деревень.
А когда покойник прибыл
В мирный дом своих отцов –
Рыжая девчонка Библию
Запалила с четырех концов.
28 июля 1916

«Сегодня ночью я одна в ночи...»
Сегодня ночью я одна в ночи,
– Бессонная, бездомная черница! –
Сегодня ночью у меня ключи
От всех ворот единственной столицы.
Бессонница меня толкнула в путь,
– О как же ты прекрасен, тусклый
Кремль мой!
Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воющую землю.
Вздыхаются не волосы, а мех!
И душный ветер прямо в душу дует.
Сегодня ночью я жалею всех,
Кого жалеют и кого целуют.
1 августа 1916
«Август – астры...»
Август – астры,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Август – звезды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой – август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! – Сердце!
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных –
Август! – Месяц
Ливней звездных!
7 февраля 1917

Из цикла «Дон-Жуан»

1

На заре морозной
Под шестой березой
За углом у церкви
Ждите, Дон-Жуан!
Но, увы, клянусь вам
Женихом и жизнью,
Что в моей отчизне
Негде целовать!
Нет у нас фонтанов,
И замерз колодец,
А у богородиц –
Строгие глаза.
И чтобы не слышать
Пустяков – красоткам,
Есть у нас презвонкий
Колокольный звон.
Так вот и жила бы,
Да боюсь – состарюсь,
Да и вам, красавец,
Край мой не к лицу.
Ах, в дохе медвежьей
И узнать вас трудно,
Если бы не губы
Ваши, Дон-Жуан!
19 февраля 1917

2

Долго на заре туманной
Плакала метель.
Уложили Дон-Жуана
В снежную постель.
Ни гремучего фонтана,
Ни горячих звезд...
На груди у Дон-Жуана
Православный крест.
Чтобы ночь тебе светлее
Вечная – была,
Я тебе севильский веер,
Черный, принесла.
Чтобы видел ты воочью
Женскую красу,
Я тебе сегодня ночью
Сердце принесу.
А пока – спокойно спите!..
Из далеких стран
Вы пришли ко мне. Ваш список –
Полон, Дон-Жуан!
19 февраля 1917

3

После стольких роз, городов и тостов –
Ах, ужель не лень

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Вам любить меня? Вы – почти что остов,

Я – почти что тень.
И зачем мне знать, что к небесным силам
Вам взывать пришлось?
И зачем мне знать, что пахнуло – Нилом
От моих волос?

Нет, уж лучше я расскажу Вам сказку:
Был тогда – январь.
Кто-то бросил розу. Монах под маской
Проносил фонарь.
Чей-то пьяный голос молил и злился
У соборных стен.
В этот самый час Дон-Жуан Кастильский
Повстречал – Кармен.
22 февраля 1917

4

Ровно – полночь.
Луна – как ястреб.
– Что – глядишь?
– Так – гляжу!
– Нравлюсь? – Нет.
– Узнаёшь? – Быть может.
– Дон-Жуан я.
– А я – Кармен.
22 февраля 1917

5

И падает шелковый пояс
К ногам его – райской змеей..
А мне говорят – успокоюсь
Когда-нибудь, там, под землей.
Я вижу надменный и старый
Свой профиль на белой парче.
А где-то – гитаны – гитары –
И юноши в черном плаще.
И кто-то, под маскою кроясь:
– Узнайте! – Не знаю. – Узнай! –
И падает шелковый пояс
На площади – круглой, как рай.
14 мая 1917

6

И разжигая во встречном взоре
Печаль и блуд,
Проходишь городом – зверски-черен,
Небесно – худ.
Томленьем застланы, как туманом,
Глаза твои.
В петлице – роза, по всем карманам –
Слова любви!
Да, да. Под вой ресторанной скрипки
Твой слышу зов.
Я посылаю тебе улыбку,
Король воров!
И узнаю, раскрывая крылья –
Тот самый взгляд,
Каким глядел на меня в Кастилье –
Твой старший брат.
8 июня 1917

Стенька Разин

1

Ветры спать ушли – с золотой зарей,
Ночь подходит – каменной горой,
И с своей княжностью из жарких стран
Отдыхает бешеный атаман.
Молодые плечи в охапку сгреб,
Да заслушался, запрокинув лоб, –
Как гремит над жарким его шатром –
Соловьиный гром.
22 апреля 1917

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
2

А над Волгой – ночь,
А над Волгой – сон.
Расстелили ковры узорные,
И возлег на них атаман с княжной
Персиянкою – Брови Черные.
И не видно звезд, и не слышно волн, –
Только вёсла да темь кромешная!
И уносит в ночь атаманов чёлн
Персиянскую душу грешную.
И услышала

Ночь – такую речь:
– Аль не хочешь, что ль,
Потеснее лечь?
Ты меж наших баб –
что жемчужинка!
Аль уж страшен так?
я твой вечный раб,
Персияночка!
Полоняночка!
* * *

А она – брови насупила,
Брови длинные.
А она – очи потупила
Персиянские.
И из уст ее –
Только вздох один:
– Джаль-Эддин!
* * *

А над Волгой – заря румяная,
А над Волгой – рай.
И грохочет ватага пьяная:
– Атаман, вставай!
Належался с басурманскою собакою!
Вишь, глаза-то у красавицы наплаканы!
А она – что смерть,
Рот закушен в кровь. –
Так и ходит атаманова крутая бровь.
– Не поладила ты с нашею постелью –
Так поладь, собака, с нашею купелью!
В небе-то – ясно,
Тёмно – на дне.
Красный один
Башмачок на корме.
И стоит Степан – ровно грозный дуб,
Побелел Степан – аж до самых губ.
Закачался, зашатался. – Ох, томно!
Поддержите, нехристи, – в очах тёмно!
Вот и вся тебе персияночка,
Полоняночка.

25 апреля 1917

«Нет! Еще любовный голод...»

Нет! Еще любовный голод
Не раздвинул этих уст.
Нежен – оттого что молод,
Нежен – оттого что пуст.
Но увы! На этот детский
рот – Ширази лепестки! –
Все людское людоедство
Точит зверские клыки.

23 августа 1917

«На кортике своем: Марина...»

На кортике своем: Марина –
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.
Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

Москва,
18 января 1918

Стихи к дочери

1

– Марина! Спасибо за мир!
Дочернее странное слово.
И вот – расступился эфир
Над женщиной светлоголовой.
Но рот напряжен и суров.
Умру, – а восторга не выдам!
Так с неба Господь Саваоф
Внимал молодому Давиду.
Страстной Понедельник 1918

2

Не знаю, где ты и где я.
Те ж песни и те же заботы.
Такие с тобою друзья,
Такие с тобою сироты.
И так хорошо нам вдвоем:
Бездомным, бессонным и сирым...
Две птицы: чуть встали – поём.
Две странницы: кормимся миром.

3

И бродим с тобой по церквам
Великим – и малым, приходским.
И бродим с тобой по домам
Убогим – и знатным, господским.
Когда-то сказала: – Купи! –
Сверкнув на кремлевские башни.
Кремль – твой от рождения. –

Спи,

Мой первенец светлый и страшный.

4

И как под землю трава
Дружится с рудой железной, –
Всё видят пресветлые два
Провала в небесную бездну.
Сивилла! – Зачем моему
Ребенку – такая судьбина?
Ведь русская доля – ему...
И век ей: Россия, рябина...

24 августа 1918

5

Молодой колоколенкой
Ты любишься – в воздухе.
Голосок у ней тоненький,
В ясном куполе – звездочки.
Куполок твой золотенький,
Ясны звезды – под лобиком.
Голосочек твой тоненький, –
Ты сама колоколенка.

Октябрь 1918

6

Консуэла! – Утешенье!
Люди добрые, не сглазьте!
Наградил вторую тенью
Бог меня – и первым счастьем.
Видно, с ангелом спала я,
Бога приняла в объятья.
Каждый час благословляю
Полночь твоего зачатья.
И ведет меня – до срока –
К Богу – по дороге белой –
Первенец мой синеокий:
Утешенье! – Консуэла!
Ну, а раньше – стать другая!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Я была счастливой тварью!

Все мой дом оберегали, –
Каждый под подушкой шарил!
Награждали – как случилось:
кто – улыбкой, кто – полушкой..
А случилось – оставалось
даже сердце под подушкой!..
Времячко мое золотое!
Сонм чудесных прегрешений!
Всех вас вымела метлою
Консуэла – Утешенье.
А чердак мой чисто мётен,
Сор подобран – на жаровню.
Смерть хоть сим же часом встретим:
Ни сориночки любовной!
– Вор! – Напрасно ждешь! – Не выйду!
Буду спать, как повелела
Мне – от всей моей обиды
Утешенье – Консуэла!

Москва,
октябрь 1919

Братья

1

Спят, не разнимая рук,
С братом – брат,
С другом – друг.
Вместе, на одной постели.
Вместе пили, вместе пели.
Я укутала их в плед,
Полюбила их навеки.
Я сквозь сомкнутые веки
Странные читаю вести:
Радуга: двойная слава,
Зарево: двойная смерть.
Этих рук не разведу.
Лучше буду,
лучше буду
Полымем пылать в аду!

2

Два ангела, два белых брата,
На белых вспененных конях!
Горят серебряные латы
На всех моих грядущих днях.
И оттого, что вы крылаты –
Я с жадностью целую прах.
Где стройный благовест негромкий,
Бредущие через поля
Купец с лотком, слепец с котомкой..
– Дымят, пылая и гремя,
Под конским топотом – обломки
Китай-города и Кремля!
Два всадника! Две белых славы!
В безумном цирковом кругу
Я вас узнала. – Ты, курчавый,
Архангелом вопишь в трубу.
Ты – над Московскою Державой
Вздыхаешь радугу-дугу.

3

Глотаю соленые слезы.
Роман неразрезанный – глуп.
Не надо ни робы, ни розы,
Ни розовой краски для губ,
Ни кружев, ни белого хлеба,
Ни солнца над вырезом крыш, –
Умчались архангелы в небо,
Уехали братья в Париж!

11 января 1918

Ни один человек, даже самый отрешенный, не свободен от радости быть чем-то

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru (всем!) в чьей-нибудь жизни, особенно когда это – невольно.

Ученик

Сказать – задумалась о чем?
В дождь – под одним плащом,
В ночь – под одним плащом, потом
В гроб – под одним плащом.

1

Быть мальчиком твоим светлоголовым,
– О, через все века! –
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика.
Улавливать сквозь всю людскую гущу
Твой вздох животворящ
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновеньем – плащ.
Победоноснее Царя Давида
Чернь раздвигать плечом.
От всех обид, от всей земной обиды
Служить тебе плащом.
Быть между спящими учениками
Тем, кто во сне – не спит.
При первом чернью занесенном камне
Уже не плащ – а щит!
(О, этот стих не самовольно прерван!
Нож чересчур остер!)
И – вдохновенно улыгнувшись – первым
Взойти на твой костер.
Москва, 2 русск. апреля 1921 г. [22]

2

Есть некий час...

Тютчев

Есть некий час – как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества, он в жизни каждой
Торжественно–неотвратим.
Высокий час, когда сложив оружие
К ногам указанного нам – Перстом,
Мы пурпур Воина на мех верблюжий
Сменяем на песке морском.
О, этот час, на подвиг нас – как Голос
Вздымающий из своеволя дней!
О этот час, когда как спелый колос
Мы клонимся от тяжести своей.
И колос взрос, и час веселый пробил,
И жерновов возжаждало зерно.
Закон! Закон! Еще в земной утробе
Мной вожденное ярмо.
Час ученичества! Но зрим и ведом
Другой нам свет, – еще заря зажглась.
Благословен ему грядущий следом
Ты – одиночества верховный час!

2 апреля 1921

3

Солнце Вечера – добрее
Солнца в полдень.
Изуверствует – не греет
Солнце в полдень.
Отрешеннее и кротче
Солнце – к ночи.
Умудренное, не хочет
Бить нам в очи.
Простотой своей – тревожа –
Королевской,
Солнце Вечера – дороже
Песнопевцу!

* * *

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Распинаемое тьмой
Ежевечерне,
Солнце Вечера – не кланяется
Черни.

Низвергаемый с престола
Вспомни – Феба!
Низвергаемый – не долу
Смотрит – в небо!
О, не медли на соседней
Колокольне!
Быть хочу твоей последней
Колокольней.
3 апреля 1921

4

Пало прениже волн
Бремя дневное.
Тихо взошли на холм
Вечные – двое.
Тесно – плечо с плечом –
Встали в молчанье.
Два – под одним плащом –
Ходят дыханья.
Завтрашних спящих войн
Вождь – и вчерашних,
Молча стоят двойной
Черною башней.
Змия мудрей стоят,
Голубя кротче.
– Отче, возьми в назад,
В жизнь свою, отче!
Через все небо – дым
Воинств Господних.
Борется плащ, двойным
Вздохом приподнят.
Ревностью взор разъят,
Молит и ропщет...
– Отче, возьми в закат,
В ночь свою, отче!
Празднуя ночи вход,
Дышат пустыни.
Тяжко – как спелый плод –
Падает: – Сыне!
Смолкло в своем хлеву
Стадо людское.
На золотом холму
Двое – в покое.
6 апреля 1921

5

Был час чудотворен и полн,
Как древние были.
Я помню – бок ó бок – на холм,
Я помню – всходили...
Ручьев ниспадающих речь
Сплеталась предивно
С плащом, ниспадающим с плеч
Волной неизбывной.
Всё выше, всё выше – высот
Последнее злато.
Сновидческий голос: Восход
Навстречу Закату.
8 апреля 1921

6

Все великолепье
Труб – лишь только лепет
Трав – перед Тобой.
Все великолепье
Бурь – лишь только щебет
Птиц – перед Тобой.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Все великолепелье
Крыл – лишь только трепет
Век – перед Тобой.
10 апреля 1921
7

По холмам – круглым и смуглым,
Под лучом – сильным и пыльным,
Сапожком – робким и кротким –
За плащом – рдяным и рваным.
По пескам – жадным и ржавым,
Под лучом – жгущим и пьющим,
Сапожком – робким и кротким –
За плащом – следом и следом.
По волнам – лютым и вздутым,
Под лучом – гневным и древним,
Сапожком – робким и кротким –
За плащом – лгущим и лгущим...

12 апреля 1921

«Волконский заключен сам в себе, не в себе...»

Волконский заключен сам в себе, не в себе – в мире. (Тожé одиночная камера, – с бесконечно-раздвинутыми стенами.) Эгоист – породы Гёте. Ему нужны не люди – собеседники (сейчас – не собеседники: слушатели, восприниматели!), иногда – сведения. Изящное отсутствие человека в комнате, говоришь – отвечает, но никогда в упор, точно (нет, явно) в ответ на свою сопутствующую мысль. Слышит? Не слышит?

* * *

Никогда – тебе, всегда – себе.

* * *

Был у меня два раза, каждый раз, в первую секунду, изумлял ласковостью. (Думая вслед после встречи – так разительно убеждаешься в его нечеловечности, что при следующей, в первую секунду, изумляешься: улыбается, точно вправду рад!)

Ласковость, за которой – что? Да ничего. Общая приятность оттого, что ему радуются. Его мысли остры, его чувства flottent[23].

Его жизнь, как я ее вижу – да, впрочем, его же слово о себе:

– «История моей жизни? Да мне искренно кажется, что у меня ее совсем не было, что она только начинается – начнется».

Может показаться, когда читаешь эти слова на бумаге, что говорит горящий жизнью, – нет, это бросается легко, созерцательно – под строкой; повествовательно-спокойно, почти небрежно.

* * *

Учитель чего? – Жизни. Прекрасный бы учитель, если бы ему нужны были ученики.

Вернее: читает систему Волконского (хонского, как он произносит, уясняя Волхонку) – когда мог читать – Жизнь.

* * *

(Музыка, запаздывающая на какую-то долю времени, последние солдаты не идут в лад, долгое дохождение до нас света звезд...)

* * *

Не поспекает за моим сердцем.

«Жаловаться не стану...»

Жаловаться не стану,
Слово возьму в тиски.
С этой мужскою раной
Справимся по-мужски.
Даром сгорают зори,
А не прося за вход.
С этой верховной хворью
Справимся, как Восход.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
* * *

Великолепным даровым пожаром
В который раз, заря, сгораешь даром?
На встречных лицах, нежилых как склеп,
В который раз ты побежден, о Феб?
Не доверяя брэнной позолоте
Они домой идут – на повороте
Счастливые – что уж опять тела!
Что эту славу – сбросили с чела.

.....
Так, у подножья нового царя,
В который раз, душа, сгораешь зря?
<1921>

Марина

1
Быть голубкой его орлиной!
Больше матери быть, – Мариной!
Вестовым – часовым – гонцом –
Знаменосцем – льстецом придворным!
Серафимом и псом дозорным
Охранять непокойный сон.
Сальных карт захватив колоду,
Ногу в стремя! – сквозь огонь и воду!
Где верхом – где ползком – где вплавь!
Тростником – ивняком – болотом,
А где конь не берет, – там летом,
Все ветра полонивши в плащ!
Черным вихрем летя беззвучным,
Не подругою быть – сподручным!
Не единою быть – вторым!
Близнецом – двойником – крестовым
Стройным братом, огнем костровым,
Ятаганом его кривым.
Гул кремлевских гостей незваных.
Если имя твое – Басманов,
Отстранись. – Уступи любви!
Распахнула платок нагрудный.
– Руки настезь! – Чтоб в день свой судный
Не в басмановской встал крови.
28 апреля 1921

2

Трем Самозванцам жена,
Мнишка надменного дочь,
Ты, гордецу своему
Не родившая сына...
В простоволосости сна
В гулкий оконный пролет
Ты, гордецу своему
Не махнувшая следом.
На роковой площади
От оплеух и плевков
Ты, гордеца своего
Не покрывшая телом.
В маске дурацкой лежал,
С дудкой кровавой во рту.
Ты, гордецу своему
Не отершая пота...
– Своекорыстная кровь! –
Проклята, проклята будь
Ты, Лжедмитрию смогшая быть
Лжемариной!
28 апреля 1921

3

– Сердце, измена!
– Но не разлука!
И воровскую смуглую руку
К белым губам.
Краткая встряска костей о плиты.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Гришка! – Димитрий!
Цареубийцы! Псёкровь холопья!
И – повторенным прыжком –
На копыта!

28 апреля 1921

4

– Грудь Ваша благоуханна,
Как розмариновый ларчик...
Ясновельможна панна...
– Мой молодой господарчик...
– Чем заплачу за щедроты:
Темен, негромок, непризнан...
Из-под ресничного взлету
Что-то ответило: – Жизнью!
В каждом пришельце гонимом
Пану мы Иезусу – служим...
Мнет в замешательстве мнимом
Горсть неподдельных жемчужин.
Перлы рассыпались, – слезы!
Каждой ресницей нацелясь,
Смотрит, как в прахе елозя,
Их подбирает пришелец.

30 апреля 1921

«Как разгораятся – каким валежником!..»
Как разгораятся – каким валежником!
На площадях ночных – святыни кровные!
Пред самозванческим указом Нежности –
Что наши доблести и родословные!
С какой торжественною постепенностью
Спадают выпренные обветшалости!
О наши прадедовы драгоценности
Под самозванческим ударом Жалости!
А проще: лоб склонивши в глубь ладонную,
В сознании низости и неизбежности –
Вниз по отлогому – по неуклонному –
Неумолимому наклону Нежности...

Май 1921

Разлука
Сереже

1

Башенный бой
Где-то в Кремле.
Где на земле,
Где –
Крепость моя,
Кротость моя,
Доблесть моя,
Святость моя.
Башенный бой.
Брошенный бой.
Где на земле –
Мой
Дом,
Мой – сон,
Мой – смех,
Мой – свет,
Узких подошв – след.
Точно рукой
Сброшенный в ночь –
Бой.
– Брошенный мой!

Май 1921

2

Уроненные так давно
Вздымаю руки.
В пустое черное окно
Пустые руки

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Бросаю в полуночный бой
Часов, – домой
Хочу! – Вот так: вниз головой
– С башни! – Домой!

Не о бульжник площадной:
В шепот и шелест...

Мне некий Воин молодой
Крыло подстелет.

Май 1921

3

Всё круче, всё круче
Заламывать руки!
Меж нами не версты
Земные, – разлуки
Небесные реки, лазурные земли,
Где друг мой навеки уже –
Неотъемлем.

Стремит столбовая
В серебряных сбруях.

Я рук не ломаю!
Я только тяну их
– Без звука! –

Как дерево машет рябина
В разлуку,

Во след журавлиному клину.

Стремит журавлиный,
Стремит безоглядно.

Я спеси не сбавлю!

Я в смерти – нарядной

Пребуду – твоей быстроте златоперой

Последней опорой

В потерях простора!

Июнь 1921

4

Смуглой оливой
Скрой изголовье.
Боги ревнивы
К смертной любви.
Каждый им шелест
Внятен и шорох.
Знай, не тебе лишь

Юноша дорог.

Роскошью майской

Кто-то разгневан.

Остерегайся

Зоркого неба.

* * *

Думаешь – скалы

Манят, утесы,

Думаешь, славы

Медноголосый

Зов его – в гущу,

Грудью на копьё?

Вал восстающий

– Думаешь – топит?

Дольнее жало

– Верить – вонзилось?

– Пуще опалы –

Царская милость!

Плачешь, что поздно

Бродит в низинах.

Не земнородных

Бойся, – незримых!

Каждый им волос

ведом на гребне.

Тысячеоки

Боги, как древле.

Бойся не тины, –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Тверди небесной!

Ненасытимо –
Сердце Зевеса!
12 июня 1921

5

Тихонько
Рукой осторожной и тонкой
Распутая путы:
Ручонки – и ржанию
Послушная, зашелестит амазонка
По звонким, пустым ступеням расставанья.
Топочет и ржет
В осиянном пролете
Крылатый. – В глаза – полыханье рассвета.
Ручонки, ручонки!
Напрасно зовете:
Меж нами – струистая лестница Леты.

14 июня 1921

6

Седой – не увидишь,
Большим – не увижу.
Из глаз неподвижных
Слезинки не выжмешь.
На всю твою муку,
Раззор – плач:
– Брось руку!
Оставь плащ!
В бесстрастии
Каменноокой каменю,
В дверях не помедлю,
Как матери медлят:
(Всею тяжестью крови,
Колен, глаз –
В последний земной
Раз!)
Не крадущимся перешибленным зверем, –
Нет, каменной глыбою
Выйду из двери –
Из жизни. – О чем же
Слезам течь,
Раз – камень с твоих
Плеч!
Не камень! – Уже
Широтою орлиною –
Плащ! – и уже по лазурным стремнинам
В тот град осиянный,
Куда – взять
Не смеет дитя
Мать.

15 июня 1921

7

Ростком серебряным
Рванулся ввысь.
Чтоб не узрел его
Зевес –
Молись!
При первом шелесте
Страшись и стой.
Ревнивы к прелести
Они мужской.
Звериной челюсти
Страшней – их зов.
Ревниво к прелести
Гнездо богов.
Цветами, лаврами
Заманят ввысь.
Чтоб не избрал его
Зевес –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Молись!

Все небо в грохоте
Орлиных крыл.
Всей грудью грохайся –
Чтоб не сокрыл.
В орлином грохоте
– О клюв! О кровь! –
Ягненок крохотный
Повис – Любовь...
Простоволосая,
Всей грудью – ниц...
Чтоб не вознес его
Зевес –
Молись!

16 июня 1921

8

Я знаю, я знаю,
Что прелесть земная,
Что эта резная,
Прелестная чаша –
Не более наша,
Чем воздух,
Чем звезды,
Чем гнезда,
Повисшие в зорях.
Я знаю, я знаю,
Кто чаще – хозяин!
Но легкую ногу вперед – башней
В орлиную высь!
И крылом – чашу
От грозных и розовых уст –
Бога!

17 июня 1921

Вестнику
Скрежещут якорные звенья,
Вперед, крылатое жильё!
Покрепче чем благословенье
С тобой – веление мое!
Мужайся, корабельщик юный!
Вперед в лазоревую рожь!
Ты больше нежели фортуны –
Ты сердце Цезаря везешь!
Смирит лазоревую ярость
Ресниц моих – единый взмах!
Дыханием надут твой парус
И не нуждается в ветрах!
Обветренные руки стиснув,
Слежу. – Не верь глазам! – Всё ложь!
Доподлинный и рукописный
Приказ Монархини везешь.
Два слова, звонкие как шпоры,
Две птицы в боевом грому.
То зов мой – тысяча который? –
К единственному одному.
В страну, где солнце правосудья
Одно для нищих и вельмож,
– Между рубахою и грудью –
Ты сердце Матери везешь.
20 июня 1921
Из цикла «Георгий»
С. Э.

1

Ресницы, ресницы,
Склоненные ниц.
Стыдливостию ресниц
Затменные – солнца в венце стрел!
– Сколь грозен и сколь ясен! –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И плащ его – был – красен,
И конь его – был – бел.
Смущается Всадник,
Гордится конь.
На дохлого гада
Белейший конь
Взирает вполоборота.
В пол-ока широкого
Вслед копыю
В пасть красную – дико раздув ноздрю –
Раскосостью огнеокой.
– Колеблется – никнет – и вслед копыю
В янтарную лужу – вослед копыю
Скользнувшему.
– Басенный взмах
– Стрел...
Плащ красен, конь бел.
26 июня 1921
2
О тяжесть удачи!
Обида Победы!
Георгий, ты плачешь,
Ты красною девой
Бледнеешь над делом
Своих двух
Внезапно-чужих
Рук.
Конь брезгует Гадом,
Ты брезгуешь гласом
Победным. – Тяжелым смарагдовым маслом
Стекает кровяца.
Дракон спит.
На всю свою жизнь
Сыт.
Взлетевшею гривой
Затменное солнце.
Стыдливости детской
С гордынею конской
Союз.
Из седла –
В небеса –
Куст.
Брезгливая грусть
Уст.
Конь брезгует Гадом,
Ты брезгуешь даром
Царевым, – ее подвенечным пожаром.
Церковкою ладанной:
Строг – скуп –
В безжалостный
Рев
Труб.
Смущается Всадник,
Снисходит конь.
Идохшего гада
Дрянную кровь
– Янтарную – легким скоком
Минует, – янтарная кровь течет.
Внесенным копытом застыв – с высот
Лебединого поворота.
Безропотен Всадник,
А конь брезглив.
Гремучего гада
Копьем пронзив –
Сколь скромн и сколь томен!
В ветрах – высокó – седлецо твое,
Речной осокой – копьецо твое
Вот-вот запоет в восковых перстах

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

У розовых уст
Под прикрытием стрел
Ресничных,
Вспоет, вскличет.
– О страшная тяжесть
Свершенных дел!
И плащ его красен,
И конь его бел.
Любезного Всадника,
Конь, блюди!
У нежного Всадника
Боль в груди.
Ресницами жемчуг нижет...
Святая иконка – лицо твое,
Закатным лучом – копыце твое
Из длинных перстов брызжет.
Иль луч пурпуровый
Косит копьем?
Иль красная туча
Взмелась плащом?
За красною тучею –
Белый дом.
Там впустят
Вдвоем
С конем.
Склоняется Всадник,
Дыбится конь.
Все слабже вокруг копыца ладонь.
Вот-вот не снесет Победы!
Трубите! Трубите! Уж слушать недолго.
Уж нежный тростник победительный – долу.
Дотрубленный долу
Поник. – Смолк.
И облачный – ввысь! –
Столб.
Клонитесь, клонитесь,
Послушные травы!
Зардевшийся под оплеухою славы –
Бледнеет. – Домой, трубачи! – Спит.
До судной трубы –
Сыт.

28 июня 1921

3

Синие версты
И зарева горние!
Победоносного
Славьте – Георгия!
Славьте, жемчужные
Грозди полуночи,
Дивного мужа,
Пречистого юношу:
Огненный плащ его,
Посвист копыа его,
Кровокипящего
Славьте – коня его!
* * *

Зычные мачты
И слободы орлие!
Громокипящего
Славьте – Георгия!
Солнцеподобного
В силе и в кротости.
Доблесть из доблестей,
Роскошь из роскошей:
Башенный рост его,
Посвист копыа его,
Молниехвостого
Славьте – коня его!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Львиные ветры
И глыбы соборные!
Великолепного
Славьте – Георгия!
Змея пронзившего,
Смерть победившего,
В дом Госпожи своей
Конным – вступившего!
Зычный разгон его,
Посвист копья его,
Преображенного
Славьте – коня его!
* * *

Льстивые ивы
И травы поклонные,
Вольнолюбивого,
Узорешенного
Юношу – славьте,
Юношу – плачьте...
Вот он, что розан
Райский – на травке:
Розовый рот свой
На две половиночки –
Победоносец,
Победы не вынесший.
28 июня 1921

4

Из облаков кивающие перья.
Как передать твоё высокомерье,
– Георгий! – Ставленник небесных сил!
Как передать закрепощенный пыл
Зрачка, и трезвенной ноздри раздутой
На всем скаку обузданную смуту.
Перед любезнейшею из красот
Как передать – с архангельских высот
Седла – копья – содеянного дела
И девственности гневной – эти стрелы
Ресничные – эбеновой масти –
Разящие: – Мы не одной кости!
Божественную ведомость закончив,
Как передать, Георгий, сколь уклончив
– Чуть-что земли не тронувший едва –
Поклон, – и сколь пронзительно-крива
Щель, заледеневающая сразу:
– О, не благодарите! – По приказу.
29 июня 1921

5

С архангельской высоты седла
Евангельские творить дела.
Река сгорает, верста смугла.
– О даль! Даль! Даль!
В пронзающей прямизне ресниц
Пожарищем налетать на птиц.
Копыта! Крылья! Сплелись! Свились!
О высь! Вось! Вось!
В заоблачье исчезать как снасть!
Двуочие разевать как пасть!
И не опомнившись – мертвым пасть;
О страсть! – Страсть! – Страсть!
29 июня 1921

6

А девы – не надо.
По вольному хладу,
По синему следу
Один я поеду.
Как был до победы:
Сиротский и вдовый.
По вольному следу

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Воды родниковой.
От славы, от гною
Доспехи отмою.
Во славу Твою
Коня напою.
Храни, Голубица,
От града – посевы,
Деву – от гада,
Героя – от девы.
30 июня 1921
Благая весть
С. Э.

1
В сокровищницу
Полунощных глубин
Недрогнувшую
Опускаю ладонь.
Меж водорослей –
Ни приметы его!
Сокровища нету
В морях – моего!
В заоблачную
Песнопенную высь –
Двумолнием
Осмелеваюсь – и вот
Мне жаворонок
Обронил с высоты –
Что за морем ты,
Не за облаком ты!
2 июля 1921

2
Жив и здоров!
Громче громов –
Как топором –
Радость!
Нет, топором
Мало: быком
Под обухом
Счастья!
Оглушена,
Устрашена.
Что же взамен –
Вырвут?
И от колен
Вплоть до корней
Вставших волос –
Ужас.
Стало быть, жив?
Веки смежив,
Дышишь, зовут –
Слышишь?
Вывез корабль?
О мой журавль
Младший – во всей
Стае!
Мертв – и воскрес?!
Вздоху в обрез,
Камнем с небес,
Ломом
По голове, –
Нет, по эфес
Шпагою в грудь –
Радость!
3 июля 1921
3
Под горем не горбясь,
Под камнем – крылатой –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Орлом! – уцелев,
Земных матерей
И небесных любовниц
Двойную печаль
Взвалив на плеча, –
Горяча мне досталась
Мальтийская сталь!
Но гневное небо
К орлам – благосклонно.
Не сон ли: в волнах
Сонм ангелов конных!
Меж ними – осанна! –
Мой – снегу белей...
Лилейные ризы,
– Конь вывезет! – Гривой
Вспененные зыби.
– Вал вывезет! – Дыбом
Встающая глыба...
Бог вынесет...

– Ох! –
4 июля 1921

4

Над спящим юнцом – золотые шпоры.
Команда: вскачь!
Уже по пятам воровская свора.
Георгий, плачь!
Свободную левою крест нащупал.
Команда: вплавь!
Чтоб всем до единого им под купол
Софийский, – правь!
Пропали! Не вынесут сухожилья!
Конец! – Сдались!
– Двумолнием раскрепощает крылья.
Команда: ввысь!

6 июля 1921

5

Во имя расправы
Крепись, мой Крылатый!
Был час переправы,
А будет – расплаты.
В тот час стопудовый
– Меж бредом и былью –
Гребли тяжело
Корабельные крылья.
Меж Сциллою – да! –
И Харибдой гребли.
О крылья мои,
журавли-корабли!
Тогда по крутому
Эвксинскому берегу
Был топот Побеге,
А будет – Победы.
В тот час непосильный
– Меж дулом и хлябью –
Сердца не остыли,
Крыла не ослабли,
Плеча напирали,
Глаза стерегли.
– О крылья мои,
журавли-корабли!
Птенцов узколистых
Не давши в обиду,
Сказалось –
Орлицыно сердце Тавриды.
На крик длинноклювый
– С ерами и с ятью! –
Проснулась –
Седая Монархиня-матерь.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

И вот уже купол
Софийский – вдали...

О крылья мои,
журавли-корабли!
Крепитесь! Кромешное
Дрогнет созвездье.
Не с моря, а с неба
Ударит Возмездье.

Глядите: небесным
Свинцом налитая,
Грозна, тяжела
Корабельная стая.
И нету конца ей,
И нету земли...

– О крылья мои,
журавли-корабли!

7 июля 1921

Хвала Афродите

1

Уже богов – не те уже щедроты
На берегах – не той уже реки.
В широкие закатные ворота
Венерины, летите, голубки!
Я ж на песках похолодевших лежа,
В день отойду, в котором нет числа...
Как змей на старую взирает кожу –
Я молодость свою переросла.

4 октября 1921

2

Тщетно, в ветвях заповедных кроюсь,
Нежная стая твоя гремит.
Сластолюбивый роняю пояс,
Многолюбивый роняю мирт.
Тяжкоразящей стрелой тупою
Освободил меня твой же сын.
– Так о престол моего покоя,
Пеннорожденная, пеной сгинь!

5 октября 1921

3

Сколько их, сколько их ест из рук,
Белых и сизых!
Целые царства воркуют вокруг
Уст твоих, Низость!
Не переводится смертный пот
В золоте кубка.

И полководец гривастый льнет
Белой голубкой.

Каждое облако в час дурной –
Грудью круглится.

В каждом цветке неповинном – твой
Лик, Дьяволица!

Бренная пена, морская соль...

В пене и в муке –

Повиноваться тебе доколь,
Камень безрукий?

10 октября 1921

«С такую силой в подбородок руку...»

С такую силой в подбородок руку

Вцепив, что судорогой вьется рот,

С такую силою поняв разлуку,

Что, кажется, и смерть не разведет –

Так знаменосец покидает знамя.

Так на помосте матерям: Пора!

Так в ночь глядит – последними глазами –

Наложница последнего царя.

11 октября 1921

Подруга

Немолкнушим Ave,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Пасхальной Обедней –
Прекрасная слава
Подруги последней.

1

Спит, муки твоя – веселье,
Спит, сердца выстраданный рай.
Над Иверскою колыбелью
– Блаженная! – помедлить дай.
Не суетность меня, не зависть
В дом привела, – не воспрети!
Я дитячко твое восславить
Пришла, как древле – пастухи.
Не тою же ль звездой ведома?
– О сребро-сусаль-слюда! –
Как вкопанная – глянь – над домом,
Как вкопанная – глянь – звезда!
Не радуюсь и не ревную, –
Гляжу, – по сердцу пилой:
Что сыну твоему дарю?
Вот плащ мой – вот и посох мой.
23 ноября 1921

2

В своих младенческих слезах –
Что в ризе ценной,
Благословенна ты в женах!
– Благословенна!
У раздорожного креста
Раскрыл глазочки.
(Ведь тот был тоже сирота, –
Сынок безотчий.)
В своих младенческих слезах –
Что в ризе ценной,
Благословенна ты в слезах!
– Благословенна.
Твой лоб над спящим над птенцом –
Чист, бестревожен.
Был благовест тебе венцом,
Благовест – ложем.
Твой стан над спящим над птенцом –
Трепет и древо.
Был благовест ему отцом, –
Радуйся, Дева!
В его заоблачных снегах –
Что в ризе ценной,
Благословенна ты в снегах!
– Благословенна.
26 ноября 1921

3

Огромного воскрылья взмах,
Хлещущий дых:
– Благословенна ты в женах,
В женах, в живых.
Где вестник? Буйно и бело.
Вихорь? Крыло?
Где вестник? Вьюгой замело –
Весть и крыло.
26 ноября 1921

4

Чем заслужить тебе и чем воздать –
Присноблаженная! – Младенца Мать!
Над стекленеющею поволокой
Вновь подтверждающая: – Свет с Востока!
От синих глаз его – до синих звезд
Ты, радугю бросившая мост!
* * *

Не падаю! Не падаю! Плыву!
И – радугю – мост через Неву.
Жизнеподательница в час кончины!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Царств утвердительница! Мать Сына!
В хрип смертных мук его – в худую песнь! –
Ты – первенцево вбросившая: «Есмь!»
27 ноября 1921

5

Последняя дружба
В последнем обвале.
Что нужды, что нужды –
Как здесь называли?
Над черной канавой,
Над битвой бурьянной,
Последнею славой
Встаешь, – безымянной.
На крик его: душно! припавшая: друг!
Последнейшая, не пускавшая рук!
Последнею дружбой –
Так сонмы восславят.
Да та вот, что пить подавала,
Да та вот. –
У врат его царских
Последняя смена.
Уста, с синева
Сцеловавшие пену.
Та, с судороги сцеловавшая пот,
На крик его: руку! сказавшая: вот!
Последняя дружба,
Последнее рядом,
Грудь с грудью...
– В последнюю оторопь взгляда
Рай вбросившая,
Под фатой песнопенной,
Последнею славой
Пройдешь – покровенной.
Ты, заповеди растоптавшая спесь,
На хрип его: Мама! солгавшая: здесь!

Москва,
28 ноября 1921

«Любимых забываю вместе с собой, любившей...»
Любимых забываю вместе с собой, любившей. Ибо если дружба – одно из моих обычных состояний, то любовь меня из всех обычных состояний: стихов, одиночества, самоутверждения –

И – внезапное видение девушки – доставая ведро, упала в колодец – и всё новое, новая страна, с другими деревьями, другими цветами, другими гусями и т. д.

Так я вижу любовь, в к<отор>ую действительно проваливаюсь, и выбравшись, выкарабкавшись из (колодца) которой, сначала ничего из здешнего не узнаю, потом – уже не знаю, было ли (то, на дне колодца), а потом знаю – не было. Ни колодца, ни тех гусей, ни тех цветов, ни той меня.

Любовь – безлица. Это – страна. Любимый – один из ее обитателей, туземец, странный и особенный – как негр! – только здесь.

Глубже скажу. Этот колодец не во-вне, а во мне, я в себя, в какую-то себя проваливаюсь – как на Американских горах в свой собственный пищевод.

Ариадна

1

Оставленной быть –
это втравленной быть
В грудь – синяя татуировка матросов!
Оставленной быть – это явленной быть
Семи океанам... Не валом ли быть
Девятым, что с палубы сносит?
Уступленной быть –
это купленной быть
Задорого: ночи и ночи и ночи
Умоисступленья! О, в трубы трубить –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Уступленной быть! –

Это длиться и слыть
Как губы и трубы пророчеств.
14 апреля 1923

2

– О всеми голосами раковин
Ты пел ей...
– Травкой каждую.
– Она томилась лаской Вакховой.
– Летейских маков жаждала...
– Но как бы те моря ни солоны,
Тот мчался...
– Стены падали.
– И кудри вырывала полными
– Горстями...
– В пену падали...

21 апреля 1923

Слова и смыслы

1

Ты обо мне не думай никогда!
(На – вязчива!)
Ты обо мне подумай: провода:
Даль – длящие.
Ты на меня не жалуйся, что жаль...
Всех слаще, мол...
Лишь об одном, пожалуйста: педаль:
Боль – длящая.

2

Ла – донь в ладонь:
– За – чем рожден?
– Не – жаль: изволь:
Длить – даль – и боль.

3

Проводами продленная даль...
Даль и боль, это та же ладонь
Отрывающаяся – доколь?
Даль и боль, это та же юдоль.

23 апреля 1923

«Крутогорьями глаголь...»
Крутогорьями глаголь,
Колокольнями трезвонь
Место дольнее – юдоль,
Место дольнее – ладонь.
Всеми вольными в лазорь
Колокольнями злословь:
Место дольнее – ладонь,
Место дольнее – любовь.

29 апреля 1923

Так вслушиваются...

1

Так вслушиваются (в исток
Вслушивается – устье).
Так внюживаются в цветок:
Вглубь – до потери чувства!
Так в воздухе, который синь –
Жажда, которой дна нет.
Так дети, в синеве простынь,
Всматриваются в память.
Так вчувствовывается в кровь
Отрок – доселе лотос...
Так влюбливаются в любовь:
Впадываются в пропасть.

2

Друг! Не кори меня за тот
Взгляд, деловой и тусклый.
Так вглатываются в глоток:
Вглубь – до потери чувства!
Так в ткань вработываясь, ткач

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Ткет свой последний пропад.
Так дети, вплакиваясь в плач,
Вшептываются в шепот.
Так вплясываются... (Велик
Бог – посему крутитесь!)
Так дети, вкрикиваясь в крик,
Вмалчиваются в тихость.
Так жалом тронутая кровь
Жалуется – без ядов!
Так вбаливаются в любовь:
Впадываются в падать.
3 мая 1923

Брат
Раскалена, как смоль:
Дважды не вынести!
Брат, но с какой-то столь
Странною примесью
Смуты... (Откуда звук
ветки откромсанной?)
Брат, заходящий вдруг
Столькими солнцами!
Брат без других сестер:
Напрочь присвоенный!
По гробовой костер –
Брат, но с условием:
Вместе и в рай и в ад!
Раной – как розаном
Соупиваться! (Брат,
Адом дарованный!)
Брат! Оглянись в века:
Не было крепче той
Спайки. Назад – река...
Снова прошепчется
Где-то, вдоль звезд и шпал,
– Настежь, без третьего! –
Что по ночам шептал
Цезарь – Лукреции.
13 июля 1923

Наклон
Материнское – сквозь сон – ухо.
У меня к тебе наклон слуха,
Духа – к страждущему: жжет? да?
У меня к тебе наклон лба,
Дозирующего вер – ховья.
У меня к тебе наклон крови
К сердцу, неба – к островам нег.
У меня к тебе наклон рек,
Век... Беспамьтства наклон светлый
К лютне, лестницы к садам, ветви
Ивовой к убеганью вех...
У меня к тебе наклон всех
Звезд к земле (родовая тяга
Звезд к звезде!) – тяготенье стяга
К лаврам выстраданных мо – гил.
У меня к тебе наклон крыл,
Жил... К дуплу тяготенье совье,
Тяга темени к изголовью
Гроба, – годы ведь уснуть тщусь!
У меня к тебе наклон уст
К роднику...
28 июля 1923

«Любовь в нас...»

Любовь в нас – как клад, мы о ней ничего не знаем, всё дело в случае. Другой – наша возможность любви... Человек – повод к взрыву. (Почему вулканы взрываются?) Иногда вулканы взрываются сокровищами.

Дать взорваться больше, чем добыть.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

В любви мы лишены главного: возможности рассказать (показать), как мы от него страдаем.

«Любовь, любовь...»
Любовь, любовь,
Вселенская ересь двух!
* * *

Гудят провода,
На них воробьи –
Как воры...
* * *

Руками держи
Любовь свою, мни,
Тискай!
Правами вяжи!
Глазами вражды, сыска
Гляди – На груди
* * *

Курьерская гарь
К большим городам –
Не к вам мы!
Я думала встарь,
Что – по проводам
Телеграммы
Идут: по струне
Спешащий лоскут:
«Срочно».
* * *

Сама по струне
Хожу – вся душа –
В клочья!
Мне писем не шлют
Последнее Шах –
Отнял.
Бумажный лоскут,
Повисший в ветрах, –
Вот я...
* * *

Пространство – стена.
Но время – брешь
В эту стену.
* * *

Душа стеснена.
Не стерпишь – так взрежь
Вены!

Пространство – стена,
Но время – брешь
В эту стену.

<1923>

«Оставленного зала тронного...»
Оставленного зала тронного
Столбы. (Оставленного – в срок!)
Крутые улицы наклонные,
Стремительные, как поток.
Чувств обезумевшая жимолость,
Уст обеспамятевший зов.
– Так я с груди твоей низринулась
В бушующее море строф.
Декабрь 1923

«...Подумали ли Вы...»

...Подумали ли Вы о том, что Вы делаете, уча меня великой земной любви? Ну, а если научите? Если я, действительно, всё переборю и всё отдам?

Любовь – костер, в который бросают сокровища, так сказал мне первый человек, которого я любила, почти детской любовью, человек высокой жизни, поздний эллин.

Сегодня я (13 лет спустя) о нем вспоминаю. Не этому ли учителе меня – Вы?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Но откуда Вы это знаете, Вы, не лучшей жизнью меня – живший? И почему у Вас только укоры ко мне, а у меня – одна любовь?

М.б. женщина действительно не вправе <фраза не окончена>

Но у меня и другое было: моя высокая жизнь с друзьями «в просторах души моей».

* * *

Теперь, отрешась на секунду, что я женщина: вот Вам обычная жизнь поэта: верх (друзья) и низ (пристрастья), с той разницей, что я в этот низ вносила весь свой верх, отсюда – трагедия...Если бы я, как Вы, умела только играть (СОВСЕМ не умею!) и не шла бы в эту игру всей собой, я была бы и чище и счастливее. (NB! счастливее – да, чище – нет. 1932 г.) Моя душа мне всегда мешала, есть икона Спас-Недреманное Око, так вот – недреманное око высшей совести: перед собой.

* * *

(NB! Внося верх в низ, душу в любовь, я неизменно возвышала – другого и никогда не снижалась – сама. Ни от одной любви у меня не осталось чувства унижения – своего, только бессовестности – чужой. Мне не стыдно, что я тебя такого любила: я тебя не такого любила и пока я тебя любила, ты не был таким, но тебе должно быть (и есть) стыдно, что ты меня такую не любил – не так любил.)

* * *

А еще... неудачные встречи, слабые люди. Я всегда хотела служить, всегда исступленно мечтала слушаться, ввериться, быть вне своей воли (своеволия), быть младше <фраза не окончена>. Быть в надежных старших руках. Слабо держали – оттого уходила.

Как поэту – мне не нужен никто. Как женщине, т. е. существу смутному, мне нужна ясность, – и существу стихийному – мне нужна воля: воля другого к лучшей мне.

<1923>

«Друг, по горячему следу...»

Друг, по горячему следу

Слез...

Препечальная повесть!

– «С Вашим счастливым соседом

я поменялся бы тотчас!»

Обомлевать, распинаться,

Льстить? (Возвеличен, целован!)

Мой сотрапезник парнасский –

С бедным соседом столовым?

Но не за высшим ль столом ты?..

– Нет! не пойму! надоумьте! –

Для передачи солонки?

Для пополнения рюмки?

Только-то?.. Кравчий имперский –

С кем?

И с усмешкой, как внуку:

– Место имею в моем сердце

По мою правую руку!

29 апреля 1925

«Любовь без ревности...»

Любовь без ревности есть любовь вне пола. Есть ли такая? 1) без ревности 2) вне пола. Есть любовь с невозможностью ревности, т. е. любовь несравненного, вне сравнения стоящего. Так, может ли Гёте ревновать любимую – к любимому? (Ревность – ведь это некий низший заговор равных. Своего рода – братство. Одну дрянь променяла на другую дрянь.)

В ревности ведь элемент – признания соперника, хотя бы – права его на существование. Нельзя ревновать к тому, чего вообще не должно быть, к тому, которого вообще – нет. (А Пушкин – Дантес?) Нельзя ревновать к пустому месту...

В ревности есть элемент равенства: ревность есть равенство. Нельзя ревновать к заведомо-низшему, соревноваться с заведомо-слабейшим тебя, здесь уже ревность заменяется презрением.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Позвольте, но есть разные планы превосходства (соревнования). Бетховен превосходил любого – сущностью, но любой превосходил Бетховена – красотой. Гёте (80-ти лет) превосходил любого гением (и красотой!), но любой превосходил его молодостью.

Ревность от высшего к низшему (Бетховена – к Иксу, Гёте – к Игреку, Пушкина – к Дантесу) не есть ревность лица к лицу, а лица – к стихии, т. е. к красоте, молодости, скажем вежливо – шарму, к^{отор}ые есть – стихия (слепая).

К лицу ревновать не будешь, сам полюбишь! Гёте не может ревновать к Бетховену – вздор! Либо: не та ревность, боль – иного качества: боль-восторг, за которую – благодарность.

Но ревность Гёте к помощнику садовника, на к^{оторо}го загляделась его <пропуск одного слова> (я такого случая не знаю: наверное – был) – есть именно ревность в ее безысходности, ревность к стихии – и потому – стихийная.

Только не надо путать стихии – с данным, его «лицо» (нелицо) удостаивать своей ревности (страдания). Надо знать, что терпишь – от легиона: слепого и безымянного.

И чем нулевее соперник – тем полнее ревность: Пушкин – Дантес. (Нулевее – и как круглый нуль, и как последний нуль порядкового числительного: миллионный, ста-миллионный и т. д.)

В лице Дантеса Пушкин ревновал к нелицу. И – нелицом (ПÓЛОМ – тем самым шармом!) был убит.

«Дом с зеленою гущей...»
Дом с зеленою гущей:
Кущ зеленою кровью..
Где покончила – пуще
Чем с собою: с любовью.
14 июня 1932
«Милые дети...»
МИЛЫЕ ДЕТИ,

Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы люди или нелюди (как мы). Но говорят, что вы есть, что вы – особая порода, еще поддающаяся воздействию.

Потому:

– Никогда не лейте зря воды, п.ч. в эту же секунду из-за отсутствия этой капли погибает в пустыне человек.

– Но оттого что я не пролью этой воды, он этой воды не получит!

– Не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше.

– Потому же никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице, под ногами, подымайте и кладите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но тущобы, где умирают без хлеба. Кроме того, м.б., этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет взять его так, чем с земли.

Никогда не бойтесь смешного, и если видите человека в глупом положении: 1) постарайтесь его из него извлечь, если же невозможно – прыгайте в него, к нему, как в воду, вдвоем глупое положение делится пополам: по половинке на каждого – или же, на худой конец – не видите его.

Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают – раз так охотно на них ссылаются (NB! ряд примеров, к^{отор}ые сейчас опускаю). 2) у всех есть второе имя: никто, и совсем нет лица: бельмо. Если вам скажут: так никто не делает (не одевается, не думает, и т. д.) отвечайте: – А я – кто.

В более же важных случаях – поступках –

– Et s'il n'en reste qu'un – je serai celui-la[24]. Не говорите «немодно», но

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru всегда говорите: неблагородно. И в рифму – и лучше (звучит и получается).

Не слишком сердитесь на своих родителей, – помните, что и они были вами, и вы будете ими.

Кроме того, для вас они – родители, для себя – я. Не исчерпывайте их – их родительством.

Не осуждайте своих родителей на смерть раньше (ваших) сорока лет. А тогда – рука не подымется!

* * *

Увидя на дороге камень – убирайте, представьте себе, что это вы бежите и расширяете себе нос, и из сочувствия (себе в другом) – убирайте.

* * *

Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае.

Стесняйтесь – не уступить.

* * *

Не отличайте себя от других – в материальном. Другие – это тоже вы, тот же вы. (Все одинаково хотят есть, спать, сесть – и т. д.)

* * *

Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно – сознания. После победы стойте с опущенными глазами, или с поднятыми – и протянутой рукой.

* * *

Не отзывайтесь при других иронически о своем любимом животном (чем бы ни было – любимом). Другие уйдут, свой – останется.

* * *

Книгу листайте с верхнего угла страницы. – Почему? – П.ч. читают не снизу вверх, а сверху вниз.

Кроме того – это у меня в руке.

* * *

Наклоняйте суповую тарелку к себе, а не к другому: суп едят к себе, а не от себя, 2) чтобы, в случае беды, пролить суп не на скатерть и не на vis-à-vis[25], себе на колени.

* * *

Когда вам будут говорить: – Это романтизм, – вы спросите: – Что такое романтизм? – и увидите, что никто не знает, что люди берут в рот (и даже дерутся им! и даже плюются им! пропускают <пропуск одного слова> вам в лоб!) слово, смысл к<оторо>го они не знают.

Когда же окончательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского:

Романтизм – это душа.

* * *

Когда вас будут укорять в отсутствии «реализма», отвечайте вопросом:

– Почему башмаки – реализм, а душа – нет? Что более реально: башмаки, которые проносились, или душа, к<отор>ая не пронашивается? И кто мне в последнюю минуту (смерти) поможет: – башмак?

– Но подите-ка покажите душу!

* * *

– Но (говоря их языком) подите-ка покажите почки или печень. А они все-таки – есть, и никто своих почек глазами не видел.

Кроме того, что-то болит: не зуб, не голова, не живот, не – не – не – а – болит.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Это и есть душа.

Побег

«Тише, тише, тише, век мой громкий!..»

Тише, тише, тише, век мой громкий!

За меня потоки – и потомки.

1931

«– Не нужен твой стих...»

– Не нужен твой стих –

Как бабушкин сон.

– А мы для иных

Сновидим времен.

– Докучен твой стих –

Как дедушкин вздох.

– А мы для иных

Дозорим эпох.

– В пять лет – целый свет –

Вот сон наш каков!

– Ваш – на пять лишь лет,

Мой – на пять веков.

– Иди, куда дни!

– Дни мимо идут.

– Иди, куда мы.

– Слепые ведут.

А быть или нет

Стихам на Руси –

Потоки спроси,

Потомков спроси.

Медон

14 сентября 1931

«О поэте не подумал...»

О поэте не подумал

Век – и мне не до него.

Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом

Времени не моего!

Если веку не до предков –

Не до правнуков мне: стад.

Век мой – яд мой, век мой – вред мой,

Век мой – враг мой, век мой – ад.

Сентябрь 1934

«Уединение: уйди...»

Уединение: уйди

В себя, как прадеды в феоды.

Уединение: в груди

Ищи и находи свободу.

Чтоб ни души, чтоб ни ноги –

На свете нет такого сада

Уединению. В груди

Ищи и находи прохладу.

Кто победил на площади –

Про то не думай и не ведай.

В уединении груди

Справляй и погребай победу.

Уединение в груди.

Уединение: уйди,

Жизнь!

Сентябрь 1934

«Жизни с краю...»

Жизни с краю,

Середкою брезгуя,

Провожая –

Дорогу железную.

Века с краю

В запретные зоны

Провожая

Кверх лбом – авионы.

Почему же,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
О люди в полете!

Я – «отстала»,
А вы – отстаете,
Остаетесь.

Крылом – с ног сбивая,
Вы несетесь,
А опережаю –
я?

Февраль 1935

«Двух станов не боец, а – если гость случайный...»

Двух станов не боец,

А только гость случайный...

Двух станов не боец, а – если гость случайный –

То гость – как в глотке кость, гость – как в подметке гвоздь.

Была мне голова дана – по ней стучали

В два молота: одних – корысть и прочих – злость.

Вы с этой головы – к создателю чуду

Терпение мое, рабочее, прибавь –

Вы с этой головы – что требовали? – Блуда!

Дивясь на ответ упорный: обезглавь.

Вы с этой головы, уравненной – как гряды

Гор, вписанный в вершин божественный чертеж,

Вы с этой головы – что требовали? – Ряда!

Дивясь на ответ (безмолвный): обезножь.

Вы с этой головы, настроенной – как лира:

На самый высший лад: лирический...

– Нет, стой!

Два строя: Домострой (– и Днепрострой – на выбор!)

Дивясь на ответ безумный: – Лиры – строй.

Вы с этой головы, с лба – серого гранита,

Вы требовали: нас – люби, тех – ненавидь!

Не все ли ей равно – с какого боку битой,

С какого профиля души – глушимой быть?

Бывают времена, когда голов – не надо.

Но слово низводить – до свеклы кормовой –

Честнее с головой Орфеевой – менады!

Иродиада с Иоанна головой!

– Ты царь: живи один... – Но у царей – наложниц

Минута. Бог – один. Тот, в пустоте небес.

Двух станов не боец: судья – истец – заложник –

Двух – противубоец. Дух – противубоец.

25 октября 1935, Ванв

Отцам

1

В мире, ревуем:

– Слава грядущим!

Что во мне шепчет:

– Слава прошедшим!

Вам, проходящим,

В счет не идущим,

Чад не родящим,

Мне – предыдущим.

С клавишем, с кистью ль

Спорили, с дестью ль

Писчею – чисто

Прожили, с честью.

Белые – краше

Снега сокровищ! –

Волосы – вашей

Совести – повесть.

14–15 сентября 1935

2

Поколенью с сиренью

И с Пасхой в Кремле,

Мой привет поколенью –

По колено в земле,

А сединами – в звездах!

Вам, слышней камыша,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Чуть зазыблется воздух –
Говорящим: ду-ша!
Только душу и спасшим
Из фамильных богатств,
Современникам старшим –
Вам, без равенств и братств,
Руку веры и дружбы,
Как кавказец – кувшин
С виноградным! – врагу же –
Две – протягивавшим!
Не Сиреной – сиренью
Заключенное в грот,
Поколение – с пареньем!
С тяготением – от
Земли, над землей, прочь от
И червя и зерна!
Поколение – без почвы,
Но с такою – до дна
Днища узренной бездной,
Что из впалых орбит
Ликом девы любезной –
Как живая глядит,
Поколение, где краше
Был – кто жарче страдал!
Поколение! Я – ваша!
Продолжение зеркал.
Ваша – сутью и статью,
И почтением к уму,
И презрением к платью
Плоти – временному!
Вы – ребенку, поэтом
Обреченному быть,
Кроме звонкой монеты
Все – внушившие – чтить:
Кроме бога ВААЛА!
Всех богов – всех времен –
и племен...

Поколению – с провалом –
Мой бессмертный поклон!
Вам, в одном небывалом
Умудрившимся – быть,
Вам, среди шумного бала
Так умевшим – любить!
До последнего часа
Обращенным к звезде –
Уходящая раса,
Спасибо тебе!
16 октября 1935

Жизни

1

Не возьмешь моего румянца –
Сильного – как разливы рек!
Ты охотник, но я не дамся,
Ты погоня, но я есмь бег.
Не возьмешь мою душу живу!
Так, на полном скаку погонь –
Пригибающийся – и жилу
Перекусывающий конь
Аравийский.

27 декабря 1924

2

Не возьмешь мою душу живу,
Не дающуюся как пух.
Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, –
Безошибочен певчий слух!
Не задумана старожилом!
Отпусти к берегам чужим!
Жизнь, ты явно рифмуешь с жиром:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Жизнь: держи его! жизнь: нажим.
Жестоки у ножных костяшек
Кольца, в кость проникает ржа!
Жизнь: ножи, на которых пляшет
Любящая.

– Заждалась ножа!

28 декабря 1924

«От родимых сёл, сёл!..»

От родимых сёл, сёл!

– Наваждений! Новоявленностей!

чтобы поезд шел, шел,

чтоб нигде не останавливался,

Никуда не приходил.

В вековое! Незастроенное!

чтобы ветер бил, был,

выбивалкою соломенную

просвежил бы мозг, мозг

– все осевшее и плесенное! –

чтобы поезд нёс, нёс,

быстрее лебеда, как в песенке..

Сухопутный шквал, шквал!

Низвержений! Невоздержанностей!

чтобы поезд мчал, мчал,

чтобы только не задерживался.

чтобы только не срастись!

Не поклясться! не насытиться бы!

чтобы только – свист, свист

над проклятою действительностью.

феодалных нив! Глыб

первозданных! незахватанностей!

чтобы поезд шиб, шиб,

чтобы только не засматривался

на родимых мест, мест

августейшие засушенности!

всё едино: Пешт – Брест –

чтобы только не заслушивался.

никогда не спать! Спать?!

Грех последний, неоправданнейший..

птиц, летящих вспять, вспять

по пятам деревьев падающих!

чтоб не ночь, не две! – две?! –

еще дальше царства некоего –

этим поездом к тебе

все бы ехала и ехала бы.

Конец мая 1925

«Зная только одни августейшие беды..»

Зная только одни августейшие беды, как любовь к нелюбимому, смерть матери, тоску по своему семилетию, – такое, зная только чистые беды: раны (не язвы!) – и все это в прекрасном декоруме: сначала феодального дома, затем – эвксинского берега – не забыть хлыстовской Тарусы, точно нарочно данной отродясь, чтобы весь век ее во всем искать и нигде не находить – я до самого 1920 г. недоумевала: зачем героя непременно в подвал и героиню непременно с желтым билетом. Меня знобило от Достоевского. Его черноты жизни мне казались предвзятыми, отсутствие природы (сущей и на Сенной: и над Сенной в виде – неба: вездесущего!) не давало дышать. Дворники, углы, номера, яичные скорлупы, плевки – когда есть небо: для всех.

То же – *toutes proportions gardées!*[26] – я ощущала от стихов 18-летнего Эренбурга, за которые (присылку которых – присылал все книжки) – его даже не благодарила, ибо в каждом стихотворении – писсуары, весь Париж – сплошной писсуар: Париж набережных, каштанов, Римского Короля, одиночества, – Париж моего шестнадцатилетия.

То же – *toutes proportions encore mieux gardées*[27] – ощущаю во всяком Союзе Поэтов, революционном или эмигрантском, где что ни стих – то нарыв, что ни четверостишие – то бочка с нечистотами: между нарывом и нужником. Эстетический подход! – ЭТИЧЕСКИЙ ОТСКОК.

Сад

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.
На старость лет,
На старость бед:
Рабочих – лет,
Горбатых – лет...
На старость лет
Собачьих – клад:
Горячих лет –
Прохладный сад...
Для беглеца
Мне сад пошли:
Без ни – лица,
Без ни – души!
Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!
Без ни – ушка
Мне сад пошли:
Без ни – душка!
Без ни – души!
Скажи: довольно мўки – на
Сад – одинокий, как сама.
(Но около и Сам не стань!)
– Сад, одинокий, как ты Сам.
Такой мне сад на старость лет...
– Тот сад? А может быть – тот свет? –
На старость лет моих пошли –
На отпущение души.

1 октября 1934

«Уж если кораллы на шее...»
Уж если кораллы на шее –
Нагрузка, так что же – страна?
Тишаю, дичаю, волчею,
Как мне все – равны, всем – равна.
И если в сердечной пустыне,
Пустынной до краю очей,
Чего-нибудь жалко – так сына, –
Волчѣнка – еще поволчѣй!

9 января 1935

«Никому не отмстила и не отмщу...»
Никому не отмстила и не отмщу –
Одному не простила и не прощу
С дня, как очи раскрыла – по гроб дубов
Ничего не спустила – и видит Бог:
Не спущу до великого спуска век...
– Но достоин ли человек?
– Нет. Впустую дерусь: ни с кем.
Одному не простила: всем.

26 января 1935

Крысолов

Лирическая сатира

Город Гаммельн

(Глава первая)

Стар и давен город Гаммельн,
Словом скромн, делом строг,
Верен в малом, верен в главном:
Гаммельн – славный городок!
В ночь, как быть должно комете,
Спал без прѣсыпу и сплѣшь.
Прочно строен, чисто мѣтен,
До умильности похож
– Не подойду и на выстрел! –
На своего бургомистра.
В городе Гаммельне дешево шить:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Только один покрой в нем.
В городе Гаммельне дешево жить
И помирать спокойно.
Гривенник – туша, пятак – кувшин
Сливки, полушка – творог.
В городе Гаммельне, знай, один
Только товар и дорог:
Грех.
(Спросим дедов:
Дорог: редок.)
Ни распоясавшихся невест,
Ни должников, – и кроме
Пива – ни жажды в сердцах. На вес
Золота или крови.
Грех. Полстолетия (пятьдесят
лет) на одной постели
Благополучно проспавши, спят
дальше. «Вдвоем потели.
Вместе истлели». Тюфяк, трава, –
Разница какова?
(Бог упаси меня даже пять
лет на одной перине
Спать! Лучше моську наймусь купать!)
Души Господь их не принял.
И озаренье: А вдруг у них
Не было таковых?
Руки – чтоб гривну взывать с гроша,
Ноги – должок не додан.
Но, вразумите, к чему – душа?
Не глубоко ль негодный
– Как жардиньерка – гамак – кларнет –
В нашем быту – предмет?
В городе Гаммельне – отпиши –
Ни одного кларнета.
В городе Гаммельне – ни души,
Но уже тела за это!
Плотные, прочные. Бык, коль дюж,
Дюжины стоит душ.
А приосанятся – георгин,
Ниц! преклонись, Георгий!
Города Гаммельна гражданин, –
Это выходит гордо.
Не забывай, школяры: «Узреть
Гаммельн – и умереть!»
Juri, и Ruhrei, и Ruhr uns nicht
an (в словаре: не тронь нас!) –
Смесь. А глаза почему у них
В землю? Во-первых – скромность,
И... бережливость: воззрился – ан
Пуговица к штанам!
Здесь остановка, читатель. – Лжешь,
Автор! Очки втираешь!
В сем Эльдорадо когда ж и кто ж
Пуговицы теряет?
– Нищие. Те, что от грязи сгнив,
В спальни заносят тиф, –
Пришлые. Скоропечатня бед,
Счастья бесплатный номер.
В Гаммельне собственных нищих нет,
Был, было, раз – да помер.
Тощее ж тело вдали от тел
Сытых зарыть велел
Пастор, – и правильно: не простак
Пастор, – не всем «осанна!».
Сытые тощему не простят
Ни лоскута, ни штанной
Пуговицы, чтобы знал-де всяк:
Пуговка – не пустяк!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Пуговицею весь склад и быт
держатся. Трезв – застегнут.
Пуговица! Праадамов стыд!
Мод и свобод исподних –
Смерть. Обывателю ты – что чуб
Бульбе, и Будде – пуп.
С пуговицею – все право в прах,
В грязь. Не теряй, беспутный,
Пуговицы! Праадамов крах
Только тобой искуплен.
Фиговая! Ибо что же лист
фиговый («Mensch wo bist?») –
как не прообраз ее? («Bin nackt,
Наг, – потому робею») –
Как не зачаток, не первый шаг...
Пуговица – в идее!
Пуговицы же (внемли, живот
Голый!) – идея – вот:
Для отличения Шатуна –
Чад – от овец Господних:
Божье застегнуто чадо на́
Всё, – а козел расстегнут –
Весь! Коли с ангелами в родстве,
Муж, – застегнись на всё!
Не привиденьями ли в ночи
– Целый Бедлам вакантный! –
Нищие, гении, рифмачи,
Шуманы, музыканты,
Каторжники...

Коли взять на вес:
Без головы, чем без[28]
Пуговицы! – Санкюлот! Босьяк!
От пугача – к Сэн-Жюсту?!
Если уж пуговица – пустяк,
что ж, господа, не пусто?
Для государства она – что грунт
Древу и чреву – фунт
Стерлингов. А оборвется – голь!
Бунт! Погреба разносят!
Возвеселися же, мать, коль
Пуговицею – носик:
Знак добронравия. (Мой же росс
явственно горбонос –
в нас)[29].
Дальше от пуговичных пустот,
Муза! О истин куцых!
От революции не спасет –
Пуговица. Да рвутся ж –
Всё! Коли с демонами в родстве –
Бард, – расстегнись на всё!
* * *

Город грядок –
Гаммельн, нравов
добрых, складов
полных, – Рай –
Город...
Божья радость –
Гаммельн, здравых –
город, правых –
город...
Рай-город[30], пай-город, всяк-свой-пай-берет, –
Зай-город, загодя-закупай-город.
Без загадок –
город, – гладок:
Благость. Навык –
город. – Рай –
город...
Божья заводь –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Гаммельн, гадок –

Бесу, сладок –

Богу...

Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров

Царь-город, старшему-уступай-город.

Без пожаров –

город, благость –

город, Авель –

город. – Рай –

город...

Кто не хладен

и не жарок,

прямо в Гаммельн

поез –

жай-город, рай-город, горностаи-город.

Бай-город, вóвремя-засыпай-город.

Первый обход!

Первый обход!

С миром сношенья прерваны!

Спущен ли пес? Впущен ли кот?

Предупрежденье первое.

Су – дари, выпрягайте слуг!

Тру – бочку вытрясай, досуг!

Труд, покидай верстак:

«Morgen ist auch ein Tag».

Без десяти!

Без десяти!

Уши законопатить

ватой! Учебники отнести

в парту! Будильник – на́ пять.

Ла – вочник, оставляй мелок,

Бюр – герша, оставляй чулок

и оправляй тюфяк:

«Morgen ist auch ein Tag».

Десять часов!

Десять часов!

Больше ни междометья!

Вложен ли ключ? Вдёт ли засов;

Предупрежденье третье.

Би – блию закрывай, отец!

Бюр – герша, надевай чепец,

Муж, надевай колпак, –

«Morgen ist auch ein...»

– Спят

Гаммельнцы...

Сны

(Глава вторая)

В других городах,

в моих (через – край-город)

Мужья видят дев

морских, жены – Байронов,

Младенцы – чертей,

Служанки – наездников...

А ну-ка, Морфей,

что – гаммельнцам грезится

Безгрешным, – а ну?

– Востры – да не дюже!

Муж видит жену,

Жена видит мужа,

Младенец – сосок,

Краса толстощекая –

Отцовский носок,

который заштопала.

Повар – пробует,

Обер – требует,

всё как следует,

всё как следует.

Вдоль спицы петля –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Тáк все у них плавно!
Павл видит Петра,
А Петр видит Павла,
Конечно – внучат
Дед (точку – прозаик),
Служанка – очаг
И добрых хозяев.
Каспар – заповедь,
Пастор – проповедь.
Не без проку ведь
Спать, – не плохо ведь?
Пуды колбасы
Колбасник (со шпэком),
Суд видит весы,
Весы же – аптекарь,
Наставнику – трость,
Плод дел его швейных –
Швещу. Псу же – кость?
Ошиблись: ошейник!
Стряпка – щипаное,
Прачка – плисовое.
Как по-писаному!
Как по-писаному!
– А сам бургомистр?
– Чтó въяве – то в дрёме.
Раз он бургомистр,
Так что ж ему кроме
Как бюргеров зреть,
Вассалов своих!
А сам бургомистр –
Своих крепостных[31].
Дело слаженное,
Платье сложенное, –
По-положенному!
По-положенному!
(Лишь тон мой игрив:
Есть доброе – в старом!)
А впрочем, чтоб рифм
Не стаптывать даром –
Пройдем, пока спит,
В чертог его (строек
Царь!) прочно стоит
И нашего стóбит
Внимания...
* * *

Замка не взломав,
Ковра не закапав –
В богатых домах,
Чтó первое? запах.
Предельный, как вкус,
Нещадный, как тора,
Бесстыдный, как флюс
На роже актера.
Вся плоть вещества, –
(Счета в переплете
Шагренево!) вся
Вещественность плоти
В нем: гниль до хрящей.
С проказой не шутят!
Не сущность вещей, –
Вещественность сути:
Букет ее – всей!
Есть запахи – хлещут!
Не сущность вещей:
Существенность вещи.
Не сущность вещей,
– О! и не дневала! –
Гнилых овощей[32]

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Так пахнут подвалы –
Ему предпочту.
Дух сытости дивный!
Есть смрад чистоты.
Весь смрад чистоты в нем!
Не запах, а звук:
Мошны громогласной
Звук. Замшею рук
По бархату красных
Перил – а по мне
Смердит изобилье! –
Довольством – вполне.
А если и пылью –
Не нашей – с весной
Свезут, так уж што ж нам?
Не нищей: сквозной,
А бархатной – штофной –
Портьерной. Красот
Собранием, скопом
Красот и чистот,
А если и потом –
Добротным, с клеймом
Палаты пробирной,
Не нашим (козлом),
А банковским, жирным
Жилетным: не дам.
По самое небо
– О Ненависть! – храм
Стоглавый тебе бы –
За всех и за вся.
* * *

Засова не сняв,
Замка не затронув,
(Заметил? что в снах
Засовы не стонут,
Замки не гремят.
Врата без затвора –
Сон. До́мы – без врат.
Всё – тени, всё – вору
В снах.)
Сто – невест тебе.
Всё – с запястьями!
Без – ответственно.
Без – препятственно.
Се – час жениха!
За кражи! за взломы!
Пустить петуха
В семейные дома!
В двухспальных толстух,
В мужей без измены.
Тот красен петух –
Как стяги – как стены
В иных городах...
Замка не затронув,
Посмотрим, как здрав
В добротных хоромах
Своих – бургомистр.
* * *

Домовит, румянист –
Баю-бай, бургомистр.
Завершенная седмица –
Бургомистрово чело.
Что же мнится? что же снится
Бургомистру? Ни – че – го.
Ничего (как с жир-горы
Пот-то!), то есть: бургеры.
Спи, жирна, спи, верна,
Бургомистрша, жена

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Бургомистрова: синица,
Переполнившая зоб.
Что же мнится? что же снится
Бургомистрше? (Хорошо б,
Из перин-то вырвавши...)
...Бюргеры, ей – бюргерши.
Спи-усни, им не верь,
Бургомистрова дочь.
Соломонова пшеница –
Косы, реки быстрые.
Что мнится? что же снится
Дочке бургомистровой?
Запахи, шёпоты...
Все – и еще что-то!

Напасть

(Глава третья)

Тетки-трещотки,
Кухарки-тараторки,
– Чепцы, кошёлки –
Бабки-балаболки.
– Сала для лекаря!
– Трав для аптекаря!
– Свежего, красного
Легкого для пастора!
– По – следней дойки!
Девки-маслобойки.
– Ядреной крупки!
Стряпки-мясорубки,
– Счастья, здоровья,
Сил на три месяца!
– Свежих воловьих
Жил для ремесленников!
Тетки-трещотки,
Торговки-горлодерки,
– Кофты на байке –
Хозяйки-всезнайки.
– Све – жая требуха!
– Жи – вога петуха!
– Масляна, не суха!
– Серд – ца для жениха!
– Сливки-последки!
Соседки-добросердки.
– Свежего! с ледничку!
Советчицы-сплетницы.
– Взвесь, коль не веришь!
– Жарь – не ужарится!
– Гу – синих перьев
Для нотариуса!
– О – воши да с гряды!
– Со – вести для судьи!
Кур-ки-цесарки,
Невесты-перестарки,
Свежий, с постельки
Вдовицы-коротельки.
– Мни, да не тискай!
– Рдянь – не редиска:
– По – лушка с миской!
– Мозгов для бургомистра!
– Чтó хотите, то берите!
Подолы, капора.
Поварихи-разберихи,
Румяные повара.
Но – сы приплюснутые:
– Чего бы вкусенького?
Ла – дошки – ширмочками:
– Чего бы жирненького?
Выловить.
Выудить.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
 Выведать.
 Выгадать.
 – Всё чехлы посняли с кресел!
 – А гостей! А гостей!
 – Нынче пекарева крестят!
 – Новостей! Новостей!
 Язвы-тихони.
 Один в трахоме
 Глаз, другой – пенится.
 Сидни-кофейницы.
 – Женишка-то, чай, постарше!
 – А наряд! А наряд!
 – Говорят, что у почтарши...
 – Говорят... Говорят...
 Язвы-швырялы,
 Кляузы-обмиралы,
 – На площадь сор неси! –
 Козни-цикорницы.
 – Нацепил зеленый галстук!
 – Ловелас! Ловелас!
 – Мясник с тещей поругался!
 – А у нас! А у нас!
 – Ред – ко – сти...
 – Хит – ро – сти...
 – Кхе-кхе-кхе...
 – Кхи-кхи-кхи...
 – Бургомистрова-то Грета!
 – Не того! Не того!
 – Третью ночь сидит до свету!
 – Каково? Каково?
 – Свечку жжет...
 – Век свой жжет...
 – Счастья ждет...
 – В гроб пойдет...
 – Скатертей одних – с три пуда!
 – Чай, одна! Чай, одна!
 – Ни за кем, отцу, не буду.
 – Не жена! Не жена!
 – Грех-таки...
 – Стыд-таки...
 – Кхе-кхе-кхе...
 – Кхи-кхи-кхи...
 – Поглядеть – одне костяшки...
 – Не в соку! Не в соку!
 – К нам на кашку! К нам на чашку
 Кофейку! Кофейку!
 Клуб
 Женский – закрыт!
 Суп
 Перекипит.
 Город грядок
 Гаммельн, нравов
 добрых, складов
 полных –
 Мера! Священный клич!
 Пересмеялся – хнычь!
 Перегордился – в грязь!
 Да соразмерит князь
 Милость свою и гнев.
 Переовечил – хлев,
 Перемонаршил – бунт:
 Zuviel ist ungesund.
 В меру! Сочти и взвесь!
 Переобедал – резь,
 (Лысина – перескреб).
 Перепостился – гроб,
 Перелечил – чума!
 Даже сходи с ума

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

В меру: щелчок на фунт:

Zuviel ist ungesund.

В меру и мочь и сметь:

Перезлословил – плеть,

Но и непереглядь

– Только не передать! –

Не пере-через-край!

Даже и в мере знай –

Меру: вопрос секунд.

Zuviel ist ungesund.

В меру! Im rechten Mass!

Верный обманет глаз.

В царстве – давно – химер –

Вера и глазомер.

Мера и сантиметр!

Вот он, разумных лет

Лохунг, наш тугендбунд.

Zuviel ist un –

Не красоты одной – сало, слышишь? –

Вреден излишек.

Переполнения ж складов – рисом –

Следствием – крысы.

Саго, и сала, и мыла – в меру,

Господи, даруй!

Так и гремит по всему базару:

«Склады-амбары».

Так, чтобы в меру щедрот: не много

чтоб, и не мало.

Так и гудит по живому салу:

«Склады-завалы»[33].

К вам, сытым и злым,

К вам, жир и нажим:

Злость сытости! Сплёв

С на – крытых столов!

Но – в том-то и гвоздь! –

Есть – голода злость.

Злость тех, кто не ест:

Не ест – надоест!

Без – сильных не злобь!

(Кры – синяя дробь.)

Злость тех, кто не сыт:

Се – годня рысит

А завтра – повис.

(Кры – синяя рысь.)

(Скороговорка)

Не сыт и не спит,

(Крысиная сыпь),

По сытеньким – прыг,

(Крысиная прыть.)

Дом. Склад.

Сье-дят

До – крох.

(Крысиный горох.)

Зря – крал,

Зря – клал,

Зря – греб

(Крысиный галоп.)

Глав – глад –

Крысиный набат.

Глав-гвалт –

Крысиный обвал.

Куль! Рвись:

Глав – крыс!

* * *

А над кулем-то, а над мешком-то –

Точно над трупом!

И перекачивается круто:

«Крысы да крупы».

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

(Твой зуб,
Главкруп!)

Докраснобайствовались, мессии
Низшего класса!

Так и свистит по живому мясу:

«Крысы-запасы!»

(Твой всхлѣст,
Главхвост!)

* * *

– Присягай, визжат, главглоту!

– Взяли склад, дай им глаз!

– Всю ночь топали, как рота!

А у нас! А у нас!

– Ушки! Замашки!

– Занды[34] корноухие!

– Все-то бумажки

Взрыли, перенюхали!

– Присягай, визжат, главблуду!

– Думал – горсть, смотришь – рать!

– Самого, визжат, на блюде

Бургомистра подать!

Эка круговерть

Корноусая!

Все-то пуговицы

Пообкусывали

Штанные!

– Schande!

– Schande нам!

– Банды!

– Мастерá – усы-то салить!

– Ты им: ой! они: бей!

– У нас Библию: на палец,

Дескать – сала на ней!

– Ух, бессовестные!

– Ух, нахрапистые!

Все-то соусники

Перепакостили!

– Не спасут, визжат, молебны!

– Ты им: Gott! они: глав!

– Весь по буквам судебный

Растащили устав!

– Ух, нахрапистые!

– Ух, обшарпанные!

Все-то сахарницы

Пообхаркивали!

– Целый мир грозятся стрескать!

– Солнцеверт! – Мозговрат!

– Из краев каких-то русских,

Кораблем, говорят.

– Граждане!

К спайке!

Schande нам:

Шайки!

Ни торгов от них, ни сна нет:

Ты им: ррраз! они – сто!

«Голов сахарных не станет, –

А купецки на што?»

– Мало этого-то:

Рукой писанные

Все-то летописи

Поо –

– Присягай, визжат, главсвисту!

– Уж и стыд! Уж и страмь!

– Не совсем, с лица, на крыс-то...

– Да уж крысы ли впрямь?

– Лысины!

– Пасмы!

– Слыхано ль?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
В красном!

Предеквивный сорт!

Ты им: Бог, они: черт!

Скок – на башенный шпиц!

Ты им: Herz, они: цыц!

Ты им: чин, они: чушь!

Ты им: пиль! они: куш!

Ты им: стой! они: при!

Ты им: три! они:

– пли!

Коль не бос – кровосос,

Коль не бит – паразит,

– А язык!

– А язык!

– А язык!

– А язык!

У нас: Вот, у них: прод,

И язык не берет!

Думал: слух, смотришь: прет, –

И мышьяк не берет!

У нас: взлом, у них: ком,

У нас: чернь, у них: терн,

Наркомчёрт, наркомшиш, –

Весь язык занозишь!

В новый мир, дескать, брешь:

Не потел – так не ешь,

Не пытел – так не ешь,

Не пострел – так не ешь.

До поры, дескать, цел:

Не потел – под расстрел,

Не хотел – под расстрел,

Не пострел – под расстрел!

(Тоном обвинительного акта):

В воровстве.

В кумовстве.

В шельмовстве.

В колдовстве.

(Тоном заговора):

– Все мы белые?

– Все.

– В чем же дело?

– В словце.

(Сиясь выговорить):

Не терял.

Начинал.

Интеграл.

Интервал.

Наломал.

Напинал.

Интерна –

цио...

– Сказок довольно!

Слушать герольда!

Всех, кто отчизне – сын,

Оповещаю сим...

Не углубляясь в частности:

Гаммельн в опасности!

Горний и дольний!

Слушать герольда!

Все и семижды все,

Знайте: на волоске

– Вот уже рвущемся –

Наше имущество,

Слава и класс,

Граждане, глас

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Девы, словес не тратящей:
Постановление ратуши:
«Будь то хоть бес, хоть жид,
Тот, кто освободит
Город от тьмы крысиной,
В дом бургомистра – сыном
Вступит – прошу понять:
Сын означает: зять.
(Треск барабанный).
В Гаммельне... anno
Domini...».

* * *

В тот же час – вините будочника:
Что ж он не усторожил?! –
В город медленно входил
Человек в зеленом – с дудочкой.
УВОД

(Глава четвертая)

– Ти-ри-ли –

По рассадам германской земли,

– Ти-ри-рам –

По ее городам

– Красотой ни один не оставлен –

Прохожу,

Госпожу свою – Музыку – славлю.

Нынче – здесь,

Да и то половинку, не весь!

– Ти-ри-рам –

Завтра – там,

И хотя повсеместно обóлган –

Стар и мал,

Равнодушно никто не внимал

И никто не отказывал в долгом

Взгляде – вслед.

Только там хорошо, где нас нет!

– Сердцелов! –

Только там хорошо, где ты нов:

Не заведом, не дознан, не вызнан.

«Прижились», –

Эта слизь называется – жизнью!

– Переезд! –

Не жалейте насиженных мест!

Через мост!

Не жалейте насиженных гнезд!

Так флейтист, – провались, бережливость!

– Перемен! –

Так павлин

Не считает своих переливов.

– Ти-ри-ли! –

Провалитесь, мешки и кули!

– Ти-ри-ли! –

Проломитесь, мучные лари!

Вместо гаммельнских – флейта не

ферма! –

– Переступ –

Лип и круп,

Есть индийские пальмы и перлы.

Перелив.

Человек не ключарь кладовых!

Половик,

Червь, а не человек – тыловик!

Это – Гаммельн, а есть Гималаи:

Райский сад.

Так да сяк –

Этот шлак называется – Раем!

Оторвись!

По дорогам цветет остролист!

Отвались!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
По оврагам цветет барбарис –
Кисловатый.
Лишь бы сыт!
Этот стыд называется: свято.
Крысы, с мест!
Не водитесь с сытостью: съест!
Крысы, с глаз!
Осаждаемый сытостью – сдаст
Шпагу...
О крысоловах злословят!
Дело слов:
Крысо-лов?
Крысо-люб: значит любит, коль ловит!
Крысы, в...
– Што ж мы?
– В чем дело ж?
– Тошно!
– Приелось!
– Вкусно ж, –
В чем тайна?
– Скушно:
Крайне.
Без борьбы человек не живет,
– У меня отрастает живот:
До колен, как у царских крыс.
– У меня – так совсем отвис.
– Без борьбы человек не жилец!
– У меня разминулся жилет
С животом: не разлад, а брешь.
– У меня объявилась плешь.
– Житие – не жысть!
– Разучился грызть!
– Не поход, а сласть!
– Разучился красть!
– Утром – булки, не меньше двух.
– У меня пропадает слух.
– У меня пошатнулся зуб.
– У меня остывает зуд
В зубах...
– Без слуги не влезаю в башмак...
– Есть такая дорога – большак...
– Без борьбы и овраг – острог...
– Хорошо без сапог!
– Не поход – погост.
– У меня отсыхает хвост.
– В полдень – клёцки, не меньше трех...
– У меня – так совсем отсох.
– Без обид, без злоб...
– Назревает зоб...
– Чуть обут-одед –
Уж опять обед
Из трех блюд...
– Знали б – за версту обошли б!
– Помнишь странную вещь: башлык?
Сшиб да стык,
Штык да шлык...
– Без слуги не влезаю в обшлаг...
– Есть такая дорога – большак...
– В той стране, где шаги широки,
Назывались мы...
– Больше сил моих нету: пас!
– У меня заплывает глаз.
– У меня опадает слог.
– У меня – так совсем затек
Мозг.
– В Москву! – В Карлсбад!
– У меня оседает зад.
– У меня, по утрам, прострел.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– У меня – так совсем осел

До земли...

– Лыжи – и к Богу!

– Грыжа!

– Изжога!

Свыкнись –

И крышка!

Сытно –

Слишком.

– Три денька таких – и готов!

– Начинаю любить котов

И купцов...

– Заушат – прошу.

– Завтра дочку свою крещу:

Мне-то – все одно, ну, а ей –

Ей – целей.

– Не бивак – насест!

– У меня пропадает жест.

Флейта:

Где-то Инд...

– Начинаю вдаваться в винт.

– Различать твое.

– Запирать белье.

– Без штанов махал! –

Начинаю вводить крахмал

В туалет.

– Самолично вощить паркет.

– Господа, секрет:

Отвратителен красный цвет

Мне.

– Нам всем!

– От стыда засыпаю в семь.

– Недурен наезд!

– Начинаю бояться мест

Под мостами.

– Масс.

– Материнских глаз.

– Ну а я – стрельбы!

– Отчего у дворян гербы, –

А у нас...

Гладко, –

Как шваброй!

– Взятки!

– Подагра!

– В трюм бы!

– В гром бы!

...Тумбы.

...Пломбы.

В самый гром бы да в самый шторм!

Флейта:

Пе – ре – корм.

– Всё назад, чуть съем.

– И естественно: после схем,

диаграмм – да в склад!

– Обращение камерад

устарело. Ввиду седин

Предлагаю вам господин...

Господин гражданин...

Для... форм.

Флейта, настойчиво:

Перекорм.

Пересып.

Ели б досыта – не пошли б,

Спали б домертва – не прошли б

Ни километра, ни шестой:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Перестой.

Чудо ж делают, не присев:

Перепев.

Пересеет!

Не жалеете насиженных мест!

Перемен!

Не жалеете надышанных стен!

Звезд упавших – и тех не жалеете!

Мертвым – мир.

Выход в мир

Вот по этой по самой аллейке, –

Чуть левей.

– У меня пятьдесят сыновей!

Как один.

– У меня проржавел карабин.

– Полно – залежь

Их – по рвам!

– Без программ

Из амбара – да в Индию?!

– Брали ж

Перекоп!

Не искали ж протоптанных троп

На Москву!

– К чёрту всю

Быль с ее трехсотлетними Lind'ами!

– Идем завоевывать Индию!

Напролом!

– У меня недостроенный дом!

– Строим – мир!

– У меня недоеденный сыр!

– Выше носу же не переплюнешь!

Флейта:

Переплюнь!

В синь! в июнь!

В новизну! и к тому – новолунье ж!

Чтоб шагать молодцом –

Выступать нагишом!

Чтоб сошелся кушак –

Выступать натошак!

– Да здравствует полк!

Клыков перещелк.

Довольно с нас круп!

Курков перещуп.

...Сала и масла гарного!

Да здравствует красная...

– Крысы, марш!

Нам опостылел домашний фарш!

Свежесть, которой триста

Лет – не свежа уже! Шагом, марш!

Кто не поокис – окрысься!

Нам опостылел молочный рис!

Погорячее в ранцах!

Три миллиарда индийских крыс

Велико-оке-анских

Ждут, лихорадочные рои

Крысьего штурм унд дранг'а!

С кошками мускусными бои

На побережьях Ганга

Ждут. Не до слоек, не до колбас

Гаммельнских, венских, пражских!

Мы – на вселенную! Мир – на нас!

Кто не пропах – отважься!

Вот оне, слойки!

Сдвинься, стройся!

Вот они, смальцы!

Щерься, скалься!

Ни крупинки не припрятавши –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Шагом, шагом мимо ратуши!

Чванься! пыжься! высься! ширься!

Мимо рынка, мимо кирки.

Мыслью – вестью – страстью – выстрелом –

Мимо дома бургомистрова.

А на балконе...

Ах! а с балкона...

Вроде ожога...

Вроде поклона...

Вроде Ширази

Щёчного – тесе...

Кажется – розу

Поднял флейтист?

(Дело вежливости!)

Не задерживаться!

Вышел радоваться, –

Не оглядываться!

Вот он, в просторы – лбом,

Города крайний дом.

* * *

Око – ём!

Грань из граней, кайма из каём!

«Отстаем», –

Вот и рифма к тебе, окоём!

Скороход

В семитысячемилевых, флот,

Обогнавший нас раз

Навсегда – дальше глаз, дальше лба:

Бредовар!

Растопляющий всякую явь –

Аки воск, –

Дальше всех наших воплей и тоск!

Тоскомер!

Синим по синю (восемь в уме),

Как по аспиду школьной доски,

Давшей меру и скорость тоски:

Окохват!

Ведь не зря ж у сибирских княжат

Ходит сказ

О высасывателе глаз.

Ведь не зря ж

Эта жгучая женская блажь

Орд и стай –

По заглатывателю тайн.

Окоим!

Окодер, окорыв, околлом!

Ох, синим –

сине око твое, окоём!

Вышед в вей,

Допроси строевых журавлей,

В гаолян –

Допроси столбовых каторжан!

– Он! – За ним?

– Он же! – Ну, а за? – Он же...

– Джаным!

Здесь – нельзя.

Увези меня за

Горизонт!..

* * *

– Шел или спал?

– Штиль или шквал?

– Рус или сед?

– Наш ли уж свет?

– Дали не те!

– Ели не те!

– Горы не те!

– Гулы не те!

– Наш или тот?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Час или год?

– Год или три, –

Сколько же шли?

– Даль не та!

– Пыль не та!

– Синь не та!

– Тень не та!

– Плыл или мчал?

– Гаммельн? Квартал.

– Гаммельн? Проспал.

– Гаммельн? Читал

В сказке.

– Весьма не новая

Сказка: левой Ганновера.

– Лес не тот!

– Куст не тот!

– Дрозд не тот!

– Свист не тот!

– Юн как Ахилл!

– Гаммельн? Гости́л?

– Гаммельн? Простыл!

– Гаммельн? Учил

В книжке, покаместь т́амбуром

Тетки...

– С меня, так Гамбурга

Хватит!

– Вздох не тот!

– Ход не тот!

– Смех не тот!

– Свет не тот!

Синь, а не бел!

– Гаммельн? Пробел.

– Гаммельн? Прозрел:

Блюдо, и ел

С пивом, в одном приятном

Обществе: *hammelbraten*.

Славный кусок!

– Гаммельн? Дай срок!

– Гаммельн? Заскок!

– Гаммельн? Отек

Мозга.

– Вниманья требую:

Гаммельна просто не было:

Пыль.

Мель.

Моль.

Нуль.

Наша соль – пыль от пуль!

Наша быль – рваный куль!

Пусть, злее чумы, –

Всё ж со́ль земли – мы!

Наша кровь – та же смоль!

Раз кровь – кровью смой!

Пусть ропщут умы, –

Всё ж кровь земли – мы!

Наша дробь – га же трель!

– Эй, раб! Влево цель!

Пав ниже земли, –

всё ж: цвет ее...

– Говорю вам: не те холмы!

– Не Германия!

– Много далее!

– Не Германия!

– И не Галлия!

– Одурманены!

– Знай да захивай!

– Не Германия!

– И не Влахия!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Тише тихого!
– Дольше длинного!
Коль не Скифия,
Значит...
– Индия!
Флейта:

Индостан!
Грань из граней, страна из стран.
Синий чан –
Это ночь твоя, Индостан.
Здесь на там
Променявший, и дай на дам,
Гамма гамм.
Восходящая прямо в храм.
Рис, маис,
Промываемый девой из
Кув – шина:
Тишина твоя, Индостан.
Как стрелок
После зарослей и тревог
В пушину –
В тишину твою, Индостан –
Человек...

* * *

– Пагоды купола!
– Что-то синим-синё!
– Рисовые поля!
– Пальмовое вино!
С первоначальных бед,
С первоначальных дрем
Детский и крысий бред
Сахарным тростником.
Миру который год?
Миру который миг?
Перец, в ветрах, цветет!
Сахар, в ветрах, шумит!
Не целина – шагрень!
У синевы налет
Сливы. – Четвертый день
И никоторый год.
Смол
Гул.
Вол.
Мул.
Не полотно – резня
Красок. Дотварный ил.
Творческая мазня
Гения. Проба сил
Демона. В первый раз
Молотом о кремень.
Миру четвертый час
И никоторый день.
Де – вы
Ганга!
Древо
Манго!
Индиго! Первый цвет!
Индия! Первый крик
Твари. Вперись, поэт:
Миру четвертый миг!
Час предвкушаю: смяв
Время, как черновик...
Ока последний взмах –
И никоторый миг
Миру...
Старая крыса:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Так-таки и зудит!

Что-то будто бы – точно – вид

Этой местности мне знаком.

Чем-то пагода на закром

Смахивает...

– Тюрбан! Брамин!

Старая крыса:

Что за Индия, где овин

На овине...

– Бомбей! Базар!

Дервиш с коброю!

Старая крыса:

И амбар

На амбаре...

– Дворец раджи!

Старая крыса:

Вот так тропики в поле ржи!

Черным по белу, по складам:

Пальма? Мельня. Бамбук? Шлагбаум.

Кондор? Коршун. Маис? Горох.

Мы от Гаммельна в четырех

Милях, – горсточка, а не полк!

Флейта:

Кривотолк!

Рвите шкурника, чтобы смолк!

Крив и кос

Тот, кто в хоботе видит нос

Собственный и в слоне – закром.

Крив и хром.

(Хлеще! хлеще! рассыпай! нижи

Хроматические гаммы лжи!)

Лжец и трус

Тот, кто в будущем видит – гуз,

Мертв и сгнил

Тот, кто, идучи, видит тыл

Собственный, и в просторах – порт.

Переверт!

Передёрг!

Верьте Музыке: проведет

Сквозь гранит.

Ибо Музыки – динамит –

Младше...

– Все на единый фронт:

Горизонт!

– Озеро!

– Яхонт!

– Розовым

Взмахом

– Видишь? –

Самим бы!

Ибис!

Фламинго!

Старая крыса:

Синее – топит!

– Зеркало тропик!

Кротость –

В сапфирах!

Лотос!

Папирус!

В воду –

Как в спальню.

Озеру –

Пальмы

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Низкопоклонство.

– Смоем!

– Напьемся

Соком лотосовым: покой.

Флейта:

Водопой!

Дальним – варево и постой.

Спят и пьют.

Старая крыса:

Говорю вам, что это – пруд

Гаммельнский: триста лет, как сгнил!

Флейта:

Кро – ко – дил!

– Сбудется!

– Близится!

Старая крыса:

Лужица!

Жижица!

– Шелком ластится!

Старая крыса:

Головастики!

Безголовым и главарю:

Головастики, говорю!

Флейта:

Словарю –

Смыслов нищему корчмарю,

Делу рук –

Кто поверит, когда есть звук:

Царь и жрец.

Старая крыса:

Говорю вам, что это лжец,

Лжец, агент!

Флейта:

Лжет не Музыка – инструмент!

Старая крыса:

Trug und Schand!

Флейта:

Лжет не Музыка – музыкант!

Обособь!

Старая крыса:

Говорю вам, что это топь,

Гать!

Флейта:

Пусть так!

Лучше Музыка, чем мышьяк.

Старая крыса:

Смерть!

Флейта:

Что в том?

Лучше озеро, чем загром,

Сплыл, чем сгнил!

Тина? Полно! Коралл! Берилл!

Изумруд...

Ведь не в луже, а в звуке – мрут!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Что́ тело? Тени тень!
Век тела – пены трель!
Нир – вана, вот он, сок!
Ствол пальмы? флага шток.
В мир арок, радуг, дуг
флагштоком будет – звук.
Что́ – руки! Мало двух.
Звук – штоком, флагом – дух.
Есмь: слышу! («вижу» – сон!)
Смысл выше – ниже тон,
Ни – жайши! Тела взмёт,
И – тихо: нота нот.
Воздух душен, вода свежа.
Где-то каждый из нас раджа.
(В смерти...)
С миром глаза смежи...
– Этой Индии мы – раджи!
* * *
Раджа на радже!
Но крыс тех уже –
Никто и нигде:
Круги на воде.
В ратуше
(Глава пятая)
«Тайные, статские –
Здравствуйте, ратсгерры!»
Старого Гаммельна
Стены избавлены
От дворовых жильцов.
Праздник котлов,
Шествие протвений, –
Крысы утоплены!
Не был Цезарем бы –
Стал бы поваром бы...
Бейте в сковороды!
Бейте в сковороды!
Дням беспрепятственно
Радуйтесь, ратсгерры!
Ибо очищены
Склады от хищников,
Головы – от идей.
В скóвороду – бей!
Иллюминацией
Празднуйте, ратсгерры,
– Цукром с цикорием –
Чудо-викторию
Без кулаков, без пуль.
Праздник кастрюль.
Ратсгерры, дожили:
Крысы уложены.
Сладко ль, солоно ли –
Делать нечего
Вам – исполненное,
Мне – обещанное».
Трепеток.
Шепоток.
Раты – вкось,
Герры – в бок.
Щеки – мак,
Брови – еж:
– То есть – как?
– То есть – что ж?
(Полка с мопсами
В лавке глиняной!)
– Что же – собственно?
Что же – именно?
– Ясно я точно, без некто и где-то:
В собственность деву, по имени Грета.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Грету? Не Греты у нас и нет:
В землях живем германских.
В городе Гаммельне столько ж Грет,
Сколько, к примеру, Гансов.
Ганс или Грета. Не Грета – Ганс.
За валунами в реку –
В Гаммельн за Гретами. Контре-данс:
Коли не Ганс – так Грета.
Выйдет тебе
Суженая!
Выводками!
Дюжинами!
Не косорукий, да не слепой –
Уж себе Грету сыщешь!
Яминки – всё на один покрой! –
В ямку и прыщик в прыщик.
Оспа в оспину,
Чутка в чуточку.
Чью же собственно
Грету?
– Шутите!
Чью же, думали, высвистывал
Грету – как не бургомистрову?
Кипяток.
Топотёж.
Раты в скок,
Герры – в лёжь,
Раты – в ик,
Герры – в чих.
– И шутник!
– И жених!
Сто кабанов захрюкало:
Заколыхали брюхами.
– Ой насмешил! Утешил же!
Заполыхали плешами.
– В эдаком фартучке
Девоньку?
– Так-таки.
– С коробом почестей
Девоньку?
– В точности.
Раты – в фырк,
Герры – в верт.
– Ну и франт!
– Ну и ферт!
Очи – в узь,
Щеки – в глянец.
– Ну и гусь!
– Ну и Ганс!
С кузовом серебра –
Девоньку?
– Сеяли!
– Полную житницу
Девоньку?
– Жните же!
– Нотный тюк!
Штанный клочок!
– Ну – супруг!
– Ну – зятек!
Уж и шустр!
Уж и быстр!
Ржет без чувств
Бургомистр.
– Наспех, да наскоро
Свадебку?
– Ратсгерры!
– Первую в городе
Девушку?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Боровы!

«Будь то хоть бес, хоть жид,
Тот кто освободит
Город – хоть слеп, хоть спятил! –
в дом бургомистра зятем
вступит, в графу особ
в городе – первых»...

– Стоп!

Не в хороводе, небось, дуда, –
в думе! Шажком! Анданте!
Только про беса и про жида,
Где же про музыканта
сказано?

Как завершен обряд –
Милости просим, брате!
Всяк музыканту на свадьбе рад, –
Только не в роли зятя.
За музыканта! за нотный крюк!
Звук! – флейтяную дырку!
Где ж это видано, чтобы вдруг
да с музыкантом – в кирку?
За музыканта! За нервный ком –
дочку! милей ковач мне!
Что же и делать-то ей с тюком
нотным – на ложе брачном!
За музыканта! за голый боб!
может – в краях незнамых –
только не слыхивал Гаммельн, чтоб
за музыкантов – замуж!
– Что есть музыка? щебет птах!
шутка! Ребенок сладит!
– Что есть музыка? – Шум в ушах.
– Увеселенье свадеб.
– Беспоследственный дребезг струн.
– Скука и крики браво.
– Что есть музыка? не каплун,
а к каплуну – приправа.
– За – бывается: молод был –
сам загибал преловко!
– Мешанина из бычьих жил,
дерева и сноровки.
– Околпачивающий пар.
– Нет! Музыкантов кормим
для того, чтобы пищи вар
в нас протекал проворней.
– Полегонечку – за пивцом –
да чтобы женский пол был...
две-три арийки перед сном...
только не очень долго.
– Что есть музыка? с первых нот:
«что бы вам, братцы, кончить?»
– Ну а я так – наоборот:
только бы что погромче,
побасистее!

– Рано встав,

да коли восемь ртишек...
– Превышение всяких прав.
Гетто: себя не слышишь!
– Музыка? Гриф
с лентами.

– Шлиф.

– К зёву позыв.
– Так... перелив...
– После сольцы – пирожное...
– Из пустоты – в порожнее...
Не осведомлены, префект:
Музыка есть аффект.
Аффектация неких чувств,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Коиx и нету. Хам, мол –
Кто не чувствует.
– Как ни тщусь
Что-либо, кроме гаммы –
Беспоследственно.
– Факт есть факт:
Музыка есть антракт.
– Рукоделие праздных дур.
Что до меня – так стойко:
Пуще всяческих увертюр
Мне по нутру – настройка
Перед оными.
– Фонд есть фонд.
Музыка есть афронт –
Смыслу здравому. Вящий вздор
Нежель чулок с ажуром.
Бургомистр:

Выше-высказанное – вздор.
Истина есть. Скажу вам.
Думали – гриф
С лентами? Шлиф?
К зёву позыв?
Так... перелив –
Музыка? Тиф –
Музыка! Взрыв!
По степи – скиф!
Жил перерыв!
За головню – да голыми –
Хвать! Из огня да в полымя!
Пострашнее, чем шум в ушах,
Грезы, глаза зажмурия.
Музыка – это банков крах,
Раскрепощенье фурий.
Приглашается папа Пий
На Рождество предместий.
Quatuor четырех стихий,
Раскрепощенье бестий.
Рабской сущности унтергрунд –
Музыка – есть – бунт.
Бунт архангела. Бунт скота.
Бунт галуна в передней.
Не невеста: – клоком – фата! –
За фортепьяно – ведьма!
Лучше шулера пощади,
Чем музыканта! Дрема –
В креслах? Бесы на площади
Думской – и бесы в доме!
Женской сущности септ-аккорд –
Музыка – есть – чёрт.
Лупоглазого школяра
В пасмах – кулак Потсдаму.
Что есть музыка? Ca ira!
Ратсгерры, вот вам гамма!
В оперении райских птах
Демоны: stirb und todte!
Что есть музыка? Тайный страх
Тайного рата Гёте –
Пред Бетховеном.
Брови – вверх,
Краска – в нос.
Раты – в перх,
Герры – в чес.
Раты – в крехт,
Герры – в чох.
– С нами фохт!
– С нами Бог.
Только, талант непризнан,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Ратсгерр от Романтизма,
Новорожденски-розов
И Филомелой прозван:
«Музыка в малых дозах –
Это не так серьезно».
Бурго-же-мистр, величав и льдист:
– В Вас говорит артист.
Ратсгерр от Романтизма:

Tempi passati!
Бургомистр:

Ратсгерры, сядьте!
Шутки – за рюмкой.
Думсгерры, думьте!
Можно ли – непостижим Господь –
За музыканта – плоть
Нашу?
* * *

В городе – впрочем, одна семья
Гаммельн! И так, в семействе
Гаммельнском – местоименье «я»
Нет: не один: всё вместе.
За исключением веских благ
Я означает – всяк.
Славное слово, и есть в нем прок:
Всяк! Так и льнет шубейкой!
Автору же этих скромных строк
– Озолоти! убей хоть! –
Только одна в нем – зато моя! –
Буква понятна: я.
Необоримая! Так алмаз
Жив в черноте пожара.
Неповторимая! Что есть аз?
Что не бывает парой.
На языке невозвратных рас
Аз означает: раз.
(Азры)...

В городе Гаммельне лишь азы..
Впрочем, язык прикусим.
Страшное слово! Страшней грозы
В полночь, гостей за гусем:
я! (в пожирающем большинстве
я означает – всё).
Как у соседей! как у людей!
Не мое дело – всё так!
Автору же, ясновидцу лжей,
Оку – из самых светлых,
Только одна в нем – прошу понять –
Буква доступна: ять.
я: нагруженная по края
яблонь: снимай не снимешь!
В Гаммельне ж – вместо имени: я –
Мы – (лишь тогда не мнимость,
Не глухонемость, не пень, не тын –
С буквы когда – в аршин!)
(Право гигантов!)
– За музыканта?
Это пикантно!
Это пикантно!
Время – пропало!
Место – пространство!
– За зубоскала!
– За голодранца!
– Без будущего!
– За дудочника!
В доме – гнусь.
В лавке – долг.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Черный гусь!
Белый волк!
С крыши – душ,
В спальне – шtrand.
– Кто ваш муж?
– Му – зы – кант.
Рук – вместо платы,
Плеск – вместо мяса.
– За звездохвата!
– За лоботряса!
В грезы да в планы
Первенца кутай.
– За великана!
– За лилипута!
– За опусника!
– За фокусника!
Вечный иск!
Всё в ломбард!
Крысиный писк
Квинт да кварт.
Деток – кладь,
Geld ist Sand.
– Кто ваш зять?
– Му – зы – кант.
Дудка! для этого нужен дых
Дюжий, – весь день дудишь-то!
Не затруднительно в молодых
Летах, а что с одышкой?
Не пригодишься в нужники
Чистить. В слепцы, с жестянкой?
А неоплатные должники –
Всё они музыканты!
Ратсгерры белым
Полнятся гневом:
– Первую в целом
Городе – деву?
Первому? – браво!
Встречному? – ново!
– За крысодава?
– За крысолова?
– Бессахарника?
– За каторжника!
Общий ров.
Гроб в обрез.
Ни венков.
Ни словес.
Помер – преи.
Unbekannt.
– Кто был сей?
– Му – зы – кант.
Сомущены – в сумятице –
Глазки, обычно в маслице,
Губки, обычно бантиком,
Ратсгерра от Романтики:
– «В городе Гаммельне вечных благ
Нет, хоть земных и густо.
Гения с Гаммельном – тот же брак,
Что соловья с капустой.
К Розе приписана соловью
Страсть. Изменив пенатам,
Над соловьем моим слезы лью,
А соловей – женатый!
Гения с Гаммельном – где же такт?
Вкус? – не в родстве! не в тоне!
Невразумительней есть ли факт,
Чем соловей – в законе?
Брак – это за борт: засесть, залечь,
Закись – тюфяк – свинина...

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Не небожителя слышу речь,
Други, а мещанина!
Сам в бургомистровы рад бы влезть
Туфли – так я – предместье!
Но небожителю – что за честь
Звать бургомистра – тестем?
Многозначителен – так красив,
Высокосерд – так знатен.
Миродержателя сыном быв,
Стать бургомистра зятем?
Кухонку?
Куколку?
Кольчику?
Только-то?
Что не для лириков – Гименей –
Вам и ребенок скажет.
Остепенившийся соловей –
Недопустимый казус!
Коль небожители в царстве тел –
Ни лоскутка на дыры
Вам, ибо правильный был раздел
Благ при начале мира:
Нам – только видимый, вам же весь
Прочий (где несть болезни!).
Коль божество, в мясники не лезь,
Как в божества не лезем.
Вам – миродержествовать, нам – родить:
Здесь близнецы, там тройня,
Но музыканту счастливым быть –
Попросто непристойно!
Так предоставьте же сладкий кус
Обыкновенным смертным!
Ваша амброзия слаще уст
Женских, и чище – нектар.
Иерофанты в грязи колес,
Боги в чаду блудилищ –
Плачьте и бдите, чтоб нам спалось,
Мрите – чтоб мы плодились!
А бургомистрову дочку – план
Дольний – другим заменим.
Впрочем, в подобных делах профан
И ожидаю мненья
Следующих...»
Поразрумянился весь совет,
Лбищи понапружили.
В Гаммельне собственных мыслей нет,
Только одне чужие.
Немудрено: на земле живут,
Не в облаках витают.
Да и чужих не сказать, чтоб пуд, –
Только одна, и та ведь
Авторская... Шепоток вдоль стен:
«Что бы ему взамен?»
– Что-нибудь нужное!
Удочку! Дюжину
Недорогих носков!
– Туфельку для часов.
– Что-нибудь на стену!
Краскою масляной
Кайзера на коне!
– Дело ведь не в цене!
– Нотную папочку!
– Тросточку! На плечи
Что-нибудь из тряпья!
– Кисточку для бритья!
– Так себе – чуточку!
– Штучно! – Посуточно!
Не при дворе ж! в глуши!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Главное – от души!
– Самую капельку!
– Крохотку! – Крапинку!
– Каб налицо – сюртук,
я б предложил – утюг:
Прочно и дешево!
– Главное – пошибом
Взять: для подобных бар
Жест – наилучший дар.
Прочее – дорого.
– Дешево – здорово!
Без роковых затрат,
В дельности – аттестат.
Деньги – безвкусица!
Каперцы, устрицы, –
Не диабет – нефрит.
– Гений мечтами сыт.
Доброе мнение –
Вот она, гению,
Плата: кошель похвал.
– Смертный дорожке б взял.
Стало быть – аттестационный лист.
Ратсгерр от Романтизма:

– Эврика! В руки бейте!
Коль по призванию он – флейтист,
Значит – футляр на флейту!
Раты – в плеск,
Герры – в хлоп.
– Ну и мозг!
– Ну и лоб!
Geben – frisst,
Leb' heisst spar'...
Раз флейтист –
Так футляр.
– Слажено! – Сложено!
– Замшевый! – Кожаный!
– Для музыкальных душ
Так же приятен плюш.
– Стало быть – плюшевый!
– Ратсгерры, кушанье
Стынет. – Коль нежность – цель,
Так же нежна фланель.
– Главное – умысел!
– В траты не сунувшись,
чтоб от души – к душе –
Так из папье-маше!
Кабы малейший какой в душе
Прок был – у всех была бы.
А в переводе папье-маше –
жеваная бумага.
Хоть не корова, а нажую!
Боги – а рты замажем!
Так же как критика – соловью:
Жвачкой, притом – бумажной.
– чистой! без примеси!
– Принято! Принято!
– Хлопковой! Рисовой!
– Bravo! Подписано!
Бургомистр:

Не проскочил – в зятя!
Но, человека чтя
И в музыканте –
Ратсгерры, встаньте!
Девы, монет не тратящей,
Постановление ратуши:
Гаммельн – не в царстве душ.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Раз музыкант – не муж,
Раз музыкант – не зять.
В названной отказать
Девушке. (В царстве цен!)
И предложить взамен
Нечто из царства чар:
На инструмент – футляр.
Жвачно-бумажный.
Ибо не важно –
Что – («Вещество – лишь знак».
Гёте) – а важно – как.
Тих как мех.
Тих как лев.
Губы в смех.
Брови в гнев.
Выше звезд,
Выше слов,
Во весь рост –
Крысолов.
«Раз музыкант – так мот.
Дудки не бережет
Дудочник. Треснет – свистнет.
Чехолоненавистник
Он – и футлярокол
Раз музыкант – так гол.
Чист. Для чего красе –
Щит? Гнойники скрывают!
Кто со всего и всё
В мире – чехлы срывает!
Нехороша – так пнуть!
Чтоб просияла суть.
Не в ушеса, а в слух
Вам протрубят к обедне
В день, когда сбросит дух
Тело: чехол последний.
В день, когда станут – льды.
В душу, – и без трубы.
Не в инструменте – в нас
Звук. Разбивайте дудки!
Зорче всего – без глаз
Видящий. Самый гудкий
И благодарный зал –
Грудь. Никогда не мал.
Не соловью беречь
Горло. (Три капли на ночь!)
Что до футляра – в печь!
Или наденьте на нос...
Ратсгерры! Долг и мзду –
Дочь бургомистра. Жду».
Зашушукали: шу-шу-шук...
«За каких-нибудь десять штук
Жалких – благо бы крыс! – мышей!
Не видать как своих ушей».
Грета, Грета, попалась в сеть!
Легче уши свои узреть,
Нежель душу.
– Камыш, шурши!
Не видать как своей души.
Детский рай
(Глава шестая и последняя)
Розан ал, студень гол,
А будильник – зол.
В школу! В школу! В школу! В школу!
Норд-Ост – в спину! Норд-Вест – в полы!
Не продравши глаз –
В класс! в класс! в класс!
Жарче шуб, слаще дынь –
А будильник: дзинь!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Разрывай-рывай глаза!
Спать нельзя! нельзя! нельзя!
Собирай-бирай мозги!
Тьма – ни зги! ни зги! ни зги!
Но – гами в чан!
Под кран! Под кран!
Не роман и не драма, – скушна весьма!
Из-под крана смывайте румяна сна!
Готы идут и гунны.
Но, говоря разумно,
Так от готов и гуннов – а мир был мал! –
Что осталось? Хороший балл.
Гул да балл.
Гунн да галл.
(Спутал – влет.)
Галл да гот.
Гот да галл.
– Слишком мал –
Гунн да гот,
– Бутерброд.
Гунны – конные, ножки гнуты.
В фунте двадцать четыре фута.
Плюс на минус выходит – плюс.
Цезарь – немец.
Сейчас проснусь.
Спит сурок, спит медведь.
– Спать не сметь! не сметь! не сметь!
Спит мертвец, спит индус.
– Отосплюсь – просплюсь – просплюсь...
Буки – Аз –
В щелки глаз.
Сотней ос –
В ноздри, в нос.
На сто лет, на сто мод –
Мой завод – завод – завод.
– Рухнет дуб, рухнет трон –
Заведён – ведён – ведён.
Сотни лет, сотни мод –
А что дальше будет –
Скажет тот, скажет тот,
Кто будильник – будит.
Что́ есть час? что́ есть год?
Ведь и кратер глохнет!
Скажет тот, скажет тот –
Кто будильник грохнет.
Час пропал, день сгорел,
А будильник – цел.
Были доли –
Выросли горы.
Нынче – в школу,
Завтра – в контору.
Где вы, пчелы?
Где вы, зубрилы?
Нынче в школу,
Завтра в могилу...
Утомительней мошкары...
– Шко – ля – ры!
Что́ это? Новый звук!
Книги летят из рук
– Мимо – и прямо в печь.
Руки хотят от плеч,
Слезы хотят из глаз,
Сало упало в таз,
Мыло упало в суп –
В школьную Morgensupp'
Звуки! Звуки! Как из лейки!
Как из тучи! Как из глаз!
Это флейта, это флейта

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Это флейта залилась!
Скоки! Скоки! Как из стойла!
Топот-притоп, топот-пряд.
– флейта, лей нам! флейта, пой нам! –
Жеребят, козлят, телят.
Вольница.
Конница.
Школьники.
Школьницы.
Что ливень с суков,
что щебень с горы –
Со всех чердаков
Горох детворы.
Школьники? Вздор. Бальник? Сдан.
Ливня, ливня барабан!
Глобус? Сбит. Ранец? Снят.
Щебня, щебня водопад!
Всплески! Всплески! Как из шайки!
Атлас, старься! Грифель, жди!
В роще – сойки, в роще – зайки,
В роще – белые дрозды!
Крики! Крики! Так, примером,
Рты и глотки растворя,
Дикари миссионером
Заедают жития.
Дет – во – ра!
Золотых вечеров мошкара...
Ди – ка – ри!
Голосистых прудов пискари...
Прочь от нор!
Мотылек – не сурок, не бобер.
Прочь от школ!
Ведь еще первоцвет не отцвел.
Есть у меня – не в службу, а в дружбу! –
Для девочек куклы, для мальчиков ружья.
– Глубокая ловля и быстрая гребля, –
Для девочек – иглы, для мальчиков – кегли,
На – ряд и доспех
И – вафли – для всех.
Птичкам – рошица, рыбкам – озерце,
На всё особи, на всё возрасты!
Младшим – сладости, старшим – пряности, –
На всё тайности, на всё странности.
Блеск – больно глазам:
Эдем и Сезам.
Под родительскою крышею
Вы там-там бессонный слышали?
Под родительскою кровлею
Кто шербет блаженный пробовал?
Дом – тесный загон
Для львов и для жен.
Есть у меня – сказал, так в ладони! –
Для девочек – лани, для мальчиков – кони,
Плоды Соломона и розы Саади,
Для, мальчиков – войны, для девочек – свадьбы,
Весь – мир – нараспев
И ласка для всех.
Рыбки в лужице! Птички в клетке!
Уничтожимте всё отметки!
Рыбкам – озерце, птичкам – лето, –
Уничтожены всё предметы!
Рож – дественский стол
В древнейшей из школ.
– Говорят, что он в зеленом!
– Где ж он? – Я иду за звоном.
– Он в жару меня баюкал.
– Где ж он? – Я иду за звуком.
– Я за красною фатой.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Я за старшею сестрой.
– Говорят, что рай – далёко.
– Я не выучил урока.
– Что-то боязно мне втайне.
– Я – за дальним. Я – за крайним.
– Я – чтоб детство наверстать.
– Не остаться. – Не отстать.
– За отчаявшимся кладом.
– Я – за славой. Я – за стадом.
– Все равно – домой нельзя уж!
– Я – так за́ море! Я – замуж.
– Потому что в школе бьют.
– Потому что все идут.
– Ночевать хотел бы в сене.
– Я – за францем. Я – за всеми.
– Воевать хотел бы с львами.
– Я? не знаю. Ноги сами.
Потому что фатер – бьет.
Потому что – всё идет!
...Колотушки – и те в миндалинках!
Погремушки для самых маленьких!
Сказки – пастора рассмешишь!
И романтики для больших.
На всякие нужды! на всякие вкусы!
Для мальчиков – пули, для девочек – бусы.
На всякие жажды! на всякие масти!
Для мальчиков – игры, для девочек – страсти.
Без свах, без помех.
И – письма – для всех.
Говорят, что он заводит,
Топит. (ворочай, народец!)
– Заведет, потом загубит!
– Раз не может, так не будет
Хуже! – В лад – так не злодей!
– В ад – так без проповедей!
– Хорошо еще, что вместе,
Кучей. – А сказать по чести...
(То с воды идет, то свыше, –
Где ж он?) – Ничего не слышу:
Ни гопп-гопп и ни ду-ду, –
Всё идут, и я иду.
– Есть у меня – всё, всё, кроме ренты!
Для мальчиков – флинты, для девочек – ленты,
Дозорные знаки и тайные числа,
Для девочек – звуки, для мальчиков – смыслы,
Сих – с теми – родство.
И – рифма – на всё.
Ветер в полы!
Мимо школы!
Целым цирком –
Мимо кирки.
Кем ни разу не ласкан
Да без просыпу таскан –
До свидания, классный!
До свидания, пастор!
Не напишем и не пиши!
– Малыши!
Есть у меня – не всё перескажешь! –
Для мальчиков – радость, для девочек – тяжесть,
Нежна – перелюбишь, умна – переборешь.
Для мальчиков – сладость, для девочек – горечь.
Дно – страсти земной...
И – рай – для одной.
Здесь – путы,
Здесь – числа...
Разруха...
Разлука...
Рай – сути,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Рай – смысла,

Рай – слуха,

Рай – звука.

Точно облачко перистое,

Шепот: Грета бургомистрова!

Стройтесь, резвые невестины

Сёстры в свадебное шествие.

Позабыв о сальных бальниках. –

За руку берите маленьких.

Школьный дом уже с горошину!

На руки берите крошечных

Братцев аистовых...

– Не раскаиваться!

Вроде благовеста...

– Не оглядываться!

Вот он, в просторы стай,

Города самый край.

– Зарастай,

След от ног наших. Спросят – в Китай.

Враний грай,

Голоса и шаги заглашай.

Вы, кусты,

Не храните одежд лоскуты.

Ветер, ты

Голоса и шаги относи.

Без следа!

Говорят, что сегодня среда:

День труда.

В том краю воскресенье всегда.

Жить – стареть,

Неуклонно стареть и сереть.

Жить – врагу!

Всё, что вечно – на том берегу!

В царстве моем – ни тюрем, ни боен, –

Одно ледяное! одно голубое!

Под зыбкою рябью, под зыбкою кровлей

Для девочек – перлы, для мальчиков – ловля

Их. – С грецкий орех!

И – ванна – для всех.

Спи-усни, спи-исчезнь,

Жемчуг – чудная болезнь.

Хворост – сер. Хочешь – ал?

Вместо хворосту – коралл.

В царстве моем – ни свинки, ни коры,

Ни высших материй, ни средних историй,

Ни расовой розни, ни Гусовой казни,

Ни детских болезней, ни детских боязней:

Синь. Лето краснó.

И – время – на всё.

Тише, тише, дети! Отданы

В школу тихую, подводную.

Лейтесь, лейтесь, розы щёчные,

В воду вечную, проточную.

Кто-то: мел! кто-то: ил!

Кто-то: ноги промочил!

Кто-то: вал! кто-то: гул!

Кто-то: озера хлебнул!

А вода уже по пальчики

Водолазам и купальщицам...

Жемчуга навстречу сыплются.

А вода уже по щиколку...

Под коленочки норовит.

– Хри – зо – лит!

Красные мхи, лазурные ниши...

(А ноги всё ниже, а небо всё выше.)

Зеркальные ложи, хрустальные зальца...

А что-то всё ближе, а что-то всё дальше...

– Берегись! По колено ввяз!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Хри – зо – праз!

А вода уже по плечико

Мышкам в будничном и в клетчатом.

Выше, выше, носик вздернутый!

А вода уже по горлышко, –

Усладительней простыни...

– Хру – ста – ли...

В царстве моем (нежнейшее dolce)...

А веку всё меньше, а око всё больше...

Болотная чайка? Младенческий чепчик?

А ноги всё тяжче, а сердце всё легче...

Поминай, друзья и родичи!

Подступает к подбородочку.

Хороши чертоги выстроил

Нищий – дочке бургомистровой?

– Вечные сны, бесследные чащи...

А сердце всё тише, а флейта всё слаще...

– Не думай, а следуй, не думай, а слушай...

А флейта всё слаще, а сердце всё глуше...

– Муттер, ужинать не зови!

Пу – зы – ри.

Вшеноры, март 1925 –

Париж, ноябрь 1925

Шарль Бодлер

«La voyage»

Перевод Марины Цветаевой

Плаваньё

Максиму дю Кан

1

Для отрока, в ночи глядящего эстампы,

За каждым валом – даль, за каждой далью – вал.

Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!

Ах, в памяти очах – как бесконечно мал!

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,

Мы всходим на корабль – и происходит встреча

Безмерности мечты с предельностью морей.

Что нас толкает в путь? Тех – ненависть к отчизне,

Тех – скука очага, еще иных – в тени

Цирцеиных ресниц оставивших полжизни, –

Надежда отстоять оставшиеся дни.

В Цирцеиных садах дабы не стать скотами,

Плывут, плывут, плывут в оцепененьи чувств,

Пока ожоги льдов и солнц отвесных пламя

Не вытравят следов волшебницыных уст.

Но истые пловцы – те, что плывут без цели:

Плывущие – чтоб плыть! Глотатели широт,

Что каждую зарю справляют новоселье

И даже в смертный час еще твердят: вперед!

На облако взгляни: вот облик их желаний!

Как отроку – любовь, как рекруту – картечь,

Так край желанен им, которому названья

доселе не нашла еще людская речь.

2

О, ужас! Мы шарам катящимся подобны,

Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры

Нас Лихорадка бьет –

как тот Архангел злобный,

Невидимым бичом стегающий миры.

О, странная игра с подвижною мишенью!

Не будучи нигде, цель может быть – везде!

Игра, где человек охотится за тенью,

За призраком ладьи на призрачной воде...

Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо.

В блаженную страну ведет – какой пролив?

Вдруг, среди гор и бездн и гидр морского ада –

Крик вахтенного: – Рай! Любовь! Блаженство! –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Риф.

Малейший островок, завиденный дозорным,
Нам чудится землей с плодами янтаря,
Лазоревой водой и с изумрудным дерном.
Базальтовый утес являет нам заря.
О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег!
Скормить его зыблям, иль в цепи заковать, –
Безвинного лгуна, выдумщика Америк,
От вымысла чьего еще серее гладь.
Так старый пешеход, ночующий в канаве,
Вперяется в Мечту всей силою зрачка.
Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,
Мигающей свечи на вышке чердака.

3

Чудесные пловцы! Что за повествованья
Встанут из ваших глаз – бездоннее морей!
Явите нам, раскрыв ларцы воспоминаний, –
Сокровища, каких не видывал Нерей.
Умчите нас вперед – без паруса и пара!
Явите нам (на льне натянутых холстин
Так некогда рука очам являла чару)
Видения свои, обрамленные в синь.
Что видели вы, что?

4

– Созвездия. И зыби,
И желтые пески, нас жгущие поднесь,
Но, несмотря на бурь удары, рифов глыбы, –
Ах, нечего скрывать! – скучали мы, как здесь.
Лиловые моря в венце вечерней славы,
Морские города в тиаре из лучей
Рождали в нас тоску, надежнее отравы,
Как воин опочить на поле славы – сей.
Стройнейшие мосты, славнейшие строенья,
Увы, хотя бы раз сравнились с градом – тем,
Что из небесных туч возводит Случай-Гений...
И тупились глаза, узревшие Эдем.
От сладостей земных – Мечта еще жесточе!
Мечта, извечный дуб, питаемый землей!
Чем выше ты растешь, тем ты страстнее хочешь
Достигнуть до небес с их солнцем и луной.
Докуда дорастешь, о древо – кипариса
живучее?..

Для вас мы привезли с морей
Вот этот фас дворца, вот этот профиль мыса, –
Всем вам, которым вещь чем дальше – тем милей!
Приветствовали мы кумиров с хоботами,
С порфириковых столпов вззирающих на мир,
Резьбы такой – дворцы, такого взлету –
камень,
что от одной мечты – банкротом бы – банкир...
Надежнее вина пьянящие наряды,
Жен, выкрашенных в хну – до ноготка ноги,
И бронзовых мужей в зеленых кольцах гада...

5

– И что, и что – еще?
– О, детские мозги!..

6

Но чтобы не забыть итога наших странствий:
От пальмовой лозы до ледяного мха,
Везде – везде – везде на всем земном пространстве
Мы видели всё ту ж комедию греха:
Ее, рабу одра, с ребячливостью самки
Встающую пятой на мыслящие лбы,
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке
Наследственном – всегда – везде – раба рабы!
Мучителя в цветах и мученика в ранах,
Обжорство на крови и пляску на костях,
Безропотностью толп разнузданных тиранов, –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Владык, несущих страх, рабов, метущих прах.
С десятков или два – единственных религий,
Все сплошь ведущих в рай –

и сплошь вводящих в грех
Подвижничество, так носящее вериги,
Как сибаритство – шелк и сладострастье – мех.
Болтливый род людской, двухдневными делами
Кичащийся. Борец, осиленный в борьбе,
Бросающий Творцу сквозь преисподни пламя:
– Мой равный! Мой Господь! Проклятие тебе!
И несколько умов, любовников Безумья,
Решивших сократить докучный жизни день
И в опия морей нырнувших без раздумья, –
Вот Матери-Земли извечный бюллетень!

7

Бесплодна и горька наука дальних странствий:
Сегодня, как вчера, до гробовой доски –
Всё наше же лицо встречает нас в пространстве:
Оазис ужаса в песчаности тоски.
Бежать? Пребыть? Беги! Приковывает бремя –
Сиди. Один, как крот, сидит, другой бежит,
Чтоб только обмануть лихого старца – Время.
Есть племя бегунов. Оно – как Вечный Жид.
И как апостолы, по всем морям и сушам
Проносится. Убить зовущееся днем –
Ни парус им не скор, ни пар. Иные души
И в четырех стенах справляются с врагом.
В тот миг, когда злодей настигнет нас – вся вера
Вернется нам, и вновь воскликнем мы: – вперед!
Как на заре веков мы отплывали в Перу,
Аврорю лица приветствуя восход.
Чернильною водой – морями глаже лака –
Мы весело пойдем между подземных скал.
О, эти голоса, так вкрадчиво из мрака
Взывающие: – К нам! – О, каждый, кто взалкал
Лотосова плода! Сюда! В любую пору
Здесь собирают плод и отжимают сок.
Сюда, где круглый год – день лотосова сбора,
Где лотосову сну вовек не минет срок.
О, вкрадчивая речь! Нездешней лести нектар!
К нам руки тянет друг – чрез черный водоем.
– Чтоб сердце освежить – плыви к своей Электре! –
Нам некая поет – нас жегшая огнем.

8

Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода – куда черней чернила,
Знай, тысячами солнц сияет наша грудь!
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть – Ад или Рай – едино! –
В неведомого глубь – чтоб новое обрести!

1940

«Умирая, не скажу: была...»
Умирая, не скажу: была.
И не жаль, и не ищу виновных.
Есть на свете поважней дела
Страстных бурь и подвигов любовных.
Ты – крылом стучавший в эту грудь,
Молодой виновник вдохновенья –
Я тебе повелеваю: – будь!
Я – не выйду из повиненья.
30 июня 1918

«На што мне облака и степи...»
На што мне облака и степи
И вся подсолнечная ширь!
Я раб, свои взлюбивший цепи,
Благословляющий Сибирь.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Эй вы, обратные по трахту!

Поклон великим городам.

Свою застеночную шахту

За всю свободу не отдам.

Поклон тебе, град Божий, Киев!

Поклон, престольная Москва!

Поклон, мои дела мирские!

Я сын, не помнящий родства...

Не встанет – любоваться рожью

Покойник, возлюбивший гроб.

Заворожил от света Божья

Меня верховный рудокоп.

3 мая 1921

Эмигрант

Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами,

Дамами, Думами,

Не слюбившись с вами, не сбившись с вами

Неким –

Шуманом пронося под полой весну:

Выше! из виду!

Соловьиным тремоло на весу –

Некий – избранный.

Боязливейший, ибо взяв на дыб –

Ноги лижете!

Заблудившийся между грыж и глыб

Бог в блудилище.

Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь

Не отвыкший... Виселиц

Не принявший... В рвани валют и виз

Веги – выходец.

9 февраля 1923

Поэты

1

Поэт – издалека заводит речь.

Поэта – далеко заводит речь.

Планетами, приметами, окольных

Притч рытвинами... Между да и нет

Он даже размахнувшись с колокольни

Крюк выморочит... Ибо путь комет –

Поэтов путь. Развешенные звенья

Причинности – вот связь его!

Кверх лбом –

Отчаетесь! Поэтовы затменья

Не предугаданы календарем.

Он тот, кто смешивает карты,

Обманывает вес и счет,

Он тот, кто спрашивает с парты,

кто Канта наголову бьет,

кто в каменном гробу Бастилий

Как дерево в своей красе.

Тот, чьи следы – всегда простыли,

Тот поезд, на который все

Опаздывают...

– ибо путь комет

Поэтов путь: жжя, а не согревая,

Рвя, а не возвращая – взрыв и взлом –

Твоя стезя, гривастая кривая,

Не предугадана календарем!

8 апреля 1923

2

Есть в мире лишние, добавочные,

Невписанные в окоём.

(Нечислящимся в ваших справочниках,

Им свалочная яма – дом.)

Есть в мире полые, затолканные,

Немотствующие – навоз,

Гвоздь – вашему подолу шелковому!

Грязь брезгует из-под колес!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Есть в мире мнимые, невидимые:

(Знак: лепрозариумов крап!)

Есть в мире Иовы, что Иову

Завидовали бы – когда б:

Поэты мы – и в рифму с париями,

Но выступив из берегов

Мы бога у богинь оспариваем

И девственницу у богов!

22 апреля 1923

3

Что же мне делать, слепцу и пасынку,

В мире, где каждый и отч и зряч,

Где по анафемам, как по насыпям –

Страсти! где насморком

Назван – плач!

Что же мне делать, ребром

и промыслом

Певчей! – как провод! загар! Сибирь!

По наваждениям своим – как по мосту!

Их невесомостью

В мире гирь.

Что же мне делать, певцу и первенцу,

В мире, где наичернейший – сер!

Где вдохновенье хранят, как в термосе!

С этой безмерностью

В мире мер?!

22 апреля 1923

Крестины

Воды не перетеплил

В чану, зазнобил – как надобно –

Тот поп, что меня крестил.

В ковше плоскодонном свадебном

Вина не пересластил –

Душа да не шутит брашнами! –

Тот поп, что меня крестил

На трудное дело брачное:

Тот поп, что меня венчал.

(Ожжась, поняла танцовщица,

Что сок твоего, Анчар,

Плода в плоскодонном ковшике

Вкусила...)

– На вечный пыл

В печи смоляной поэтовой

Крестил – кто меня крестил

Водю неподогретою

Речною, – на свьше сил

Дела, не вершимы женами –

Крестил – кто меня крестил

Беду неподслащенною:

Беспримесным тем вином.

Когда поперхнусь – напомните!

Каким опалюсь огнем?

Всё страсти водю комнатной

Мне кажутся. Трижды прав

Тот поп, что меня обкарнывал.

Каких убоюсь отрав?

Все яды – водю отварною

Мне чудятся. Что мне рок

С его родовыми страхами –

Раз собственные, вдоль щек,

Мне слезы – водю сахарной!

А ты, что меня крестил

Водю исступленной Савловой

(Так Савл, занеся костыль,

Забывчивых останавливал) –

Молись, чтоб тебя простил –

Бог.

1 января 1925

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Разговор с гением

Глыбами – лбу

Лавры похвал.

«Петь не могу!»

– «Будешь!» – «Пропал,

(На толокно

Переводи!)

Как молоко –

Звук из груди.

Пусто. Сухá.

В полную веснь –

Чувство сука».

– «Старая песнь!

Брось, не морочь!»

«Лучше мне впредь –

Камень толочь!»

– «Тут-то и петь!»

«Что я, снегирь,

Чтоб день-деньской

Петь?»

– «Не моги,

Пташка, а пой!

Назло врагу!»

«Коли двух строк

Свесть не могу?»

– «Кто когда – мог?!» –

«Пытка!» – «Терпи!»

«Скошенный луг –

Глотка!» – «Хрипи:

Тоже ведь – звук!»

«Львов, а не жен

Дело». – «Детей:

Распотрошен –

Пел же – Орфей!»

«Так и в гробу?»

– «И под доской».

«Петь не могу!»

– «Это воспой!»

Медон, 4 июня 1928

«Вскрыла жилы: неостановимо...»

Вскрыла жилы: неостановимо,

Невосстановимо хлещет жизнь.

Подставляйте миски и тарелки!

Всякая тарелка будет – мелкой,

Миска – плоской.

Через край – и мимо –

В землю черную, питать тростник.

Невозвратно, неостановимо,

Невосстановимо хлещет стих.

6 января 1934

«Есть счастливицы и счастливицы...»

Есть счастливицы и счастливицы,

Петь не могущие. Им –

Слезы лить! Как сладко вылиться

Горю – ливнем проливным!

Чтоб под камнем что-то дрогнуло.

Мне ж – призвание как плеть –

Меж стенания надгробного

Долг повелевает – петь.

Пел же над другом своим Давид,

Хоть пополам расколот!

Если б Орфей не сошел в Аид

Сам, а послал бы голос

Свой, только голос послал во тьму,

Сам у порога лишним

Встав, – Эвридика бы по нему

Как по канату вышла...

Как по канату и как на свет,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Слепо и без возврата.
Ибо раз голос тебе, поэт,
Дан, остальное – взято.

Январь 1935

А. С. Пушкину
(1799–1837)

Встреча с Пушкиным
Я поднимаюсь по белой дороге,
Пыльной, звенящей, крутой.
Не устанут мои легкие ноги
Выситься над высотой.
Слева – крутая спина Аю-Дага,
Синяя бездна – окрест.
Я вспоминаю курчавого мага
Этих лирических мест.
Вижу его на дороге и в гроте...
Смуглую руку у лба...
– Точно стеклянная на повороте
Продребезжала арба...
Запах – из детства – какого-то дыма
Или каких-то племен...
Очарование прежнего Крыма
Пушкинских милых времен.
Пушкин! – Ты знал бы по первому взору,
Кто у тебя на пути.
И просиял бы, и под руку в гору
Не предложил мне идти.
Не опираясь о смуглую руку,
Я говорила б, идя,
Как глубоко презираю науку
И отвергаю вождя,
Как я люблю имена и знамена,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны,
– Каждого встречного пса! –
Полуулыбки в ответ на вопросы,
И молодых королей...
Как я люблю огонек папиросы
В бархатной чаще аллея,
Комедиантов и звон тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя: Марина,
Байрона и болеро,
Ладанки, карты, флаконы и свечи,
Запах кочевий и шуб,
Лживые, в душу идущие, речи
Очаровательных губ.
Эти слова: никогда и навеки,
За колесом – колею...
Смуглые руки и синие реки,
– Ах, – Мариулу твою! –
Треск барабана – мундир властелина –
Окна дворцов и карет,
Рощи в сияющей пасти камина,
Красные звезды ракет...
Вечное сердце свое и служенье
Только ему, Королю!
Сердце свое и свое отраженье
В зеркале... – Как я люблю...
Кончено... – Я бы уж не говорила,
Я посмотрела бы вниз...
Вы бы молчали, так грустно, так мило
Тонкий обняв кипарис.
Мы помолчали бы оба – не так ли? –
Глядя, как где-то, у ног,
В милой какой-нибудь маленькой сакле
Первый блеснул огонек.
И – потому что от худшей печали

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Шаг – и не больше – к игре! –

Мы рассмеялись бы и побежали

За руку вниз по горе.

1 октября 1913

«Счастье или грусть...»

Счастье или грусть –

Ничего не зная наизусть,

В пышной тальме катать бобровой,

Сердце Пушкина теревить в руках,

И прослыть в веках –

Длиннобровой,

Ни к кому не суровой –

Гончаровой.

Сон или смертный грех –

Быть как шелк, как пух, как мех,

И, не слыша стиха литого,

Процветать себе без морщин на лбу.

Если грустно – кусать губу,

И потом, в гробу,

Вспоминать Ланского.

11 ноября 1916

Психея

Пунш и полночь. Пунш – и Пушкин.

Пунш – и пенковая трубка

Пышущая. Пунш – и лепет

Бальных башмачков по хриплым

Половицам. И – как призрак –

В полукруге арки – птицей –

Бабочкой ночной – Психея!

Шепот: «Вы еще не спите?

Я – проститься...» Взор потуплен.

(Может быть, прощенья просит

За грядущие проказы

Этой ночи?) Каждый пальчик

Ручек, павших Вам на плечи,

Каждый перл на шейке плавной

По сто раз перецелован.

И на цыпочках – как пэри! –

При этом – привиденьем –

Выпорхнула.

Пунш – и полночь.

Вновь впорхнула: «Что за память!

Позабыла опахало!

Опоздаю... В первой паре

Полонеза...»

Плащ накинув

На одно плечо – покорно –

Под руку поэт – Психею

По трепещущим ступенькам

Провожает. Лапки в плед ей

Сам укутал, волчью полость

Сам запахивает... – «С Богом!»

А Психея,

К спутнице припав – слепому

Пугалу в чепце – трепещет:

Не прожег ли ей перчатку

Пылкий поцелуй арапа...

.....
Пунш и полночь. Пунш и пепла

Ниспадение на персидский

Палевый халат – и платья

Бального пустая пена

В пыльном зеркале...

Начало марта 1920

Стихи к Пушкину

1

Бич жандармов, бог студентов,

Желчь мужей, услада жен,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Пушкин – в роли монумента?
Гостя каменного? – он,
Скалозубый, нагловзорый
Пушкин – в роли командора?
Критик – ноя, нытик – вторя:
«Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство – моря
Позабыли – о гранит
Бьющегося? Тот, соленый
Пушкин – в роли лексикона?
Две ноги свои – погреться –
Вытянувший, и на стол
Вспрыгнувший при самодержце
Африканский самовол –
Наших прадедов умора –
Пушкин – в роли гувернера?
Черного не переокрасить
в белого – неисправим!
Недурен российский классик,
Небо Африки – своим
Знавший, невское – проклятым.
– Пушкин – в роли русопята?
Ох, брадатые авгуры!
Задал, задал бы вам бал
Тот, кто царскую цензуру
Только с дурой рифмовал,
А «Европы Вестник» – с...
Пушкин – в роли гробокопа?
К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и смуглее
До сих пор на свете всем,
Всех живучей и живее!
Пушкин – в роли мавзолея?
То-то к пушкинским избушкам
Лепитесь, что сами – хлам!
Как из душа! Как из пушки –
Пушкиным – по соловьям
Слова, соколám полета!
– Пушкин – в роли пулемета!
Уши лопнули от вопля:
«Перед Пушкиным во фронт!»
А куда девали пёкло
Губ, куда девали – бунт
Пушкинский? уст окаянство?
Пушкин – в меру пушкиньянца!
Томики поставив в шкафчик –
Посмешаете ж его,
Беженство свое смешавши
С белым бешенством его!
Белокровье мозга, морга
Синь – с оскалом негра, горло
Кажущим...
Поскакал бы, всадник Медный,
Он со всех копыт – назад.
Трусоват был Ваня бедный,
Ну, а он – не трусоват.
Сей, глядевший во все страны –
В роли собственной Татьяны?
Что вы делаете, карлы,
Этот – голубей олив –
Самый вольный, самый крайний
Лоб – навеки заклеив
Низостию двуединой
Золота и середины?
«Пушкин – тога, Пушкин – схима,
Пушкин – мера, Пушкин – грань...»
Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Благородное – как брань
Площадную – попугаи.
– Пушкин? Очень испугали!
1931

2

Петр и Пушкин
Не флотом, не по́том, не задом
В заплатах, не Шведом у ног,
Не ростом – из всякого ряду,
Не сносом – всего, чему срок,
Не лотом, не бо́том, не пивом
Немецким сквозь кнастеров дым,
И даже и не Петро-дивом
Своим (Петро-делом своим!).
И бо́льшего было бы мало
(Бог дал, человек не обузь!) –
Когда б не привез Ганнибала –
Арапа на белую Русь.
Сего афричонка в науку
Взяв, всем россиянам носы
Утер и наставил, – от внука –
то негрского – свет на Руси!
Уж он бы вертлявого – в струнку
Не стал бы! – «На волю? Изволь!
Такой же ты камерный юнкер,
Как я – машкерадный король!»
Поняв, что ни пеной, ни пемзой –
Той Африки, – царь-грамотей
Решил бы: «Отныне я – цензор
Твоих африканских страстей».
И дав бы ему по загривку
Курчавому (стричь – не остричь!):
«Иди-ка, сынок, на побывку
в свою африканскую дичь!
Плыви – ни об чем не печалься!
Чай, есть в паруса кому дуть!
Соскучишься – так ворочайся,
А нет – хошь и дверь позабудь!
Приказ: ледяные туманы
Покинув – за пядию пядь
Обследовать жаркие страны
И виршами нам описать».
И мимо наставленной свиты,
Отставленной – прямо на склад,
Гигант, отпустивши пииту,
Помчал – по земле или над?
Сей не по снегам смуглолицый
Российским – снегов Измаил!
Уж он бы заморскую птицу
Архивами не заморил!
Сей, не по кровям торопливый
Славянским, сей тоже – метис!
Уж ты б у него по архивам
Отечественным не заkis!
Уж он бы с тобою – поладил!
За непринужденный поклон
Разжалованный – Николаем,
Пожалованный бы – Петром!
Уж он бы жандармского сыска
Не крыл бы «отечеством чувств»!
Уж он бы тебе – василиска
Взгляд! – не замораживал уст.
Уж он бы полтавских не комкал
Концов, не тупил бы пера.
За что недостойным потомком –
Подонком – опенком Петра
Был сослан в румынскую область,
Да ею б – пожалован был

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Сим – так ненавидевшим робость
Мужскую, – что сына убил
Сробевшего. – «Эта мякина –
я? – Вот и роди! и расти!»
Был негр ему истинным сыном,
Так истинным правнуком – ты
Останешься. Заговор равных.
И вот не спросясь повитух
Гигантова крестника правнук
Петров унаследовал дух.
И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд, коим поныне светла..
Последний – посмертный – бессмертный
Подарок России – Петра.

2 июля 1931

3

(Станок)

Вся его наука –
Мощь. Светло – гляжу:
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.
Прадеду – товарка:
В той же мастерской!
Каждая помарка –
Как своей рукой.
Вольному – под стопки?
Мне, в котле чудес
Сём – открытой скобки
Ведающей – вес,
Мнящейся описки –
Смысл, короче – всё.
Ибо нету сыска
Пуще, чем родство!
Пелось как – поется
И поныне – так.
Знаем, как «дается»!
Над тобой, «пустяк»,
Знаем – как потелось!
От тебя, мазок,
Знаю – как хотелось
В лес – на бал – в возок..
И как – спать хотелось!
Над цветком любви –
Знаю, как скрипелось
Негрскими зубьями!
Перья на востроты –
Знаю, как чинил!
Пальцы не просохли
От его чернил!
А зато – меж талых
Свеч, картежных сеч –
Знаю – как стрясалось!
От зеркал, от плеч
Голых, от бокалов
Битых на полу –
Знаю, как бежалось
К голому столу!
В битву без злодейства:
Самого – с самим!
– Пушкиным не бейте!
Ибо бью вас – им!

1931

4

Преодоление
Косности русской –
Пушкинский гений?
Пушкинский мускул
На кашалотье

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Туше судьбы –
Мускул полета,
Бега,
Борьбы.

С утренней негой
Бившийся – бодро!
Ровного бега,
Долгого хода –
Мускул. Побегов
Мускул степных,
Шлюпки, что к берегу
Тщится сквозь вихрь.

Не онедужен
Русскою кровью –
О, не верблюжья
И не воловья
Жила (усердство
Из-под ремня!) –
Конского сердца
Мышца – моя!

Больше балласту –
Краше осанка!

Мускул гимнаста
И арестанта,
Что на канате
Собственных жил
Из каземата –
Соколом взмыл!

Пушкин – с монарших
Рук руководством
Бившийся так же
На смерть – как бьется
(Мощь – прибывала,
Сила – росла)

С мускулом вала
Мускул весла.

Кто-то, на фуру
Несший: «Атлета

Мускулатура,
А не поэта!»

То – серафима
Сила – была:

Несокрушимый
Мускул – крыла.

10 июля 1931
(Поэт и царь)

1(5)

Потусторонним
Залом царей.

– А непреклонный
Мраморный сей?

Столь величавый
В золоте барм.

– Пушкинской славы
Жалкий жандарм.

Автора – хаял,
Рукопись – стриг.

Польского края –
Зверский мясник.

Зорче взгляди! –
Не забывай:

Певцоубийца
Царь Николай

Первый.

2(6)

Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили:

То зубы царёвы над мертвым певцом

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Почетную дробь выводили.
Такой уж почет, что ближайшим друзьям –
Нет места. В изглавы, в изножья,
И справа, и слева – ручищи по швам –
Жандармские груди и рожи.
Не диво ли – и на тишайшем из лож
Пребыть поднадзорным мальчишкой?
На что-то, на что-то, на что-то похож
Почет сей, почетно – да слишком!
Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,
Монарх о поэте печется!
Почетно – почетно – почетно – архи –
Почетно, – почетно – до черту!
Кого ж это так – точно воры ворá
Пристреленного – выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора –
Умнейшего мужа России.
Медон, 19 июля 1931

7

Народоправству, свалившему трон,
Не упразднившему – третья:
Не поручать палачам похорон –
Жертв, цензорам – погребенья
Пушкиных. В непредуказанный срок,
В предотвращение смуты,
Не увозить под великий шумок
По воровскому маршруту –
Не обрекать на последний мрак,
Полную глухонемость –
Тела, обкарнанного и так
Ножницами – в поэмах.
Июль 1931

А. Шенье
(1762–1794)
Андрей Шенье

1

Андрей Шенье взошел на эшафот.
А я живу – и это страшный грех.
Есть времена – железные – для всех.
И не певец, кто в порохе – поет.
И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце – смертный грех.
Не человек – кто в наши дни – живет.
17 апреля 1918

2

Не узнаю в темноте
Руки – свои иль чужие?
Мечется в страшной мечте
Черная Консьержерия.
Руки роняют тетрадь,
Щупают тонкую шею.
Утро крадетсЯ как тать.
Я дописать не успею.
17 апреля 1918

П. Ж. Беранже
(1780–1857)

Памяти Беранже
Дурная мать! – Моя дурная слава
Растет и расцветает с каждым днем.
То на пирушку заведет Лукавый,
То первенца забуду за пером...
Завидуя императрицам моды
И маленькой танцовщице в трико,
Гляжу над люлькой, как уходят – годы,
Не видя, что уходит – молоко!
И кто из вас, ханжи, во время оно
Не пировал, забыв о платеже!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Клянусь бутылкой моего патрона
И вашего, когда-то, – Беранже!
Но одному – сквозь бури и забавы –
Я, несмотря на ветреность, – верна.
Не ошибись, моя дурная слава:
– Дурная мать, но верная жена!

6 июля 1918

Г. Гейне

(1797–1856)

Памяти Г. Гейне

Хочешь не хочешь – дам тебе знак!
Спор наш не кончен – а только начат!
В нынешней жизни – выпало так:
Мальчик поет, а девчонка плачет.
В будущей жизни – любо глядеть! –
Ты будешь плакать, я буду – петь!

Бубен в руке!

Дьявол в крови!

Красная юбка

В черных сердцах!

Красною юбкой – в небо пылю!

Честь молодую – ковром подстелешь.

Как с мотыльками тебя делю –

Так с моряками меня поделишь!

Красная юбка? – Как бы не так!

Огненный парус! – Красный маяк!

Бубен в руке!

Дьявол в крови!

Красная юбка

В черных сердцах!

Слушай приметы: бела как мел,

И не смеюсь, а губами движу.

А чтобы – как увидал – сгорел! –

Не позабудь, что приду я – рыжей.

Рыжей, как этот кленовый лист,

Рыжей, как тот, что в лесах повис.

Бубен в руке!

Дьявол в крови!

Красная юбка

В черных сердцах!

«Начало апреля 1920»

А. А. Блоку

(1880–1921)

Стихи к Блоку

1

Имя твое – птица в руке,

Имя твое – льдинка на языке,

Одно-единственное движенье губ,

Имя твое – пять букв.

Мячик, пойманный на лету,

Серебряный бубенец во рту,

Камень, кинутый в тихий пруд,

Всхлипнет так, как тебя зовут.

В легком щелканье ночных копыт

Громкое имя твое гремит.

И назовет его нам в висок

Звонко щелкающий курок.

Имя твое – ах, нельзя! –

Имя твое – поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век,

Имя твое – поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток...

С именем твоим – сон глубок.

15 апреля 1916

2

Нежный призрак,

Рыцарь без укоризны,

Кем ты призван

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

В мою молодую жизнь?
Во мгле сизой
Стоишь, ризой
Снеговой одет.
То не ветер
Гонит меня по городу,
Ох, уж третий
Вечер я чую вóрога.
Голубоглазый
Меня сглазил
Снеговой певец.
Снежный лебедь
Мне пód ноги перья стелет.
Перья реют
И медленно никнут в снег.
Так, по перьям,
Иду к двери,
За которой – смерть.
Он поет мне
За синими окнами,
Он поет мне
Бубенцами далекими.
Длинным криком,
Лебединым кликом –
Зовет.
Милый призрак!
Я знаю, что все мне снится.
Сделай милость:
Аминь, аминь, рассыпья!

Аминь.
1 мая 1916

3

Ты проходишь на Запад Солнца,
Ты увидишь вечерний свет,
Ты проходишь на Запад Солнца,
И метель заметает след.
Мимо окон моих – бесстрастный –
Ты пройдешь в снеговой тиши,
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души.
Я на душу твою – не зарюсь!
Нерушима твоя стезя.
В руку, бледную от лобзаний,
Не вобью своего гвоздя.
И по имени не окликну,
И руками не потянусь.
Восковому святому лику
Только издали поклонюсь.
И, под медленным снегом стоя,
Опущусь на колени в снег,
И во имя твое святое
Поцелую вечерний снег.
Там, где поступью величавой
Ты прошел в гробовой тиши,
Свете тихий – святыя славы –
Вседержитель моей души.

2 мая 1916

4

Зверю – берлога,
Страннику – дорога,
Мертвому – дроги,
Каждому – свое.
Женщине – лукавить,
Царю – править,
Мне – славить
Имя твое.

2 мая 1916

5

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

У меня в Москве – купола горят!

У меня в Москве – колокола звонят!

И гробницы в ряд у меня стоят, –

В них царицы спят и цари.

И не знаешь ты, что зарей в Кремле

Легче дышится – чем на всей земле!

И не знаешь ты, что зарей в Кремле

Я молюсь тебе – до зари!

И проходишь ты над своей Невой

О ту пору, как над рекой–Москвой

Я стою с опущенной головой,

И слипаются фонари.

Всей бессонницей я тебя люблю,

Всей бессонницей я тебе внемлю –

О ту пору, как по всему Кремлю

Просыпаются звонари...

Но моя река – да с твоей рекой,

Но моя рука – да с твоей рукой

Не сойдутся. Радость моя, доколь

Не догонит заря – зари.

7 мая 1916

6

Думали – человек!

И умереть заставили.

Умер теперь, навек.

– Плачьте о мертвом ангеле!

Он на закате дня

Пел красоту вечернюю.

Три восковых огня

Треплются, лицемерные.

Шли от него лучи –

Жаркие струны по снегу!

Три восковых свечи –

Солнцу–то! Светоносному!

О поглядите, как

Веки ввалились темные!

О поглядите, как

Крылья его поломаны!

Черный читает чтец,

Крестятся руки праздные...

– Мертвый лежит певец

И воскресенье празднует.

4 мая 1916

7

Должно быть – за той рощей

Деревня, где я жила,

Должно быть – любовь проще

И легче, чем я ждала.

Эй, идолы, чтобы вы сдохли!

Привстал и занес кнут,

И окрику вслед – охлест,

И вновь бубенцы поют.

Над валким и жалким хлебом

За жердью встает жердь.

И проволока под небом

Поет и поет смерть.

13 мая 1916

8

И тучи оводов вокруг равнодушных кляч,

И ветром вздутый калужский родной кумач,

И посвист перепелов, и большое небо,

И волны колоколов над волнами хлеба,

И толк о немце – доколе не надоест! –

И желтый–желтый за синею рощей крест,

И сладкий жар, и такое на всем сиянье,

И имя твое, звучащее славно: Ангел.

18 мая 1916

9

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Как слабый луч сквозь черный морок адов –
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов.
И вот в громах, как некий серафим,
Оповещает голосом глухим, –
Откуда-то из древних утр туманных –
Как нас любил, слепых и безымянных,
За синий плащ, за вероломства – грех...
И как нежнее всех – ту, глубже всех
В ночь канувшую – на дела лихие!
И как не разлюбил тебя, Россия.
И вдоль виска – потерянным перстом
Все водит, водит... И еще о том,
Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнце звать – и как не встанет...
Так, узником с собой наедине
(Или ребенок говорит во сне?),
Предстало нам – всей площади широкой! –
Святое сердце Александра Блока.
9 мая 1920

10

Вот он – гляди – уставший от чужбин,
Вождь без дружин.
Вот – горстью пьет из горней быстрины, –
Князь без страны.
Там всё ему: и княжество, и рать,
И хлеб, и Мать.
Красно твое наследие, – владей,
Друг без друзей!
15 августа 1921

11

Други его – не тревожьте его!
Слуги его – не тревожьте его!
Было так ясно на лике его:
Царство мое не от мира сего.
Вещи вьюги кружили вдоль жил,
Плечи сутулые гнулись от крыл.
В певчую прорезь, в запекшийся пыл –
Лебедем душу свою упустил!
Падай же, падай же, тяжкая медь!
Крылья извели право: лететь!
Губы, кричавшие слово: ответь!
Знают, что этого нет – умереть!
Зори пьет, море пьет, – в полную сыть
Бражничают. – Панихид не служить!
У навсегда повелевшего: быть!
Хлеба достанет его накормить!
15 августа 1921

12

А над равниной –
Крик лебединый.
Мать, ужель не узнала сына?
Это с заоблачной – он – версты,
Это последнее – он – прости.
А над равниной –
Вещая вьюга.
Дева, ужель не узнала друга?
Рваные ризы, крыло в крови...
Это последнее он: живи!
Над окаянной –
Взлет осиянный.
Праведник душу урвал – осанна!
Каторжник койку – обрел – теплынь.
Пасынок к Матери в дом. – Аминь.
Август 1921

13

Не проломанное ребро –
Переломленное крыло.
Не расстрельщиками навyleт

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Грудь простреленная. Не вынуть
Этой пули. Не чинят крыл.
Изуродованный ходил.
Цепок, цепок венец из терний!
Что усопшему – трепет черни,
Женской лести лебяжий пух...
Проходил, одинок и глух,
Замораживая закаты
Пустотою безглазых статуй.
Лишь одно еще в нем жило:
Переломленное крыло.

Август 1921

14

Без зова, без слова, –
Как кровельщик падает с крыш.
А может быть, снова
Пришел, – в колыбели лежишь?
Горишь и не меркнешь,
Светильник немногих недель...
Какая из смертных
Качает твою колыбель?
Блаженная тяжесть!
Пророческий певчий камыш!
О, кто мне расскажет,
В какой колыбели лежишь?
– «Покамест не продан!»
Лишь с ревностью этой в уме,
Великим обходом
Пойду по российской земле.
Полночные страны
Пройду из конца и в конец.
Где рот – его – рана,
Очей синеватый свинец?
Схватить его! Крепче!
Любить и любить его лишь!
О кто мне нашепчет,
В какой колыбели лежишь?
Жемчужные зерна,
Кисейная сонная сень.
Не лавром – а терном
Чепца острозубая тень.
Не полог – а птица
Раскрыла два белых крыла!
– И снова родиться,
Чтоб снова метель замела?!
Рвануть его! Выше!
Держать! Не отдать его лишь!
О, кто мне надышит,
В какой колыбели лежишь!
А может быть, ложен
Мой подвиг и даром – труды.
Как в землю положен,
Быть может – проспишь до трубы.
Огромную впалость
Висков твоих – вижу опять.
Такую усталость –
Ее и трубой не поднять!
Державная пажить,
Надежная, ржавая тишь.
Мне сторож покажет,
В какой колыбели лежишь.

22 ноября 1921

15

Как сонный, как пьяный,
Врасплох, не готовясь.
Височные ямы:
Бессонная совесть.
Пустые глазницы:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Мертво и светло.

Сновидца, всевидца
Пустое стекло.

Не ты ли

Ее шелестящей хламиды

Не вынес

Обратным ущельем Аида?

Не эта ль,

Серебряным звоном полна,

Вдоль сонного Гебра

Плыла голова?

25 ноября 1921

16

Так, Господи! И мой обол
Прими на утверждение храма.

Не свой любовный произвол

Пою – своей отчизны рану.

Не скаредника ржавый ларь –

Гранит, коленами протертый!

Всем отданы герой и царь,

Всем – праведник – певец – и мертвый.

Днепром разламывая лед,

Гробовым не смущаясь тесом,

Русь – Пасхю к тебе плывет,

Разливом тысячеголосым.

Так, сердце, плачь и славославь!

Пусть вопль твой – тысяча который?

Ревнует смертная любовь.

Другая – радуется хору.

3 декабря 1921

Письмо к Ахматовой

(После смерти Блока)

Дорогая Анна Андреевна! Мне трудно Вам писать. Мне кажется – Вам ничего не
нужно. Есть немецкое слово Säule[35] – по-русски нет – такой я Вас вижу:

прекрасным обломком среди уцелевших деревьев. Их шум и Ваше молчание – что тут

третьему? И все-таки пишу Вам, потому что я тоже дерево: брненное, льну к

вечному. Дерево и людям: проходят, садятся (мне под тень, мне под солнце) –

проходят. Я – пребываю. А потом меня срубят и сожгут и я буду огонь. (Шкафов из
меня не делают.)

Смерть Блока. Еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. Думаю: смерти
никто не понимает. Когда человек говорит: смерть, он думает: жизнь. Ибо, если
человек, умирая, задыхается и боится – или – наоборот – «пропуск одного слова»
то все это: и задыхание – и страх – и «пропуск одного слова» жизнь. Смерть – это
когда меня нет. Я же не могу почувствовать, что меня нет. Значит, своей смерти
нет. Есть только смерть чужая: т. е. местная пустота, опустевшее место (уехал и
где-то живет), т. е. опять-таки жизнь, не смерть, невысказанная пока ты жив. Его
нет здесь (но где-то есть). Его нет – нет, ибо нам ничего не дано понять иначе
как через себя, всякое иное понимание – попугайное повторение звуков.

Я думаю: страх смерти есть страх бытия в небытии, жизни – в гробу: буду лежать и
по мне будут ползать черви. Таких как я и поэтому нужно жечь.

Кроме того – разве мое тело – я? Разве оно слушает музыку, пишет стихи и т. д.?
Тело умеет только служить, слушаться. Тело – платье. Какое мне дело, если у меня
его украли, в какую дыру, под каким камнем его закопал вор?

Чорт с ним! (и с вором и с платьем).

Смерть Блока.

Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил[36]. Мало земных примет, мало
платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-посмертным (в нашей любви). Ничего не
оборвалось – отделилось. Весь он – такое явное торжество духа, такой воочию –
дух, что удивительно, как жизнь вообще – допустила? (Быть так в нем – разбитой!)

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Смерть Блока я чувствую как вознесение.

Человеческую боль свою глотаю: для него она кончена, не будем и мы думать о ней
(отождествлять его с ней). Не хочу его в гробу, хочу его в зорях. (Вытянувшись
на той туче!)

Но так как я более человек, чем кто-либо, так как мне дороги все земные приметы
(здесь – священные), то нежно прошу Вас: напишите мне правду о его смерти. Здесь
дорого всё. В Москве много легенд, отталкиваю. Хочу правды о праведнике.

1921

В. И. Иванову
(1866–1949)

Вячеславу Иванову

1

Ты пишешь перстом на песке,
А я подошла и читаю.
Уже седина на виске.
Моя голова – золотая.
Как будто в песчаный сугроб
Глаза мне зарыли живые.
Так дети сияющий лоб
Над Библией клонят впервые.
Уж лучше мне камень толочь!
Нет, горленкой к воронам в стаю!
Над каждой песчинкою – ночь.
А я все стою и читаю.

2

Ты пишешь перстом на песке,
А я твоя горленка, Равви!
Я первенец твой на листке
Твоих поминаний и здравий.
Звеню побрякушками бус,
Чтоб ты оглянулся – не слышишь!
О Равви, о Равви, боюсь –
Читаю не то, что ты пишешь!
А сумрак крадется, как тать,
Как черная рать роковая.
Ты знаешь – чтоб лучше читать –
О Равви – глаза закрываю..
Ты пишешь перстом на песке..
Москва, Пасха

1920

3

Не любовницей – любимицей
Я пришла на землю нежную.
От рыданий не подыметса
Грудь мальчишья моя.
Оттого-то так и нежно мне –
– Не вздыхаючи, не млеючи –
На малиновой скамеечке
У подножья твоего.
Если я к руке опущенной
Ртом прильну – не вздумай хмуриться!
Любованье – хлеб насущный мой:
Я молитву говорю.
Всех кудрей златых – дороже мне
Нежный иней индевеющий
Над малиновой скамеечкой
У подножья твоего.
Головой в колени добрые
Утыкаючись – все думаю:
Все ли – до последней – собраны
Розы для тебя в саду?
Но в одном клянусь: обобраны
Все – до одного! – царевичи –
На малиновой скамеечке

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
У подножья твоего.
А покамест песни пела я,
Ты уснул – и вот блаженствую:
Самое святое дело мне –
Сонные глаза стеречь!
– Если б знал ты, как божественно
Мне дышать – дохнуть не смеючи –
На малиновой скамеечке
У подножья твоего!
1-е Воскресенье после Пасхи
1920

К. Д. Бальмонту
(1867–1942)

Бальмонту
Пышно и бесстрастно вянут
Розы нашего румянца.
Лишь камзол теснее стянут:
Голодаем как испанцы.
Ничего не можем даром
Взять – скорее гору сдвинем!
И ко всем гордыням старым –
Голод: новая гордыня.
В вывернутой наизнанку
Мантии Врагов Народа
Утверждаем всей осанкой:
Луковица – и свобода.
Жизни ломовое дышло
Спеси не перешибило
Скакуну. Как бы не вышло:
– Луковица – и могила.
Будет наш ответ у входа
В Рай, под деревцем миндальным:
– Царь! На пиршестве народа
Голодали – как гидальго!
Ноябрь 1919
Бальмонту
(К тридцатипятилетию поэтического труда)
Дорогой Бальмонт!

Почему я приветствую тебя на страницах журнала «Своими путями»? Плененность словом, следовательно – смыслом. Что такое своими путями? Тропинкой, вырастающей под ногами и зарастающей по следам: место не хожено – не езжено, не автомобильное шоссе роскоши, не ломовая громыхалка труда, – свой путь, без пути. Беспутный! Вот я и дорвалась до своего любимого слова! Беспутный – ты, Бальмонт, и беспутная – я, все поэты беспутны, – своими путями ходят. Есть такая детская книжка, Бальмонт, какого-то англичанина, я ее никогда не читала, но написать бы ее взялась: – «Кошка, которая гуляла сама по себе». Такая кошка – ты, Бальмонт, и такая кошка – я. Все поэты такие кошки. Но, оставляя кошек и возвращаясь к «Своим путям»:

Пленяют меня в этом названии равно-сильно оба слова, возникающая из них формула. Что поэт назовет здесь своим – кроме пути? Что сможет, что захочет назвать своим, – кроме пути? Все остальное – чужое: «ваше», «ихнее», но путь – мой. Путь – единственная собственность «беспутных»! Единственный возможный для них случай собственности и единственный, вообще, случай, когда собственность – священна: одинокие пути творчества. Таков ты был, Бальмонт, в Советской России, – таким собственником! – один против всех – собственников, тех или иных. (Видишь, как дорого тебе это название!)

И пленяет меня еще, что не «своим», а – «своими», что их мно-ого путей! – как людей, – как страстей. И в этом мы с тобой – братья.

Двое, Бальмонт, побывали в Аиде живыми: бытовой Одиссеей и небесный Орфей. Одиссеей, помнится, не раз спрашивал дорогу, об Орфее не сказано, доскажу я. Орфея в Аид, на свидание с любимой, привела его тоска: та, что всегда ходит – своими путями! И будь Орфей слеп, как Гомер, он все равно нашел бы Эвридику.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Юбилярам (пошлое слово! заменим его триумфатором) – триумфаторам должно приносить дары, дарю тебе один вечер твоей жизни – пять лет назад – 14-го мая 1920 г. – твой голодный юбилей в московском «Дворце Искусств».

Слушай:

Юбилей Бальмонта
(Запись)

Юбилей Бальмонта во «Дворце Искусств». Речи Вячеслава и Сологуба. Гортанный взволнованный отрывистый значительный – ибо плохо говорит по-русски и выбирает только самое необходимое – привет японочки Инамэ. Бальмонт – как царь на голубом троне-кресле. Цветы, адреса. Сидит, спокойный и не смущенный, на виду у всей залы. Рядом, в меньшем кресле – старый Вячеслав – немножко Magister TINTe[37]. Перед Бальмонтом, примостившись у ног, его «невесточка» – Аля, с маком в руке, как маленький паж, сзади – Мирра, дитя Солнца, сияющая и напряженная, как молодой кентавр, рядом с Миррой – в пышном белом платье, с розовой атласной сумочкой в черной руке, почти неподвижно пляшет Алина одноклассница – дворцовая цыганочка Катя. А рядом с говорящим Вячеславом, почти прильнув к нему – какой-то грязный 15-летний оболтус, у которого непрерывно течет из носа. Чувствую, что отцов...» – «Хоть бы ему носовой платок завел...» – «Впрочем – поэт, – не замечает!..» – А еще больше чувствую, что этого именно и боится Вячеслав – и не могу – давлюсь от смеха – вгрызаюсь в платок...

Вячеслав говорит о солнце соблазняющем, о солнце слепом, об огне неизменном (огонь не растет – феникс сгорает и вновь возрождается – солнце каждый день восходит и каждый день заходит – отсутствие развития – неподвижность). Надо быть солнцем, а не как солнце. Бальмонт – не только влюбленный соловей, но и костер самосжигающий.

Потом приветствие английских гостей – толстая мужеподобная англичанка – шляпа вроде кепи с ушами, мелькают слова: пролетариат – Интернационал. И Бальмонт: «Прекрасная английская гостья», – и чистосердечно, ибо: раз женщина – то уже прекрасна и вдвойне прекрасна – раз гостья (славянское гостеприимство!).

Говорит о союзе всех поэтов мира, о нелюбви к слову Интернационал и о замене его «всемирным»... «Я никогда не был поэтом рабочих, – не пришлось, – всегда уводили какие-то другие[38] пути. Но, может быть, это еще будет, ибо поэт – больше всего: завтрашний день»... о несправедливости накрытого стола жизни для одних и объедков для других. Просто, человечески. Обеими руками подписываюсь.

Кто-то с трудом протискивается с другого конца залы. В руке моего соседа слева (сиду на одном табурете с Еленой), очищая место, высоко и ловко, широким уверенным нерусским движением – века вежливости! – взлетает тяжеленное пустое кресло и, описав в воздухе полукруг, легко, как игрушка, опускается тут же рядом. Я, восхищенно: «Кто это?» Оказывается – английский гость. (Кстати, за словом «гость» совершенно забываю: коммунист. Коммунисты в гости не ходят, – с мандатом приходят!) Топорное лицо, мало лба, много подбородка – лицо боксера, сплошной квадрат.

Потом – карикатуры. Представители каких-то филиальных отделений «Дворца Искусств» по другим городам. От Кооперативных товариществ – какой-то рабочий, без остановки – на аго и ого – читающий, – нет, списывающий голосом! – с листа бумаги приветствие, где самое простое слово: многогранный и многострунный.

Потом я с адресом «Дворца Искусств» – «От всей лучшей Москвы»... И – за неимением лучшего – поцелуй. (Второй в моей жизни при полном зале!)

И японочка Инамэ – бледная, безумно волнующаяся: «Я не знаю, что мне Вам сказать. Мне грустно. Вы уезжаете, Константин Дмитриевич! Приезжайте к нам в Японию, у нас хризантемы и ирисы. И...» Как раскатившиеся жемчужины, японский щебет. («До свидания», должно быть?) Со скрещенными ручками – низкий поклон. Голос глуховатый, ясно слышится биение сердца, сдерживаемое задыхание. Большие перерывы. – Ищет слов. – Говор гортанный, немножко цыганский. Личико желто-бледное. И эти ручки крохотные!

«Русские хитрее японцев. У меня был заранее подготовлен ответ», – и стихи ей – прелестные.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Потом, под самый конец, Ф. Сологуб – старый, бритый, седой, – лица не вижу, но, думается – похож на Тютчева.

«Равенства нет, и слава Богу, что нет. Бальмонт сам был бы в ужасе, если бы оно было. – Чем дальше от толпы, тем лучше. – Поэт, не дорожи любовью народной. – Поэт такой редкий гость на земле, что каждый день его должен был бы быть праздником. – Равенства нет, ибо среди всех, кто любит стихи Бальмонта, много ли таких, которые слышат в них нечто, кроме красивых слов, приятных звуков. Демократические идеи для поэта – игра, как монархические идеи[39], поэт играет всем. Единственное, чем он не играет, – слово».

Никогда не рукоплещущая, яростно рукоплещу. Ф. Сологуб говорит последним. Забыла сказать, что на утверждение: «Равенства нет» – из зала угрожающие выкрики: «Неправда!» – «Как кому!»

Бальмонт. Сологуб. Сологуб Бальмонта не понял: Бальмонт, восстающий против неравенства вещественного и требующий насыщения низов – и Сологуб, восстающий против уравнивания духовного и требующий раскрепощения высот. Перед хлебом мы все равны (Бальмонт), но перед Богом мы не равны (Сологуб). Сологуб, в своем негодовании, только довершает Бальмонта. – «Накормите всех!» (Бальмонт) – «И посмотрите, станут ли все Бальмонтами» (Сологуб). Не может же Сологуб восставать против хлеба для голодного, а Бальмонт – против неба для отдельного. Так согласив, рукоплещу обоим. Но – какие разные! Бальмонт – движение, вызов, выпад. Весь – здесь. Сологуб – покой, отстранение, чуждость. Весь – там. Сологуб каждым словом себя изымает из зала, Бальмонт – каждым себя залу дарит. Бальмонт – вне себя, весь в зале, Сологуб вне зала, весь в себе. Восславляй Бальмонт Сиракузских тиранов и Иоанна Грозного – ему бы простили. Восславляй Сологуб Спартака и Парижскую Коммуну – ему бы – не простили: тона, каким бы он восславлял! За Бальмонта – вся стихия человеческого сочувствия, за Сологуба – скрежет всех уединенных душ, затравленных толпой и обществом. С кем я? С обоими, как всегда.

Кроме всего прочего, Сологуб нескрываяемо-неискоренимо барственен. А барство в Советской России еще пуций грех, нежели духовное избранничество.

Кусевицкий не играл: «хотел прийти и сыграть для тебя, но палец болит» (зашиб топором), говорит о своем восторге, не находящем слов. Мейчик играет Скрябина, Эйгес «Сказку» (маленькие жемчуга) на слова Бальмонта. Были еще женщины: Полина Доберт в пенсне, Варя Бутягина (поэтесса), Агнесса Рубинчик (кажется, то же), но все это не важно.

Главное: Бальмонт, Вячеслав и Сологуб. И Инамэ. (Описала плохо, торопилась.)

Множество адресов и цветов. Наконец, все кончено. Мы на Поварской. Аля, в моей коричневой юбке на плечах en guise de mantille[40], с Еленой и Миррой впереди, я иду с Бальмонтом, по другую сторону Варя.

Бальмонт, с внезапным приливом кошачьей ласковости:

– Марина! Возьмите меня под руку.

Я, шутливо:

– Ты уже с Варей под руку. Не хочу втроем.

Бальмонт, молниеносно:

– Втроем нету, есть два вдвоем: мое с Варей и мое с Вами.

– По половинке на брата? Вроде как советский паек. (И, великодушно:) Впрочем, когда целое – Бальмонт...

У Бальмонта в руке маленький букет жасмина, – все раздарил. И вдруг, в отчаянии:

– Я позабыл все мои документы! (Об адресах.) И: – Мне не хочется домой! Почему все так скоро кончается?! Только что вошел во вкус и уже просят о выходе! Сейчас

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru бы хорошо куда-нибудь ужинать, сидеть всем вместе, перекидываться шутками...

И А. Н., идущая позади нас:

– Марина! Знаете, как говорила Ниночка Бальмонт, когда была маленькая? «То, что я хочу – я хочу сейчас!» и еще: «Я люблю, чтобы меня долго хвалили!»

– Весь Бальмонт!

У дома Бальмонтов нас нагоняет Вячеслав. Стоим под луной. Лицо у Вячеслава доброе и растроганное.

– Ты когтил меня, как ястреб, – говорит Бальмонт. – Огонь – солнце – костер – феникс...

– На тебя не угодишь. С кем же тебя было сравнить? Лев? Но это «только крупный пес», – видишь, как я все твои стихи помню.

– Нет, все-таки – человек! У человека есть – тоска. И у него, единственного из всех существ, есть эта способность: закрыть глаза и сразу очутиться на том конце земли, – и так поглощать...

– Но ты непоглощаем, нерастворим.

Не помню что. О Венеции и Флоренции, кажется. Мечта Бальмонта о том, «как там по ночам стучат каблучки» – и Вячеслав, укрываясь в Царьград своей мысли:

– Человек – существо весьма проблематическое. Сфинкс, состоящий из: Льва – Тельца – Орла... И – Ангела. Так ведь?

Москва, 14-го мая 1920

Марина Цветаева

P.S. Милый Бальмонт! Не заподозри меня в перемене фронта: пишу по-старому, только печатаюсь по-новому.

М. Ц.

Прага,

2-го апреля 1925

А. А. Ахматовой

(1889–1966)

Анне Ахматовой

Узкий, нерусский стан –

Над фолиантами.

Шаль из турецких стран

Пала, как мантия.

Вас передашь одной

ломаной черной линией.

Холод – в весельи, зной –

В Вашем унынии.

Вся Ваша жизнь – озноб,

И завершится – чем она?

Облачный – темен – лоб

Юного демона.

Каждого из земных

Вам заиграть – безделица!

И безоружный стих

В сердце нам целится.

В утренний сонный час,

– Кажется, четверть пятого, –

я полюбила Вас,

Анна Ахматова.

11 февраля 1915

Стихи к Ахматовой

1

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!

О ты, шальное исчадие ночи белой!

Ты черную насылаешь метель на Русь,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.
И мы шарахаемся и глухое, ох! –
Стотысячное – тебе присягает: Анна
Ахматова! Это имя – огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.
Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.
В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий...
И я дарю тебе свой колокольный град,
– Ахматова! – и сердце свое в придачу.
19 июня 1916

2

Охватила голову и стою,
– Что людские козни! –
Охватила голову и пою
На заре на поздней.
Ах, неистовая меня волна
Подняла на гребень!
Я тебя пою, что у нас – одна,
Как луна на небе!
Что, на сердце вороном налетев,
В облака вонзилась.
Горбоносую, чей смертелен гнев
И смертельна – милость.
Что и над червонным моим Кремлем
Свою ночь простерла,
Что певучей негою, как ремнем,
Мне стянула горло.
Ах, я счастлива! Никогда заря
Не сгорала чище.
Ах, я счастлива, что, тебя даря,
Удаляюсь – нищей,
Что тебя, чей голос – о глубь, о мгла! –
Мне дыханье сузил,
Я впервые именем назвала
Царскосельской Музы.
22 июня 1916

3

Еще один огромный взмах –
И спят ресницы.
О, тело милое! О, прах
Легчайшей птицы!
Что делала в тумане дней?
Ждала и пела...
Так много вдоха было в ней,
Так мало – тела.
Не человечески мила
Ее дремота.
От ангела и от орла
В ней было что-то.
И спит, а хор ее манит
В сады Эдема.
Как будто песнями не сыт
Уснувший демон!
Часы, года, века. – Ни нас,
Ни наших комнат.
И памятник, накоренясь,
Уже не помнит.
Давно бездействует метла,
И никнут льстиво
Над Музой Царского Села
Кресты крапивы.
23 июня 1916

4

Имя ребенка – Лев,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Матери – Анна.

В имени его – гнев,
В материнском – тишь.

Волосом он рыж,
– Голова тюльпана! –

Что ж, осанна

Маленькому царю.

Дай ему БОГ – вздох

И улыбку матери,

Взгляд – искателя

Жемчугов.

БОГ, внимательней

За ним присматривай:

Царский сын – гадательней

Остальных сынов.

Рыжий львеныш

С глазами зелеными,

Страшное наследье тебе нести!

Северный Океан и Южный

И нить жемчужных

Черных четок – в твоей горсти!

24 июня 1916

5

Сколько спутников и друзей!

Ты никому не вторишь.

Правят юностью нежной сей –

Гордость и горечь.

Помнишь бешеный день в порту,

Южных ветров угрозы,

Рев Каспия – и во рту

Крылышко розы.

Как цыганка тебе дала

Камень в резной оправе,

Как цыганка тебе врала

Что-то о славе...

И – высоко у парусов –

Отрока в синей блузе.

Гром моря и грозный зов

Раненой Музы.

25 июня 1916

6

Не отстать тебе! Я – острожник,

Ты – конвойный. Судьба одна.

И одна в пустоте порожней

Подорожная нам дана.

Уж и нрав у меня спокойный!

Уж и очи мои ясны!

Отпусти-ка меня, конвойный,

Прогуляться до той сосны!

26 июня 1916

7

Ты, срывающая покров

С катафалков и с колыбелей,

Разъярительница ветров,

Насылательница метелей,

Лихорадок, стихов и войн,

– Чернокнижница! – Крепостница! –

Я слышала грозный вой

Львов, вещающих колесницу.

Слышу страстные голоса –

И один, что молчит упорно.

Вижу красные паруса –

И один – между ними – черный.

Океаном ли правишь путь,

Или воздухом – всю грудь

Жду, как солнцу, подставив грудь

Смертоносному правосудью.

26 июня 1916

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
8

На базаре кричал народ,
Пар вылетал из булочной.
Я запомнила алый рот
Узколицей певицы уличной.
В темном – с цветиками – платке,
– Милости удостоиться –
Ты, потупленная, в толпе
Богомолок у Сергей-Троицы,
Помолись за меня, краса
Грустная и бесовская,
Как поставят тебя леса
Богородицей хлыстовскою.
27 июня 1916

9

Златоустой Анне – всея Руси
Искупительному глаголу, –
Ветер, голос мой донеси
И вот этот мой вздох тяжелый.
Расскажи, сгорающий небосклон,
Про глаза, что черны от боли,
И про тихий земной поклон
Посреди золотого поля.
Ты в грозовой выси
Обретенный вновь!
Ты! – Безымянный!
Донеси любовь мою
Златоустой Анне – всея Руси!
27 июня 1916

10

У тонкой проволоки над волной овсов
Сегодня голос – как тысяча голосов!
И бубенцы проезжие – свят, свят, свят –
Не тем же ль голосом, Господи, говорят.
Стою и слушаю и растираю колос,
И темным куполом меня замыкает – голос.
Не этих ивовых плавающих ветвей
Касаюсь истово, – а руки твоей.
Для всех, в томленьи славящих твой подъезд, –
Земная женщина, мне же – небесный крест!
Тебе одной ночами кладу поклоны, –
И всё твоими очами глядят иконы!
1 июля 1916

11

Ты солнце в выси мне застишь,
Всё звезды в твоей горсти!
Ах, если бы – двери настезь! –
Как ветер к тебе войти!
И залепетать, и вспыхнуть,
И круто потупить взгляд,
И, всхлипывая, затихнуть,
Как в детстве, когда простят.
2 июня 1916

«Всё о себе, всё о любви...»

«Всё о себе, всё о любви». Да, о себе, о любви – и еще – изумительно – о
серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых
главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на Песни
Песней, о воздухе, «подарке Божьем»... и так без конца... И есть у нее одно
восьмистишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов.
Ахматова пишет о себе – о вечном. И Ахматова, не написав ни единой
отвлеченно-общественной строчки, глубже всего – через описание пера на шляпе –
передаст потомкам свой век... О маленькой книжке Ахматовой можно написать десять
томов – и ничего не прибавишь... Какой трудный и соблазнительный подарок поэтам –
Анна Ахматова!

<1917>

Письмо к Ахматовой от 26-го русского апреля 1921 г.
Москва, 26-го русского апреля 1921 г.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Дорогая Анна Андреевна!

Так много нужно сказать – и так мало времени! Спасибо за очередное счастье в моей жизни – «Подорожник». Не расстаюсь, и Аля не расстается. Посылаю Вам обе книжки, надпишите.

Не думайте, что я ищу автографов, – сколько надписанных книг я раздарила! – ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму – под подушку!

Еще просьба: если Алконост возьмет моего «Красного коня» (посвящается Вам) – и мне нельзя будет самой держать корректуру, – сделайте это за меня, верю в Вашу точность.

Вещь совсем маленькая, это у Вас не отнимет времени.

Готовлю еще книжечку: «Современникам» – стихи Вам, Блоку и Волконскому. Всего двадцать четыре стихотворения. Среди написанных Вам есть для Вас новые.

Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высоко от Вас! – Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала! – журналы – статью – смеюсь! – Небесный пожар!

Вы мой самый любимый поэт, я когда-то – давным-давно – лет шесть тому назад – видела Вас во сне, – Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьянную, с серебром – «Словеса золотые», – какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее – обратное!) – и – проснувшись – я знала, что Вы ее напишете.

Мне так жалко, что все это только слова – любовь – я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли.

Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих легонький звон», – это нежнее всего, что сказано о любви.

И это внезапное – дико встающее – зрительно дикое «ярославец». – Какая Русь!

Напишу Вам о книге еще.

Как я рада им всем трем – таким беззащитным и маленьким! Четки – Белая стая – Подорожник. Какая легкая ноша – с собой! Почти что горстка пепла.

Пусть Блок (если он повезет рукопись) покажет Вам моего Красного Коня. (Красный, как на иконах.) – И непременно напишите мне, – больше, чем тогда! Я ненасытна на Вашу душу и буквы.

Целую Вас нежно, моя страстнейшая мечта – поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах, – где будете летом, и все.

Ваши оба письмеца ко мне и к Але – всегда со мной.

М. Ц.

К Ахматовой

(в ответ на упорный слух о ее смерти)

Соревнования короста

В нас не осилила родства.

И поделили мы так просто:

Твой – Петербург, моя – Москва.

Блаженно так и бескорыстно

Мой гений твоему внимал.

На каждый вздох твой рукописный

Дыхания вздымался вал.

Но вал моей гордыни польской –

Как пал он! С златозарных гор

Мои стихи как добровольцы

К тебе стекались под шатер...

Дойдет ли в пустоте эфира

Моя лирическая лесть?

И безутешна я, что женской лиры

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Одной, одной мне тягу несть.
30-го авг<уста> 1921 г.
Письмо к Ахматовой от 31-го русского августа 1921 г.
31-го р<усского> авг<уста> 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна! Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимей. Пишу Вам об этом, п. ч. знаю, что до Вас все равно дойдет, – хочу чтобы по крайней мере дошло верно. Скажу Вам, что единственным – с моего ведома – Вашим другом (друг – действие!) среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу Кафэ Поэтов. Убитый горем – у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телегр<амму> с запросом о Вас, и ему я обязана второй нестерпимейшей радостью своей жизни (первая – весть о С., о ко<тор>ом я ничего не знала два года). Об остальных (поэтах) не буду рассказывать, – не п. ч. это бы Вас огорчило: кто они, чтобы это могло Вас огорчить? – просто не хочется тупить пера.

Эти дни я – в надежде узнать о Вас – провела в Кафэ Поэтов – что за уроды! что за убожества! что за ублюдки! Тут всё: и гомункулусы, и автоматы, и ревущие быки, и ялтинские проводники с покрашенными губами.

Вчера было состязание: лавр – титул соревнователя в действительные члены Союза. Общих два русла: Надсон и Маяковский. Отказались бы и Надсон и Маяковский. Тут были и розы, и слезы, и трупы, и пианисты, играющие в четыре ноги по клавишам мостовой (NB! знаю я этих «пианистов», просто – собаки! NB! паршивые!), и «монотонный тон кукушки» (так начинался один стих), и поэма об японской девушке, которую я любил (тема Бальмонта, исполнение Северянина):

Это было у моря,
Где цветут анемоны...
И весь зал, хором:

Где встречается редко...
Городской экипаж.
Но самое нестерпимое и безнадежное было то, что больше всего ржавшие и гикавшие – САМИ ТАКИЕ ЖЕ, – со вчерашнего состязания.

Вся разница, что они уже поняли немодность Северянина, заменили его (худшим!) Шершеневичем.

На эстраде Бобров, Аксёнов, Арго (громадный ражий детина вроде мясника), Грузинов. – Поэты.

И – Шантаный номер: крохотный – с мизинчик! – красноармеец (красноармейчик) вроде Петрушки, красная <рисунк шапки> шапка (каж <ется> – шлык!), лицо луковицей.

– Товарищи! А я вам расскажу, как один прапор справлял именины! (Руки – рупором:) – Матрёшка! Коли гости придут – не принимать, нет дома.

Кто-то из жури, вежливо: – «Позвольте, товарищ! Да ведь это анекдот».

– Матрё-ошка!!

– Здесь стихи читают.

И красноармеец: – «Довольно нам, товарищи, катать на своей спине бар! Пусть теперь баре нас покатают!»

И я, на блок-ноте, Аксенову: – «Господин Аксенов, ради Бога – достоверность об Ахматовой. (Был слух, что он видел Маяковского.) Боюсь, что не досижу до конца состязания».

И учащенный кивок А<ксено>ва. Значит – жива.

Дорогая Анна Андреевна, чтобы понять этот мой вчерашний вечер, этот аксеновский – мне – кивок, нужно было бы знать три моих предыдущих дня – несказанных. Страшный сон: хочу проснуться – и не могу. Я ко всем подходила в упор,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru вымаливала Вашу жизнь. Еще бы немножко – я бы словами сказала: – «Господа, сделайте так, чтобы Ахматова была жива». Я загадывала на Вас по Библии – вот: Le Dieu des forces...[41] Утешила меня Аля: «Марина! У нее же сын!» (Скажу еще одно – спокойно: после С. и Али Вы мое самое дорогое на земле. Такого восторга, как Вы, мне не дает никто.)

Вчера после окончания вечера просила у Боброва командировку: к Ахматовой. Вокруг смеются. – «Господа, я Вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно – и у меня всегда полный зал!» Эти три дня (без Вас) для меня Петербурга уже не существовало, да что – Петербурга... Эти дни – Октябрь и Перекоп. Вчерашний вечер – чудо: Стала облаком в славе лучей. На днях буду читать о Вас – в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам – но не могу уступить этой чести другому. Впрочем, все, что я имею сказать, – осанна! Не «доклад», а любовь.

То, что скажу, запишу и привезу Вам. Привезу Вам и Алю.

Кончаю – как Аля кончает письма к отцу:

Целую и низко кланяюсь.

М. Ц.

Ахматовой («Кем полосынька твоя»)

Кем полосынька твоя

Нынче выжнется?

Чернокосынька моя!

Чернокнижница!

Дни полночные твои,

Век твой таборный...

Все работнички твои

Разом забраны.

Где сподручники твои,

Те сподвижнички?

Белорученька моя,

Чернокнижница!

Не загладить тех могил

Слезой, славою.

Один заживо ходил –

Как удушенный.

Другой к стеночке пошел

Искать прибыли.

(И гордец же был-сокól!)

Разом выбыли.

Высоко твои братья!

Не докличешься!

Яснооконька моя,

Чернокнижница!

А из тучи-то (хвала –

Диво дивное!)

Соколиная стрела,

Голубиная...

Знать, в два перышка тебе

Пишут тамотка,

Знать, уж в скорости тебе

Выйдет грамотка:

– Будет крылышки трепать

О булыжники!

Чернокрылонька моя!

Чернокнижница!

29 декабря 1921

В. В. Маяковскому

(1893–1930)

Маяковскому

Превыше крестов и труб,

Крещенный в огне и дыме,

Архангел-тяжелоступ –

Здорово, в веках Владимир!

Он возчик, и он же конь,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Он прихоть, и он же право.
Вздыхнул, поплевал в ладонь:
– Держись, ломовая слава!
Певец площадных чудес –
Здорово, гордец чумазый,
Что камнем – тяжеловес
Избрал, не прельстясь алмазом.
Здорово, булыжный гром!
Зевнул, козырнул – и снова
Оглоблей гребет – крылом
Архангела ломового.
18 сентября 1921
Владимир Маяковский, двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом
служивший –

Всю свою звонкую силу поэта
Я тебе отдаю, атакующий класс!
кончил сильнее, чем лирическим стихотворением – лирическим выстрелом. Двенадцать
лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый
поэт встал и человека убил.

Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не
спуск курка, а двенадцать лет жизни.

Никакой державный цензор так не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский
с самим собой.

Если есть в этой жизни самоубийство, оно не одно, их два, и оба не самоубийства,
ибо первое – подвиг, второе – праздник. Превозможение природы и прославление
природы.

Прожил как человек и умер как поэт.

(Из статьи «Поэт и время», 1932)
Маяковскому

1
Чтобы край земной не вымер
Без отчаянных дядей,
Будь, младенец, Володимир:
Целым миром володей!

2
Литературная – не в ней
Суть, а вот – кровь пролейте!
Выходит каждые семь дней.
Ушедший – раз в столетье
Приходит. Сбит передовой
Боец. Каких, столица,
Еще тебе вестей, какой
Еще – передовицы?
Ведь это, милые, у нас,
Черновец – милюковцу:
«Владимир Маяковский? Да-с.
Бас, говорят, и в кофте
Ходил»...

Эх, кровь-твоя-кровца!
Как с новью примириться,
Раз первого ее бойца
Кровь – на второй странице
(Известий)

3
«В гробу, в обыкновенном темном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых
железом, лежит величайший поэт революции».

(«Одnodневная газета», 24 апреля 1930 г.)

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал –
Никаким обходом ни объездом
Не доставшийся бы перевал –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Израсходованных до сиянья
За двадцатилетний перегон.
Гору пролетарского Синая,
На котором праводатель – он.
В сапогах – двустопная жилплощадь,
Чтоб не вмешивался жилотдел –
В сапогах, в которых, понаморщась,
Гору нес – и брал – и клял – и пел –
В сапогах и до и без отказу
По невспаханностям Октября,
В сапогах – почти что водолаза:
Пехотинца, чище ж говоря:
В сапогах великого похода,
На донбассовских, небось, гвоздях,
Гору горя своего народа
Стапятидесяти (Госиздат)
Миллионного... – В котором роде
Своего, когда который год:
«Ничего-де своего в заводе!»
Всех народов горя гору – вот.
Так вот в этих – про его Роллс-Ройсы
Говорок еще не приутих –
Мертвый пионерам крикнул: Стройся!
В сапогах – свидетельствующих.

4

Любовная лодка разбилась о быт.

И полушки не поставишь
На такого главаря.
Лодка-то твоя, товарищ,
Из какого словаря?
В лодке, да еще в любовной
Запрокинуться – скандал!
Разин – чем тебе не ровня? –
Лучше с бытом совладал.
Эко новшество – лекарство
Хлещущее, что твой кран!
Парень, не по-пролетарски
Действуешь – а что твой пан!
Стоило ж в богов и в матку
Нас, чтоб – кровь, а не рассвет! –
Класса белую подкладку
Выворотить напослед.
Вроде юнкера, на Тоске
Выстрелившего – с тоски!
Парень! не по-маяковски
Действуешь: по-шаховски.
Фуражечку б на бровишки
И – прощай моя джаным!
Правнуком своим проживши,
Кончил – прадедом своим.
То-то же, как на поверку
Выйдем – стыд тебя заест:
Совето-российский Вертер.
Дворяно-российский жест.
Только раньше – в околодок,
Нынче ж...

– Враг ты мой родной!

Никаких любовных лодок
Новых – нету под луной.

5

Выстрел – в самую душу,
Как только что по врагам.
Богоборцем разрушен
Сегодня последний храм.
Еще раз не-осекся,
И, в точку попав – усоп.
Было стало-быть сердце,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Коль выстрелу следом – стоп.

(Зарубежье, встречаясь:

«Ну, казус! Какой фугас!

Значит – тоже сердца есть?

И с той же, что и у нас?»))

Выстрел – в самую точку,

как в ярмарочную цель.

(Часто – левую мочку

Отбривши – с женой в постель.)

Молодец! Не прошибся!

А женщины ради – что ж!

И Елену паршивкой

– Подумавши – назовешь.

Лишь одним, зато знатно,

Нас лефовец удивил:

Только вправо и знавший

Палить-то, а тут – слевил.

Кабы в правую – свёрк бы

Ланцетик – и здрав ваш шеф.

Выстрел в левую створку:

Ну в самый-те Центропев!

б

Зерна огненного цвета

Брошу на ладонь,

чтоб предстал он в бездне света

Красный как огонь.

Советским вельможей,

При полном Синоде...

– Здорово, Сережа!

– Здорово, Володя! Умаялся? – Малость.

– По общим? – По личным.

– Стрелялось? – Привычно.

– Горелось? – Отлично.

– Так стало-быть пожил?

– Пасс в нек'тором роде.

...Негоже, Сережа!

...Негоже, Володя!

А помнишь, как матом

Во весь свой эстрадный

Басище – меня-то

Обкладывал? – Ладно

Уж... – Вот-те и шлюпка

Любовная лодка!

Ужель из-за юбки?

– Хуже из-за водки.

Опухшая рожа.

С тех пор и на взводе?

Негоже, Сережа.

– Негоже, Володя.

А впрочем – не бритва –

Сработано чисто.

Так стало-быть бита

Картишка? – Сочится.

– Приложь подорожник.

– Хорош и коллодий.

Приложим, Сережа?

– Приложим, Володя.

А что на Рассее –

На матушке? – То есть

Где? – В Эсэсэсэре

Что нового? – Строят.

Родители – рódят,

Вредители – точут.

Издатели – водят,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Писатели – строчут.
Мост новый заложен,
Да смыт половодьем.
Все то же, Сережа!
– Все то же, Володя.
А певчая стая?
– Народ, знаешь, тертый!
Нам лавры сплетая,
У нас, как у мертвых,
Прут. Старую Росту
Да завтрашним лаком.
Да не обойдешься
С одним Пастернаком.
Хошь, руку приложим
На ихнем безводье?
Приложим, Сережа?
– Приложим, Володя!
Еще тебе кланяется...
– А что добрый
Наш Льсан Алексаныч?
– Вон – ангелом! – Федор
Кузьмич? – На канале:
По красные щеки
Пошел. – Гумилев Николай?
– На Востоке.
(В кровавой рогоже,
На полной подводе...)
– Все то же, Сережа!
– Все то же, Володя!
А коли все то же,
Володя, мил-друг мой –
Вновь руки наложим,
Володя, хоть рук – и –
Нет.

– Хотя и нету
Сережа, мил-брат мой,
Под царство и это
Подложим гранату!
И на раствороженном
Нами восходе –
Заложим, Сережа!
– Заложим, Володя!

7

Много храмов разрушил,
А этот – ценней всего.
Упокой, Господи, душу
Усопшего врага твоего.

Савойя,
август 1930

С. А. Есенину
(1895–1925)

«Брат по песенной беде...»

Брат по песенной беде –
Я завидую тебе.

Пусть хоть так она исполнится
– Помереть в отдельной комнате! –
Сколько лет моих? лет ста?

Каждодневная мечта.
И не жалость: мало жил,
И не горечь: мало дал.
Много жил – кто в наши жил
Дни: все дал – кто песню дал.

Жить (конечно не новей
Смерти!) жилам вопреки.
Для чего-нибудь да есть

Потолочные крюки.
Начало января 1926
(О Есенине)

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru – У Есенина был песенный дар, а личности не было. Его трагедия – трагедия пустоты. К 30-ти годам он внутренне кончился. У него была только молодость.

(Пел – и пил.)

1926

«Есенин погиб...»

Есенин погиб, потому что не свой, чужой заказ (времени – обществу) принял за свой (времени – поэту), один из заказов – за весь заказ. Есенин погиб, потому что другим позволил знать за себя, забыл, что он сам – провод: самый прямой провод!..

Есенин погиб, потому что забыл, что он сам такой же посредник, глашатай, вожатый времени – по крайней мере настолько же сам себе время, как и те, кому во имя и от имени времени дал себя сбить и загубить.

(«Поэт и время», 1932)

П. Г. Антокольскому

(1896–1978)

П. Антокольскому

Дарю тебе железное кольцо:

Бессонницу – восторг – и безнадежность.

Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,

Чтоб позабыл ты даже слово – нежность.

Чтоб голову свою в шальных кудрях

Как пенный кубок возносил в пространство,

Чтоб обратило в уголь – и в пепел – и в прах

Тебя – сие железное убранство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям

Сама Любовь приникнет красным углем,

Тогда молчи и прижимай к губам

Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,

Вот первое звено в твоей кольчуге, –

Чтоб в буре дней стоял один – как дуб,

Один – как Бог в своем железном круге!

Март 1919

Н. П. Гронскому

(1909–1934)

Надгробие

1

«Иду на несколько минут...»

В работе (хаосом зовут

Бездельники) оставив стол,

Отставив стул – куда ушел?

Опрашиваю весь Париж.

Ведь в сказках лишь да в красках лишь

Возносятся на небеса!

Твоя душа – куда ушла?

В шкафу – двустворчатом, как храм, –

Гляди: все книги по местам,

В строке – все буквы налицо.

Твое лицо – куда ушло?

Твое лицо,

Твое тепло,

Твое плечо –

Куда ушло?

3 января 1935

2

Напрасно глазом – как гвоздем,

Пронизываю чернозем:

В сознании – верней гвоздя:

Здесь нет тебя – и нет тебя.

Напрасно в ока оборот

Обшариваю небосвод:

– Дождь! дождевой воды бадья.

Там нет тебя – и нет тебя.

Нет, некоторое из двух:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Кость слишком – кость, дух слишком – дух.
Где – ты? где – тот? где – сам? где – весь?
Там – слишком там, здесь – слишком здесь.

Не подменю тебя песком
И паром. Взавшего – родством
За труп и призрак не отдам.
Здесь – слишком здесь, там – слишком там.
Не ты – не ты – не ты – не ты.

Что бы ни пели нам попы,
Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, –
Бог – слишком Бог, червь – слишком червь.
На труп и призрак – неделим!
Не отдадим тебя за дым

Кадил,
Цветы
Могил.

И если где-нибудь ты есть –
Так – в нас. И лучшая вам честь.
Ушедшие – презреть раскол:
Совсем ушел. Со всем – ушел.

5–7 января 1935

3

За то, что некогда, юн и смел,
Не дал мне заживо сгнить меж тел
Бездушных, замертво пасть меж стен –
Не дам тебе – умереть совсем!
За то, что за руку, свеж и чист,
На волю вывел, весенний лист –
Вязанками приносил мне в дом! –
Не дам тебе – порости быльем!
За то, что первых моих седин
Сыновней гордостью встретил – чин,
Ребячьей радостью встретил – страх, –
Не дам тебе – поседеть в сердцах!

7–8 января 1935

4

Удар, заглушенный годами забвенья,
Годами незнания.
Удар, доходящий – как женское пенье,
Как конское ржанье,
Как страстное пенье сквозь «косное» зданье
Удар – доходящий.
Удар, заглушенный забвенья, незнания
Беззвучною чашей.
Грех памяти нашей – безгласой, безгубой,
Безмясой, безносой!
Всех дней друг без друга, ночей друг без друга
Землею наносной
Удар – заглушённый, замшённый – как тиной.
Так плющ сердцевину
Съедает и жизнь превращает в руину...
– Как нож сквозь перину!
...Оконною ватой, набившейся в уши,
И той, заоконной:
Снегами – годами – «пудами» бездушья
Удар – заглушенный...

А что если вдруг

.....
А что если вдруг
А что если – вспомню?
«Начало января 1935»

5

Оползающая глыба –
Из последних сил спасибо
– Рвущееся – умолчу –
Дуба юному плечу.
Издыхающая рыба,
Из последних сил спасибо

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Близящемуся – прости!
Силящемуся спасти
Валу первому прилива.
Иссыхающая нива –
Божескому, нелюдскú
Бури чудному персту.
Как добры – в час без спасенья –
Силы первые – к последним!
Пока рот не пересох –
Спаси – боги! Спаси – Бог!
Лето 1928

О книге Н. П. Гронского «Стихи и поэмы»
Девятый год стоит Россия
Моей заморскою страной..
Н. П. Г.

Мне кажется, что спор о том, может ли быть эмигрантская молодая литература или не может быть, на этот раз сам собой разрешен в недавно вышедшей книге покойного молодого поэта Н. П. Гронского.

Книга открывается словами: «Помню Россию – так мало, помню Россию – всегда»... Это сразу дает нам и возраст, и духовную особь пишущего. Мало помнят, но все же помнят – десяти лет расставшиеся помнят свою страну – изгнанники, всегда помнят – рожденные поэты. Книга открывается – формулой, ибо короче и полнее о себе и о России человек его поколения сказать не может. Эта цитата, по недостатку места, останется единственной. Пусть читатель, до прочтения книги, поверит на слово, что она редкостной словесной силы. Поэтически – первокачественная.

Читаем названия: Иоанн Безземельный – Римляне – Карл XII – Эней – Роланд – Наполеон – перед нами школьные годы, т. е. школьные герои поэта. Первый вывод: не зря ходил в школу. Дальше героика недавних времен, поэма Миноносец, трагическая героика не взятых на английский миноносец добровольцев (по страсти, с какой написано, ясно, что в основе – живое происшествие). Листаем дальше: – Из первой книги Царств – Россия – Август – Римские дороги – Савойя – Моисей – Дракон, – по названиям одним ясно: юноша читает, ходит, глядит, думает – и, наконец, альпийская поэма Белла Донна, лучшая вещь в книге и во всей поэзии эмиграции. К этой поэме отношу читателя, как к сердцевине книги и поэта и самой лирической поэзии. Дальше: Валгалла – дальше прекрасная поэма Авиатор, как все поэмы Гронского взятая из жизни, – поэма Финляндия (родина поэта), – Михаил Черниговский и Александр Невский, – драматические сцены Спиноза – и последнее в книге и в его молодой жизни – Повесть о Сергии Радонежском, о медведе его Аркуде и о битве Куликовской. Книга, начатая Россией, Россией кончается. Россией кончается и его жизнь.

Где же, господа, неизбежное эмигрантское убожество тем, трагическая эмигрантская беспочвенность? Все здесь – почва: благоприобретенная, пешком исхоженная почва Савойи, почва медонских римских дорог, и в крови живущая отечественная почва тверской земли, и родная, финляндская, и библейская – Сиона и Синая, и небесная, наконец – Валгаллы и авионов.

Перед вами, молодые поэты, юноша – ваш сверстник, ваш школьный товарищ, с вашими же источниками питания: собственной ранней памяти, живого изустного сказа, огромного мирового города, природы, которая везде и всегда, и наживейшим из всех источников, без которого все остальные – сушь: самой лирической жилой. Так почему же у вас в стихах метро и быстро, а у него Валгалла – и Авиаторы – и Спиноза? Вы жили в одном Париже. И Париж ни при чем.

Верней, Гронскому Париж много дал, потому что Гронский много сумел взять: Национальную библиотеку и Тургеневскую библиотеку, старые соборы и славные площади, и, что несравненно важнее, не только взять сумел, но отстоять сумел: свой образ, свое юношеское достоинство, свою страсть к высотам, свои русские истоки и, во всем его богатстве, мощи и молодости – свой язык. Взяв у одного Парижа – все, не отдал другому Парижу – ничего.

– «Но это одиночный случай...» Вся лирическая поэзия – одиночный – и даже какой одинокий! – случай. Непрерывная вереница таких одиночных случаев и есть лирическая поэзия. Но если допустить, что есть поэзия не лирическая – гражданская, скажем, эпическая – что мешает молодым эмигрантским поэтам сопresentствовать – издали – событиям своей родины? Челюскин был на весь мир и

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru для всего мира, и место действия его, Арктика, равно – отдалено от всех жилых мест. – «О Русь, вижу тебя из моего прекрасного далёка!» Но если наше далёко нам кажется не-прекрасным, если у нас на него нет глаз, можно ведь и: «О Русь, вижу тебя в твоём прекрасном далёке», распространяя это далёко и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. Поэт никогда не жил подножным кормом времени и места, и если Пушкина, к нашей великой, кровной обиде, так и не выпустили за границу, это не помешало ему дать невиденный им Запад – лучше видевших. Ведь если допустить, что поэт может питаться только от данного места – своей страны, то неизбежно придется ограничить это его питание и современным ему временем. Тогда, сам собой вывод: Пушкин в Испании не был и в средние века не жил, – стало быть Каменного Гостя написать не мог.

А мечта – на что? А тоска – на что?

Нет, господа, оставим время и место писателям-бытовикам (поэтов-бытовиков – нет), а сами, поскольку мы поэты, будем поступать как молодой Гронский:

Я – вселенной гость,
Мне повсюду пир,
И мне дан в удел –
Весь подлунный мир!
И не только подлунный!

<1936>

Б. Л. Пастернаку
(1890–1960)

Провода

Des Herrens Woge schäumte nicht so schön empor, und würde Geist, wenn nicht der alte stumme Fels, das Schicksal ihr entgegenstände[42].

1

Вереницею певчих свай,
Подпирающих Эмпиреи,
Посылаю тебе свой пай
Праха дольного.

По аллее

Вздохов – проволокой к столбу –
Телеграфное: лю-ю-блю..
Умоляю... (печатный бланк
Не вместит! Проводами проще!)
Это – сваи, на них Атлант
Опустил скаковую площадь
Небожителей...

Вдоль свай

Телеграфное: про-о-щай..
Слышишь? Это последний срыв
Глотки сорванной: про-о-стите..
Это – снасти над морем нив,
Атлантический путь тихий:
Выше, выше – и сли-лись
В Ариаднино: ве-ер-нись,
Обернись!.. Даровых больниц
Заунывное: не выйду!
Это – про-водами стальных
Проводов – голоса Аида
Удаляющиеся... Даль
Заклинающее: жа-ль..
Пожалейте! (В сем хоре – сей
Различаешь?) В предсмертном крике
Упирающихся страстей –
Дуновение Эвридики:
Через насыпи – и – рвы
Эвридикино: у-у-вы,
Не у –

17 марта 1923

2

Чтоб высказать тебе... да нет, в ряды
И в рифмы сдавленные... Сердце – шире!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Боюсь, что мало для такой беды
Всего Расина и всего Шекспира!
«Всё плакали, и если кровь болит...
Всё плакали, и если в розах – змеи...»
Но был один – у Федры – Ипполит!
Плач Ариадны – об одном Тезее!
Терзание! Ни берегов, ни вех!
Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо небывших!
Какие чаянья – когда насквозь
Тобой пропитанный – весь воздух свыкся!
Раз Наксосом мне – собственная кость!
Раз собственная кровь под кожей – Стиксом!
Тщета! во мне она! Везде! закрыв
Глаза: без дна она! без дна! И дата
Лжет календарная...

Как ты – Разрыв,
Не Ариадна я и не...
– Утрата!

О по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого – незрячей!)
Я проводы вверяю проводам,
И в телеграфный столб упершись – плачу.
18 марта 1923

3

(Пути)
Все перебрав и все отбросив,
(В особенности – семафор!)
Дичайшей из разноголосиц
Школ, оттепелей... (целый хор
На помощь!) Рукава как стяги
Выбрасывая...
– Без стыда! –
Гудят моей высокой тяги
Лирические провода.
Столб телеграфный! Можно ль кратче
Избрать? Доколе небо есть –
Чувств непреложный передатчик,
Уст осязаемая весть...
Знай, что доколе свод небесный,
Доколе зори к рубежу –
Столь явственно и повсеместно
И длительно тебя вяжу.
Чрез лихолетие эпохи,
Лжей насыпи – из снасти в снасть –
Мои неизданные вздохи,
Моя неистовая страсть...
Вне телеграмм (простых и срочных
Штампованностей постоянств!)
Весною стоков водосточных
И проволокою пространств.
19 марта 1923

4

Самовластная слобода!
Телеграфные провода!
Вожделений – моих – выпранных,
Крик – из чрева и на ветер!
Это сердце мое, искрою
Магнетической – рвет метр.
– «Метр и меру?» Но чет – верное
Измерение мстит! – Мчись
Над метрическими – мертвыми –
Лжесвидетельствами – свист!
Тсс... А ежели вдруг (всюду же
Провода и столбы?) лоб
Заломивши, поймешь: трудные
Словеса сии – лишь вопль

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Соловьиный, с пути сбившийся:

– Без любимого мир пуст! –
В Лиру рук твоих влю-бившийся,
и в Леилу твоих уст!

20 марта 1923

5

Не чернокнижница! В белой книге
Далей донских наострила взгляд!
Где бы ты ни был – тебя настигну,
Выстрадаю – и верну назад.
Ибо с гордыни своей, как с кедра,
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут... Морские недра
Выворочу – и верну со дна!
Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох:
Есмь я и буду я и добуду
Губы – как душу добудет Бог:
Через дыхание – в час твой хриплый,
Через архангельские суда
Изгороди! – Все уста о шипья
Выкровяню и верну с одра!
Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
– Сдайся! – Стрела, описавши круг...
– Сдайся! – Еще ни один не спасся
От настигающего без рук:
Через дыхание... (Перси взмыли,
Веки не видят, вокруг уст – слюда...)
Как прозорливица – Самуила
Выморочу – и вернусь одна:
Ибо другая с тобой, и в судный
День не тягаются...

Вьюсь и длюсь.

Есмь я и буду я и добуду
Душу – как губы добудет уст –
Упокоительница...

25 марта 1923

6

Час, когда вверху цари
И дары друг к другу едут.
(Час, когда иду с горы):
Горы начинают ведать.
Умыслы сгрудились в круг.
Судьбы сдвинулись: не выдать!
(Час, когда не вижу рук)
Души начинают видеть.

25 марта 1923

7

В час, когда мой милый брат
Миновал последний вяз
(Взмахов, выстроенных в ряд),
Были слезы – больше глаз.
В час, когда мой милый друг
Огибал последний мыс
(Вздохов мысленных: вернись!)
Были взмахи – больше рук.
Точно руки – вслед – от плеч!
Точно губы вслед – зажать!
Звуки растеряла речь,
Пальцы растеряла пясть.
В час, когда мой милый гость...
– Господи, взгляни на нас! –
Были слезы больше глаз
Человеческих и звезд
Атлантических...

26 марта 1923

8

Терпеливо, как щебень бьют,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как мести лелеют –
Буду ждать тебя (пальцы в жгут –
Так монархини ждёт наложник)
Терпеливо, как рифмы ждут,
Терпеливо, как руки гложут.
Буду ждать тебя (в землю – взгляд,
Зубы в губы. Столбняк. Булыжник).
Терпеливо, как негу длят,
Терпеливо, как бисер нижут.
Скрип полозьев, ответный скрип
Двери: рокот ветров таежных.
Высочайший пришел рескрипт:
– Смена царства и въезд вельможе.
И домой:
В неземной –
Да мой.

27 марта 1923

9

Весна наводит сон. Уснем.
Хоть врозь, а все ж сдаётся: всё
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.
Всевидящий, он знает, чью
Ладонь – и в чью, кого – и с кем.
Кому печаль мою вручу,
Кому печаль мою повею
Предвечную (дитя, отца
Не знающее и конца
Не чающее!). О, печаль
Плачущих без плеча!
О том, что памятью с перста
Спадет, и камешком с моста...
О том, что заняты места,
О том, что наняты сердца
Служить – безвыездно – навек,
И жить – пожизненно – без нег!
О заживо – чуть встав! чем свет! –
В архив, в Элизиум калек.
О том, что тише ты и я
Травы, руды, беды, воды...
О том, что выстрочит швея:
Рабы – рабы – рабы – рабы.

5 апреля 1923

10

С другими – в розовые груди
Грудей... В гадательные дробы
Недель...
А я тебе пребуду
Сокровищницу подобий
По случаю – в песках, на щебнях
Подобранных, – в ветрах, на шпалах
Подслушанных... Вдоль всех бесхлебных
Застав, где молодость шаталась.
Шаль, узнаешь ее? Простудой
Запахнутую, жарче ада
Распахнутую...

Знай, что чудо
Недр – под полой, живое чадо:
Песнь! С этим первенцем, что пуще
Всех первенцев и всех Рахилей...
– Недр достовернейшую гущу
я мнимостями пересилю!

11 апреля 1923

Двое

1

Есть рифмы в мире сём:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Разъединишь – и дрогнет.
Гомер, ты был слепцом.
Ночь – на буграх надбровных.
Ночь – твой рапсодов плащ,
Ночь – на очах – завесой.
Разъединил ли б зрящ
Елену с Ахиллесом?
Елена. Ахиллес.
Звук назови, созвучней.
Да, хаосу вразрез
Построен на созвучьях
Мир, и, разъединен,
Мстит (на согласьях строен!)
Неверностями жен
Мстит – и горящей Тройей!
Рапсод, ты был слепцом:
Клад рассорил, как рухлядь.
Есть рифмы – в мире том
Подобренные. Рухнет
Сей – разведешь. Чтó нужд
В рифме? Елена, старься!
...Ахеи лучший муж!
Сладостнейшая Спарты!
Лишь шорохом древес
Миртовых, сном кифары:
«Елена: Ахиллес:
Разрозненная пара»!
30 июня 1924

2

Не суждено, чтобы сильный с сильным
Соединились бы в мире сем.
Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой,
Брачное дело решив мечом.
В братственной ненависти союзной
– Буйволами! – на скалу – скала.
С брачного ложа ушел, неузнан,
И неопознанною – спала.
Порознь! – даже на ложе брачном –
Порознь! – даже сцепясь в кулак –
Порознь! – на языке двузначном –
Поздно и порознь – вот наш брак!
Но и постарше еще обида
Есть: амазонку подмяв как лев –
Так разминулись: сын Фетиды
С дочерью Аресовой: Ахиллес
С Пенфезилеей.

О вспомни – снизу
Взгляд ее! сбитого седока
Взгляд! не с Олимпа уже, – из жижи
Взгляд ее – все ж еще свысока!
Что ж из того, что отсель одна в нем
Ревность: женою урвать у тьмы.
Не суждено, чтобы равный – с равным..

.....
Так разминовываемся – мы.

3 июля 1924

3

В мире, где всяк
Сгорблен и взмылен,
Знаю – один
Мне равносилен.
В мире, где столь
Многого хотим,
Знаю – один
Мне равномошен.
В мире, где все –
Плесень и плющ,
Знаю: один

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Ты – равносущ
Мне.

3 июля 1924

«Рас-стояние: версты, мили...»
Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.
Рас-стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это – сплав
Вдохновений и сухожилий...
Не рассóрили – рассорили,
Расслоили...
Стена да ров.
Расселили нас как орлов –
Заговорщиков: версты, дали...
Не расстроили – растеряли.
По тущомам земных широт
Рассовали нас как сирот.
Который уж, ну который – март?!
Разбили нас – как колоду карт!

24 марта 1925

«Русской ржи от меня поклон...»
Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится,
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце...
Ты, в погудке дождей и бед
То ж, что Гомер – в гексаметре,
Дай мне руку – на весь тот свет!
Здесь – мои обе заняты.

Прага, 7 мая 1925

С моря

С Северо-Южным,
Знаю: невозможным!
Можным – коль нужным!
В чем-то дорожном,
– Воздухокрутом,
Мчащим щепу! –
Сон три минуты
Длится. Спешу.
С кем – и не гляну! –
Спишь. Три минуты.
Чем с Океана –
Долго – в Москву-то!
Молниеносный
Путь – запасной:
Из своего сна
Прыгнула в твой.
Снюсь тебе. Четко?
Гладко? Почище,
Чем за решеткой
Штемпельной? Писчей –
Стóю? Почтовой –
Стóю? Красно?
Честное слово
я, не письмо!
Вольной цензуры
Нрав. прыгом с барки!
Чтó без цензуры –
даже без марки!
Всех объегоря,
– Скоропись сна! –
вот тебе с моря –
Вместо письма!
Вместо депеши.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Вес? Да помилуй!
Столько не вешу
Вся – даже с лирой
Всей, с сердцем Ченчи
Всех, с целым там.
Сон, это меньше
Десяти грамм.
Каждому по три –
Шесть (сон взаимный).
Видь, пока смотришь:
Не анонимный
Нос, твердозначен
Лоб, буква букв –
ять, ять без сдачи
В подписи губ.
я – без описки,
я – без помарки.
Роз бы альпийских
Горсть, да хибарка
На море, да но
Волны добры.
Вот с Океана,
Горстка игры.
Мало-помалу бери, как собран.
Море играло. Играть – быть добрым.
Море играло, а я брала.
Море играло, а я клала
За ворот, за щеку, – терпко, морско!
Рот лучше ящика, если горести
Заняты. Валу, звучи, хвала!
Муза теряла, волна брала.
Крабьи кораллы, читай: скорлупы.
Море играло, играть – быть глупым.
Думать – седая прядь! –
Умным. Давай играть!
В ракушки. Темп un petit navir'a[43].
Эта вот – сердцем, а эта – лирой,
Эта, обзор трех куч,
Детства скрипичный ключ,
Подобрала у рыбацкой лодки.
Это – голодной тоски обглодки:
Камень – тебя щажу, –
Лучше волны гложу,
Осатанев на пустынном спуске.
Это? – какой-то любви окуски:
Восстановить не тщусь:
Так неглубок надкус.
Так и лежит не внесенный в списки.
Это – уже не любви – огрызки:
Совести. Чем слезу
Лить-то – ее грызу,
Не угрызому ни на столько.
Это – да нашей игры осколки
Завтрашние. Не видь.
Жаль ведь. Давай делить.
Не что понравится, а что выну.
(К нам на кровать твоего бы сына
Третьим – нельзя ль в игру?)
Первая – я беру.
Только песок, между пальцев, ливкий.
Стой-ка, какой-то строфы отрывки:
«Славы подземный храм».
Ладно. Допишешь сам.
Только песок, между пальцев, плёский.
Стой-ка: гремучей змеи обноски:
Ревности! Обновясь,
Гордостью назвалась.
И поползла себе с полным правом.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Не напостовцы – стоять над крабом
Выеденным. Не краб:
Славы кирпичный крап.
Скромная прихоть:
Камушек. Пемза.
Полый как критик.
Серый как цензор
Над откровеньем.
– Спят цензора! –
Нашей поэме
Цензор – заря.
(Зори – те зорче:
С током Кастальским
В дружбе. На порчу
Перьев – сквозь пальцы...
«Вирши, голубчик?
Ну и черно!»
И не взглянувши:
Разрешено!)
Мельня ты мельня, морское коло!
Мамонта, бабочку, – все смололо
Море. О нем – щепоть
Праха – не нам молоть!
Вот только выговорюсь – и тихо.
Море! прекрасная мельничиха,
Место, где на мели
Мелочь – и нас смели!
Преподаватели! Пустомели!
Материки, это просто мели
Моря. Родиться (цель –
множиться!) – сесть на мель.
Благоприятную, с торфом, с нефтью.
Обмелевающее бессмертье –
Жизнь. Невпопад горды!
Жизнь? Недохват воды
Надокеанской.
Винюсь заранее:
Я нанесла тебе столько дряни,
Столько заморских див:
Все, что нанес прилив.
Лишь оставляет, а брать не просит.
Странно, что это – отлив приносит,
Убыль, в ладонь, дает.
Не узнаешь ли нот,
Нам остающихся по две, по три
В час, когда бог их принесший – отлил,
Отбыл... Орфей... Арфист...
Отмель – наш нотный лист!
– Только минуту еще на сборы!
Я нанесла тебе столько вздору:
Сколько язык смолол, –
Целый морской подол!
Как у рыбачки, моей соседки,
Но припасла тебе напоследки
Дар, на котором строй:
Море роднит с Москвой,
Советороссию с Океаном
Республиканцу – рукой шуана –
Сам Океан-Велик
Шлет. Нацепи на шлык.
И доложи мужикам в колосьях,
Что на шлыке своем краше носят
Красной – не верь: вражду
Классов – морей звезду!
Мастеровым же и чужеземцам:
Коли отстали от Вифлеемской,
Клин отхватив шестой,
Обречены – морской:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Прабогатырской, первобылинной.

(Распространяюсь, но так же длинно
Море – морским пластам.)

Так доложи ж властям
– Имени-звания не спросила –
что на корме корабля Россия
Весь корабельный крах:
Вещь о пяти концах.

Голые скалы, слоновьи ребра..
Море устало, устать – быть добрым.
Вечность, мазни веслом!
Влечь нас. Давай уснем.

Вплоть, а не тесно,
Огонь, а не дымно.
Ведь не совместный
Сон, а взаимный:
В Боге, друг в друге.

Нос, думал? Мыс!
Брови? Нет, дуги,
Выходы из –
Зримости.

Вандея. St. Gilles-sur-Vie.
Май 1926

Попытка комнаты

Стены косности сочтены
До меня. Но – заскок?
случайность? –

я запомнила три стены.
За четвертую не ручаюсь.
Кто же знает, спиной к стене?
Может быть, но ведь может не
Быть. И не было. Дуло. Но
Не стена за спиной – так?.. Все, что
Не угодно. Деша «Дно»,
Царь отрекся. Не только с почты
Вести. Срочные провода
Отовсюду и отвсегда.

На рояле играл? Сквозит.
Дует. Парусом ходит. Ватой –
Пальцы. Лист сонатинный взвиз.
(Не забудь, что тебе – девятый.)

Для невиданной той стены
Знаю имя: стена спины
За роялем, еще – столом
Письменным, а еще – прибором
Бритвенным (у стены – прием –
Этой – делаться коридором
В зеркале. Перенес – взглянул.
Пустоты переносный стул).
Стул для всех, кому не войти –
Дверью, – чуток порог к подошвам!
Та стена, из которой ты
Вырос – поторопилась с прошлым –
Между нами еще абзац
Целый. Вырастешь как Данзас –
Сзади.

Ибо Данзасом – та,
Званным, избранным, с часом, с весом,
(Знаю имя: стена хребта!)
Входит в комнату – не Дантесом.
Оборот головы. – Готов?
Так и ты через десять строф,
Строк.

Глазная атака в тыл.
Но, оставив разряд заспанный,
Потолок достоверно – был.
Не упорствую: как в гостиной,
Может быть и чуть-чуть косил.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
(Штыковая атака в тыл –
Сил.)

И вот уже мозжечка
Сжим. Как глыба спина расселась.
Та сплошная стена Чека,
Та – рассветов, ну та – расстрелов
Светлых: четче, чем на тени
Жестов – в спину из-за спины.
То, чего не пойму: расстрел.
Но, оставив разряд застенный,
Потолок достоверно цел
Был (еще впереди – зачем нам
Он). К четвертой стене вернусь:
Та, куда, отступая, трус
Оступается.

«Ну а пол –
Был? На чем-нибудь да ведь надо ж?..»
Был. – Не всем. – На качель, на ствол,
На коня, на канат, на шабаш, –
Выше!..

Всем нам не «тем свету»
С пустотою срывать пята
Тяготенную.

Пол – для ног.
– Как внедрен человек,
как вкраплен! –
Чтоб не капало – потолок.
Помнишь, старая казнь – по капле
в час? Трава не росла бы в дом –
Пол, земля не вошла бы в дом –
Всеми – теми – кому и кол
Не препятствие ночью майской!
Три стены, потолок и пол.
Всё, как будто? Теперь – являйся!
Оповестит ли ставнею?
Комната наспех составлена,
Белесоватым по серу –
в черновике набросана.
Не штукатур, не кровельщик –
Сон. На путях беспроводных
Страж. В пропастях под веками
Некий нашедший некую.
Не поставщик, не мебельщик –
Сон, поголее ревельской
Отмели. Пол без блёсткости.
Комната? Просто – плоскости.
Дебаркадер приветливей!
Нечто из геометрии,
Бездны в картонном томике,
Поздно, но полно, понятой.
А фаэтонов тормоз-то –
Стол? Да ведь локтем кормится
Стол. Разлоктись по склонности,
Будет и стол – настольности.
Так же, как деток – аисты:
Будет нужда – и явится
вещь. Не пекись за три версты!
Стул вместе с гостем вырастет.
Все вырастет,
Не ладь, не строй.
Под вывеской
Сказать – какой?
Взаимности
Лесная глушь
Гостиница
Свиданье Душ.
Дом встречи. Всё – разлуки –
Те, хоть южным на юг!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Прислуживают – руки?
Нет, то, что тише рук,
И легче рук, и чище
Рук. Подновленный хлам
С услугами? Тощица
Оставленная там!
Да, здесь мы недотроги,
И в праве. Рук – гонцы,
Рук – мысли, рук – итоги,
Рук – самые концы..
Без судорожных «где ж ты?».
Жду. С тишиной в родстве,
Прислуживают – жесты
В Психеиновом дворце.
Только ветер поэту дорог!
В чем уверена – в коридорах.
Прохождение – вот армий база.
Должно долго идти, чтоб сразу
Середь комнаты, с видом бога –
Лиродержца..
– Стиха дорога!
Ветер, ветер, над лбом – как стягом
Поднимаемый нашим шагом!
Водворенное «и так дале» –
Коридоры: домашность дали.
С грачьим профилем иноверки
Тихой скоростью даль, по мерке
Детских ног, в дождевом пруфе
Рифмы милые: грифель – туфель –
Кафель... в павлиноватом шлейфе
Где-то башня, зовется Эйфель.
Как река для ребенка – галька,
Дали – долька, не даль – а далька,
В детской памяти, струнной, донной –
Даль с ручным багажом, даль – бонной..
Не сболтнувшаяся нам (даль в модах)
Что там тащится на подводах..
Доведенная до пенала..
Коридоры: домов каналы.
Свадьбы, судьбы, события, сроки, –
Коридоры: домов притоки.
В пять утра, с письмецом подметным,
Коридором не только метлы
Ходят. Тмином разит и дерном.
Род занятий? Ко-ри-дорный.
То лишь требуя, что смолола –
Коридорами – Карманьола!
Кто коридоры строил
(Рыл), знал куда загнуть,
Чтобы дать время крови
За угол завернуть.
Сердца – за тот за острый
Угол – громов магнит!
Чтобы сердечный остров
Со всех сторон омыт
Был. Коридор сей создан
Мной – не проси ясней! –
Чтобы дать время мозгу
Оповестить по всей
Линии – от «посадки
Нету» до узловой
Сердца: «Идет! Бросаться –
Жмурься! А нет – долой
С рельс!» Коридор сей создан
Мной (не поэт – проста!),
Чтобы дать время мозгу
Распределить места,
Ибо свиданье – местность,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Роспись – подсчет – чертеж –
Слов, не всегда уместных,
Жестов, погрешных сплошь.
Чтобы любовь в порядке –
вся, чтоб тебе любя –
вся, до последней складки –
Губ или платья? Лба.
Платье всё оправлять умели!
Коридоры: домов туннели.
Точно старец, ведомый дочерью –
Коридоры: домов ущелья.
Друг, гляди! Как в письме, как в сне том –
Это я на тебя просветом!
В первом сне, когда веки спустишь –
Это я? на тебя предчувствием
Света. В крайнюю толку срока
Это я – световое око.
А потом?
Сон есть: в тон.
Был – подъем,
Был – наклон
Лба – и лба.
Твой – вперед
лоб. Груба
Рифма: рот.
Оттого ль, что не стало стен –
Потолок достоверно крен
Дал. Лишь звательный цвел падёж
В ртах. А пол – достоверно брешь.
А сквозь брешь, зелена как Нил...
Потолок достоверно плыл.
Пол же – что, кроме «провались!» –
Полу? Что нам до половиц
Сорных? Мало мела? – Горé!
Весь поэт на одном тире
держится...
Над ничем двух тел
Потолок достоверно пел –
Всеми ангелами.
St. Gilles-sur-Vie.
6-го июня 1926
О. Э. Мандельштаму
(1891–1938)
«Никто ничего не отнял!..»
Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих верст.
Я знаю, наш дар – неравен,
Мой голос впервые – тих.
Что вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь, –
Юный ли взгляд мой тяжел?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед..
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих лет.
12 февраля 1916
«Собирая любимых в путь...»
Собирая любимых в путь,
я им песни пою на память –
чтобы приняли как-нибудь,
что когда-то дарили сами.
Зеленеющую тропой
Довожу их до перекрестка.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Ты без усталы, ветер, пой,
Ты, дорога, не будь им жесткой!
Туча сизая, слез не лей, –
Как на праздник они обуты!
Ущери себе жало, змей,
Кинь, разбойничек, нож свой лютой.
Ты, проходя красота,
Будь веселой им невестой.
Потруди за меня уста, –
Наградит тебя царь Небесный!
Разгорайтесь, костры, в лесах,
Разгоняйте зверей берложьих.
Богородица в небесах,
Вспомни о моих прохожих!
17 февраля 1916

«Ты запрокидываешь голову...»
Ты запрокидываешь голову
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!
Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.
Чьи руки бережные нежили
Твои ресницы, красота,
И по каким терновалежиям
Лавровая твоя верста.. –
Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол уже мечту.
В тебе божественного мальчика, –
Десятилетнего я чту.
Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей...
Мальчишескую боль высвистывай,
И сердце зажимай в горсти...
Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник – прости!
18 февраля 1916

«Откуда такая нежность?..»
Откуда такая нежность?
Не первые – эти кудри
Разглаживаю, и губы
Знавала темней твоих.
Всходили и гасли звезды,
Откуда такая нежность? –
Всходили и гасли очи
У самых моих очей.
Еще не такие гимны
Я слушала ночью темной,
Венчаемая – о нежность! –
На самой груди певца.
Откуда такая нежность,
И что с нею делать, отрок
Лукавый, певец захожий,
С ресницами – нет длинней?
18 февраля 1916

«Разлетелось в серебряные дребезги...»
Разлетелось в серебряные дребезги
Зеркало, и в нем – взгляд.
Лебеди мои, лебеди
Сегодня домой летят!
Из облачной выси выпало
Мне прямо на грудь – перо.
Я сегодня во сне рассыпала
Мелкое серебро.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Серебряный клич – звóнок.

Серебряно мне – петь!

Мой выкормыш! Лебеденок!

Хорошо ли тебе лететь?

Пойду и не скажусь

Ни матери, ни сродникам.

Пойду и встану в церкви,

И помолюсь угодникам

О лебеде молоденьком.

1 марта 1916

«Гибель от женщины. Вот знак...»

Гибель от женщины. Вот знак

На ладони твоей, юноша.

Долу глаза! Молись! Берегись! Враг

Бдит в полночи.

Не спасет ни песен

Небесный дар, ни надменнейший вырез губ.

Тем ты и люб,

что небесен.

Ах, запрокинута твоя голова,

Полузакрыты глаза – что? – пряча.

Ах, запрокинется твоя голова –

Иначе.

Голыми руками возьмут – ретив! упрямя!

Криком твоим всю ночь будет край звóнок!

Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам!

Серафим! – Орленок!

17 марта 1916

«Приключилась с ним странная хворь...»

Приключилась с ним странная хворь,

И сладчайшая на него нашла оторопь.

Все стоит и смотрит ввысь,

И не видит ни звезд, ни зорь

Зорким оком своим – отрок.

А задремлет – к нему орлы

Шумнокрылые слетаются с клетотом,

И ведут о нем дивный спор.

И один – властелин скалы –

Клювом кудри ему треплет.

Но дремучие очи сомкнув,

Но уста полураскрыв – спит себе.

И не слышит ночных гостей,

И не видит, как зоркий клюв

Златоокая водрит птица.

20 марта 1916

Мой ответ Осипу Мандельштаму

Проза поэта. Поэт, наконец, заговорил на нашем языке, на котором говорим или

можем говорить мы все. Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур,

соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком. Чем же была

твоя царственность? Тот лоскут пурпура, вольно или невольно обороненный тобою?

Или есть у тебя – где-нибудь на плече или на сердце – царственный тайный знак?

Ужас и любопытство, страсть к познанию и страх его, вот что каждого любящего толкает к прозе поэта.

Вот ты передо мной голый, вне чар. Орфей без лиры, вот я, перед тобой, равный, – брат тебе и судья. Ты был царем, но кораблекрушение или прихоть загнали тебя голого на голый остров, где только две руки. Твой пурпур остался в море.

Два вопроса: сумеешь ли ты и без пурпура быть царем (и без стиха быть поэтом)?

Сумеешь ли ты им – царем или поэтом – не быть?

Есть ли поэт (царственность) – неотъемлемость, есть ли поэт в тебе – суть?

Поклонюсь ли тебе – голому?

Поэзия – язык богов! Этого никто не повторил, это мы все сказали, каждый заново.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Девочка трех лет, услышав впервые живого поэта, спросила мать: «Это Бог говорит?» Девочка ничего не понимала, а поэт не пел. Поэт говорил, но по-другому, и это по-другому (как) заставило девочку молчать. Девочка признала божество. От Державина до Маяковского (а не плохое соседство!) – поэзия – язык богов. Боги не говорят, за них говорят поэты.

Есть в стихах, кроме всего (а его много!), что можно учесть, – неучтимо. Оно-то и есть стихи.

Итак, Осип Манделъштам, сбросив пурпур, предстал перед нами как человек: от него отказавшись, поэт – человек как я. Равные данные. Победи меня одним собою.

Осип Манделъштам. Шум времени.

Книга открылась на «Бармы закона», и взгляд, притянутый заглавной буквой, упал на слова: полковник Цыгальский.

Полковник Цыгальский? Я знаю полковника Цыгальского. Ничего не встает, но я знаю полковника Цыгальского. Первому взгляду откликнулся первый слух.

«Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами – орла добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипение примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховой платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку»...

Пока, не веря глазам, читаю, вот что со дна, глубочайшего, нежели черноморское, подает память:

Полковник Цыгальский – доброволец, поэт, друг Макса Волошина и самого Манделъштама. В 19 г. был в Крыму, у него была больная жена и двое чудесных мальчиков. Нуждался. Помогал. Я его никогда не видела, но когда мне в 1921 г. вернувшийся после разгрома Крыма вручил книжечку стихов «Ковчег», я из всех стихов остановилась на стихах некоего Цыгальского, конец которых до сих пор помню наизусть.

Вот он.

Я вижу Русь, изгнавшую бесов,
Увенчанную бармами закона,
Мне все равно: с царем – или без трона,
Но без меча над чашами весов.
Последние две строки я всегда приводила и привожу как формулу идеи Добровольчества. И как поэтическую формулу.

Читаю дальше:

«Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-скороходами, а скорее на базар. Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки, напоминая клиента Кубу или дома ученых. Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии?»

Запасные лаковые сапоги просились на базар... Вывод: Цыгальский был нищ. Цыгальский ухаживал за больной женщиной и скармливал ей последний паек. Вывод: Цыгальский был добр. Пайки Цыгальского умещались в скромных кулечках. Вывод: Цыгальский был чист. Это мои выводы, и твои, читатель. Вывод же Манделъштама: зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии.

Дальше:

«Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи».

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Почему голоса? Ни до, ни после никакого упоминания.

Почему примуса? На этом примусе он кипятил чай для того же Мандельштама. Почему сестры? Кто же стыдился чужой болезни? Почему – непроданных сапог? Если непроданности – Мандельштам не кредитор, если лака (то есть роскоши в этом убожестве) – Мандельштам не лейтенант Армии Спасения, а если бы и был, ведь добрая воля к продаже есть! Поди и продай – тебе есть когда, Цыгальскому некогда, у Цыгальского на руках больная жена и двое детей: чужая болезнь и чужой голод, у Цыгальского на плечах все добровольчество, позади – мұка, впереди, может быть завтра – смерть. У Вас, Осип Мандельштам, ничего, кроме собственного неутолимого аппетита, заставляющего Вас пожирать последние крохи Цыгальского, и очередного стихотворения – в 8 строк, которое Вы пишете три месяца. Пойдите и продайте и не проешьте деньги на шоколад: они нужны больной женщине («с глазами коровы») и голодным детям, которых Вы по легкомыслию своему обронили по дороге своего повествования. (Два кадетика, 12 и 13 л<ет>, чуть ли не в тифу, имен не знаю.)

Почему голоса, примуса, сестры, непроданных сапог и дурного табаку (стыдился) – а не просто Вас, большого поэта Осипа Мандельштама, которому он, неизвестный поэт и скромный полковник Цыгальский, читает стихи?

Помнится, Вы, уже известный тогда поэт, в 1916 г. после нелестного отзыва о Вас Брюсова – плакали. Дайте же постесняться неизвестному полковнику Цыгальскому.

А дурного табаку, может быть, действительно стыдился. Не того, что курит дурной табак, а того, что не может угостить Вас, большого поэта Мандельштама, высшим сортом. По заслугам.

«...Там было неловкое выраженье: «Мне все равно, с царем или без трона...» и еще пожелание о том (?), какой нужна ему Россия: «Увенчанная бармами закона»...

Неловкое выражение. В чем неловкость? Думаю и не додумываюсь. Трон, в конце строки вместо царя. Или царь, в начале строки вместо трона. Как ни поверни, смысл ясен: Мне все равно – с царем или без царя, мне все равно – с тронном или без трона.

Есть у Вас, Осип Мандельштам, строки более неловкие, а именно:

...ягнята и волы
На тучных пастбищах плодились...
«Плодились» Вы, по осторожному (до сей поры не оглашенному) совету друзей заменили «водились», но другая неловкость, увы, друзьями непредупрежденная, пребывает. О черепахе.

Она лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Черепаша, лежащая на спине! Черепаха, перевернувшаяся и так блаженствующая? Вы их никогда не видели.

А в прекрасном стихе о Диккенсе, который у всех на устах, – помните?

Я помню Оливера Твиста
Над кипю конторских книг.
Это Оливер Твист–то, возвращенный в притоне воров! Вы его никогда не читали.

Все это погрешности, не только простительные, прощенные, но милые и очаровательные. И никогда бы не поставила их Вам в вину, если бы Вы не оказались взыскательнее к безвестному поэту Цыгальскому, чем к большому поэту, себе. Кроме того, Ваши погрешности – действительные: бессмыслица. Неловкость же двустипшия Цыгальского Вами не доказана, а мной (тоже поэтом) посему не признана. Берегись мелочного суда. По признаку нелепости, неловкости от Вас мало останется.

«...По дикому этому пространству (поэт говорит о душе Цыгальского[44]) где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона, и не добровольцы, а какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался сам полковник до революции. Полковник-нянька с бармами закона!»

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru «Странную принадлежность государственного туалета» – явная пошлость, постыдная пошлость. Мы так привыкли к «принадлежностям дамского туалета», что слово государственной проскальзывает, мы – под гипнозом общего места – видим в воде не бармы, а гофрированные розовые резинки и прочую дамскую дребедень. Этого ли хотел Мандельштам? Или, оставляя государственный в силе, отождествляя по невежеству, недомыслию своему государственный с империалистический, целя в империалистическое, попал в государственное.

«Государственный туалет», применил ли бы он это выражение к чему-нибудь, касающемуся коммунизма? Нет. Явное желание пошлым оборотом унижить идею монархической власти, которую по недомыслию отождествляет с государственной. Осип Мандельштам, даже если Вы боец, – не так сражаются! Но если Вы искренне думаете, что бармы – часть одежды, Вы ошибаетесь. Так же не часть одежды, как Георгиевский крест или орден Красной звезды. Эти вещи – символы.

«Полковник-нянька с бармами закона» – вывод.

Итак: человек, ухаживающий за больной женщиной, – нянька. Если этот человек к тому же пишет стихи о бармах закона – он нянька с бармами закона.

Слабый вывод.

Вот логика и вот сердце Осипа Мандельштама.

Рассказик мал – 3 страницы, и привела я его почти целиком. Вот еще две выдержки:

«Грязная, на серой древесной бумаге, всегда похожая на корректуру, газетка Освага будила впечатленья русской осени в лавке мелочного торговца».

Бумага, на которой напечатаны эти строки, сера и грязна (Осип Мандельштам. Шум времени. Издательство «Время», Ленинград, 1925), но впечатлений осени в мелочной лавке – во мне не будит. Бумага, на которой печатаются вещи, во мне вообще ничего не будит то, что напечатано, и в данном случае: приведенные строки Мандельштама о плохости добровольческой бумаги будят во мне непреодолимое отвращение к такому эстетизму. Вокруг кровь, а Мандельштам недоволен бумагой. Впрочем, с кровью у Мандельштама вообще подозрительно, после 37 года (см. Пушкина) и кровь и стихи журчат иначе. Журчащая кровь. Нет ли в этом – жути? Точно человек лежал и слушал, услаждаясь невинностью звука. Забывая, что журчит, удовлетворяясь – как. Что касается журчания стихов – просто пошлость, слишком частая, чтобы быть жутью.

Выдержка последняя:

«Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь».

Древнее. В первую секунду – улыбка. Конечно, древнее! Генуэзская колония – и добровольцы двадцатого! Но – улыбка сошла – Мандельштам неправ и здесь: добрая воля старше города: без нее бы не возник ни один.

«В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии, с фуражки до подошв заряженные лисьим электричеством здоровья и молодости (Мандельштам точно ходит по зверинцу или по басне Крылова, переходит от клетки к клетке: собака, волк, лиса, – ассоциация по смежности[45]). На иных людей возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей с детскими наглыми и опасно-пурпурными карими глазами был лишь курортом, где они проходили курс лечения, соблюдая бодрящий, благотворный их природе режим».

Мандельштам, en connaissance de cause[46]: глаза у добровольцев и большевиков серые, средняя Россия, пришедшая в Крым, а не местное население: татары, болгары, евреи, караимы, крымчанки. Светлоглазая – так через 100 лет будет зваться наша Армия. Но это частности. Не частности же – Ваша намеренная слепость и глухость к Крыму тех дней. Вы не услышали добровольческих песен, Вы не увидели и пустых рукавов, и костылей. Вы не увидели на лбу – черты загара от фуражки. Загар тот свят.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Не мне – перед Вами – обелять Белую Армию. За нее – действительность и легенда. Но мне – перед лицом всей современности и всего будущего – заклеить Вас, большого поэта. Из всех песен Армии (а были!) отметить только: Бей жидов – даже без сопутствующего: Спасай Россию[47] всю Добровольческую Армию отождествлять с Контрразведкой. Не знаю Вашей биографии – может быть, Вы в ней сидели, может быть, Вы от нее терпели. Но полковник Цыгальский, тоже доброволец, поил Вас чаем (последним) и читал Вам (может быть, первые!) стихи. Есть другой поэт, тоже еврей, которому добровольцы на пароходе выбили зубы. Это последнее, на что он ссылается в своих обвинениях Добровольческой Армии. Потому что он зряч и знает. Не Добрая Воля выбивает еврею зубы, а злая, что прокалывала добровольцам глаза в том же Крыму – краткий срок спустя. Не идея, а отсутствие идей. Красная Армия не есть чека, и добровольчество не есть контрразведка. Вы могли предпочесть Красную, Вы не смели оплевывать Белую. Герои везде и подлецы везде. Говоря о подлецах наших, Вы обязаны сказать о подлецах своих.

Если бы Вы были мужем, а не «...»[48], Мандельштам, Вы бы не лепетали тогда в 18 г. об «удельно-княжеском периоде» и новом Кремле, Вы бы взяли винтовку в руки и пошли сражаться. У Красной Армии был бы свой поэт, у Вас – чистая совесть, у Вашего народа – еще одно право на существование, в мире, на одну гордость больше и на одну низость меньше. Ибо, утверждаю, будь Вы в Армии (любой!), Вы этой книги бы не написали.

Это взгляд со стороны, живописный, эстетский. В Ваших живописаниях Крыма 21 г. – те 90-е годы, тот пастернаковский червь (с Потемкина), от которых Вы так отмежевываетесь. Ваша книга – nature morte, и если знак времени, то не нашего. В наше время (там, как здесь) кровь не «журчит», как стихи, и сами стихи не журчат. Журчит ли Пастернак? Журчит ли Маяковский? Журчали ли Блок, Гумилев, Есенин? Журчите ли Вы сами, Мандельштам?

Это книга презреннейшей из людских особей – эстета, вся до мозга кости (NB! мозг есть, кости нет) гниль, вся подтасовка, без сердцевины, без сердца, без крови, – только глаза, только нюх, только слух, – да и то предвзятое, с поправкой на 1925 год.

Будь вы живой, Мандельштам, Вы бы живому полковнику Цыгальскому по крайней мере изменили фамилию, не нападали бы на беззащитного. – Ведь что – если жив и встретитесь? Как посмотрите ему в глаза? Или снова – как тогда, в 1918 г., в коридоре, когда я Вам не подала руки – захлопчете, залепечете, закинув голову, но сгорев до ушей.

Есть и мне что рассказать о Ваших примусах и сестрах. – Брезгую!

Выдержки.

Патриотическая какофония увертюры 12 года.

Случилось так, что раннее мое петербургское детство прошло под знаком самого настоящего милитаризма, и, право, в этом не моя вина, а вина моей няни и тогдашней петербургской улицы.

Характерно, что в Казанский собор, несмотря на табачный сумрак его сводов и дырявый лес знамен, я не верил ни на грош. Подкова каменной колоннады и широкий тротуар с цепочками предназначались для бунта (автор говорит о восприятии 6-тилетнего ребенка)[49]*.

Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника. (По случаю смерти Ленина.)*

«Проездами» тогда назывались уличные путешествия царя и его семьи. Я хорошо навострился распознавать эти штуки. (Пошлость.)*

Меня забавляло удручать полицейских расспросами, кто и когда поедет, чего они

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru никогда не смели сказать. (NB! дух революции.)* Нужно признать, что промельк гербовой кареты с золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысаками в сетке, всегда меня разочаровывал. Тем не менее игра в проезд представлялась мне довольно забавной.

Но какое оскорбление – скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь-император», какая пошлость все, что он говорит (Хаос иудейский)*.

Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? (У Мандельштама, мальчика, репетитор.)*

Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и несколько их не боялся... Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного статского советника было для него высшим счастьем, полагая счастье математическим, несколько отвлеченным пределом.

Разве Каутский – Тютчев? А представьте, что для известного возраста и мгновения Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накиннутый над бездной.

...зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова (религиозная благонадежность!)*, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.

Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть.

...Некая Наташа, нелепое и милое создание. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди эсдечкой, эсеркой, православной, католичкой, эллинисткой, теософкой с разными перебоями. От частой перемены убеждений она преждевременно поседела. (История – только в обратном порядке – самого Мандельштама. Империалист, эллинист, православный, эсер, коммунист. Но Наташа – женщина и дура – седеет. Мандельштам – не седеет!)*

Все это была мразь по сравнению с миром Эрфуртской программы, Коммунистических манифестов и аграрных споров.

Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы, с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого (искажением его. – М. Ц.).

Для революции характерна эта боязнь, этот страх получить что-нибудь из чужих рук, она не смеет, она боится подойти к источникам бытия. (73 стр. Мандельштам говорит во славу, а не в осуждение.)*

Больные, воспаленные веки фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах.

«Для меня, для меня, для меня», – говорит Революция. «Сам по себе, сам по себе, сам по себе», – отвечает мир.

Чья это исповедь? Революционера с колыбели, наконец дорвавшегося до революции. Иного жара он, казалось, не знал. Ребяческий империализм он всецело кладет на

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru совесть няньки и отодвигает его к возрасту, когда ребенок без няньки не ходит. Чуть вырос, уж бонны – рабыни, уж провозглашение здоровья государю-императору раввином – пошлость... И пошло и пошло? Отчего не принять на веру? Потому что до «Шума времени» у Мандельштама есть книга «Камень», потому что до Мандельштама-прозаика был Мандельштам-поэт.

Откроем «Камень»: «Поедем в Царское Село», «Над желтизной правительственных зданий».....

Откроем вторую книгу «Tristia». «В разноголосице девического хора» (Успенский собор), «Не веря воскресенья чуду» (опять Москва и православие), «О, этот воздух смуты пьяный» (прямое перечисление кремлевских соборов).

Где же Эрфуртская программа, где же падающее яблоко капиталистического мира, хотя бы отзвук один героического тенишевского школьничества? Мальчишки где? Нигде. Потому что их не было.

Мандельштам-поэт предаёт Мандельштама-прозаика. Весь этот сложный, сплошной, прекрасный, законно-незаконный мятеж: поэта (князя Духа) против деспота (царя тел), иудея (загнанного) против царизма (гонителя), школьника (сердце!) против казака (нагайки!), сына, наконец, (завтра) против отца (бывшего) – весь этот сложный, сплошной, прекрасный, законно-незаконный мятеж ВЕЛИЧИЯ против ВЛАСТИ – ВЫМЫСЕЛ.

Революционность Мандельштама не с 1917 г. – вперед, а с 1917 г. назад. Не 1891–1917 (как он этого ныне хочет), а с 1917 г. – 1891 г. – справа налево, ложь. Перевернутая команда Октября. Октябрь знает: вперед, он не знает назад, Октябрь знает: будет, он не знает было, зря старался Мандельштам с его вымышленными революционными пеленками. Революция застает вещи, как они есть. Революция в трехлетнем революционере Мандельштаме не нуждается. Она застала его 25-летним, таким он ей нужен, – если нужен... Дело Мандельштама было родиться заново: я родился в 1917 г., до этого меня просто не было. Дело Мандельштама, если он в Революцию прозрел, было наглухо забыть и начисто перечеркнуть все до 1917 г. Дело Мандельштама было всенародно и громогласно отречься от себя «православного», «империалиста», «эсера», «эллиниста», принести Революции полную и громкую повинную. – «Да, я воспевал соборы и монастыри, и юридиков, и ереси, и царских уланов, и фрейлин, и правоведов в бобровых шинелях. Да, я воспевал все, что смели – вы. Теперь я переродился. Октябрь отверз мне очи. То, что должен был сделать я, поэт, – со мной, поэтом, сделала Революция. Революция со мной сделала то чудо, которое обыкновенно поэт делает с миром: преобразила меня. Я был слеп и глух. Я не слышал близкого грома, я не видел молний. Я не был пророком. Я был просто певцом существующего. Все это я сознаю и приношу вам свою повинную голову. Ваша воля, ваша власть».

– Власть! – Вот оно, слово ко всему, тайный ключ к Мандельштаму.

«Шум времени» – подарок Мандельштама властям, как многие стихи «Камня» – дань.

Если бы Мандельштам любил величие, а не власть, он: 1) до 1917 г. был бы революционером (как лучшая тогдашняя молодежь) – он революционером не был; 2) даже пусть революционером до 1917 г. не был, революционером после коммунистического Октября не сделался бы – он им сделался; 3) даже сделавшись революционером после коммунистического Октября – столь не вовремя (или вовремя!) отозвавшись и на это величие, не отказался от своего вчерашнего представления о величии. Но Мандельштам воспекает власть (именно жандармов! Улан – разница!), бессмысленную внешнюю красоту ее. До преображения вещи он никогда не возносился. Власть рухнула, да здравствует следующая!

я тебя любил и больше не люблю. Я не тебя любил, а свою мечту о тебе. – Так, кончив любить, говорит каждый.

я тебя не любил, а любил своего врага, – так, кончив любить, говорит Мандельштам.

Не-революционер до 1917 г., революционер с 1917 г. – история обывателя, негромкая, нелюбопытная. За что здесь судить? За то, что Мандельштам не имел мужества признаться в своей политической обывательщине до 1917 г., за то, что

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru сделал себя героем и пророком – назад, за то, что подтасовал свои тогдашние чувства, за то, что оплевал то, что – по-своему, по-обывательскому, но все же – любил.

Возьмем Эренбурга – кто из нас укорит его за «Хулио Хуренито» после «Молитвы о России». Тогда любил это, теперь то. Он чист. У каждого из нас была своя трагедия со старым миром. Мандельштам просто через него переступил.

Это не шум Времени. Время шумит в прекрасной канунной поэме Маяковского «Мир и Война», в «Рабочем» Гумилева, в российских пожарах Блока. Шум времени – всегда – канунный, осуществляющийся лишь в разверстом слухе поэта, превосхищаемый им. Маркс мог знать, поэт должен был видеть. И самым большим поэтом российской революции был Гейне с его провидческим:

«И говорю вам, настанет год, когда весь снег на Севере будет красным».

Шум времени Мандельштама – оглядка, ослышка труса. Правильность фактов и подтасовка чувств. С таким попутчиком Советскую власть не поздравляю. Он так же предаст ее, как Керенского ради Ленина, в свой срок, в свой час, а именно: в секунду ее падения.

Не эпоху 90-х годов я беру под защиту, а слабое, малое, но все-таки чистое сердце Мандельштама, мальчика и подростка.

Вчитайтесь внимательно: маленький резонер, маленький домашний обличитель, Немезида в коротких брючках с Эрфуртской программой под одной мышкой, с Каутским – под другой. Напыщенный персонаж кукольного театра. Гомункулос Революции. Есть что-то гофмановское в существе, которое Осип Мандельштам выдает за себя ребенка. Убийца радости – Magister TINTe[50] в пеленках.

Из школьника (голова, сердце, ранец), начиненного бомбами, народовольчеством и Шмидтом, мог вырасти поэт Осип Мандельштам. Из этого маленького чудовища, с высока своих марксистских лестниц взиравшего на торг рабынь (наем бонны) и слушавшего вместо доброй дроби достоверных яблок о землю набухание капиталистического яблока, – ничего не могло выйти для поэзии и все для прямого врага ее – мог выйти политик фанатизма. Им Мандельштам не стал. Ложь, ложь и ложь.

В прозе Мандельштама не только не уцелела божественность поэта, но и человечность человека. Что уцелело? Острый глаз. Видимый мир Мандельштам прекрасно видит и пока не переводит его на незримое – не делает промахов.

Для любителей словесной живописи книга Мандельштама, если не клад, так вклад.

Было бы низостью умалчивать о том, что Мандельштам-поэт (обратное прозаику, то есть человеку) за годы Революции остался чист. Что спасло? Божественность глагола. Любящего читателя отослала бы к «Tristia», к постепенности превращения слабого человека и никакого гражданина из певца старого мира – в глашатаи нового. Большим поэтом (чары!) он пребыл.

Мой ответ Осипу Мандельштаму – мой вопрос всем и каждому: как может большой поэт быть маленьким человеком? Ответа не знаю.

Мой ответ Осипу Мандельштаму – сей вопрос ему.

Март 1926

М. А. Волошину

(1878–1932)

ICI – Haut[51]

(Памяти Максимилиана Волошина)

1

Товарищи, как нравится

Вам в проходном дворе

Всеравенства – перст главенства:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Заройте на горе!

В век: «распевай, как хочется

Нам – либо упрядним»,

В век скопищ – одиночества:

«Хочу лежать один» –

Вздых...

17 октября 1932

2

Ветхозаветная тишина,

Сирой полыни крестик.

Похоронили поэта на

Самом высоком месте.

Так, даже в смерти своей – подъем

Он даровал несущим.

Стало быть, именно на своем

Месте, ему присущем.

Выше которого только вздох,

Мой из моей неволи.

Выше которого – только Бог!

Бог – и ни вещи боле.

Всечеловека среди высот

Вечных при каждом строе.

Как подобает поэта – под

Небом и над землею.

После России, где меньше он

Был, чем последний смазчик –

Первым в ряду – всех из ряда вон

Равенства – выходящих:

В гор ряду, в зорь ряду, в гнезд ряду,

Орльих, по всем утесам.

На пятьдесят, хоть, восьмом году –

Стал рядовым, был способ!

Уединенный вошедший в круг –

Горе? нет, радость в доме!

На сорок верст высоты вокруг –

Солнечного да кроме

Лунного – ни одного лица,

Ибо соседей – нету.

Место откуплено до конца

Памяти – и планеты.

3

В стране, которая – одна

Из всех звалась Господней,

Теперь меняют имена

Всяк, как ему сегодня

На ум или не-ум (потом

Решим!) взбредет. «Леонтьем

Крещеный – просит о таком –

то прозвище». – Извольте!

А впрочем – что ему с холма

Как звать такую малость?

Я гору знаю, что сама

Переименовалась.

Среди казарм, и шахт, и школ

Чтобы душа не билась –

Я гору знаю, что в престол

Души преобразилась.

В котлов и общего котла,

Всеобщей котловины

Век – гору знаю, что светла

Тем, что на ней единый

Спит – на отвесном пустыре

Над уровнем движенья.

Преображенье на горе?

Горы – преображенье!

Гора, как все была: стара,

Меж прочих не отметишь.

Днесь Вечной Памяти Гора,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Доколе солнце светит –
Вожатому – душ, а не масс!
Не двести лет, не двадцать,
Гора та – как бы ни звалась –
До веку будет зваться
Волошинской.

23 октября 1932

4

– «Переименовать!» Приказ –
Одно, народный глас – другое.
Так, погребенья через час,
Пошла «Волошинской горою»
Гора, название Янычар
Носившая – четыре века.
А у почтительных татар:
– Гора Большого Человека.

22 мая 1935

5

Над вороным утесом –
Белой зари рукав.
Ногу – уже с заносом
Бега – с трудом вкопав
В землю, смеясь, что первой
Встала, в зари венце –
Макс! мне было – так верно
Ждать на твоём крыльце!
Позже, отвесным полднем,
Под колокольцы коз,
С всхолмья да на восхолмье,
С глыбы да на утес –
По трехсаженным креслам:
Тронам иных эпох –
Макс, мне было – так лестно
Лезть за тобою – БОГ
Знает куда! Да, виды
Видящим – путь скалист.
С глыбы на пирамиду,
С рыбы – на обелиск...
Ну, а потом, на плоской
Вышке – орлы вокруг –
Макс, мне было – так просто
Есть у тебя из рук,
Божьих или медвежьих,
Опережавших «дай»,
Рук неизменно-брежных,
За воспаленный край
Раны умевших браться
В веры сплошном луче.
Макс, мне было так братски
Спать на твоём плече!
(Горы... Себе на горе
Видится мне одно
Место: с него два моря
Были видны по дно
Бездны... два моря сразу!
Дщери иной поры,
Кто вам свои два глаза
Преподнесет с горы?)
...Только теперь, в подполье,
Вижу, когда потух
Свет – до чего мне вольно
Было в охвате двух
Рук твоих... В первых встречных
Царстве – и сам суди,
Макс, до чего мне вечно
Было в твоей груди!
Пусть ни единой травки,
Площе, чем на столе –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Макс, мне будет – так мягко
Спать на твоей скале!
28 октября 1932
Кламар
А. Белому
(1880–1934)
Пленный дух
(моя встреча с Андреем Белым)
Посвящается

Владиславу Фелициановичу Ходасевичу

I. Предшествующая легенда

Легкий огонь, над кудрями пляшущий,
Дуновение – вдохновения!

– Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и
Андрея Белого...

– Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись!

Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного (а существовал ли он уже тогда, как детский поэт? 1916 год), что она его в противовес: в противоцвет Андрею Белому – сама сочинила, по женскому деревенскому добросердечию смягчив полное имя на уменьшительное.

Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал. Но книгу его «Серебряный голубь» часто называли. Серебряный голубь Андрея Белого. Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела, и кто же еще, кроме ангела, может называться – Белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто – Белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его, как самое любимое – или самое важное – на самый последок молитвы. (Об ангелах тоже нужно молиться, особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовского ангела, который в земном бытовом окружении был просто непристоен!).

Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсем не в этом доме, и совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно: моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Дмитрия Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией.

– Последние времена пришли! – кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. – Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького – Максима, Белый – Андрей понадобился! А то еще какой-то Александр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил «Прекрасную Даму», уж одно название чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол прятали, – разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николай Дмитриевича Бугаева сын. Почему не Бугаев – Борис, а Белый – Андрей? От отца отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно? Что за Белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? – разорялась она, вся трясясь бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими (нервный тик) желтыми глазами.

– Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! – кротко отвечал мой отец. – А о чем лекция?

– О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм какой-то выдумали, что символа веры не знают!

– Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу... – осторожно (так по неизбежности просовывают руку в клетку к злому попугаю) вставлял мой отец, опасавшийся раздражать людей, а особенно – дам, а особенно – родственников, а особенно – родственников с нервным тиком (всегда – вся – тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загореться и сжечь). – Все лучше, чем ходить на сходки...

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Студент! – уже кричала Какаду (прозвище из-за крючковатости носа и желтизны птичьих глаз). – Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!

– Ну, полно, полно, голубушка, – ввязался вовремя подоспевший добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей – Василии Шуйском и директор коммерческого училища на Остоженке, воспитанниками которого за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор. – Что ты так разволновалась? Одни в юности за хорошенькими женщинами ухаживают, другие – про символизм докладывают, ха-ха-ха! Отец – почтенный, может быть, еще и из сына выйдет прок. – А ты как думаешь, Марина? Что лучше: не балах отплясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано... – неизвестно к чему относя это «рано», к балам или символизму...

И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими исключениями, все старое поколение Москвы.

Так я и унесла из розовых стен коммерческого училища на Остоженке в шоколадные стены нашего дома в Трехпрудном имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до срока, заглохло, притаилось, легло спать.

Разбудил его, года два спустя, поэт Эллис (Лев Львович Кобылинский, сын педагога Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек).

– Вчера Борис Николаевич... Я от вас к Борису Николаевичу... Как бы это понравилось Борису Николаевичу...

Естественно, что мы с Асей, сгоравшие от желания его увидеть, никогда не попросили Эллиса нас с ним познакомить и – естественно, а может быть, не естественно? – что Эллис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома: тополиным двором, мезонином, моими никем не слышанными стихами, полновластным царством над двумя детскими душами – никогда нам этого не предложил. Андрей Белый – табу. Видеть его нельзя, только о нем слышать. Почему? Потому что он – знаменитый поэт, а мы средних классов гимназистки.

Русских – и детей – и поэтов – фатализм.

Эллис жил в меблированных комнатах «Дон», с синей трактирной вывеской, на Смоленском рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди его темной, с утра темной, всегда темной, с опущенными шторами – не выносил дня! – и двумя свечами перед бюстом Данте – комнаты – что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете – ухода. И, прежде чем мы опомниться могли, Эллис:

– Борис Николаевич Бугаев. А это – Цветаевы, Марина и Ася.

Поворот, почти пируэт, тут же повторенный на стене его огромной от свечей тенью, острый взгляд, даже укол, глаз, конец перебитой нашим входом фразы, – человек уходил, и ничто уже его не могло остановить, и, с поклоном, похожим на па какого-то балетного отступления:

– Всего хорошего.

– Всего лучшего.

Дома, ложась спать:

– А все-таки увидели Андрея Белого. Он мне сказал: «Всего лучшего».

– Нет, мне – всего лучшего. Тебе – всего хорошего.

– Нет, именно тебе – всего хорошего, а мне...

– Ну, тебе – лучшего! (Про себя: сама знаешь, что – мне!)

«Хорошего» или «лучшего» – осуществилось оно не через него. Встреча не повторилась. Странно, что, вращаясь в самом близком его кругу: Эллис, его друг

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Нилендер, К. П. Христофорова, сестры Тургеневы, Сережа Соловьев, брат и сестра Виноградовы – я его в той моей дозамужней юности больше не встретила. Никогда и не искала. Дала судьба раз – не надо просить второго. Слава Богу, что – раз. Могло бы и не быть.

Впрочем, видела его часто, года два спустя, в «Мусагете», но именно – видела, и чаще – спиной, с белым мелком в руке обтанцовывающего черную доску, тут же испещряемую – как из рукава сыпались! – запятыми, полулиниями и зигзагами ритмических схем, так напоминавших гимназические геометрические, что я, по естественному чувству самосохранения (а вдруг обернется и вызовет к доске?), с танцующей спины Белого переходила на недвижные фасы тайного советника Гёте и доктора Штейнера, во все свои огромные глаза глядевшие или не глядевшие на нас со стены.

Так это у меня и осталось: первый Белый, танцующий перед Гёте и Штейнером, как некогда Давид перед ковчегом. В жизни символиста все – символ. Не-символов – нет.

..Но есть у меня еще одно, более раннее, до знакомства, воспоминание, незначительное, но рассказа стоящее, хотя бы уже из-за тургеневских мест, с которыми Белый вдвойне связан: как писатель и как страдатель.

Тульская губерния, разъезд «Толстое», тут же город Чернь, где Иван беседовал с чертом, тут же Бежин Луг. И вот, на каких-то именинах, в сновиденном белом доме с сновиденным черным парком –

– Какая вы розовая, здоровая, наверное рассудительная, – поет, охая от жары и жиру, хозяйка-помещица – мне, – а вот мои – сухие, как козы, и совсем сумасшедшие. Особенно Бишетка – это ее бабушка так назвала, за глаза и за прыжки. Ну, подумайте, голубушка, сиюю я, это, у нас в Москве в столовой и слышу, Бишетка в передней по телефону: «Позовите, пожалуйста, к телефону Андрея Белого». Ну, тут я сразу насторожилась, уж странно очень – ведь либо Андрей, либо Андрей Петрович, скажем, а то что же это за «Андрей Белый» такой, точно каторжник или дворник?

Стоит, ждет, долго ждет, должно быть, не идет, и вдруг, голубушка моя, ушам своим не верю: «Вы – Андрей Белый? Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, какие у вас глаза? Мы с сестрами держали пари...» Тут молчание настало долгое, – ну, думаю, наверное, ее отчитывает – Бог знает за кого принял! – уж встать хочу, объяснить тому господину, что она – по молодости, и без отца росла, и без всякого там, скажем, какого-нибудь умысла... словом: дура – что... и вдруг, опять заговорила: «Значит, серые? Правда, серые? Нет, вовсе не как у всех людей, а как ни у кого в Москве и на всем свете! Я на лекции была и сама видела, только не знала, серые или зеленые... Вот и выиграла пари... Ура! Ура! Ура! Спасибо вам, Андрей Белый, за серые!»

Влетает ко мне: «Ма-ама! Серые!» – «Да уж слышу, что серые, а отдала бы я тебя лучше в Екатерининский институт, как мне Анна Семеновна советовала...» – «Да какие там Екатерининские институты? Ты знаешь, с кем я сейчас по телефону говорила? (А сама скачет вверх вниз, вверх вниз, под самый потолок, – вы ведь видите, какая она у меня высокая, а потолки-то у нас в Москве низкие, сейчас люстру башкой сшибет!) С Андреем Белым, с самым знаменитым писателем России! А ты знаешь, что он мне ответил? «Совсем не знаю, сейчас посмотрю». И пошел смотреться в зеркало, оттого так долго. И, конечно, оказались – серые. Ты понимаешь, мама: Андрей Белый, тот, что читал лекцию, еще скандал был, страшно свистели... Я теперь и с Блоком познакомясь...»

Рассказчица переводит дух и, упавшим голосом:

– Уж какой он там самый великий писатель – не знаю. Мы Тургенева читали, благо и места наши... Ну, великий или не великий, писатель или не писатель, а все же человек порядочный, не выругал, не заподозрил, а сразу понял – дура... и пошел в зеркало смотреться... как дурак... Потом я ее спрашиваю: «А не спросил он, Бишетка, какие у тебя глаза?» – «Да что ты, мама, очень ему интересно, какие у меня глаза? Разве я знаменитость какая-нибудь?»

Милый Борис Николаевич, когда я четырнадцать лет спустя в берлинской

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru «Pragerdiele» вам это рассказала, ваш первый вопрос был:

– А какие у нее были? Бишет? Bichette?[52] Козочка? Серые, наверное? И вот такие? (перерезает воздух вкось) – как у настоящей козы? Сколько ей тогда было лет? Семнадцать? Такая, такая, такая высокая? Пепельно-русская? И прыгала неподвижно (чуть не опрокидывает стол) – вот так, вот так, вот так?

(«Борис Николаевич показывает Марине Ивановне эвритмию», – шепот с соседнего столика.)

– Почему же она мне никогда не написала? Родная, голубушка, ее нельзя было бы найти? Нельзя – нигде? Она, конечно, умерла. Все, все они умирают – или уходят (вызывающий взгляд на круговую) – вы не понимаете! Абрам Григорьевич, и вы слушайте! Девушка с козьими глазами, Bichette, которая была на моем чтении.

Издатель, вяло: – На каком чтении? Уже здесь?

Он, вперясь:

– Конечно, здесь, потому что я сейчас там, потому что там сейчас здесь, и никакого здесь, кроме там! Никакого сейчас, кроме тогда, потому что тогда вечно, вечно, вечно!.. Это и есть фетовское теперь.

(Подходит и другой его издатель). Белый моляще:

– Соломон Гитманович, слушайте и вы. Девушка. Четырнадцать лет назад. Bichette, с козьими глазами, которая вот так от радости, что я ей ответил по телефону, какие у меня глаза. Четырнадцать лет назад. Она сейчас – Валькирия... Вернее, она была бы Валькирия... Я знаю, что она умерла.

(Почтительное, сочувственно-недоуменное и чуть-чуть комическое молчание. Так молчат, когда внезапно узнают о смерти человека, о котором впервые слышат, и о котором тут же убивается один из присутствующих.) Белый, с внезапным поворотом всего тела, хотя странно о нем говорить всего и тела, до того этого всего было мало, и до того это было не тело, – напуская на меня всю птицу своего тела:

– А эта Bichette – действительно была? Вы это не... сочинили? (Подозрительно и агрессивно.) Потому что я ничего не помню, никаких глаз по телефону... Я вам, конечно, верю, но... (Окружающим.) Потому что это чрезвычайно важно. Потому что, если она была – то это была моя судьба. Моя не-судьба. Потому у меня и не было судьбы. И я только теперь знаю, отчего я погиб. До чего я погиб!

Не зная, что сказать, и чувствуя, что девушка уже исчерпана, что остается одно беловское беснование, издатели с женами и писатели с женами незаметно и молниеносно... даже не: исчезают: их – нет. Белый, изучающий тиснение скатерти, точно ища в ней рун, письмен, следов – внезапно вскинув голову и заливая меня светом – каких угодно, только не серых глаз, явно меня не видящих:

– Bichette... Bichette... Я что-то, что-то, что-то помню. Но... не совпадает! Я тогда был совсем маленьким, меня почти еще не было, меня просто не было...

Не зная и я, что сказать в ответ на такое полное небытие, жду, что через секунду он уже опять будет.

Меня не было, было: я, оно. Вы, конечно, меня понимаете? (Вечный вопрос всех, на понимание до того не рассчитывающих, что даже не переживают ответа.) Одну секунду... Стойте! Сейчас всплывет. (Властный жест мага.) Сейчас появится! Но почему Bichette, когда – Baquette! Потому что – на эшафот готов взойти, что – Baquette! Но почему Baquette, когда Bichette?

– Борис Николаевич, теперь уж вы – стойте! (и, напевом)

Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette,
Ah, tu sirtiras de ce chou là![53]

Потому что вам в младенчестве, когда все еще не было, это вам пела ваша французская – нет, швейцарская M-lle, которая у вас была.

Пауза. Сижу, буквально залитая восторгом из его глаз, одетая им, как плащом, как

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru лучом, как дождем, вся, от темени до подола моего пока еще нового, пока еще синего, пока еще единственного берлинского платья. Беря через стол мою руку, неся ее к губам, не донеся до губ:

– Вы, вы мне поверьте, что я за эту *Viquette* – заметьте, что я сейчас о *Viquette* – капустной козе говорю, что я за эту швейцарскую молочную капустную младенческую козу готов для вас десять лет подряд с утра до поздней ночи таскать на себе булжники.

Я, потрясенная:

– Господи!

Он, императивно:

– Булжники. (Пауза). И должен сказать вам, что я никогда никого в жизни еще так не уважал, как вас в эту минуту.

Милая *Vichette*, может быть, вы все-таки еще живы и это прочтете? А может быть, уже сейчас, через плечо, пока пишу, нет, до написанного – читаете? А что, если вы первая встретили его у входа и взяли за руку и повели, сероглазая – сероглазого, вечно-юная – вечно-юного, по роцам блаженных, его настоящей родине...

Из Берлина 1922 года в Москву 1910 года.

Странно, только сейчас замечаю, что имя Белого до встречи с ним дважды представало мне в окружении трех сестер. В первый раз – в кругу трех сестер, из которых старшая была *Vichette*, во второй раз в трехсестринском кругу Тургеневых.

О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда. Двоюродные внучки Тургенева, в одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другую – Андрей Белый, в третью, пока, никто, потому что двенадцать лет, но скоро влюбятся все. Первая Наташа, вторая Ася, третья Таня. Говорю – легенда, ибо при знакомстве оказалось, что Наташа – уже замужем, что Таня пока что самая обыкновенная гимназистка, а что в Асю – и Андрей Белый и Сережа Соловьев.

Асю Тургеневу я впервые увидела в «Мусагете», куда привел меня Макс. Пряменькая, с от природы занесенной головкой в обрамлении гравюрных ламартиновских «*anglaises*» [54], с вечно-дымящей из точеных пальцев папироской, в вечном сизом облаке своего и мусагетского дыма, из которого только еще точнее и точней выступала ее прямизна. Красивее из рук не видала. Кудри и шейка и руки, – вся она была с английской гравюры, и сама была гравер, и уже сделала обложку для книги стихов Эллиса «*Stigmata*», с каким-то храмом. С английской гравюры – брюссельской школы гравер, а главное, Ася Тургенева – тургеневская Ася, любовь того Сергея Соловьева с глазами Владимира, «Жемчужная головка» его сказок, невеста Андрея Белого и Катя его «Серебряного голубя», Дарьяльский которого – Сережа Соловьев (Все это, гордясь за всех действующих лиц, а немножечко и за себя, захлебываясь сообщил мне Владимир Оттонович Нилендер, должно быть, сам безнадежно влюбленный в Асю. Да не влюбиться было нельзя.)

Не говорила она в «Мусагете» никогда, разве что – «да», впрочем, как раз не «да», а «нет», и это «нет» звучало так же веско, как первая капля дождя перед грозой. Только глядела и дымила, и потом внезапно вставала и исчезала, развеивая за собой пепел локонов и дымок папиросы. Помню, как я в общей сизой туче всех дымящих папирос всегда ловила ее отдельную струйку, следя ее от исхода губ до моря – морей – потолка. На лекциях «Мусагета», честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала, а может быть, и не понимала, потому что не слушала, вся занятая неуловимо-вскользнувшей Асей, влетающим Белым, недвижимым Штейнером, черным оком царящим со стены, гримасой его бодлеровского рта. Только слышала: гносеология и гностики, значения которых не понимала и, отвращенная носовым звучанием которых, никогда не спросила. В гимназии – геометрия, в «Мусагете» – гносеология. А это, что сейчас вот как-то коварно изнизу, а уж через секунду, чуть повернувшись (как осколок в калейдоскопе!), уже отвесно сверху Гершензону возражает, это – Андрей Белый, тот самый, который – вечность! уже две зимы назад – сказал нам тогда с Асей, мне (утверждаю и сейчас, а ведь как не сбылось!) – «Всего лучшего», – ей, – «Всего доброго!» Со мной он не

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru говорил никогда, только, случайно присев на смежный стул, с буйной и несказанно-изумленной радостью: «Ах! Это – вы?» – за которым никогда ничего не следовало, ибо я-то знала, что это – он.

В «Мусагете» я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от превосходства своего над всеми, я – всех над собой. Она – от торжествующей, я от непрерывно-ранимой гордости. Не говорила, конечно, и с ней, которую я с первой встречи ощутила «царицей здешних мест».

Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? Думаю – никто, а нечто: простой голый факт, та срочная деловая необходимость, служащая нам несравненно больше чужой доброй воли и нашего собственного страстного желания, когда нужно – горы сводящая! В данном случае предполагавшееся издание «Мусагетом» моей второй книги и поручение Асе для нее обложки.

Помню, что первая пришла я – к ней. В какие-то переулочные снега. Кажется – на Арбат.

Из каких-то неосвященных глубин на слабый ламповый исподлобный свет Ася в барсовой шкуре на плечах, в дыму «anglases» и папиросы, кланяющаяся – исподлобья, руку жмуцая по-мужски.

Прелесть ее была именно в этой смеси мужских, юношеских повадок, я бы даже сказала – мужской деловитости, с крайней лиричностью, девичеством, девчончеством черт и очертаний. Когда огромная женщина руку жмет по-мужски – одно, но – такой рукою! С гравюры! От такой руки – такое пожатье!

На диване старшая сестра Наташа, и вбег Тани, трепаной, розовой, гимназической и которую я в свой культ включила явно в придачу, для ровного счета, достоверно зная от моей Аси, учившейся с ней в гимназии, что она самая обыкновенная девчонка, без никакого ни отношения, ни интереса к литературе, читать совсем не любящая, и с которой моя Ася, несмотря ни на какие мои просьбы, не соглашалась дружить. «Очень нужно, дружи сама, что мне от ее тургеневства, только и говорит, что о пирогах и о грудных детях – как нáзло!» (Может быть, действительно – нáзло? Зная, что от нее ждут «поэзии»? Вернее же – просто настоящая четырнадцатилетняя девчонка, помещицья дочка, дитя природы.)

Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный гром Тани и зоркое безмолвие застывшей передо мной Аси – в барсовом плече.

– Какая киса чудная!

– Барс.

– Барс, это с кистями на ушах?

– Рысь.

(Не поговоришь!) Оттянув к себе барсью полу, глажу, счастливая, что нашла себе безмолвное увлекательное занятие. И вдруг, со всей безудержностью настоящего откровения:

– Да вы сама, Ася, барс! Это вы с себя шкуру сняли: надели.

Чудный смех, взблеск чудных глаз, – волшебная смена из «Цветов маленькой Иды» – хватая мою руку, другой с лампы колпак:

– А у вас какие? Ну, конечно, зеленые, я так и знала!

Дитя символистической эпохи, ее героиня, что же для нее могло быть важнее – цвета глаз? И что больше ценилось – зеленых, открытых Бальмонтом и канонизированных его последователями?

– И какое у вас чудное имя (испытующе:) А вы действительно Марина, а не Мария? Марина: морская. Вы курите? (Молча протягиваю портсигар.) И курит, и глаза зеленые, и морская, – Ася, тоном счетовода – сестрам.

Сидим уже на диване, уже стихи, под неугомонный гром Тани – такая тонкая

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru девочка, а как гремит! – разнообразимый дребезгом со всего размаху ставимых на стол чашек, блюдца, вазочек.

Ни слова не помню про обложку. (Так кончались все мои деловые свидания!) Зато все помню про барса, этого вот барсенка: бесенка с собственной шкурой на плечах, зябкого, знобкого... Ни слова и про Андрея Белого. (Слово «жених» тогда ощущалось неприличным, а «муж» (и слово и вещь) просто невозможным.)

И, странно (впрочем, здесь все странно или ничего), уже начало какой-то ревности, уже явное занывание, уже первый укол Zahnschmerzen im Herzen[55], что вот – уедет, меня – разлюбит, и чувство более благородное, более глубокое: тоска за всю расу, плач амазонок по уходящей, переходящей на тот берег, тем отходящей – сестре.

– Чудный барс. В следующий раз в «Мусaget» приходите в барсе. Приводите барса, чтобы было на чем отвести душу.

(Молча: «Ася! Ася! Ася! Не выходите замуж, хотя бы за Андрея Белого!»)

Вслух:

– Я не понимаю, что такое гносеология и почему все время о ней говорят. И почему все – разное, когда она – одна.

(Молча: «Ася! Ведь вы – Mignon[56], не из оперы, а из Гёте. Mignon не должна выходить замуж – даже за молодого Гёте...»)

Вслух:

– Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи – выжатый лимон. Чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала: «Совершенно верно». Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился – Гершензон.

(Молча: «O lasset mich scheinen, bis ich werde! Zieht mir das weisse Kleid nicht aus![57] Ася! ведь это измена этому же, вашему же – Белому! Вы должны быть умнее, сильнее, потому что вы женщина... За него понять!»)

Вслух:

– Вы отлично знаете, что ваши стихи – не выжатый лимон! Зачем же вы смеетесь над Вячеславом Ивановичем – и всеми нами?

(Молча: «Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные, и я вся не стою вашего мизинца и ногтя Белого, но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чем еще буду – знаю, что буду! – так вот, Ася, не выходите замуж за Белого, пусть он один едет в Сицилию и в Египет, оставайтесь одна, оставайтесь с барсом, оставайтесь – барсом».)

– Марина, о чем вы думаете?

Замечая, что я совсем забыла говорить про Гершензона. (О, потрясение человека, который вдруг осознал, что молчит и совсем не знает, сколько.)

– Бойтесь меня, я умею читать мысли.

И оборотом головы на сестер:

– Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины и у Аси. Они – не вампиры? Может быть, мне вас, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете пить мою кровь?

– А ваш барс на что? Ночью он спит у вашей постели, и у него – клыки!

Другое явление – видение – Аси, знобкой и зябкой, без барса, но незримо – в нем, на границе нашей залы и гостиной в Трехпрудном, с потолками такими высокими, что всякому дыму есть куда уйти.

Между нами уже простота любви, сменившая во мне веревку – удавку – влюбленности.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Я знаю, что она знает, что мы одной породы. Влюбляешься ведь только в чужое, родное – любишь. Про ее отъезд не говорим, его не называем, не называем никогда. Это еще пока – девичество, вольница, по сю сторону той реки.

Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягивает, натягивает, перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса. Не удерживаю, ибо в жизни свое место знаю, и если оно не последнее, то только потому, что вовсе не становлюсь в ряд... (А со мной, в моей простой любви (а есть – простая?) – в моем веселом девичьем дружестве, в Трехпрудном переулке, дом № 8, шоколадный, со ставнями, ты бы все-таки была счастливее, чем с ним в Сицилии, с ним, которого ты неизбежно потеряешь...)

– Ася, вы скоро едете?

– Скоро еду, а сейчас иду.

Простившись с ней совсем в нашем полосатом, в винно-белую полоску, матрасном парадном, естественным следствием всех последних прощаний, влезая в своего гимназического синего барана (мне – баран, тебе – барс, все как следует, и они бар(ан) и бар(с) все-таки родня) и иду с ней вдоль снежного переулка – ряда переулков – до какого-то белого дома (может быть – ее, может быть, его, может быть – ничьего), который зовется «здесь». Здесь – прощаемся.

– А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжают в Сицилию!

Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже мятущаяся и смещенная разом со всех земных мест душа, *âme en reine – d'éternité*[58], уже с порога, вознеся над головой руки, точно моля ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду. (Теперь замечаю, что и у Нилендера и у Эллиса были беловские жесты. Подвлиянность? Сродство?)

– Вы можете передать от меня Асе стихи?

– А вы на вокзале не будете?

– Нет. В руки. В руку. После третьего звонка, конечно, чтобы...

– Понял. Понял.

– Нет. Не поняли и не после третьего, потому что после третьего все сразу лезут на подножку опять прощаться. Так вот, после последней подножки и последней руки. Ей, в машущую...

День спустя, выпрастывая шею из седого и от снега бобра. (Барс, баран, бобер... Бобром он этим потом тушил свой филологический пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены все книги филолога!)

– Марина! Уехали! Это было растравительно. Она, бедняжка, храбрилась, не плакала, но вся сжалась, скрутилась в жгут, как собственный платочек – и ни слезы!

(Точно в Нерчинск! А ведь, кажется, – в Монреале, да еще с любимым, да еще этот любимый – Андрей Белый! Но таковы тогда были души и чувства.)

– А он?

– Он, кажется, был (с величайшим недоумением) – просто счастлив? От него шло сияние!

– От него всегда идет сияние.

– Вы правы. Но вчера – особенное. Он не уезжал – отлетал! Точно не паром двинулись вагоны, а его...

Я:

– Вдохновением.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Счастливая Ася. Бедная Ася.

И я, вторя:

Никому, с участием или гневно,
Не позволь в былое заглянуть.
Добрый путь, погибшая царевна,
Добрый путь!

– Марина, какое безумие, какое преступление – брак!

Это говорит – мне говорит! В глаза говорит! – человек, которого... который... – и весь рассказ об Асе и Белом – о нас рассказ, если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого из нас. Но зато – и какое в этом несравненное сияние! – знаю, что если я, сейчас, столько лет спустя, или еще через десять лет, или через все двадцать, войду в его филологическую берлогу, в грот Орфея, в пещеру Сивиллы, он правой оттолкнет молодую жену, левой обвалит мне же на голову подпотолочную стопу старых книг – и кинется ко мне, раскрывши руки, которые будут – крылья.

Это нам и всем подобным нам награда за все нами отвергнутые Монреали.

От Аси, год спустя, уже не знаю откуда, прилетело письмо: разумное, точное, деловое. С адресами и с ценами. В ответ на мой такой же запрос: куда ехать в Сицилию. И мое свадебное путешествие, год спустя, было только хождение по ее – Аси, Кати, Психеи – следам. И та глухонемая сиракузская девочка в черном диком лавровом саду, в дикий полдневный, синий дочерна час, от которого у меня и сейчас в глазах синё и черно, бежавшая передо мною по краю обрыва и внезапно остановившаяся с поднятым пальчиком: «вот!» – а «вот» была статуя благороднейшего из поэтов Гр. Августа Платена – August von Platen – seine Freunde[59] – та глухонемая девочка, самовозникшая из чаши, была, конечно, душа Аси, или хоть маленький ее мой отрез! – стерегшая меня в этом черном саду.

Больше я Аси никогда не видала.

Девочка... козочка... Vichette... ах, это вы, Vichette.

1920 год. в филологической берлоге Нилендера встречаю священника с страшными глазами: синими поднебесными безднами. Я эти глаза – знаю. Только это глаза со стены, и не подобает им глядеть на меня через советский примус.

– Вы меня не узнаете? Неузнаваем? Соловьев. Сережа Соловьев. (Да, да, нужно было именно сказать: Сережа, чтобы не подумала – среди бела дня, в гостях Владимир! Но куда же девался чудный, розового мрамора, круг лица? Священник – куда стихи?)

«Как Таня?» – «Таня в деревне. У Тани три девочки». – «Опять – три?» – «Опять – три». – «Тургеневской породы?» – «Тургеневской. И одна очень похожа на Асю». – «Спасибо».

Для пояснения нужно прибавить, что Таня Тургенева, прельщенная примером моей Аси, вышла замуж из того же шестого класса гимназии – за Сережу Соловьева. Так что разговор шел о соловьевско-тургеневских девочках.

По выходе этого прекрасно- и страшноглазого священника, Нилендер – мне:

– Мечтает о воссоединении церквей. Сначала был православным, потом перешел в католичество, а теперь – униат. Сначала был поэт!

Знают, стройно и напевно
В полночь вставшие снега,
Что свершает путь царевна,
Взяв оленя за рога...

– О, это давно... Это был – другой человек... Это было в Асины времена... – с той особенной отраженной нежностью мужчины, самого не бывшего влюбленным – не решавшегося! – но возле влюбленного, влюбленных стоящего и их нежностью кормившегося...

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

У – ни – ат... Какая сосущая гимназическая жуть: рассвет... водовоз... вставать... жить... отвечать про польскую Унию...

Но не сбылись вторично сестры Тургеневы. В 1922 году, на Воздвиженке, меня окликнула молодая женщина с той обычной советской присыпкой пепла на лице, серьезной заботы и золы, уравнивающей и пол и возраст, молодость заравнивающей как лопатой.

– Таня. Таня Тургенева. Но вы тоже очень изменились. А у меня (все еще те глаза внезапно и до краев наливаются слезами) – умерла дочка. Вторая. Вот карточка, где они еще три.

На меня с дешевой, уже посеревшей, как Танино и мое лицо, открытки глядят три маленьких Тургеневы, три Леди Джен. Таня, тыча все еще точеным пальчиком с черным ногтем в одну из головок:

– Эта умерла.

Эта, конечно, «Ася».

Аси я больше никогда не видала. Есть встречи, есть чувства, когда дается сразу все и продолжения не нужно. Продолжать, ведь это – проверять.

Они даже не оставляют тоски. Тоска (зарез), когда не додано, тем или мною, нами. Пустота, когда – недостойному – передаю. (Достойному не передашь!) Асю я с первой секунды ощутила – уезжающей, для себя, в длительности – потерянной. Так любят умирающего: разом – все, все слова последние, или никаких слов. Встреча началась с моего безусловного, на доверии, подчинения, с полного признания ее превосходства. Я сразу внутренне уступила ей все места, на которых мы когда-либо могли столкнуться. Так же естественно, как уступают место видению, привидению: ведь все равно пройдет насквозь.

Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше «дар Божий», большая богоизбранность, что не будь в мире «Ась» – не было бы в мире поэм.

Проще же говоря, я поступила, как все меня окружавшие мужские друзья: я просто в нее влюбилась, душевно ей предалась, со всей беззаветностью и бескорыстностью поэта.

Не хочешь ревности, обиды, ранения, ущерб – не тягайся – предайся, растворишься всем, что в тебе растворимо, из оставшегося же создай видение, бессмертное. Вот мой завет какой-нибудь моей дальней преемнице, поэту, возникшему в женском образе.

Белого после его возвращения из Дорнаха я просто не помню. Помню только, что он сразу стал налетать на меня со всех лестниц Тео и Наркомпроса: редких лестниц, ибо я присутственные места всегда огибала, редких, но всех. Два крыла, ореол кудрей, сияние.

– Вы? Вы? Вы? Как всегда приятно вас видеть! Вы всегда улыбаетесь!

И обежав как цирковая лошадка по кругу, овеяв как птица шумом рассеяемого воздуха, оставляя в глазах сияние, в ушах и в волосах – веяние, – куда-то трещащими от машинок коридорами, на бегу уже обвешиваемый слушателями, слушательницами. В такие минуты он напоминал советский перегруженный, не всегда безопасный трамвай.

Или, во Дворце искусств (дом Ростовых на Поварской) на зеленой лужайке. Что это? Воблу выдают? Нет, хвоста нет, и хвостов нет, что-то беспорядочнее и праздничнее и воблы вдохновеннее, ибо даже рыжебородый лежебок, поэт Рукавишников, встал и, руки в карманы, прислонился к березе.

Я, какой-то барышне:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Что это?

– Борис Николаевич.

– Лекцию читает?

– Нет, слушает ничевоков.

– Ничего – что?

(Барышная, деловито:)

– Это новое направление, группа. Они говорят, что ничего нет.

Подхожу. То есть как же слушает, когда говорит? Говорит, не закрывая рта, а обступившие его молодые люди, эти самые ничевоки, только свои раскрыли. И, должно быть, давно говорит, потому что, вот, вытер с сияющего лба пот.

– Ничего: чего: черно. Ч – о, ч – чернота – о – пустота: zero[60]. Круг пустоты и черноты. Заметьте, что ч – само черно: ч: ночь, черт, чара. Ничевоки... а ки – ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью: чью, мелкой черной мелочью: меленькой, меленькой, меленькой... Ничевоки, это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето. А хозяева (подымая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним и заставляя всех следить) – выехали! Выбыли! Пустая дача: ча, и в ней ничего, и еще ки, ничего, разродившееся... ки... Дача! Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача – дар, чей-то дар, и вот, русская литература была чьим-то таким даром, дачей, но... (палец к губам, таинственно) хо-зя-е-ва вы-е-ха-ли. И не осталось – ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда одно ничего, оно – ничего, само – ничего, беда, когда – ки... Ки, ведь это, кхи... При-шел сме-шок. При-тан-це-вал на тонких ножках сме-шок, кхи-шок. Кхи... И от всего осталось... кхи. От всего осталось не ничего, а кхи, хи... На черных ножках – блошки... И как они колются! Язвят! Как они неуязвимы... как вы неуязвимы, господа, в своем ничего-ше-стве! По краю черной дыры, проваленной дыры, где погребена русская литература (таинственно)... и еще что-то... на спичечных ножках – ничегошеньки. А детки ваши будут – ничегошеньки.

Блок оборвался, потому что Блок – чего, и если у Блока – черно, то это черно – чего, весь плюс черноты, чернота, как присутствие, наличность, данность. В комнате, из которой унесли свет – темно, но ночь, в которую ты вышел из комнаты, есть сама чернота, она.

...Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней – не надо света...
С ночью – не надо света.

И Блок, не выйдя с лампой в ночь – мудрец, такой же мудрец, как Диоген, вышедший с фонарем – днем, в белый день – с фонарем. Один света прибавил, другой – тьмы. Блок, отдавши себя ночи, растворивший себя в ней – прав. Он к черноте прибавил, он ее сгустил, усугубил, углубил, учернил, он сделал ночь еще черней – обогатил стихию... а вы – хи-хи? По краю, не срываясь, хи-хи-хи... Не платя – хи-хи... Сти-хи?..

...Но если вы мне скажете, что... – тогда я вам скажу, что... А если вы мне на это ответите, что... – я вам уже заранее объявляю, что... Заметьте, что – сейчас, в данную минуту, когда вы еще ничего не сказали.

«Не сказали»... А поди – скажи! Скажешь тут...

Но это не просто вдохновение словесное, это – танец! Барышня с таким же успехом могла бы сказать: «Это Белый übertanz[61] ничевоков...» Ровная лужайка, утыканная желтыми цветочками, стала ковриком под его ногами – и сквозь кружавшегося, приподымающегося, вспархивающего, припадающего, уклоняющегося, вот-вот имеющего отделиться от земли – видение девушки с козочкой, на только что развернутом коврике, под двубашенным видением веков...

– Эсмеральда! Джали!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним улетевшей лужайки, всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно, ich überflieg euch![62] в вечном сопроводительном танце сюртучных фалд (пиджачных? все равно – сюртучных!), старинный, изящный, изысканный, птичий – смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце: смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, – о, не ног! – всего тела, всей второй души, еще-души своего тела, с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой – в два крыла, в две восходящих лестницы оркестр бесплотных духов...

– О, таким тебя видели все, от швейцарского тайновидца до цоссенской хозяйки, о, таким ты останешься, пребудешь, легкий дух, одинокий друг!

Прелесть – вот тебе слово: прельститель, и, как все говорят, впрочем, с нежнейшей улыбкой – предатель! О, в высоком смысле, как все – здесь, заведет тебя в дебри, занесет за облака и там, одного, внезапно уклонившись, нырнув в соседнюю смежную родную бездну – бросит: задумается, воззрится, забудет тебя, которого только что, с мольбой и надеждой (Мы никогда не расстанемся? Мы никогда не расстанемся?) звал своим лучшим другом.

Не верь, не верь поэту, дева,
Его своим ты не зови...

О, не только «дева», – дева – что! а лучший друг, потому, что у поэта над самым лучшим другом – друг еще лучший, еще ближайший, которому он не изменит никогда и ради которого изменит всем, которому он предан – не в переводном смысле верности, а в первичном страшном страдательном преданности: кем-нибудь, кому-нибудь в руки: предан – как продан, предан – как пригвожден.

– Бисер перед свиньями... – шепчет милая человеческая поэтесса Ада Чумаченко, тамошняя служащая, – я и то расстраиваюсь, когда он передо мной начинает... Стыдно...Точно – разбрасывает, а я подбираю...

– А эти не расстраиваются.

– Потому что не понимают, кто – он.

– И кто – они.

Но кроме Ады Чумаченки, да меня, случайной редкой гостью, не смевшей и близко подойти, да такого же редкого и робкого гостя Бориса Пастернака – никто Белого не жалел, о нем не болел, все его использовали, лениво, вяло, как сытые кошки сливки – подлизывали, полизывали, иные даже полеживая на лужку, беловский жемчуг прикарманивая – лежа.

«Что это?» – «Да опять Белый из себя выходит».

Не входя в вас. Ибо когда наше входит, доходит, растраты нет, пустоты нет – есть разгрузка и пополнение, обмен, общение, взаимопроникновение, гармония.

А так...

Бедный, бедный, бедный Белый, из «Дворцов искусств» шедший домой, в грязную нору, с дубящим топором справа, визжащей пилой слева, сапожищами над головой и грязищей под ногами, в то ужасное одиночество совместности, столь обратное благословенному уединению.

В 1921 году, вскоре после смерти Блока, в мою последнюю советскую зиму я подружилась с последними друзьями Блока, Коганами, им и ею. Коган недавно умер, и если я раньше не сказала всего того доброго, что о нем знаю и к нему чувствую, то только потому, что не пришлось.

П. С. Коган ни поэтов, ни стихов не понимал, но любил и читал и делал для тех и других, что мог: и тех, и других – устраивал. И между пониманием, пальцем не шевелящим, и непониманием, руками и ногами помогающим (да, и ногами, ибо в те годы, чтобы устроить человека – ходили!), каждый поэт и вся поэзия, конечно, выберет непонимание.

Восхищаться стихами – и не помочь поэту! Пить воду и давать источнику засоряться

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru грязью, не вызволить его из земной тины, смотреть руки сложа и даже любясь его «поэтичной» зеленью. Слушать Белого и не пойти ему вслед, не затопить ему печь, не вымести ему сор, не отблагодарить его за то, что он – есть. Если я не шла вслед, то только потому же, почему и близко подойти не смела: по устоявшемуся благоговению моих четырнадцати лет. Помочь ведь тоже – посметь. И еще потому, что как-то с рождения решила (и тем, может быть, в своей жизни и предрешила), что все места возле несчастного величия, все бертрановские посты преданности уже заняты. От священной робости – помехи.

– А еще писатель, большой человек, скандал!.. – вяло, без малейшей интонации негодования надрывается Петр Семенович Коган, ероша и волосы, и усы (одни у него ввысь, другие вниз).

– Кто? Что?

– Да Белый. Настоящий скандал. Думали – доклад о Блоке, литературные воспоминания, оценка. И вдруг: «С голоду! С голоду! С голоду! Голодная подагра, как бывает – сытая! Душевная астма!»

– Вы же сами посылали Блоку мороженую картошку из Москвы в Петербург.

– Но я об этом не кричу. Не время. Но это еще не все. И вдруг – с Блока – не себя. «У меня нет комнаты! Я – писатель русской земли (так и сказал!), а у меня нет камня, где бы я мог преклонить свою голову, то есть именно камень, камень – есть, но – позвольте – мы не в каменной Гилilee, мы в революционной Москве, где писателю должно быть оказано содействие. Я написал «Петербург»! Я провидел крушение царской России, я видел во сне конец царя, в 1905 еще году видел, – слева пила, справа топор...»

Я:

– Такой сон?

Коган, с гримасой:

– Да нет же! Это уже не сон, это у него рядом: один пилит, другой рубит. «Я не могу писать! Это позор! Я должен стоять в очереди за воблой! Я писать хочу! Но я и есть хочу! Я – не дух! Вам я не дух! Я хочу есть на чистой тарелке, селедку на мелкой тарелке, и чтобы не я ее мыл. Я заслужил! Я с детства работал! Я вижу здесь же в зале лентяев, дармоедов (так и сказал!), у которых по две, по три комнаты – под различными предлогами, да: по комнате на предлог – да, и они ничего не пишут, только подписывают. Спекулянтов! Паразитов! А я – пролетариат: Лоштрепролетариат!! Потому что на мне лохмотья. Потому что уморили Блока и меня хотя! Я не дамся! Я буду кричать, пока меня услышат: «А-а-а-а!» Бледный, красный, пот градом, и такие страшные глаза, еще страшнее, чем всегда, видно, что ничего не видят. А еще – интеллигент, культурный человек, серьезный писатель. Вот так почтил память вставанием...

– А по-вашему – все это неправда?

– Правда, конечно. Должна быть у него комната, во-первых – потому что у всех должна быть, во-вторых – потому что он писатель, и нам писатель не враждебный. И, вообще, мы всячески... Но нельзя же – так. Вслух. Криком. При всех. Точно на эшафоте перед казнью. И если Блок действительно умер от последствий недоедания, то – кто же его ближе знал, чем я? – только потому, что был настоящий великий человек, скромный, о себе не только не кричал, но погнали его разгружать баржу – пошел, себя не назвал. Это – действительно величие.

– Но так ведь может не остаться писателей...

– И это – верно. Писатели нужны. И не только общественные. Вы, может быть, удивитесь, что это слышите от старого убежденного марксиста, но я, например, сам люблю поваляться на диване и почитать Бальмонта – потребность в красоте есть и у нас, и она, с улучшением экономического положения, все будет расти – и потребность, и красота... Писатели нужны, и мы для них все готовы сделать – дали же вам паек и берем же вашу «Царь-Девуцу» – но при условии – как бы сказать? – сдержанности. Как же теперь, после происшедшего, дать ему комнату? Ведь выйдет, что мы его... испугались?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Дадите? – Дадим, конечно. Свою бы отдал, чтобы только не произошло – то, что произошло. За него неприятно: подумают – эгоист. А я ведь знаю, что это не эгоизм, что он из-за Блока себе комнаты требует, во имя Блока, Блоку – комнату, Блока любя – и нас любя (потому что он нас все-таки как-то чем-то любит – как и вы) – чтобы опять чего-нибудь не произошло, за что бы нам пришлось отвечать. Но, позвольте, не можем же мы допустить, чтобы писатели на нас... кричали? Это уж (с добрым вопросительным выражением близоруких глаз)... слишком?

Жилье Белому устроил мгновенно, и не страха людского ради, а страха Божия, из уважения к человеку, а также и потому, что вдруг как-то особенно ясно понял, что писателю комната – нужна. Хороший был человек, сердечный человек. Все мог понять и принять – всякое сумасбродство поэта и всякое темнейшее место поэмы, – только ему нужно было хорошо объяснить. Но шуток он не понимал. Когда на одной его вечеринке – праздновали его свежее университетское ректорство – жена одного писателя, с размаху хлопнув его не то по плечу, не то по животу (хлопала кого попало, куда попало – и всегда попадало) – «Да ну их всех, П. С., пускай их домой едут, если спать хотят. А мы с вами здесь – а? – вдвоем – такое разделаем – наедине-то! А?» – он, не поняв шуток: «С удовольствием, но я, собственно, нынче ночью должен еще работать, статью кончать...» На что она: «А уж испугался! Эх ты, Иосиф Прекрасный, хотя ты и Петр, Семенов сын. А все-таки – а, Маринушка? – хороший он, наш Петр Семенович-то? Красавец бы мужчина, если бы не очки, а? И тебе нравится? Впрочем, все они хорошие. Плохих – нет...»

С чем он, ввиду гуманности вывода, а главное поняв, что – пронесло, почтительно и радостно согласился.

Ныне, двенадцать лет спустя, не могу без благодарности вспомнить этого очкастого и усатого ангела-хранителя писателей, ходатая по их земным делам. Когда буду когда-нибудь рассказывать о Блоке, вспомню его еще.

Это был мой последний московский заочный Белый, изустный Белый, как ни упрощаемый – всегда узнаваемый. Белый легенды, длившейся 1908–1922 год – четырнадцать лет.

Теперь – наша встреча.

II. Встреча
(Geister auf dem Gange)

Drinne gefangen ist Einer![63]

Берлин. «Pragerdiele» на Pragerplatz'e. Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то, и другое скоро падет в цене.) Сажусь частью круга, окружающего.

И вдруг через все – через всех – протянутые руки – кудри – сияние:

– Вы? Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.) Здесь? Как я счастлив? Давно приехали? Навсегда приехали? А за вами, по дороге, не следили? Не было такого... (скашивает глаза)... брюнета? Продвижения за вами брюнета по вагонному ущелью, по вокзальным сталактитовым пространствам... Пристукиванья тросточкой... не было? Заглядывания в купе: «Виноват, ошибся!» И через час опять «виноват», а на третий раз уж вы – ему: «Виноваты: ошиблись!» Нет? Не было? Вы... хорошо помните, что не было?

– Я очень близорука?

– А он в очках. Да-с. В том-то и суть, что вы, которая не видит, без очков, а он, который видит, – в очках. Угадываете?

– Значит, он тоже ничего не видит.

– Видит. Ибо стекла не для видения, а для видоизменения... видимости. Простые. Или даже – пустые. Вы понимаете этот ужас: пустые стекла, нечаянно ткнешь пальцем – и теплый глаз, как только что очищенное, облупленное подрагивающее крутое яйцо. И такими глазами – вкрутую сваренными – он осмеливается глядеть в ваши: ясные,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru светлые, с живым зрачком. Удивительной чистоты цвет. Где я такие видел? Когда?

...Почему мы с вами так мало встречались в Москве, так мимолетно? Я все детство о вас слышал, все ваше детство, конечно, – но вы были невидимы. Все ваше детство я слышал о вас. У нас с вами был общий друг: Эллис, он мне всегда рассказывал о вас и о вашей сестре – Асе: Марине и Асе. Но в последнюю минуту, когда нужно было вдвоем идти к вам, он – уклонялся.

– А мы с Асей так мечтали когда-нибудь вас увидеть! И как мы были счастливы тогда, в «Доне», когда случайно...

– Вы? Вы? Это были – вы! Неужели та – вы? Но где же тот румянец?! Я тогда так залюбовался! Восхитился! Самая румяная и серьезная девочка на свете. Я тогда всем рассказывал: «Я сегодня видел самую румяную и серьезную девочку на свете!»

– Еще бы! Мороз, владимирская кровь – и вы!

– А вы... владимирская? (Интонация: из Рюриковичей?) Из тех лесов дремучи-их?

– Мало, из тех лесов! А еще из города Тарусы Калужской губернии, где на каждой могиле серебряный голубь. Хлыстовское гнездо – Таруса.

– Таруса? Родная! («Таруса» он произнес как бы «Маруся», а «родную» нам с Тарусой пришлось поделить.) Ведь с Тарусы и начался Серебряный Голубь. С рассказов Сережи Соловьева – про те могилы...

(Наш стол уже давно опустел, растолкнутый явным лиризмом встречи: скукой ее чистоты. Теперь, при двукратном упоминании могил, уходит и последний.)

– Так вы – родная? Я всегда знал, что вы родная. Вы – дочь профессора Цветаева. А я – сын профессора Бугаева. Вы – дочь профессора, и я сын профессора. Вы – дочь, я – сын.

Сраженная неопровержимостью, молчу.

– Мы – профессорские дети. Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo. (Углубляющая пауза.) Вы не можете понять, как вы меня обрадовали. Я ведь всю жизнь, не знаю почему, один был профессорский сын, и это на мне было, как клеймо, – о, я ничего не хочу дурного сказать о профессорах, я иногда думаю, что я сам профессор, самый настоящий профессор – но, все-таки одиноко? schicksalschwer?[64] Если уж непременно нужно быть чьим-то сыном, я бы предпочел, как Андерсен, быть сыном гробовщика. Или наборщика... Честное слово. Чистота и уют ремесла. Вы этого не ощущаете клеймом? Нет, конечно, вы же – дочь. Вы не несете на себе тяжести преемственности. Вы – просто вышли замуж, сразу замуж – да. А сын может только жениться, и это совсем не то, тогда его жена – жена сына профессора Бугаева. (Шепотом:) А бугай, это – бык. (И, уже громко, с обворожительной улыбкой:) Производитель.

Но оставим профессорских детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе:) – и все равно чьи! И наши отцы – умерли. Мы с вами – сироты, и – вы ведь тоже пишете стихи? – сироты и поэты. Вот! И какое счастье, что это за одним столом, что мы можем оба заказать кофе и что нам обоим дадут – тот же самый, из одного кофейника, в две одинаковых чашки. Ведь это роднит? Это уже – связь? (Не удивляйтесь: я очень одинок, и мне грозит страшная, страшная, страшная беда. Я – под ударом.) Вы ведь могли оказаться – в Сибири? А я – в Сербии. Есть еще такое простое счастье.

На другое утро издатель, живший в том же пансионе и у которого ночевал Белый, когда запаздывал в свой загород, передал мне большой песочный конверт с императивным латинским Б (В), надписанный вершковыми буквами, от величины казавшимися нарисованными.

– Белый уехал. Я дал ему на ночь вашу «Разлуку». Он всю ночь читал и страшно взволновался. Просил вам передать.

Читаю:

«Zossen, 16 мая 22 г.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Глубокоуважаемая Марина Ивановна.

Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед[65] совершенно крылатой мелодией Вашей книги «Разлука».

Я весь вечер читаю – почти вслух; и – почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения.

А в отношении к мелодике стиха, столь нежной после расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, ваша книга первая (это – безусловно).

Пишу – и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление? Не приснилась ли мне Мелодия?

И – нет, нет; я с большой скукой разворачиваю все новые книги стихов. Со скукой развернул и сегодня «Разлуку». И вот – весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверения в совершенном уважении и преданности.

Борис Бугаев»

Письмо это написано такой величины буквами, что каждый из тех немногих, которым я после беловской смерти его показывала: «Так не пишут. Это письмо сумасшедшего». Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах, величиной букв занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредметности, во-вторых же, внешней жесткостью выявить жесткость внутреннюю. Так ребенок, например, в обычном тексте письма, вдруг, до сустава обмакнув и от плеча нажав: «Мама, я очень вырос!» Или: «Мама, я страшно тебя люблю». Так-то, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные.

Я сразу ответила – про мелодию. Помню образ реки, несущей на хребте – всё. Именно на хребте, мощном и гибком хребте реки: рыбы, русалки. Реку, данную в образе пловца, расталкивающего плечами берега, плечами пролагающего себе русло, движением создающего течение. Мелодию – в образе этой реки. Он ответил – письма этого у меня здесь нет, мне – письмом, себе самому статьей (в «Днях», кажется) о моей «Разлуке». Помню, что трех четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмического исследования, всех его доказательств. Вечером опять встретились.

– Вы прочли? Не очень неграмотно?

– Так грамотно, что я не поняла.

– Значит, плохо.

– Значит, я – неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мне пытались объяснить, что я делаю. Просто, сразу теряю связь, как в геометрии. «Понимаете?» – «Понимаю», – и только один страх, как бы не начали проверять. Если бы для писания пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто от страху.

– Значит, вы – чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается – мне? За что? Вы знаете, что ваша книга изумительна, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня: голос, самый чистый из всех, которые я когда-либо слышал. Голос самой тоски: Sehnsucht. (Я должен, я должен, я должен написать об этом исследование!) Ведь – никакого искусства, и рифмы в конце концов бедные... Руки – разлуки – кто не рифмовал? Ведь каждый... ублюдок лучше срифмует... Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор вас не знать? Ибо я должен вам признаться, что я до сих пор, до той ночи, не читал ни одной вашей строки. Скучно – читать. Ведь веры нет в стихи. Изолгались стихи. Стихи изолгались или поэты? Когда стали их писать без нужды, они сказали нет. Когда стали их писать, составляя, они уклонились.

Я никогда не читаю стихов. И никогда их уже не пишу. Раз в три года – разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насыщенной потребностью, человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда – поэт. А вы, вы – птица! Вы поете! Вы во мне каждой строкой поете, я пою вас дальше, вы во мне поете дальше, я вас остановить в себе не могу. С этого уже

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru два дня прошло... Думал – разделаюсь письмом, статьей – нет! И боюсь (хотя не надо этого бояться), что теперь скоро сам...

Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умеющий, сам без всякой моей просьбы устроил две моих рукописи: «Царь-Девицу» в «Эпоху» и «Версты» в «Огоньки», подробно оговорив все мои права и преимущества. Для себя не умеющий – для другого смог. С смущенной и все же удовлетворенной улыбкой (а глаза у него все-таки были самые неверные, в которые я когда-либо глядела, гляделась):

– Вы меня простите, это вас ни к чему не обязывает, но я подумал, это, может быть, так – проще, что другому, со стороны – легче... Не примите это за вмешательство в вашу личную жизнь...

Такого другого, с той стороны, с которой – легче, всей той стороны, с которой легче – у Белого в жизни не оказалось.

Так мы опять просидели дотемна. Так он опять пропустил свой последний поезд, и на этот раз с утра в дверную щель (влезал всегда, как зверь, головой, причем глядел не на вас, а вкось, точно чего-то на стене или на полу ища или опасаясь), итак, в дверную щель его робкое сияющее лицо в рассеянии серебрищихся волос. (И, вдруг, озарение: да ведь он сам был серебряный голубь, хлыстовский, грозный, но все же робкий, но все же голубь, серебряный голубь. А ко мне приручился потому, что я его не пугала – и не боялась.)

– Встали? Кофе пили? Можно еще раз вместе? Хорошо? – И захватывая в один круговой взгляд: балконную синь, лужу солнца на полу, собственный букет на столе, серый с ремнями чемодан, меня в синем платье:

– Хорошо? (Все).

В одну из таких ночевок, на этот раз решенную заранее (зачем уезжать, когда с утра опять приезжать? и зачем бояться пропустить последний поезд, на котором все равно не поедешь?), бедный Белый сильно пострадал от моей восьмилетней дочери и пятилетнего сына издателя, объединившихся. Гадкие дети догадались, что с Белым можно то, чего нельзя ни с кем, потому что сам он с ними таков, как никто, потихоньку, никому не сказав, положили ему в постель всех своих резиновых зверей, наполненных водой. Утром к столу Белый с видом настоящего Победоносца. У детей лица вытягиваются. И Белый, радостно:

– Нашел! Нашел! Обнаружил, ложась, и выбросил – полными. Я на них не лег, я только чего-то толстого и холодного... коснулся... Какого-то... живота. (Шепотом:) Это был живот свиньи.

Сын издателя:

– Моя свинья.

– Ваша? И вы ее... любите? Вы в нее... играете? Вы ее... берете в руки? (Уже осуждающе:) – Вы можете взять ее в руки: холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, раздутую? Это называется... играть? Что же вы с ней делаете, когда вы в нее игра-ете?

Ошеломленный «Вы», выкатив чудные карие глаза, явно и спешно глотает. Белый, оторвав от него невидящие (свинным видением заполненные) глаза и скосив их в пол, как Георгий на дракона, со страхом и угрозой:

– Я... не люблю свинью... Я – боюсь свинью!..

Этим ю как перстом или даже копьем упираясь в свинорыльный пятак.

Перерыв, который лучше всего бы заполнить графически – тире; уезжал, писал, тосковал, – не знаю. Просто пропал на неделю или десять дней. И вдруг возник, днем в кафе «Pragerdiele». Я сидела с одним писателем и двумя издателями, столик был крохотный и весь загроможденный посудой и локтями, и еще рукописями, и еще рукопожатиями непрерывно подходящих и здоровающихся. И вдруг – две руки. Через

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru головы и чашки и локти две руки, хватающие мои.

– Вы! Я по вас соскучился! Стосковался! Я все время чувствовал, что мне чего-то не хватает, главного не хватает, только не мог догадаться, как курильщик, который забыл, что можно курить, и, не зная чего, все время ищет: перемещает предметы, заглядывает под вешалку, под бювар...

Кто-то ставит стул, расчищает стол.

– Нет, нет, я хочу рядом с... ней. Голубушка, родная, я – погибший человек! Вы, конечно, знаете? Все – уже знают! И все знают, почему, а я – нет! Но не надо об этом, не спрашивайте, дайте мне просто быть счастливым. Потому что сейчас я – счастлив, потому что от нее – всегда сияние. Господа, вы видите, что от нее идет сияние?

Писатель вытряс трубку, один издатель полупоклонился в мою сторону, а другой, Белого отечески любивший и опекавший, отчетливо сказал:

– Конечно, видим все.

– Сияние и успокоение. Мне с ней сразу спокойно, покойно. Мне даже сейчас, вот, внезапно захотелось спать, я бы мог сейчас заснуть. А ведь это, господа, высшее доверие – спать при человеке. Еще большее, чем раздеться донага. Потому что спящий – сугубо наг: весь обнажен вражде и суду. Потому что спящего – так легко убить! Так – соблазнительно убить! (В себе, в себе, в себе убить, в себе уничтожить, развенчать, изобличать, поймать с поличным, заклеить, закатать в Сибирь!)

Кто-то:

– Борис Николаевич, вам, может быть, кофе?

– Да. Потому что на лбу у спящего, как тени облаков, проходят самые тайные мысли. Глядящий на спящего читает тайну. Потому так страшно спать при человеке. Я совсем не могу спать при другом. Иногда, в России (оборот головы на Россию), я этим страшно мучился, среди ночи вставал и уходил. Заснешь, а тот проснется – и взглянет. Слишком пристально посмотрит – и сглазит. Даже не от зла, просто – от глаз. Я больше всего боялся, когда ехал из России, что очнусь – под взглядом. Я просто боялся спать, старался не спать, стоял в коридоре и глядел на звезды... (К одному из издателей:) Вы говорите во сне? Я – кричу.

...А при ней – могу... Она на меня наводит сон. Я буду спать, спать, спать. Ну дайте вашу руку, ну, дайте мне руку и не берите обратно, совершенно все равно, что они все здесь...

Смущенная, все ж руку даю, обратно не беру, улыбкой на шутку не свожу, на окружающие улыбки – не иду. И он, должно быть, по напряженности моей руки, внезапно понял:

– Прости! Я, может быть, не так себя вел. Я ведь отлично знаю, что нельзя среди бела дня, в кафе, говорить вещи – раз навсегда! Но я – всегда в кафе! Я – обречен на кафе! Я, как беспризорный пес, шляюсь по чужим местам. У меня нет дома, своего места. (Будка есть, но я не пес!) Я всегда должен пить кофе... или пиво... эту гадость!.. весь день что-то пить, маленькими порциями, и потом звенеть ложкой о кружку или чашку и вынимать бумажку... Не может человек весь день пить! Вот опять кофе... Я должен его выпить, а я не хочу: я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать, с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет. Родная! Голубушка! Уйдем отсюда, пусть они сами пьют...

Не забыв заплатить за кофе (таких вещей не забывал никогда), выводит меня, почти бегом, но никогда и ничего не задев, за руку между столиками.

– Теперь куда? Хотите – просто к вам? Но у вас дочь, обязанности... А нельзя же, чтобы маленькая девочка сейчас знала, как поступить через двадцать лет, когда человек отдаст ей всю свою жизнь, а она на нее наступит... хуже! Перешагнет – как через лужу.

...Как чист Берлин! Я иногда устаю от его чистоты... Хотите просто ходить? Но ходить

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru это ведь (лукаво) заходить: и опять пить, а я от этого бегу...

– Можно просто на скамейку.

– А вы знаете такую скамейку? Без глаз? Потому что, если даже шутцман – как это у них издевательски: муж защиты! – если даже такой муж защиты, так мало похожий на человека, так сильно похожий на столб – вдруг, вперит, нет, вопрёт, свое око, не обернув головы: только око, оловянное око – как, знаете, были в детстве такие приманки в кофейных витринах, на Неглинной: неподвижная рожа, с вращающимися глазами. Точно прозревший голландский сыр... Я в детстве так боялся. Мамочка думала развлечь, а я из деликатности делал вид – устарелое слово «деликатность» – из деликатности, говорю, делал вид, что страшно весело, а сам дрожал, дрожал... Рожа не двигается, а глаза вот так, вот так, ни разу – эдак. Как я тогда молча молил: «Сломайся!»

Значит, вы знаете такую скамейку? Как на Никитском бульваре, подойдет собака, погладишь, опять уйдет... Желтая, с желтыми глазами... Здесь нет такой собаки, я уже смотрел, здесь все – чьи-нибудь, всё чье-нибудь, здесь только люди – ничьи, а может быть, я один – ничей? Потому что самое главное быть чьим, о, чьим бы ни было! Мне совершенно все равно – вам тоже? – чей я, лишь бы тот знал, что я – его, лишь бы меня не «забыл», как я в кафе забываю палку. Я тогда бы и кафе любил. Вот Икс, Игрек, все, что с нами сидят, ведь у них, кроме нас, есть еще что-то – неважно, что у них есть (и неважно, что у них – есть), но каждый из них чей-то, принадлежность. Они могут идти в кафе, потому что могут из него уйти не в кафе... В кафе – всё вам это уже рассказали, а теперь я скажу – три дня назад кончилась моя жизнь.

– Но вы где-то все-таки...

– По-ка-жу. Сами увидите, что это за «где-то» и какое это «все-таки». Именно – все-таки. Вы гениально сказали: все-таки. О, я бы вас сейчас с собой повез, нно... это ужасно далёко: сначала на трамвае, потом по железной дороге, и гораздо дольше и дальше, это уже за краем всех... возможностей. Это – без адреса... Удивительно, что туда доходят письма, ваши письма, потому что другие – вполне естественно, нельзя более естественно. По существу, туда бы должны доходить только одни счета – за шляпу в английском магазине «Жак» двадцать лет назад или за мою будущую могилу на Ваганькове...

А знаете? Мы туда возьмем дочь, вы приедете с ней, мы будем втроем, ребенок – это всегда имманентность мгновению, это разгоняет всякие видения...

– А теперь я поеду, нет, нет, не провожайте, я вас уже измучил, я вам бесконечно благодарен... Видите? Наш трамвай!

Привычным движением – сына, отродясь подсаживавшего мать в карету – подсаживает. Вскатывает следом. Стоим на летящей площадке, плечо к плечу. Беря мою руку:

– Я больше всего на свете хотел бы сейчас положить вам голову на плечо... И спать стоя. Лошади стоя ведь спят.

Перед зданием вокзала, опустив наконец руку (держал ее все время у сердца, вжимал в него):

– Нет. Сегодня – нет. Я ведь знаю, сколько я беру сил. Берегите на когда совсем захохочу. Сейчас я – счастлив, совсем успокоен. Приеду домой и буду писать вам письмо.

– Как Белый сегодня к вам кинулся! Ведь – на глазах загорелся! Это был настоящий *coup de foudre!*[66] – сказал мне за ужином издатель.

– Человек, громом пораженный, может упасть и на человека, – был мой ответ.

Coup de Foudre? Нет. Не так они происходят. Это было общение с моим покоем, основным здоровьем, всей моей неизбывной жизненностью. Больше – ничего. Но такая малость в такие минуты – много. Всё.

А минута была тяжелая. Полный перелом хребта.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Держа в руках подробнейший трогательнейший рукописный и рисованный маршрут – в мужчинах того поколения всегда было что-то отеческое, старинный страх, что заблудимся, испугаемся, где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать, – маршрут мало в стрелках и в крестиках, но с трамваями в виде трамваев, с нарисованным вокзалом и, уж конечно, собственным, как дети рисуют, домиком: вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, а вот я стою.

– Я бы с величайшим счастьем сам за вами заехал и довез бы, но – вы не сердитесь, я знаю, что это бессовестнейший готтентотский эгоизм – мне так хочется завидеть вас издали, синей точкой на белом шоссе – так хорошо, что вы носите синее, какая в этом благодать! – сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей... Знаете, синяя тень, напоенная небесной лазурью...

– Золото в лазури! – по ассоциации говорю я. Он, хватая мою руку:

– Вы не знаете, что вы сейчас сказали! – Вы – назвали. Я об этом все время думаю – и боюсь. Боюсь – начать. Боюсь – все выйдет по-другому... Для них – «переиздать»... Для них – «стихи». Но теперь, когда вы это слово сказали, я начну... Я со всем усердием примусь, это будет ваша лазурь.

...Выйдя с вокзала – прямо, потом (переводя меня через нарисованный шлях) перейти шоссе (умоляюще:) только раз перейти! Не сердитесь, не сердитесь, родная! Но мне так безумно хочется вас ждать, вас наверное ждать. Завидеть вас издали, в синем платье, ведущей дочь за руку...

Не отрываясь от маршрута, тщательность которого больше смущена, чем просвещена: столько нарисовал и написал, так крестиками и стрелками путь к себе заставил, что, кажется, добраться невозможно; уstraшенная силой его ожидания – когда так ждут, всегда что-нибудь случается, ясно сознавая, что дело не во мне, а в моей синеве – сначала еду, потом еще еду, а затем, наконец, иду, держа дочь за руку, по тому белому шоссе, на котором должна возникнуть синей тенью.

Пустынно. Неуют новорожденного поселка. Новосотворенного, а не рожденного. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили – стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно-нежилые. Постройки, а не дома. Сюда можно приезжать и отсюда можно – нужно! – уезжать, жить здесь нельзя. И странное население. Странное, во-первых, чернотой; в такую жару – все в черном. (Впрочем, эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся на моей станции.) В черном суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицыми господами в цилиндрах и такими же краснолицыми дамами, очень толстыми, с букетами – и, кажется, венками? – на толстых животах. Цветы – лиловые.

Наконец – дом, все тот же первый увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а не дом. Между насестом и будкой. С крыльцом. А на крыльце, с крыльца:

– Вы? Вы? Родная! Родная!

Ведет вверх по новейшей и отзывчивейшей лесенке, явно для пожара – уж и спички готовы: перила! – вводит в совершенно голую комнату с белым некрашеным столом посредине, усаживает:

– Как вам здесь нравится? Мне... не нравится. Не знаю почему, но не нравится... Не понравилось сразу, как вошел... Уже когда ехал – не понравилось... Говорили, у Берлина чудные окрестности... Я ждал... вроде Звенигорода... А здесь... как-то... голо? Вы заметили деревья? (Не заметили никаких, ибо нельзя же счесть деревьями тончайшие прутья, обнесенные толстенными решетками.) Без тени! Это человек был без тени – в каком-то немецком предании, но это был – человек, деревья – обязаны отбрасывать тень! И птицы не поют – понятно: в таких деревьях! У меня в Москве по утрам – всегда пели, даже в двадцатом году – пели, даже в больнице – пели, даже в тифу – пели...

И население противное. Подозрительно-тихое. Ступают, точно на войлочных

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru подошвах. Вы не заметили? И – может быть, это под Берлином мода такая? – все в черном, ни одного даже коричневого и серого, все черное, даже женщины – в черном.

(Я, мысленно: «А, милый, вот откуда твоя страсть к моей синеве!»)

– А мебель – белая, и пахнет свежим тесом. В этом что-то (отрясаясь).. зловещее? Может быть, это какой-нибудь особенный поселок?

Я, быстро отводя:

– Нет, нет, после войны – везде так.

Он, явно облегченно:

– Ах! Значит – вдовы и вдовцы! Отдельный поселок для вдов и вдовцов... Как это по-немецки... по-прусски... И как по-немецки, что они не догадываются пережениться и одеться во что-нибудь другое... Теперь я понимаю и венки, это обилие венков и букетов – совершенно необъяснимое при отсутствии цветов – потому что цветов, вы заметили, нет, потому что – садов нет, только сухие дворы. Здесь, наверное, где-нибудь близко кладбище? Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбище, теперь я понимаю однородность построек... Но вот что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, я нигде не видал таких красных лиц... Впрочем, понятно: постоянные поминки... Как с кладбища, так поминать – сосисками и пивом, помянули – опять на кладбище! Но так ведь поправиться можно! Ожирение сердца нажить – с тоски!

Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает, – в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, они на могилу ездят целыми фурами, фургонами... Вы таких не встречали? Полные фургоны черных людей... Немецкий корпорационный дух: и слезы вместе, и расходы вместе... Вдовье место, вдовцово место, противное место...

И слово не нравится: Zossen. Острое и какое-то плоское, точно клетка.

Простите, что я вас сюда позвал!

Но мы ведь ничем не связаны? (Наклоняясь к моему уху:) Мы ведь можем уехать? Сначала – посидеть, а потом – уехать? Провести чудный день?

Я только что сам приехал. Вы знаете, ведь я вчера туда – сюда! – не поехал, я тотчас же свернул вам вслед, следующим же трамваем – в «Pragerdiele», но... устыдился... весь вечер ходил по кафе и в одном встретил (называет язвящее его имя). Что вы об этом думаете? Может она его любить?

Я, твердо:

– Нет.

– Не правда ли: нет? Так что же все это значит? Инсценировка? Чтобы сделать больно – мне? Но ведь она же меня не любит, зачем же ей тогда мне делать больно? Но ведь это же прежде всего – делать больно себе. Вы его знаете?

Рассказываю.

– Значит, неплохой человек... Я пробовал читать его стихи, но... ничего не чувствую: слова. Может быть, я – устарел? Я очень усердно читал, всячески пытался что-нибудь вычитать, почувствовать, обрести. Так мне было бы легче.

...Можно любить и совершенно даже естественно полюбить после писателя человека совсем простого, дикаря... Но этот дикарь не должен писать теоретических стихов!

(Взрывом.) О, вы не знаете, как она зла! Вы думаете – он ей нужен, дикарь ей нужен, ей, которой (отлет головы)... тысячелетия... Ей нужно (шепотом) ранить меня в самое сердце, ей нужно было убить прошлое, убить себя – ту, сделать, чтобы той – никогда не было. Это – месть. Месть, которую оценил я один. Потому что для других это просто увлечение. Так... естественно. После сорокалетнего лысеющего нелепого – двадцатилетний черноволосый, с кинжалом и так далее. Ну, влюбилась и

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru забылась: разбила всю жизненную форму. О, если бы это было так! Но вы ее не знаете: она холодна, как нож. Все это – голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненавидит... О, вы не знаете, как она умеет молчать, вот так: сесть – и молчать, стать – и молчать, глядеть – и молчать.

– Месть? Но за что?

– За Сицилию. За «Офейру». «Я вам больше не жена». – Но – прочтите мою книгу! Где же я говорю, что она мне – жена? Она мне – она... Мерцающее видение... Козочка на уступе... Нелли. Что же я такого о ней сказал? Да и книга уже была отпечатана... Где она увидела «интимность», «собственничество», печать (недоуменно) мужа?

Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я тебе настолько не жена, что, вот... жена другого. Точно я без этого не ощутил. Точно я всегда этого не знал. И вот, из сложнейших душевных источников, грубейший факт, которым оскорблены все, кроме меня.

...Мне ее так жаль.

Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки так выросла, так возмужала. Была Психея, стала Валькирия. В ней – сила! Сила, данная ей ее одиночеством. О, если бы она по-человечески, не проездом с группой, с труппой, полчаса в кафе, а дружески, по-человечески, по-глубокому, по-высокому – я бы, обливаясь кровью, первый приветствовал и порадовался...

Вы не знаете, как я ее любил, как ждал! Все эти годы – ужаса, смерти, тьмы – как ждал. Как она на меня сияла...

И его мне жаль. Если он человек с сердцем, он за это жестоко поплатится. Она зальет его презрением... «Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти». А он, должно быть, ее безумно любит!

(«Как у тебя все по-высокому, говорю я внутри рта, вот он уже у тебя и Мавр... И как с мужской, по крайней мере, стороны все несравненно проще, – той простотой, которой тебе не дано понять. А «безумная любовь» – сидит в «Pragerdiele», угрюмый, как сыч, и, заглатывая зевоту: «Ну и скучища же с ней! Молчит, не разговаривает, никогда не улыбнется. Точно сова какая-то...» Но этого ты не узнаешь никогда».)

– Простите, я вас измучил! Такое солнце, а я вас измучил! Только приехали, а я вас уже измучил. Не надо больше о ней. Ведь – кончено. Ведь я – стихи пишу. Ведь я после вашей «Разлуки» опять стихи пишу. Я думаю – я не поэт. Я могу – годами не писать стихов. Значит, не поэт. А тут, после вашей «Разлуки» – хлынуло. Остановить не могу. Я пишу вас – дальше. Это будет целая книга: «После Разлуки», – после разлуки – с нею, и «Разлуки» – вашей. Я мысленно посвящаю ее вам и если не проставляю посвящения, то только потому, что она ваша, из вас, я не могу дарить вам вашего, это было бы – нескромно.

Можно вам прочесть? Когда устанете, остановите, я сам не остановлюсь, я никогда не остановлюсь...

И вот над унынием цоссенского ландшафта:

Ты, вставая, сказала, что – нет!
И какие-то призраки мы.
Не осиливает – свет.
Не осиливает – тьмы.
Ты ушла. Между нами года –
Проливаемая – куда
Проливаемая – вода?
Не увижу тебя никогда.
Пробегает листки, как клавиши.

Да, ты выпрненной ложью обводишь
Злой круг вокруг себя.
И ты с искренней дрожью уходишь
Навеки, злой друг, от меня
Без ответа.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И я никогда не увижу тебя
И – себя – ненавижу за это!
– И еще это! – В его руке листки, как стайка белых, готовых сорваться, крыльев.

– Ты – тень теней, тебя не назову,
Твое лицо холодное и злое...
Плыву туда, за дымку дней, зову
За дымку дней, – нет, не тебя: бывшее,
Которое я рву (в который раз!),
Которое в который раз восходит,
Которое в который раз, алмаз,
Алмаз звезды, звезды любви, низводит...
И, точно удивившись внезапно проступившей тишине:

– А какая тихая дочь. Ничего не говорит. (Зажмурившись:) Приятно! Вы знаете, я ведь боюсь детей. (Глядя из всех глаз и этим их безмерно расширяя:) Я бе-зум-но их боюсь. О, с детства! С Пречистенского бульвара. С каждой елки, с каждого дня рождения. (Шепотом, как жалуются на могущественного врага:) Они у меня все ломали, их приход был нашествие... (Вскипая:) Ангелы? Я и сейчас еще слышу треск страницы: ластает такой ангел любимую книгу и перервет вкось – точно рваная рана... И не скажите – нечаянно, редко – нечаянно, всегда – нарочно, все нарочно, на́зло, искоса, исподлобья – скажу или нет. О, они, как звери, не выносят чужого и чуют слабого. Все дело только – не показать страха, не дрогнуть... Больной волк ведь, когда заболит, наступает на больную лапу... Знает, что разорвут. О, как я их боюсь! А вы – не боитесь?

– Своих – нет.

– А у меня своих – нет. И, наверное, уже не будет. Может быть – жаль? Может быть, лучше было бы, если бы – были? Я иногда жалею. Может быть, я как-то... прочнее был бы на земле?..

Аля, давно уже хмуро и многозначительно на меня поглядывавшая:

– Ма-ама!

Я, с самонасильственной простотой:

– Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно.

– Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно.

Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее:

– Ей в одно местечко нужно.

– А-ах! Этого у нас нет. Местечка у нас нет, но место есть, сколько угодно – все место, которое вы видите из окна. На лоне природы, везде, везде, везде! Это называется – Запад (шипя, как змея:) цивилизация.

– Но кто же вас здесь... поселил? (Сказав это, понимаю, что он здесь именно на поселении.)

– Друзья. Не знаю. Уложили. Привезли. Очевидно – так нужно. Очевидно, это кому-то нужно. – И, уже как узаконенный припев: – Девочке нужно, нужно, нужно.

– Аля, как тебе не стыдно! Прямо перед окном!

– Во-первых, вы слишком долго с ним разговаривали, во-вторых, он все равно ничего не видит.

– Как не видит? Ты думаешь, он слепой?

– Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но настоящий сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?

Чтобы кончить о «девочке, которой нужно» и Белом. Несколько дней спустя приехал

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru из Праги ее отец и ужаснулся ее страсти к пиву.

– Бездонная бочка какая-то! В восемь лет! Нет, этому нужно положить конец. Сегодня я ей дам столько пива, сколько она захочет – чтобы навсегда отучить.

И вот, после которой-то кружки, Аля, внезапно:

– А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну говорить такие глупости, как Андрей Белый.

– Конечно, Пушкин писал своего «Годунова» в бане, – говорит Белый, обозревая со мной из окна свои цоссенские просторы. – Но разве это сравнимо с баней? О, я бы дорого дал за баню! (Шепотом, стыдливо улыбаясь:) Я же ведь здесь совершенно перестал мыться. Воды нет, таза нет – разве это таз? Ведь сюда – только нос! Так и не моюсь, пока не попаду в Берлин, оттого я так часто и езжу в Берлин и в конце концов ничего не пишу. (Уже угрожающе:) Чтобы вымыть лицо, мне нужно ехать в Берлин!

А теперь... (дверь без стука, но с треском открывается, впуская сначала поднос, потом женский клетчатый живот) – чем богаты, тем и рады! Не осудите: я обречен на полное отсутствие кулинарной фантазии моей хозяйки.

Суп безмолвно и отрывисто рóзлит по тарелкам. После хозяйкиного ухода Белый, упавшим голосом:

– Haferbrühe...[67] овсянка... Я так и знал...

Сидим, браво хлебаем не то суп, не то кашу, для гущи – жидкое, для жидкости – густое...

– Haferbrühe, Haferbrühe, Haferbrü, – бормочет Белый. – Brühe... Brüten... точно она этот овес высушивает, в жару собственного тела его размаривает, собой его морит... Milchsuppe – Haferbrühe, Haferbrühe – Milchsuppe...[68]

И дохлебав последнюю ложку, просияв, как больной, у которого вырвали зуб:

– А теперь едемте обедать!

Берлин. Ресторан «Медведь»: «zum Bären».

– Никаких супов, да? Супы мы уже ели! Мы будем есть мясо, мясо, мясо! Два мясных блюда! Три? (С любопытством и даже любознательностью:) А дочь может съесть три мясных блюда?

– Пива, – флегматический ответ.

– Как она у вас хорошо говорит – лаконически. Конечно, пива. А мы – вина. А дочь не пьет вина?

Первое из трех мясных блюд. (Потом Аля, мне: «Мама, он ел совершенно как волк. С улыбкой и кося... Он точно напал на мясо...»)

По окончании второго и в нетерпении третьего Белый, мне:

– Не примите меня за волка! Я три дня на овсе. Один – я не смею: некрасиво как-то и предательство по отношению к хозяйке. Она ведь то же ест и в Берлин не ездит... Но сегодня я себе разрешил, потому что вы-то с моей хозяйкой никакими узами совместной беды не связаны. За что же вы будете терпеть? Да еще с дочерью. А я уж к вам – присоединился.

И, по явной ассоциации с волком:

– А теперь – едем в Zoo[69].

В Zoo, перед клеткой огромного льва, львам – льва, Аля:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Мама, смотрите! Совершенный Лев Толстой! Такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые маленькие злые глаза – точно все врут.

– Не скажите! – учтиво и агрессивно сорокалетний – восьмилетней. – Лев Толстой, это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак и проделал над собой вивисекцию.

Поглощенная спутником, кроме льва, из всего Zoo на этот раз помню только бегемота, и то из-за следующего беловского примечания:

– В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов. За это иные любители деньги платят! Я не расслышал, что говорит зритель, и пошел за ним, потому что он шел. Это был такой ужас! Я чуть в обморок не упал...

Помню еще, что с тигром он поздоровался по-тигрячьи: как-то «иау», между лаем и мяуканьем, сопровождаемым изворотом всего тела, с которого, как водопад, хлынул плащ. (Ходил он в пелерине, которая в просторечье зовется размахайкой, а на нем выглядела крылаткой. Оттого, может быть, я так остро помню его руки, совсем свободные и бедные, точно голые без верхних рукавов, вероломным покромом якобы освобожденные, на самом же деле – связанные. Оттого он так и метался, что пелерина за ним повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и разбушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным хором. Из Kaufhaus des Westens[70] или еще старинная московская – не знаю. Серая.)

Простоявши поклеточно весь сад:

– Я очень люблю зверей. Но вы не находите, что их здесь... слишком много? Почему я на них должен смотреть, а они на меня – нет? Отворачиваются!

Сидим на каком-то бревне, невозможном бы в Германской империи, – совсем пресненском! – друг с другом и без зверей, и вдруг, как в прорвавшуюся плотину – повесть о молодом Блоке, его молодой жене и о молодом нем-самом. Лихорадочная повесть, сложнейшая бесфабульная повесть сердца, восстановить которую совершенно не могу и оставшаяся в моих ушах и жилах каким-то малярным хинным звоном, с обрывочными видениями какой-то ржи – каких-то кос – чьего-то шелкового пояса – ранний Блок у него вставал добрым молодцем из некрасовской «Коробушки», иконописным ящиком с лукутинской табакерки, – чем-то сплошь-цветным, совсем без белого, и – сцена меняется – Петербург, метель, синий плащ... вступление в игру юного гения, демона, союз трех, смущенный союз двух, неосуществившийся союз новых двух – отъезды – приезды – точное чувство, что отъездов в этой встрече было больше, чем приездов, может быть, оттого, что приезды были короткие, а отъезды – такие длинные, начинавшиеся с самой секунды приезда и все оттягиваемые, откладываемые до мгновения внезапного бегства... Узел стягивается, все в петле, не развязать, не разрубить. И последнее, отчетливо мною помнимое слово:

– Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней ничего от прежней не осталось. Ничего. Пустота.

Тут же я впервые узнала о сыне Любви Дмитриевны, ее собственном, не блоковском, не беловском – Митьке, о котором так пекся Блок: «Как мы Митьку будем воспитывать?» – и которого так сердечно оплакивал в стихах, кончающихся обращением к Богу:

Нет, над младенцем, над блаженным
Стоять я буду без тебя!

Строки, которых я никогда не читаю без однозвучащих во мне строк пушкинской эпитафии первенцу Марии Раевской:

С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Помню еще одно: что слово «любовь» в этой сложнейшей любовной повести не было названо ни разу, – только подразумевалось, каждый раз благополучно миновалось, в последнюю секунду заменялось – ближайшим и отдаляющим, так что я несколько раз в течение рассказа ловила себя на мысли: «Что ж это было?» – именно на мысли, ибо чувством знала: то. Убедена, что так же обходилось, миновалось, заменялось, не называлось оно героями и в жизни. Такова была эпоха. Таковы были тогда души.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Лучшие из душ. Символизм меньше всего литературное течение.

И – еще одно. Если нынешние не говорят «люблю», то от страха, во-первых – себя связать, во-вторых – передать: снизить себе цену. Из чистейшего себялюбия. Те – мы – не говорили «люблю» из мистического страха, назвав, убить любовь, и еще от глубокой уверенности, что есть нечто высшее любви, от страха это высшее – снизить, сказав «люблю» – недодать.

Оттого нас так мало и любили.

Тогда же, в Zoo, я узнала, что «Синий плащ», всей Россией до тоски любимый...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла,
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла... –
синий плащ Любви Димитриевны. «О, он всю жизнь о ней заботился, как о больной, ее комната всегда была готова, она всегда могла вернуться... отдохнуть... но то было разбито, жизни шли врозь и никогда больше не сошлись».

Zoo закончилось очередным Алиным пивом в длинном сквозном бревенчатом строении, тоже похожем на клетку. Никогда не забуду Белого, загоревшего за этот день до какого-то чайного, самоварного цвета, от которого еще синей синели его явно азиатские глаза, на фоне сквозь брусья клетки зеленью и солнцем брызжащей лужайки. Откидывая серебро волос над медью лба:

– Хорошо ведь? Как я все это люблю. Трава, вдалеке большие звери, вы, такая простая... И дочь тихая, разумная, ничего не говорит... (И, уже как припев:) Приятно!

Оттого ли, что было лето, оттого ли, что он всегда был взволнован, оттого ли, что в нем уже сидела его смертная болезнь – сосудов, я никогда не видела его бледным, всегда – розовым, желто-ярко-розовым, медным. От розовости этой усугублялась и синева глаз, и серебро волос. От серебра же волос и серый костюм казался серебряным, мерцающим. Серебро, медь, лазурь – вот в каких цветах у меня остался Белый, летний Белый, берлинский Белый, Белый бедового своего тысяча девятьсот двадцать второго лета.

В первый раз войдя в мою комнату в Pragerpension'e, Белый на столе увидел – вернее, стола не увидел, ибо весь он был покрыт фотографиями царской семьи: наследника всех возрастов, четырех великих княжон, различно сгруппированных, как цветы в дворцовых вазах, матери, отца...

И он наклонясь:

– Вы это... любите?

Беря в руки великих княжон:

– Какие милые!.. Милые, милые, милые!

И с каким-то отчаянием:

– Люблю тот мир!

Стоим с ним на какой-то вышке, где – не помню, только очень-очень высоко. И он, с разлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

– Вас тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка)... кувырнуться!

Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит.

– Ах! Как страшно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru (сгибается под прямым углом, распластывая руки)... Или еще лучше (обратный загиб, отлив волос) – вот так...

Через несколько дней после Zoo и Zossen'a приехал из Праги мой муж – после многих лет боев пражский студент-филолог.

Помню особую усиленную внимательность к нему Белого, внимание к каждому слову, внимание каждому слову, ту особую жадность поэта к миру действия, жадность, даже с искоркой зависти... (Не забудем, что все поэты мира любили военных.)

– Какой хороший ваш муж, – говорил он мне потом, – какой выдержанный, спокойный, безукоризненный. Таким и должен быть воин. Как я хотел бы быть офицером! (Быстро сбавляя:) Даже солдатом! Противник, свои, черное, белое – какой покой. Ведь я этого искал у Доктора, этого не нашел.

Выдержанность воина скоро была взята на испытание, и вот как: Белый потерял рукопись. Рукопись своего «Золота в лазури», о которой его издатель мне с ужасом:

– Милая Марина Ивановна, повлияйте на Бориса Николаевича. Убедите его, что раньше – тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста – камня на камне не оставил. Был разговор о переиздании, а это – новая книга, неизнаваемая! Да я против нового ничего не имею, но зачем тогда было набирать старую? Ведь каждая его корректура – целая новая книга! Книга неудержимо и неостановимо новеет, у наборщиков руки опускаются...

И вот, эту новизну, этот весь ворох новизн – огромную, уже не вмещающую папку – Белый вдруг потерял.

– Потерял рукопись! – с этим криком он ворвался ко мне в комнату. – Рукопись потерял! Золото потерял! В Лазури – потерял! Потерял, обронил, оставил, провалил! В каком-то из проклятых кафе, на которые я обречен, будь они трекляты! Я шел к вам, но потом решил – я хоть погибший человек, но я приличный человек – что сейчас вам не до меня, не хотел омрачать радости вашей встречи – вы же дети по сравнению со мной! вы еще в Парадизе! а я горю в аду! – не хотел вносить этого серного Ада с дирижирующим в нем Доктором – в ваш Парадиз, решил: сверну, один ввергну, словом – зашел в кафе: то или другое, или третье (с язвительной усмешкой): сначала в то, потом в другое, потом в третье... И после – которого? – удар по ногам: нет рукописи! Слишком уж стало легко идти, левая рука слишком зажала своей жизнью – точно в этом суть: зажать своей жизнью! – в правой трость, а в левой – ничего... И это «ничего» – моя рукопись, труд трех месяцев, что – трех месяцев! это – сплав тогда и теперь, я двадцать лет своей жизни оставил в кабаке... В каком из семи?

На пороге – недоуменное явление Сергея Яковлевича.

– Борис Николаевич рукопись потерял, – говорю я спешно, объясняя крик.

– Вы меня простите! – Белый к нему навстречу. – Я сам временами слышу, как я ужасно кричу. Но – перед вами погибший человек.

– Борис Николаевич, дорогой, успокойтесь, найдем, отыщем, обойдем все места, где вы сидели, – вы же, наверное, куда-нибудь заходили? Вы ее, наверное, где-нибудь оставили, не могли же вы потерять ее на улице.

Белый, упавшим голосом:

– Боюсь, что мог.

– Не могли. Это же вещь, у которой есть вес. Вы где-нибудь ее уже искали?

– Нет, я прямо кинулся сюда.

– Так идем.

И – пошли. И – пошло! Во-первых, не мог точно сказать, в которое кафе заходил, в которое – нет. То выходило, во все заходил, то – ни в одно. Подходим – то,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru войдем – не то. И, ничего не спросив, только обзрев, ни слова не сказав – вон. «Die Herrschaften wünschen? (Господа желают?)». Белый, агрессивно: «Nichts! Nichts! (Ничего, ничего!)». Легкое пожатие кельнерских плечей, – и мы опять на улице. Но, выйдя: «А вдруг – это? Там еще вторая зала, я туда не заглянул». Сережа великодушно: «Зайдем опять?» Но и вторая зала не узнаваема.

В другом кафе – обратное: убежден, что был, – и стол тот, и окно так, и у кассирши та же брошь, все совпадает, только рукописи нет. «Aber der Herr war ja gar nicht bei uns (Но господин к нам вовсе не заходил), – сдержанно-раздраженно – обер. – Полчаса назад? За этим столом? Я бы помнил». (В чем не сомневаемся, ибо Белый – красный, с взлетевшей шляпой, с взлетевшими волосами, с взлетевшей тростью – действительно незабываем.) «Ich habe hier meine Handschrift vergessen! Manuskript, verstehen Sie? Hier, auf diesem Stuhl! Eine schwarze Pappe: Mappe! (Я здесь забыл свою рукопись! Манускрипт, понимаете? Здесь на этом стуле! Черную папку![71]) – кричит все более и более раскрасневшийся Белый, стуча палкой. – Ich bin Schriftsteller, russischer Schriftsteller! Meine Handschrift ist alles für mich! (Я – писатель, русский писатель, моя рукопись для меня – все!)»

– Борис Николаевич, посмотрим в соседнем, – спокойно советует Сережа, мягко, но твердо увлекая его за порог, – тут ведь рядом еще одно есть. Вы легко могли перепутать.

– Это? Чтобы я в этом сидел? (Ехидно:) Не-ет, я в этом не сидел! Это – явно нерасполагающее, я бы в такое и не зашел. (Упираясь палкой в асфальт.) И сейчас не зайду.

Сережа, облегченно:

– Ну, тогда зайду – я. А вы с Мариной здесь постоит.

Стоим. Выходит с пустыми руками. Белый, торжествующе:

– Вот видите? Разве я мог в такое зайти? Да в таком кафе не то что рукопись, – руки-ноги оставишь. Разве вы не видите, что это – кокаин??

Очередное по маршруту – просто минуем. Несмотря на наши увещевания, даже не оборачивает головы и явно ускоряет шаг.

– Но почему же вы даже поглядеть не хотите?

– Вы не заметили, что там сидит брюнет? Я не говорю вам, что тот самый, но, во всяком случае, – из тех. Крашенных. Потому что таких черных волос нет. Есть только такая черная краска. Они все – крашенные. Это их тавро.

И, останавливаясь посреди тротуара, с страшной улыбкой:

– А не проделки ли это – Доктора? Не повелел ли он оттуда моей рукописи пропасть: упасть со стула и провалиться сквозь пол? Чтобы я больше никогда не писал стихов, потому что теперь – кончено, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого человека. Это – Дьявол.

И, поднимая трость, в такт, ею – по чем попало: по торцам, прямым берлинским стволам, по решеткам, и вдруг – со всего размаху ярости – по огромному желтому догу, за которым, во весь рост своего самодовольства, вырастает лейтенант.

«Verzeihen Sie, Herr Leutnant, ich habe meine Handschrift verloren. (Простите, господин лейтенант, я потерял свою рукопись)». – «Ja was? (Что такое?)» – «Das Herr ist Dichter, ein grosser russischer Dichter. (Этот господин – поэт, большой русский поэт)», – спешно и с мольбою оповещаю я. «Ja was? Dichter? (Что такое? Поэт?)» – и – не снизойдя до обиды, залив со всего высока своего прусского роста всем своим лейтенантским презрением этого штатского – да еще русского, да еще Dichter'a, оттянув собаку – минует.

– Дьявол! Дьявол! – вопит Белый, бия и биясь.

– Ради Бога, Борис Николаевич, ведь лейтенант подумает, что вы – о нем!

– О нем? Пусть успокоится. Есть только один дьявол – Доктор Штейнер.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

И, выпустив этот последний заряд, совершенно спокойно:

– Больше не будем искать. Пропала. И, может быть, лучше, что пропала. Ведь я, по существу, не поэт, я годы могу не писать, а кто может не писать – писать не смеет.

Замечаю, что в моем повествовании нет никакого crescendo. Нет в повествовании, потому что не было в жизни. Наши отношения не развивались. Мы сразу начали с лучшего. На нем и простояли – весь наш недолгий срок.

Лично он меня никогда не разглядел, но, может быть, больше ощутил меня, мое целое, живое целое моей силы, чем самый внимательный ценитель и толкователь, и, может быть, никому я в жизни, со всей и всей моей любовью, не дала столько, сколько ему – простым присутствием дружбы. Присутствием в комнате. Сопутствием на улице. Возле.

Рядом с ним я себя всегда чувствовала в сохранности полного анонимата.

Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а отрожденной: бедой своего рождения в мир.

Не эгоист, а эгоцентрик боли, неизлечимой болезни – жизни, от которой вот только 8 января 1934 года излечился.

Чтобы не забыть. К моему имени-отчеству он прибегал только в крайних случаях, с третьими лицами, и всегда в третьем лице, говоря обо мне, не мне, со мной же – Вы, просто – Вы, только – Вы. Мое имя-отчество для него было что-то постороннее, для посторонних, со мной не связанное, с той мной, с которой так сразу связал себя он, условное наименование, которое он сразу забывал наедине. Я у него звалась Вы. (Как у Каспара Гаузера сторож звался «der Du»[72].)

И, в нашем случае, он был прав. Имя, ведь, останавливает на человеке, другом, именно – этом, Вы – включает всех, включает все. И еще: имя разграничивает, имя это явно – не-я. Вы (как и ты) это тот же я. («Вы не думаете, что?..» Читай: «Я думаю, что...») Вы – включительное и собирательное, имя-отчество – отграничительное и исключительное.

И еще: что ему было «Марина Ивановна» и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным Андреем, отзываясь только на я.

Так я и осталась для него «Вы», та Вы, которая в Берлине, Вы – неизбежно-второго лица, Вы – присутствия, наличности, очности, потому что он меня так скоро и забыл, ибо, рассказывая обо мне, он должен был неминуемо говорить: «Марина Ивановна», а с Мариной Ивановной он никогда никакого дела не имел.

Единственный раз, когда он меня назвал по имени, было, когда он за мной в нашу первую «Pragerdiele» повторил слово «Таруса». Меня назвал и позвал.

Двойственность его не только сказала на Борисе Николаевиче Бугаеве и Андрее Белом, она была вызвана ими. – С кем говорите? Со мной, Борисом Николаевичем, или со мной, Андреем Белым? Конечно, и каждый пишущий, и я, например, могу сказать: с кем говорите, со мной, «Мариной Цветаевой», или мной – мной (я, Марина Ивановна, для себя так же не существую, как для Андрея Белого); но и Марина – я, и Цветаева – я, значит, и «Марина Цветаева» – я. А Белый должен был разрываться между нареченным Борисом и самовольно-созданным Андреем. Разорвался – навек.

Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ от отчества, ибо отца не включает, исключает. Максим Горький, Андрей Белый – кто им отец?

Каждый псевдоним, подсознательно, – отказ от преемственности, потомственности, сыновности. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещен, и от собственного

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru младенчества, и от матери, звавшей Боря и никакого «Андрея» не знавшей, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. Avant moi le déluge![73] Я – сам!

Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. Полная безответственность и полная беззащитность.

Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера, не отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых, обоих, на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся?

Безотчесть и беспочвенность, ибо, как почва, Россия слишком все без исключения, чтобы только собою, на себе, продержат человека.

«Родился в России», это почти что – родился везде, родился – нигде.

Ничего одиноче его вечной обступленности, обсмотренности, обслушанности я не знала. На него смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу, после занавеса бросая его одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши.

А смотреть было на что. Всякая земля под его ногою становилась теннисной площадкой: ракеткой: ладонью. Земля его как будто отдавала – туда, откуда бросили, а то – опять возвращало. Просто, им небо и земля играли в мяч.

Мы – смотрели.

Его доверчивость равнялась только его недоверчивости. Он доверял – вверялся! – первому встречному, но что-то в нем не доверяло – лучшему другу. Потому их и не было.

Как он всегда боялся: задеть, помешать, оказаться лишним! Как даже не вовремя, а раньше времени – исчезал, тут же, по мнительности своей, выдумав себе срочное дело, которое оказывалось сидением в первом встречном осточертелом кафе. Какой – опережающий вход – опережающий взгляд, сами глаза опережающий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупывал, как рукой обшаривал и, в нетерпении придя, как метлой обмахивал пол и стены – всю почву, весь воздух, всю атмосферу данной комнаты, страх – меня бы первую ввергший в столбняк, если бы я разом, вскочив на обе ноги, не дав себе понять и подпасть – на его страх, как Дуров на злого дога: «Борис Николаевич! Господи, как я вам рада!»

Страх, сменявшийся – каким сиянием!

Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною был затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами – не-свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не-свой рожден затравленным.

О Белом всегда говорили с интонацией «бедный». «Ну, как вчера Белый?» – «Ничего. Как будто немножко лучше». Или: «А Белый нынче был совсем хорош». Как о трудно-больном. Безнадёжно-больном. С тем пусть крохотным, пусть йотовым, но неизменным оттенком превосходства: здоровья над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы – хотя бы над самым прекрасным казусом.

Остается последнее: вечерне-ночная поездка с ним в Шарлоттенбург. И это последнее осталось во мне совершенным сновидением. Просто – как схватило дух, так до самого подъезда и не отпустило, как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую на этот раз – сама взяла.

Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые перекрестки, круто огибаемые площади – серизну – розовизну – голубизну...

Слов не помню, кроме отрывистого: «weiter! weiter!»[74] – звучащего совсем не за пределы Берлина, а за пределы земли.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Думаю, что в этой поездке я впервые увидела Белого в его основной стихии: полете, в родной и страшной его стихии – пустых пространствах, потому и руку взяла, чтобы еще удержать на земле.

Рядом со мной сидел пленный дух.

Как это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было. Было – исчезновение.

Думаю, его просто увезли – друзья, так же просто на неуютное немецкое море, как раньше в то самое Zossen, и он так же просто дал себя увезти. Белый всякого встречного принимал за судьбу и всякое случайное жилище за сужденное.

Одно знаю – что я его не провожала, а не проводить я его не могла только потому, что не знала, что он едет. Думаю, он и сам до последней секунды не знал.

А дальше уже начинается – танцующий Белый, каким я его не видела ни разу и, наверное, не увидела бы, миф танцующего Белого, о котором так глубоко сказал Ходасевич, вообще о нем сказавший лучше нельзя, и к чьему толкованию танцующего Белого я прибавлю только одно: фокстрот Белого – чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) – христопляска, то есть опять-таки «Серебряный голубь», до которого он, к сорока годам, физически дотанцевался.

Со своего моря он мне не писал.

Но был еще один привет – последний. И прощание все-таки было – и какое беловское!

В ноябре 1923 года – вопль, письменный вопль в четыре страницы, из Берлина в Прагу: «Голубушка! Родная! Только Вы! Только к Вам! Найдите комнату рядом, где бы Вы ни были – рядом, я не буду мешать, я не буду заходить, мне только нужно знать, что за стеной – живое – живое тепло! – Вы. Я измучен! Я истерзан! К Вам – под крыло!» (И так далее, и так далее, полные четыре страницы лирического вопля попеременно с младенчески-беспомощными практическими указаниями и даже описаниями вожденной комнаты: чтобы был стол, чтобы этот стол стоял, чтобы было окно, куда глядеть, и, если возможно, – не в стену квартирного дома, но если мое – в такую стену, то пусть и его, ничего, лишь бы рядом.) «Моя жизнь этот год – кошмар. Вы мое единственное спасение. Сделайте чудо! Устройте! Укройте! Найдите, найдите комнату».

Тотчас же ответила ему, что комната имеется: рядом со мной, на высоком пражском холму – Смихове, что из окна деревья и просторы: косогоры, овраги, старики и ребята пускают змеев, что и мы будем пускать... Что М. Л. Слоним почти наверное устроит ему чешскую стипендию в тысячу крон ежемесячно, что обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить будет, когда захочет, и даже, если захочет, не выходить, ибо он мне дороже дорогого и роднее родного, что в Праге археологическое светило – восьмидесятилетний Кондаков, что у меня, кроме Кондакова, есть друзья, которых я ему подарю и даже, если нужно, отдам в рабство...

Чего не написала! Все написала!

Комната ждала, чешская стипендия ждала. И чехи ждали. И друзья, обреченные на рабство, ждали.

И я – ждала.

Через несколько дней раскрывши «Руль», читаю в отделе хроники, что такого-то ноября 1923 года отбыл в Советскую Россию писатель Андрей Белый.

Такое-то ноября было таким-то ноября его вопля ко мне. То есть уехал он именно в тот день, когда писал ко мне то письмо в Прагу. Может быть, в вечер того же дня.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– А меня он все-таки когда-нибудь вспоминал? – спросила я в 1924 году одного из последних очевидцев Белого в Берлине, приехавшего в Прагу.

Тот с заминкой...

– Да... но странно как-то.

– То есть как – странно?

– А – так: «Конечно, я люблю Цветаеву, как же мне не любить Цветаеву, когда она тоже дочь профессора...» Сами посудите, что...

Но я, молча, посудила – иначе.

Больше я о нем ничего не слыхала.

Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой, не то в Серебряном Бору, не то в Звенигороде (еще порадовалась чудному названию!), пишет много, печатает мало, в современности не участвует и порядочно-таки забыт.

(Geisrer auf dem Gange)

...Und er hat sich losgemacht![75]

10-го января 1934 года мой восьмилетний сын Мур, хватая запретные «Последние новости»:

– Мама! Умер Андрей Белый!

– Что???

– Нет, не там, где покойники. Вот здесь.

Между этим возгласом моего восьмилетнего сына и тогдашней молитвой моей трехлетней дочери – вся моя молодость, быть может, – вся моя жизнь.

Умер Андрей Белый «от солнечных стрел», согласно своему пророчеству 1907 года.

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел... –

то есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле, на бывшей даче Волошина, ныне писательском доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть ему эти стихи, этим в последний раз опережая события: наше посмертное, этих его солнц, сопоставление: свое посмертье.

Господа, взгляните в два последних портрета Андрея Белого в «Последних новостях».

Вот на вас по каким-то мосткам, отделяясь от какого-то здания, с тростью в руке, в застывшей позе полета – идет человек. Человек? А не та последняя форма человека, которая остается после сожжения: дохнешь – рассыпется. Не чистый дух? Да, дух в пальто, и на пальто шесть пуговиц – считали, но какой счет, какой вес когда-либо кого-либо убедил? разубил?

Случайная фотография? Прогулка? Не знаю, как другие, я, только взглянув на этот снимок, сразу назвала его: переход. Так, а не иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мосткам и так же перехода не заметив, перешел Андрей Белый на тот свет.

Этот снимок – астральный снимок.

Другой: одно лицо. Человеческое? О нет. Глаза – человеческие? Вы у человека видали такие глаза? Не ссылайтесь на неясность отпечатка, плохость газетной бумаги и т. д. Все это, все эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз поэту – послужило. На нас со страницы «Последних новостей» глядит лицо духа, с просквоженным тем светом глазами. На нас – сквозит.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

На панихиде по нем в Сергиевском Подворье, – православных проводях сожженного, которыми мы обязаны заботе Ходасевича и христианской широте о. Сергия Булгакова, – на панихиде по Белом было всего семнадцать человек – считала по свечам – с десяток из пишущего мира, остальные завсегдатаи. Никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича, не было. Зато с умилением обнаружила среди стоявших Соломона Гитмановича Каплуна, издателя, пришедшего в последний раз проводить своего трудного, неуловимого, подчас невыносимого опекаемого им писателя. Убеждена, что не меньше, чем я, и больше, чем всем нам, порадовался ему и сам Белый.

Странно, я все время забывала, вернее, я ни разу не осознавала, что гроба – нет, что его – нет: казалось – о. Сергей его только застит, отойдет о. Сергей – и я увижу – увидим – и настолько сильно было во мне это чувство, что я несколько раз ловила себя на мысли: «Сначала все, потом – я. Прощусь последняя...»

До того, должно быть, эта панихида была ему необходима и до того сильно он на ней присутствовал.

И никогда еще, может быть, я за всю свою жизнь с таким рвением и осознанием не повторяла за священником, как в этой темной, от пустоты огромной церкви Сергиевского Подворья, над мерещащимся гробом за тридевять земель сожженного:

– Упокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего – Бориса.

Post Scriptum.

Я иногда думаю, что конца – нет. Так у меня было с Максом, когда, много спустя по окончании моей рукописи, все еще долетали о нем какие-то вести, как последние от него приветы.

Вчера, 26 февраля, Сергей Яковлевич, вечером, мне:

– Достал «После Разлуки». Прочел стихи – вам.

– Как – мне? Вы шутите!

– Это вы – шутите, не можете же вы не помнить этих стихов. Последние стихи в книге. Единственное посвящение. Больше никому нет.

Все еще не веря, беру в руки и на последней странице, в постепенности узнавания, читаю:

М. И. Цветаевой

Неисчисляемы
Орбиты серебряного прискорбья.
Где праздномыслия
Повисли тучи.
Среди них –
Тихо пою стих
В неосязаемые угодия
Ваших образов.
Ваши молитвы –
Малиновые мелодии
И –
Непобедимые
Ритмы.
Цоссен, 1922
В. Я. Брюсову
(1873–1924)
«Улыбнись в мое „окно“...»
В. Я. Брюсову

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, –
Не изменишь, все равно!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.
Нужно петь, что все темно,
Что над миром сны нависли...
– Так теперь заведено. –
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!
«Я забыла, что сердце в Вас – только ночник...»
В. Я. Брюсову

Я забыла, что сердце в Вас – только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти – критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом.
Волшебство в стихах Брюсова
Есть поэты – волшебники в каждой строчке. Их души – зеркала, собирающие все лунные лучи волшебства и отражающие только их. Не ищите в них ни пути, ни этапов, ни цели. Их муза с колыбели до гроба – принцесса и волшебница. Не к ним принадлежит Брюсов. У Брюсова много муз – муза в лавровом венке, в венце из терний, муза в латах и шлеме, муза «с поддельной красотой ланит», но есть и волшебница, есть и девушка-муза. Об этой редкой гостье в стихах Брюсова я и хочу рассказать.

Доказать волшебство – в лице ли, в голосе ли, в стихах ли оно – невозможно. Заглянуть в чьи-нибудь черты, прочтя какую-нибудь строчку, мы только можем воскликнуть: ах! только вздрогнуть от сознания, что волшебство здесь, перед нами. Кто докажет улыбку Джоконды?

Немного раз улыбнулась волшебница-муза на 600 страницах «Путей и перепутий». Но эти улыбки единственны и незабвенны.

Вот стихотворение «Идеал». Уже с первой строчки «Ее он увидел в магический час» – нас охватывает легкая дрожь, первая предвестница волшебства. «Магический час» – мы уже чувствуем, что это час сумерек, странный час после заката. «Был вечер лазурным и запад погас...» Мы входим в сказку. Несложная это сказка и с грустным концом, как все лучшие сказки. Вся она в трех словах: увиделись, поняли, расстались. Но это было на заре жизни и в сумерках дня. Юность и сумерки – и уже волшебство! Нельзя уйти от этого стихотворения, не отметив несколько несказанно глубоких, слишком редких у Брюсова строк:

То был мотылек, пилигрим вечеров,
Который подслушал прощанье без слов,
То было смущенное облачко мая...
Какая в них простота, какая проникновенность. Эти строки – почти молитва.

Соединение образов девушки и мотылька не единственно в стихах поэта. Мы встречаем его и в стихотворении «Женщина», где поэт прямо отождествляет девушку с мотыльком.

О девушки, о мотыльки на воле!
Вас на балу звенящий вальс влечет,
Вы в нашей жизни, как цветы магнолий.
Но каждая узнает свой черед...
Может быть, завтра один из этих мотыльков на воле будет биться в золотой бахrome из стихотворения «Продажная» и тосковать о навеки утраченных зеленых листьях:

Альков задрожал золотой бахромой.
Она задернула длинные кисти...
О, да, ей грезился свод голубой
И зеленые листья...
В этом стихотворении уже не улыбка, в нем плач девушки-музы.

Все девушки Брюсова – обречены. Что ждет ее, проходящую по бульвару «с опущенным взором, в пелериночке белой», и ту, чьи «прикрыты стыдливо виски», и ту из стихотворения «Весна»? Остановимся на нем. Я так ясно вижу героиню. Ей 15, 16 лет. Она кого-то любит, она ничего не знает о жизни. Все ушли, и вот она стала у

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru окна и чертит «его» инициалы. О чем она думает? Быть может, совсем не о нем. Думает о море, которое знает только по стихам и картинкам, о какой-то будущей боли, о какой-то не нашей весне.

Где-то за морем тогда расцветала весна...

Мне кажется, что волшебство мира заключено в этой строчке, как в выражении «звенящий бал» – вся юность. На что обречены они, юные и нежные героини лучших стихотворений Брюсова? Ответ на это в строчках:

Вот и тайна земных наслаждений,
Но такой ли ее я ждала накануне? Я дрожу от стыда, я смеюсь...
Вслед за звенящими вальсами – золотая клетка алькова; за мечтой о любви – осуществление ее. Но это не конец. Из глубины плена до нас доходит тихая жалоба, последняя мечта:

И если Бог пошлет мне сон
О недоступном и о счастье,
Мне про любовь не скажет он,
Мне не приснится сладострастье.
И буду вновь ребенком я
Под тихим пологом кровати,
И сядет рядом мать моя,
Озарена огнем лампадки.
Не все погибло! – Есть воспоминание.

Музыкой юности, вызванной властью воспоминаний, звучат стихотворения «Одиночество» и «Первые встречи». В них оживает убитое жизнью волшебство. Перед нами образ двух сестер, слышавших когда-то первые клятвы поэта; тенистый сад перед нами – сад его юности.

Мы ведь дети, все мы дети, мотыльки вокруг огня!
Много ликов у волшебства. Всех времен оно, всех возрастов и стран. Видеть его лишь в тонких чертах шестнадцатилетних – ошибка. Юность равна волшебству, но волшебство – не только юности. Не юноша и девушка перед нами в стихотворении «Встреча».

О этот крик желанья пленного!

Но уже первые строки заставляют нас сжать руки и широко раскрыть глаза:

О эти встречи мимолетные
На гулких улицах столиц!
Шум экипажей, блеск витрин, смена лиц, и среди нескольких лиц вдруг одно на миг единственное, – вот оно, волшебство улицы! Кто она, эта незнакомка? Не все ли равно! Из глаз ее глядят неповторимое и тайна.

Улица – самое любимое Брюсовым проявление волшебства. Ее холод лишь для тех, чьи глаза не зажигаются от фонарей и витрин, чье сердце не зажигается с глазами.

Горят электричеством луны
На выгнутых, длинных столбах...
В этом стихотворении – все волшебство городской весны. Прочтите его вы, отрицающий музыку в душе и стихах поэта. Прочтите вслух эти строки:

Как тихие звуки клавира
Далекie рокоты дня...
Что может быть ближе к самим звукам клавира, чем эта строка о них?

Слово «клавир» сразу переносит нас в Германию, страну лучших сказок. Ей обязан Брюсов другим своим прекрасным стихотворением:

Помню вечер, помню лето,
Рейна полные струи...
Зеленоватый Рейн с повторенными у берегов башнями старого Кельна и сверкающими вдали парусами; темная зелень виноградников; «песня милой старины...»

О, волшебство старой Германии! О, Heinrich Heine!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Мысль о Германии наводит меня на волшебство вагона. Мчится поезд. За окнами ночь. В еле освещенном купе чьи-то зеленые глаза:

И было ль то влиянье
Качания и тьмы,
Но было там влиянье,
В котором никли мы...
И вновь перед нами двое чужих, соединенных на миг волшебством ночи и вагона:

И чьи-то губы близились
Во тьме к другим губам,
И чьи-то губы сблизились, –
Иль снилось это нам?
Снилось ли? Лучше так! Кто знает, какими оказались бы при ровном дневном свете эти зеленые глаза?

Нет мечтательней любви, покинутой волшебством! И на вопрос поэта своей Миньоне:

Как объяснишь, что покинуло нас! – есть только один ответ: сердце любви – волшебство! Лихорадочное биение этого сердца слышим мы в стихотворении «Который раз».

Будет миг, как долгий сон,
Качать, баюкать нас.
Я странно счастлив, я влюблен...
Влюблен! – который раз!
Каким прекрасным было бы это стихотворение без последней строфы:

И в стройных строфах вновь мечты
Поют – который раз,
А месяц смотрит с высоты –
Веков холодный глаз.
Такой конец разрушает все. До стройности ли строф, когда любишь? И может ли месяц быть для влюбленного лишь холодным глазом веков? Нет печальней поэта в последней – главной – строфе, покинутого волшебством!

Но вот уж опять оно нахлынуло волнами «Бала»:

Забвенье, и круженье, и движенье
Вдаль, без возврата...
Еще несколько слов о волшебном из волшебных стихотворений поэта – «Встреча» («Близ медлительного Нила»). Из него нельзя приводить отдельных строк, как нельзя из груды драгоценных камней выбрать один лучший. Приходится, как дети, говорить: «все лучше» – и брать все.

Измена романтизму; оскорбление юности в намеренно-небрежной критике молодых поэтов; полная бездарность психодрамы «Прихожий», – да простится все это Брюсову за то, что и в его руках когда-то сверкал многогранный алмаз волшебства.

<1910>

Герой труда
Часть первая
«И с тайным восторгом гляжу я в лицо врагу».

Бальмонт
I. ПОЭТ

Стихи Брюсова я любила с 16 л. по 17 л. – страстной и краткой любовью. В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна, до тла лишен – песню, песенное начало. Больше же стихов его – и эта любовь живет и поныне – его «Огненного Ангела», тогда – и в замысле и в исполнении, нынче только в замысле, в замысле и в воспоминании, «Огненного Ангела» – в неосуществлении. Помню, однако, что уже тогда, 16-ти лет, меня хлестнуло на какой-то из патетических страниц слово «интересный», рыночное и расценочное, немислимое ни в веке Ренаты, ни в повествовании об Ангеле, ни в общей патетике вещи. Мастер – и такой промах! Да, ибо мастерство – не всё. Нужен слух. Его не было у Брюсова.

Антимзыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru стихотворений – антимузыкальность сущности, сушь, отсутствие реки. Вспоминаю слово недавно скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Герцык о Максe Волошине и мне, тогда 17-летней: «В вас больше реки, чем берегов, в нем – берегов, чем реки». Брюсов же был сплошным берегом, гранитным. Сопровождающий и сдерживающий (в пределах города) городской береговой гранит – вот взаимоотношение Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. За-городом набережная теряет власть. Так, не предотвратил ни окраинного Маяковского, ни ржаного Есенина, ни героя своей последней и жесточайшей ревности – небывалого, как первый день творения, Пастернака. Все же, что город, кабинет, цех, если не иссякло от него, то приняло его очертания.

Вслушиваясь в неумолчное слово Гете:

In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister» – слово, направленное на преодоление в себе безмерности (колыбели всякого творчества и, именно как колыбель, преодоленной быть долженствующей), нужно сказать, что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать: он родился ограниченным. Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе границы никому не дано. Брюсов был бы мастером в гетевском смысле слова только, если бы преодолел в себе природную границу, раздвинул, а может быть, и – разбил себя. Брюсов, в ответ на Моисеев жезл, немотствовал. Он остался invulnérable (во всем объеме непереводаемо), вне лирического потока. Но, утверждаю, материалом его был гранит, а не картон.

* * *

(Гетевское слово – охрана от демонов: может быть, самой крайней, тайной, безнадежной страсти Брюсова.)

* * *

Брюсов был римлянином. Только в таком подходе – разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в Троянские бои, – вспомните раненую Афродиту! молящую Фетиду! омраченного – неминуемой гибелью Ахилла – Зевса. Брюсовские боги высились и восседали, окончательно покончившие с заоблачьем и осевшие на земле боги. Но, настаиваю, материалом их был мрамор, а не гипс.

* * *

Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмертного лягания Брюсова. Брюсов не был *quantité négligeable*, еще меньше – *qualité*. По рождению русский целиком, он являет собою загадку. Такого второго случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. Тютчев? Но это – в жизни: в черновике, в подстрочнике лиры. Брюсов же именно в творении своем был застегнут (а не забит ли) наглухо, бронирован без возможности прорыва. Какой же это росс? И какой же это поэт? Русский – достоверно, поэт – достоверно тоже: в пределах воли человеческой – поэт. Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: многоокие (многооконные), но – слепые какие-то, с полной немислимостью, в них, жизни. Казенные (и, уже лирически) казенные. Таким домом мне мерещится творчество Брюсова. А в высших его достижениях гранитным коридором, выход которого – тупик.

Брюсов: поэт входов без выходов.

Чтобы не звучало голословно, читатель, проверь: хотелось ли тебе хоть раз продлить стихотворение Брюсова? Гетевское: «Verweile doch! du bist so schön!» – было ли у тебя хоть раз чувство оборванности (вел и бросил!), разверзалась ли хоть раз на неучтимость сердечного обмирания за строками – страна, куда стихи только ход: в самой дальней дали – на самую дальнюю даль – распахнутые ворота. Душу, как Музыка, срывал тебе Брюсов? («Всё? уже?») Душа, как после музыки, взмаливалась к Брюсову: «уже? еще!» Выходил ли ты хоть раз из этой встречи – неудовлетворенным?

Нет, Брюсов удовлетворяет вполне, дает всё и ровно то, что обещал, из его книги выходишь, как из выгодной сделки (показательно: с другими поэтами – книга ушла, ты вслед, с Брюсовым: ты ушел, книга – осталась) – и, если чего-нибудь не хватает, то именно – неудовлетворенности.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
* * *

Под каждым стихотворением Брюсова невидимо проставленное «конец». Брюсов, для цельности, должен был бы проставлять его и графически (типографически).

* * *

Творение Брюсова больше творца. На первый взгляд – лестно, на второй – грустно. Творец, это все завтрашние творения, всё Будущее, вся неизбывность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое – неучтимо – в неучтимои своей непобедимое: завтрашний день.

Дописывайте до конца, из жил бейтесь, чтобы дописать до конца, но если я, этот конец почувствую, тогда – конец – Вам.

И – странное чудо: чем больше творение (Фауст), тем меньше оно по сравнению с творцом (Гете). Откуда мы знаем Гете? По Фаусту. Кто же нам сказал, что Гете – больше Фауста? Сам Фауст – совершенством своим.

Возьмем подобие:

– «Как велик Бог, создавший такое солнце!» и, забывая о солнце, ребенок думает о Боге. Творение, совершенством своим, отводит нас к творцу. Что же солнце, как не повод к Богу? Что же Фауст, как не повод к Гете? Что же Гете, как не повод к божеству? Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершится – Там. Где Гете ставит точку – там только и начинается! Первая примета совершенности творения (абсолюта) – возбужденное в нас чувство сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше – чего? – предшествующего «выше», а это выше уже поглощено последующим. Гора выше лба, облако выше горы, Бог выше облака – и уже беспредельное повышение идеи Бога. Совершенство (состояние) я бы заменила совершаемостью (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько же несравненно большее Гете, как Гете – Фауста, вот что делает и Гете и Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без сравнения высшим. Единственная возможность восприятия нами высоты – непрерывное перемещение по вертикали точек измерения ее. Единственная возможность на земле величия – дать чувство высоты над собственной головой.

– «Но Гете умер, Фауст остался!» А нет ли у тебя, читатель, чувства, что где-то – в герцогстве несравненно просторнейшем Веймарского – совершается – третья часть?

Обещание: завтра лучше! завтра больше! завтра выше! обещание, на котором вся поэзия – и нечто высшее поэзии – держится: чуда над тобой и, посему, твоего над другими – этого обещания нет ни в одной строке Брюсова:

Быть может, всё в жизни лишь средство
Для ярких певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.
Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств... Точно слова из слов, рифмы из рифм,
стихи из стихов рождаются!

Задание, овеществленное пятнадцать лет спустя «Брюсовским Институтом Поэзии».

* * *

Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только умысел: то, что я хотел – и не смог. Чем совершеннее для нас, тем несовершеннее для него. Под каждой же строкой Брюсова: все, что я смог. И большее, вообще, невозможно.

Как мало же он хотел, если столько смог!

Знать свои возможности – знать свои невозможности. (Возможность без невозможностей – всемогущество). Пушкин не знал своих возможностей, Брюсов – свои невозможности – знал. Пушкин писал на авось (при наичернейших черновиках – элемент чуда), Брюсов – наверняка (статут, институт).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

* * *

Волей чуда – весь Пушкин. Чудо воли – весь Брюсов. Меньшего не могу (Пушкин. Всемощность). Бóльшего не могу (Брюсов. Возможности). Раз сегодня не смог, завтра смогу (Пушкин. Чудо). Раз сегодня не смог, никогда не смогу (Брюсов. Воля). Но сегодня он – всегда мог.

* * *

Дописанные Брюсовым «Египетские ночи». С годными или негодными средствами покушение, – что его вызвало? Страсть к пределу, к смысловому и графическому тире. Чуждый, всей природой своей, тайне, он не чтит и не чувствует ее в неоконченности творения. Не довелось Пушкину – доведу (до конца) я.

Жест варвара. Ибо, в иных случаях, довершать не меньше, если не большее, варварство, чем разрушать.

* * *

Говорить чисто, все покушение Брюсова на поэзию – покушение с негодными средствами. У него не было данных стать поэтом (данные – рождение), он им стал. Преодоление невозможного. Kraftspore. А избрание сáмого себе обратного: поэзии (почему не естественных наук? не математики? не археологии?) – не что иное, как единственный выход силы: самоборство.

И уточняя: Брюсов не с рифмой сражался, а со своей нерасположенностью к ней. Поэзия, как попроще для самоборения.

Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший своего таланта в землю, – человек, волей своей, из земли его вынудивший. Нечто создавший из ничто.

«Вперед, мечта, мой верный вол!»

О, не случайно, не для рифмы этот клич, более похожий на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив – до дна, то именно в этом вздохе. Из сил, из жил, как вол – что это, труд поэта? нет, мечта его! Вдохновение плюс воловий труд, вот поэт, воловий труд плюс воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия.

У кого, кроме Брюсова, могло возникнуть уподобление мечты – волу? Вспомним Бальмонта, Вячеслава, Блока, Сологуба – говорю лишь о поэтах его поколения (почему выпадает Белый?) – кто бы, в какой час последнего изнеможения, произнес это «мечта – вол». Если бы вместо мечты – воля, стих был бы формулой.

* * *

Поэт воли. Действие воли, пусть кратко, в данный час беспредельно. Воля от мира сего, вся здесь, вся сейчас. Кто так властвовал над живыми людьми и судьбами, как Брюсов? Бальмонт? К нему влеклись. Блок? Им болели. Вячеслав? Ему внимали. Сологуб? О нем гадали. И всех – заслушивались. Брюсова же – слушались. Нечто от каменного гостя было в его появлениях на пирах молодой поэзии – Жуана. Вино оледенело в стаканах. Под дланью Брюсова гнулись, не любя, и иго его было тяжело. «Маг», «Чародей», – ни о зачаровывающем Бальмонте, ни о магическом Блоке, ни о рожденном чернокнижнике – Вячеславе, ни о не-нашем Сологубе, – только о Брюсове, об этом бесстрастном мастере строк. В чем же сила? Что за чары? Нерусская и нерусские: воля, непривычная на Руси, сверхъестественная, чудесная в тридевятом царстве, где, как во сне, всё возможно. Всё, кроме голой воли. И на эту голую волю чудесное тридевятое царство Души – Россия – польстилась, ей поклонилась, под ней погнулась [76]. На римскую волю московского купеческого сына откуда-то с Трубной площади.

– Сказка?

* * *

Мне кажется, Брюсов никогда не должен был видеть снов, но зная, что поэты их видят, заменял невиденные – выдуманными.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Не отсюда ли – от невозможности просто увидеть сон – грустная страсть к наркотикам?

Брюсов. Брюс. (Московский чернокнижник 18-го века). Может быть, уже отмечено. (Зная, что буду писать, своих предшественников в Брюсове не читала, – не из страха совпадения, из страха, в случае перехулы собственного перехвала). Брюсов. Брюс. Созвучие не случайное. Рационалисты, принимаемые современниками за чернокнижников. (Просвещенность, превращающаяся на Руси в чернокнижие).

* * *

Судьба и сущность Брюсова трагичны. Трагедия одиночества? Творима всеми поэтами... «...Und sind ihr ganzes Leben so allein...» (Рильке, о поэтах).

Трагедия пожеланного одиночества, искусственной пропасти между тобою и всем живым, роковое пожелание быть при жизни – памятником. Трагедия гордеца с тем грустным удовлетворением, что, по крайней мере, сам виноват. За этот памятник при жизни он всю жизнь напролом боролся: не долюбить, не передать, не снизойти.

«Хотел бы я не быть Валерий Брюсов»...

только доказательство, что всю жизнь свою он ничего иного не хотел. И вот, в 1922 г. – пустой пьедестал, окруженный свистопляской ничегоков, никудыков, наплеваков. Лучшие – отпали, отвратились. Подонки, к которым он тщетно клонился, непогрешимым инстинктом низости чуя – величие, оплевывали («не наш! хорош!») Брюсов был один. Не один над (мечта честолюбца), один – вне.

«Хочу писать по-новому, – не могу!» Это признание я собственными ушами слышала в Москве в 1920 г., с эстрады Большого зала Консерватории. (Об этом вечере – после). Не могу! Брюсов, весь смысл которого был в «могу», Брюсов, который, наконец, не смог!

* * *

В этом возгласе был – волк. Не человек, а волк. Человек – Брюсов всегда на меня производил впечатление волка. Так долго – безнаказанного! С 1918 г. по 1922 г. – затравленного. Кем? Да той же поэтической нечистью, которая вопила умирающему (умер месяц спустя) Блоку: «Да разве вы не видите, что вы мертвы? Вы мертвец! Вы смердите! В могилу!» Поэтической нечистью: кокаинистами, спекулянтами скандала и сахарина, с которой он, мэтр, парнасец, сила, чары, братался. Которой, подобострастно и жалобно, подавал – в передней своей квартиры – пальто.

Оттолкнуть друзей, соратников, современников Брюсов – смог. Час не был их. Дела привязанностей – через них он переступил. Но без этих, именующих себя «новой поэзией», он обойтись не смог: их был – час!

* * *

Страсть к славе. И это – Рим. Кто из уже названных – Бальмонт, Блок, Вячеслав, Сологуб – хотел славы? Бальмонт? Слишком влюблен в себя и мир. Блок? Эта сплошная совесть? Вячеслав? На тысячелетия перерос. Сологуб?

Не сяду в сани при луне –
И никуда я не поеду!
Сологуб с его великолепным презрением?

Русский стремление к прижизненной славе считает либо презренным, либо смешным. Славолюбие: себялюбие. Славу русский поэт искони предоставляет военным и этой славе преклоняется. – А «Памятник» Пушкина?[77] Прозрение – ничего другого. О славе же прижизненной:

Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца, –
важнейшую: количественную базу – славы. Не удержусь, чтобы не привести вопль лучшего русского поэта современности: «О с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать!»

Вопль каждого поэта, особенно – русского, чем больше – тем громче. Только Брюсов один восхотел славы. Шепота за спиной: «Брюсов!», опущенных или вперенных глаз:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru «Брюсов!». Этот каменный гость был – славолюбцем. Не наше величие, для нас – смешное величие, скажи я это по-русски, звучало бы переводом: *une petitesse qui ne manque pas de grandeur*.

* * *

«Первым был Брюсов, Анненский не был первым» (слова того же поэта). Да, несравненный поэт, вы правы: единственный не бывает первым. Первый – это ведь степень, последняя ступень лестницы, первая ступень которой – последний. Первый – условность, зависимость, в линии. Единственный – вне. У неповторимого нет второго.

Два рода поэзии.

Общее дело, творимое порознь.

(Творчество уединенных. Анненский).

Честное дело, творимое совместно.

(Кружковщина. Брюсовский Институт).

Одного пророка у Брюсова не было: мелкости их. Все его пороки, с той же мелкости начиная, *en grand*. В Риме, хочется верить, они были бы добродетелями.

* * *

Слава? Любовь к тебе – миллиардов. Власть? Перед тобой – миллиардов – страх.

Брюсов не славу любил, а власть.

У каждого – свой глагол, дающий его деяния. Брюсовский – домогаться.

Есть некая низость в том, чтобы раскрывать карты поэта так, перед всеми. Кружковщины нет (презренна!), круговая порука – есть. Судить о художнике могут – так, по крайней мере, принято думать и делать – все. Судить художника – утверждаю – только художники. Художник должен быть судим судом либо товарищеским, либо верховным, – собратьями по ремеслу, или Богом. Только им да Богу известно, что это значит: творить мир тот – в мирах сих. Обыватель поэту, каков бы он в жизни ни был – не судья. Его грехи – те твои. И его пороки уже предпочтены твоим добродетелям.

Avoir les rieurs de son côté – вещь слишком легкая, эффект слишком грошевый. Я, *de mon côté*, хочу иметь не *les rieurs*, а *les penseurs*. И единственная цель этих записей – заставить друзей задуматься.

* * *

Цель прихода В. Я. Брюсова на землю – доказать людям, что может и чего не может, а главное все-таки что может – воля.

* * *

Три слова являют нам Брюсова: воля, вол, волк. Триединство не только звуковое – смысловое, и воля – Рим, и вол – Рим, и волк – Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: волей и волком – в поэзии, волком (*homo homini lupus est*) в жизни. И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, покамест в Риме – хотя бы в отдаленнейшем из пригородов его – не встанет – в чем, если не в мраморе? – изваяние:

СКИФСКОМУ РИМЛЯНИНУ

РИМ.

II. Первая встреча

Первая встреча моя с Брюсовым была заочная. Мне было 6 лет. Я только что поступила в музыкальную школу Зограф-Плаксиной (старинный белый особнячок в Мерзляковском пер., на Никитской). В день, о котором я говорю, было мое первое эстрадное выступление, пьеса в четыре руки (первая в сборнике Леберт и Штарк), партнер – Евгения Яковлевна Брюсова, жемчужина школы и моя любовь. Старшая ученица и младшая. Все музыкальные искусства пройденные – и белый лист. После триумфа (забавного свойства) иду к матери. Она в публике, с чужой пожилой дамой. И разговор матери и дамы о музыке, о детях, рассказ дамы о своем сыне Валерии (а у меня сестра была Валерия, потому запомнилось), «таким талантливом и

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru увлекающемся», пишуем стихи и имеюем недоразумения с полицией. (Очевидно, студенческая история 98–99 гг.? Был ли в это время Брюсов студентом, и какие это были недоразумения, – не знаю, рассказываю, как запомнилось). Помню, мать соболезновала (стихам? ибо напасть не меньшая, чем недоразумения с полицией). Что-то о горячей молодежи. Мать соболезновала, другая мать жаловалась и хвалила: «Такой талантливый и увлекающийся». – «Потому и увлекающийся, что талантливый». Беседа длилась. (Был антракт). Обе матери жаловались и хвалили. Я слушала.

* * *

Полиция – зачем заниматься политикой – потому и увлекающийся.

Так я впервые встретила с звуком этого имени.

III. Письмо

Первая заочная встреча – 6-ти лет, первая очная – 16-ти.

Я покупала книги, у Вольфа, на Кузнецком, – ростановского Chantclair'a, которого не оказалось. Неполученная книга, за которой шел, это в 16 лет то же, что неполученное, до востребования, письмо: ждал – и нету, нес бы – пустота. Стою, уже ища замены, но Ростан – в 16 лет? нет, и сейчас в иные часы жизни – незаменим, стою, уже не ища замены, как вдруг, за левым плечом, где ангелу быть полагается – отрывистый лай, никогда не слышанный, тотчас же узнанный:

– «Lettres de Femmes», прево, «Fleurs du mal» Бодлера, и – «Chantclair'a», пожалуй, хотя я и не поклонник Ростана.

Подымаю глаза, удар в сердце: Брюсов!

Стою, уже найдя замену, перебираю книги, сердце в горле, за такие секунды – и сейчас! – жизнь отдам. И Брюсов, настойчивым методическим лаем, откусывая и отбрасывая слова: «Хотя я и не поклонник Ростана».

Сердце в горле – и дважды. Сам Брюсов! Брюсов Черной мессы, Брюсов Ренаты, Брюсов Антония! И – не поклонник Ростана: Ростана – L'Aiglon, Ростана – Мелизанды, Ростана – Романтизма!

Пока дочувствовала последнее слово, дочувствовать которого нельзя, ибо оно – душа, Брюсов, сухо щелкнув дверью, вышел. Вышла и я – не вслед, а навстречу: домой, писать ему письмо.

* * *

Дорогой Валерий Яковлевич,

(Восстанавливаю по памяти).

Сегодня, в магазине Вольфа, вы, заказывая приказчику Chantclair'a, добавили: «хотя я и не поклонник Ростана». И не раз утвердили, а дважды. Три вопроса:

Как могли Вы, поэт, объявлять о своей нелюбви к другому поэту – приказчику?

Второе: как можете Вы, написавший Ренату, не любить Ростана, написавшего Мелизанду?

Третье: и как смогли предпочесть Ростану – Марсея Прево?

Не подошла тогда же, в магазине, из страха, что Вы примете это за честолюбивое желание «поговорить с Брюсовым». На письмо же Вы вольны не ответить.

Марина Цветаева.

Адреса – чтобы не облегчать ответа – не приложила. (Я была тогда в VI кл. гимназии, моя первая книга вышла лишь год спустя. Брюсов меня не знал, но имя моего отца знал достоверно и, при желании, ответить мог).

Дня через два, не ошибаюсь – на адрес Румянцевского Музея, директором которого состоял мой отец (жили же мы в своем доме, в Трехпрудном) – закрытка. Не открытка – недостаточно внимательно, не письмо – внимательно слишком, die

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru goldene Mitte, выход из положения – закрытка. (Брюсовское «не передать»).

Вскрываю:
«Милостивая Государыня, г-жа Цветаева,

(NB! я ему – дорогой Валерий Яковлевич, и был он меня старше лет на двадцать!)

Вступления не помню. Ответа на поэта и приказчика просто не было. Марсель Прево испарился. О Ростане же, дословно, следующее:

«Ростан прогрессивен в продвижении от XIX в. к XX в. и регрессивен от XX в. к нашим дням», (дело было в 1910 г.). «Ростана же я не полюбил, потому что мне не случилось его полюбить. Ибо любовь – случайность» (подчеркнуто).

Еще несколько слов, указывающих на желание не то встретиться, не то дальнейшей переписки, но неявно, иначе бы запомнила. И – подпись.

На это письмо я, естественно (ибо страстно хотелось!) не ответила.

Ибо любовь – случайность.

* * *

Письмо это живо, хранится с моими прочими бумагами у друзей, в Москве.

Первое письмо осталось последним.

IV. Два стишка

Первая моя книга «Вечерний альбом» вышла, когда мне было 17 лет, – стихи 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, – взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно.

Книгу издать в то время было просто: собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету, – всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII кл. По окончании печатания свезла все 500 книжек на склад, в Богом забытый магазин Спиридонова и Михайлова (почему?) и успокоилась. Ни одного экземпляра на отзыв мною отослано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы – не сделала бы: напрашиваться на рецензию! Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, нигде нельзя было достать, отзывы, тем не менее, появились – и благожелательные: большая статья Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы, статья Брюсова. Вот что мне из нее запало:

«Стихи г-жи Цветаевой обладают какой-то жуткой интимностью, от которой временами становится неловко, точно нечаянно заглянул в окно чужой квартиры...» (Я, мысленно: дома, а не квартиры!).

Середину, о полном овладении формой, об отсутствии влияний, о редкой для начинающего самобытности тем и явлении их – как незапомнившуюся в словах – опускаю. И, в конце: «Не скроем, однако, что бывают чувства более острые и мысли более нужные, чем:

«Нет! ненавистна мне надменность фарисея!»

Но, когда мы узнаем, что автору всего семнадцать лет, у нас опускаются руки»...

Для Брюсова такой подход был необычен. С отзывом, повторяю, поздравляли. Я же, из всех приятностей запомнив, естественно, неприятность, отшучивалась: «Мысли более нужные и чувства более острые? Погоди же!»

Через год вышла моя вторая книга «Волшебный фонарь» (1912 г., затем перерыв по 1922 г., писала, но не печатала) – и в ней стишок –

В. Я. Брюсову

Улыбнись в мое «окно»,

Иль к шутам меня причисли, –

Не изменишь, всё равно!

«Острых чувств» и «нужных мыслей»

Мне от Бога не дано.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Нужно петь, что всё темно,
Что над миром сны нависли...
– Так теперь заведено. –
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!
Словом, войска перешли границу. Такого-то числа, такого-то года я, никто,
открывала военные действия против – Брюсова.

Стишок не из блестящих, но дело не в нем, а в отклике на него, Брюсова.

«Вторая книга г-жи Цветаевой «Волшебный фонарь», к сожалению, не оправдала наших надежд. Чрезмерная, губительная легкость стиха...» (ряд неприятностей, которых не помню, и, в конце): «Чего же, впрочем, можно ждать от поэта, который сам признается, что острых чувств и нужных мыслей ему от Бога не дано».

Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как его слова, были явлены без кавычек. Я получалась – дурой. (Валерий Брюсов, «Далекое и близкое», книга критических статей).

Рипост был мгновенный. Почти вслед за «Волшебным фонарем» мною был выпущен маленький сборник из двух первых книг, так и называвшийся «Из двух книг», и в этом сборнике, черным по белому:

В. Я. Брюсову
Я забыла, что сердце в вас – только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти – критика. Ранний старик.
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом.

* * *

Любопытно, что этот стих возник у меня не после рецензии, а после сна о нем, с Ренатой, волшебного, которого он никогда не узнал. Упор стихотворения – конец его, и я бы на месте Брюсова ничего, кроме двух последних слов, не вычитала. Но Брюсов был плохой читатель (душ).

* * *

Отзыва, на сей раз, в печати не последовало, но «в горах» (его крутой души)
«отзыв» длился – всю жизнь.

* * *

Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих чувств, точнее: в молодом опыте вражды значил для меня несравненно больше, чем я – в его утомленном опыте. Во-первых, он для меня был Брюсов (твердая величина), меня не любящий, я же для него – X, его не любящий и значущий только потому и тем, что его не любящий. Я не любила Брюсова, он не любил кого-то из молодых поэтов, да еще женщину, которых, вообще, презирал. Этого у меня к нему не было – презрения, ни тогда, на вершине его славы, ни спустя, под обломками ее. Знаю это по волнению, с которым сейчас пишу эти строки, непогрешимому волнению, сообщаемому нам только величием. Дерзала – да, дерзила – да, презирала – нет. И, может быть, и дерзала-то и дерзила только потому, что не умела (не хотела?) иначе выявить своего, сильнеешего во мне, чувства ранга. Словом, если перенести нашу встречу в стены школы, дерзила директору, ректору, а не классному наставнику. В моем дерзании было благоговение, в его задетости – раздражение. Значительность же вражды в прямой зависимости от значительности объекта. Посему в этом романе нелюбви в выигрыше (ибо единственный выигрыш всякого нашего чувства – собственный максимум его) – в выигрыше была я.

V. «Семья поэтов»

Той же зимой 1911 г. – 1912 г., между одним моим рифмованным выпадом и другим, меня куда-то пригласили читать – кажется, в «О-во Свободной Эстетики». (Должны были читать все молодые поэты Москвы). Помню какую-то зеленую комнату, но не главную, а ту, в которой ждут выхода. Черная густая мужская группа поэтов и, головой превышая, действительно оглавляя – Брюсов. Вхожу и останавливаюсь, выжидая чьего-нибудь первого шага. Он был сделан тотчас же – Брюсовым.

– А это – поэтесса Марина Цветаева. Но так как «все друзья в семье поэтов», то можно (поворот ко мне) без рукопожатий.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

(Не предвосхищенное ли советское «рукопожатия отменяются», но у советских – из-за чесотки, а у Брюсова из-за чего?)

Нацеливаюсь на, из всей группы единственного мне знакомого – Рубановича, подхожу и здороваюсь за руку, затем с ближайшим его соседом: «Цветаева», затем с соседом соседа, затем с соседом соседа соседа, и так на круговую, пока не перездоровалась со всеми, – всеми, кроме Брюсова. Это – человек было около двадцати – все-таки заняло известное время, тем более, что я, природно-быстрая, превратила проформу в чувство, обычай – в обряд. В комнате «царило молчание». Я представлялась: «Цветаева». Брюсов ждал. Пожав двадцатую руку, я скромно вышла из круга и стала в сторонке, невинно, чуть не по-институтски. И, одновременно, отрывистый, всей пастью, лай Брюсова:

– А теперь, господа, можно и начинать?

* * *

Чего хотел Брюсов своей «семьей поэтов»? Настолько, де, друзья, что и здороваться не стоит? Избавить меня от двадцати чужих рук и одной моей? Себя – от пяти минут бездействия? Щадил ли предполагаемую застенчивость начинающего? Может быть, одно из перечисленных, может быть, всё вместе, а вернее всего подсознательное нежелание близкого, человеческого (и, посему, обязывающего), через ладонь, знакомства. Отскок волка при виде чужой породы. Чутье на чужость. Инстинкт.

Так это и пошло с тех пор, обмен кивками. С каждым разом становилось все позднее и позднее для руки. Согласитесь, что проздоровавшись десять лет подряд всухую, неловко как-то, неприлично как-то, вдруг ни с того ни с сего – за руку.

Так я и не узнала, какая у Брюсова ладонь.

VI. Премированный щенок
«Il faut à chacun donner son joujou».

E. Rostand

Был Сочельник 1911 г. – московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина:

Но Эдмонда не покинет
Дженни на небесах.

– Вот бы вам взять приз – забавно! Представляю себе умиление Брюсова! Допустим, что Брюсов – Сальери, знаете, кто его Моцарт?

– Бальмонт?

– Пушкин!

Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час последнего дня (предельный срок был Сочельник) – идея была соблазнительной! Но – стих на тему! [78] Стих – по заказу! Стих – по мановению Брюсова! И второй камень преткновения, острейший, – я совсем не знала, кто Эдмонда, мужчина или женщина, друг или подруга. Если родительный падеж: кого-чего? – то Эдмонд выходил мужчиной, и Дженни его не покинет, если же именительный падеж: кто-что? – то Эдмонда – женщина и не покинет свою подругу Дженни. Камень устранился легко. Кто-то, рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пушкина на «Пире во время чумы» и удостоверил мужественность Эдмонда. Но время было упущено: над Москвой, в звездах и хлопьях, оползал Сочельник.

К темноте, перед самым зажжением елок, я стояла на углу Арбатской площади и передавала седому посыльному в красной шапке конверт, в котором еще конверт, в котором еще конверт. На внешнем был адрес Брюсова, на втором (со стихами) девиз (конкурс был тайный, с обнаружением автора лишь по присуждению приза), на третьем – тот же девиз, с пометкой: имя и адрес. Нечто вроде моря-окияна, острова Буяна и Кашеевой смерти в яйце. «Письмецо» я Брюсову посылала на дом, на Цветной бульвар, в виде подарка на елку.

Каков же был девиз? Из Ростана, конечно:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

«Il faut à chacun donner son joujou»[79].

E. Rostand

Каков же был стих? Не на тему, конечно, стих, написанный вовсе не на Эдмонда, за полгода до, своему Эдмонду, стих не только не на тему, а обратный ей и, обратностью своей, подошедший.

Вот он:

«Но Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах».

Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю.

Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю[80].

Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где всё – покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.

Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!

Воспоминанье слишком давит плечи.

Настанет миг – я слез не утаю..

Ни здесь, ни там – нигде не надо встречи,
И не для встреч проснемся мы в раю!

Стих этот я взяла из уже набравшегося тогда «Волшебного фонаря», вышедшего раньше выдачи, но уже после присуждения премий. («Волшебный фонарь», стр. 75).

* * *

С месяц спустя – я только что вышла замуж – как-то заходим с мужем к издателю Кожебаткину.

– Поздравляю вас, Марина Ивановна!

Я, думая о замужестве:

– Спасибо.

– Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это вы, решил вам, за молодостью, присудить первый из двух вторых.

Я рассмеялась.

* * *

Получать призы нужно было в «0-ве Свободной Эстетики». Подробности стерлись. Помню только, что когда Брюсов объявил: «Первого не получил никто, первый же из двух вторых – Г-жа Цветаева», – по залу прошло недоумение, а по моему лицу усмешка. Затем читались, кажется, Брюсовым же, стихи, после «премированных» (Ходасевич, Рафалович, я) – «удостоившиеся одобрения», не помню чьи. Выдача самих призов производилась не на эстраде, а у входного столика, за которым что-то вписывала и выписывала милая, застенчивая, всегда всё по возможности сглаживавшая и так выигрывавшая на фоне брюсовской жестокости – жена его, Жанна Матвеевна.

Приз – именной золотой жетон с черным Пегасом – непосредственно Брюсовым – из руки в руку – вручен. Хоть не в рукопожатии, но руки встретились! И я, продевая его сквозь цепочку браслета, громко и весело:

– Значит, я теперь – премированный щенок?

Ответный смех залы и – добрая – внезапная – волчья – улыбка Брюсова. «Улыбка» – условность, просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка? Улыбка! Только не наша, волчья. (Оскал, осклаб, ощер.)

Тут я впервые догадалась, что Брюсов – волк.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
* * *

Если не ошибаюсь, в тот же вечер я в первый (и единственный) раз увидела поэтессу Львову. Невысокого роста, в синем скромном, черно-глазо-брово-головая, яркий румянец, очень курсистка, очень девушка. Встречный, к брюсовскому наклону, подъем. Совершенное видение мужчины и женщины: к запрокинутой гордости им – снисхождение гордости собой. С трудом сдерживаемая кругом ошастливленность.

Он – охаживал.

Часть вторая

Революция

I. Лито

Премированным щенком заканчивается мой юношеский эпизод с Брюсовым. С 1912 г. по 1920 г. мы – я жила вне литературной жизни – не встречались.

Был 1919 г. – самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню, кто, кажется, Ходасевич надоумил меня снести книгу стихов в Лито[81]. – «Лито ничего не печатает, но все покупает». Я: «Чудесно». – «Отделом заведует Брюсов». Я: «Чудесно, но менее. Он меня не выносит». – «Вас, но не ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все-таки – пять дней хлеба».

Переписала «Юношеские стихи» (1913 г. – 1916 г., до сих пор неизданные) и «Версты» I (изданы в 1922 г. Госиздатом) и, взяв в правую – пятилетнюю тогда ручку своей дочери Али, в левую – рукопись, пошла пытаться счастья в Лито. Никитская, кажется? Брюсова не было, был кто-то, кому я рукописи вручила. Вручила и кануло – и стихи и я.

Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала о них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженной, вовремя не спрошенной и потому уже – не моей. Всё же, как-то собралась. Прихожу в Лито: пустота: Буданцев. – «Я пришла узнать про две книги стихов, сданных около году назад». Легкое смущение, и я, вырывая: «Я бы очень хотела получить обратно рукопись, – ведь ничего, очевидно, не вышло?» Буданцев, радостно: «Не вышло, не вышло, между нами – Валерий Яковлевич очень против вас». – «Здесь и малого достаточно. Но рукописи – живы?» – «Живы, живы, сейчас верну». – «Чудесно. Это больше, чем в наши дни может требовать поэт».

Итак, домой с рукописями. Дома раскрываю, листаю, и – о сюрприз – второй в жизни автограф Брюсова! В целых три строчки отзыв – его рукой!

«Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны». Нет, еще что-то было, запомнила, как всегда, высшую ноту – конец. Зрительное же впечатление именно трех строк брюсовского сжатого, скупого, озабоченного почерка. Что могло быть в тех полутора? Не знаю, но хуже не было. Отзыв сей, вместе с прочими моими бумагами, хранится у друзей, в Москве. Развитием римской формулировки Брюсова – российски-пространная (на сей раз машинная) отписка его поклонника, последователя и ревнителя – С. Боброва. «До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти...» Это о «Юношеских стихах», о «Верстах» же помню всего одно слово, да и то не точно, вижу его написанным, но прочесть не могу, вроде «гносеологические», но означающие что-то, касающееся ритмики. «Стихи написаны тяжелым, неудобоваримым, «гносеологическим» ямбом»... Брюсов дал тему, Бобров провариировал, в итоге – рукописи на руках.

Госиздат в 1922 г., в лице цензора коммуниста Мещерякова, оказался и сговорчивее и великодушнее.

* * *

(Написав слово «цензор», вдруг осознала: до чего само римское звучание соответствовало Брюсову! Цензор, ментор, диктатор, директор, цербер...)

* * *

Потом Буданцев, при встрече, горячо и трогательно просил отзывы вернуть. – «Вам не полагалось их читать, это мой недосмотр, с меня взыщут!»

– Помилуйте, да ведь это же мой titre de nobless, тютчевский патент на благородство, почетный билет всюду, где чтят поэзию!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Перепишите и верните подлинники!

– Как! Я – отдать автограф Брюсова? Автограф автора «Огненного Ангела»? (Пауза).
Отдать, когда можно – продать? Уеду за границу и там продам, так и передайте
Брюсову!

– А отзыв Боброва? Ну, хоть Боброва верните!

– А Боброва за компанию. Три строки Брюсова – столько-то, в придачу четыре
страницы Боброва. Так и передайте Боброву.

Отшучивалась и оставалась непреклонной.

II. Вечер в консерватории
(Запись моей, тогда семилетней, дочери Али) [82]
Никитская, 8.

Вечер в Б. Зале Консерватории

Темная ночь. Идем по Никитской в Большой зал Консерватории. Там будет читать
Марина и еще много поэтов. Наконец, пришли. Долго бродим и ищем поэта В. Г.
Шершеневича. Наконец, маме попадетсЯ знакомый, который проводит нас в маленькую
комнатку, где уже сидели все, кто будет читать. Там сидел старик Брюсов с
каменным лицом, (после вечера я спала под его пальто). Я просила Марину поиграть
на рояле, но она не решается. Скоро после того как мы вошли, я начала говорить
стихи мамы к Брюсову, но она удержала меня. К маме подошел какой-то человек с
завитыми волосами и в синей рубашке. Вид был наглеца. Он сказал: «Мне передали,
что вы собираетесь выйти замуж». – «Передайте тем, кто так хорошо осведомлен,
что я сплю и во сне вижу увидеться с Сережей, Алиным папой» [83]. Тот отошел.
Скоро стал звонить первый звонок. К маме подошел Буданцев и пошел с ней на
эстраду. Я пошла с ней. Эстрада похожа на сцену. Там стоит ряд стульев. Там
сидели Марина, я и еще много народу. Первый раз вышел Брюсов. Он прочел
вступительное слово, но я там ничего не слушала, потому что не понимала.

Затем вышел имажинист Шершеневич. Он читал про голову, на голове стоит
ботанический сад, на ботаническом саду стоит цирковой купол, а на нем сажу я и
смотрю в чрево женщины, как в чашу. Бедные машины, они похожи на стадо гусей, то
есть на трехугольник. Весна, весна, ей радуются автомобили. И всё вроде этого.
Потом стал читать стихи Брюсов. После него вышла маленькая женщина с дуговатыми
зубами. Она была в рваной фуфайке, с кротким лицом. У нее точно не было ни
крыльев, ни шерсти, ни даже шкуры. Она держала в руках свое тощее тело и не
может ни приручить его к себе ни расстаться с ним. Наконец вызвали маму. Она
посадила меня на свое место, а сама подошла к читальному столу. Глядя на нее,
все засмеялись. (Наверное оттого, что она была с сумкой) [84]. Она читала стихи
про Стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких иностранных слов. Она стояла как
ангел. Весь народ в зале так смотрел на читающего, как ястреб или сова на
беззащитную птицу. Какой-то имажинист сказал: «Посмотри-ка. На верхних ложах
сидят «одинокие». Они не держатся стаей». Она читала не очень громко. Один
мужчина даже встал и подошел ближе к эстраде. Стенька Разин, три стиха о том,
как он любил персианочку. Потом его сон, как она пришла к нему за башмачком,
который уронила на корабле. Потом она, когда кончила, поклонилась [85], чего
никто не делал. Ей рукоплескали коротко, но все. Марина села опять на свое
место, посадив меня на колени. После нее стал читать драму какой-то молодой
черный человек, который сидел бок о бок с нами. Начало: под потолком в цирке на
тоненькой веревочке висит танцовщица, а под ней стоит горбач и хвалит ее. «Аля!
Уйдем отсюда! Это будет долго длиться». «Нет Марина, посмотрим как будет».
Марина просила и я, наконец, согласилась. Мы вышли и прошли в потайную комнату.
Там не было никого, кроме какой-то женщины, которая недавно приехала из деревни.
Я с совершенно ослеплым видом села на стул и мама предложила мне лечь пока
никто не пришел. Я согласилась с удовольствием. Я легла. Деревенская женщина
предложила меня покрыть и Марина накрыла чьим-то пальто. Вскоре после того, как
я легла, ввалилась вся толпа поэтов. В комнатке было только четыре стула. Люди
садились на столы, на подоконники, а я, хоть и слыхала смутно, что они садились
на столы, на подоконники, а я, хоть и слыхала смутно, что они садились даже на
рояль, только протягивала ноги. Около самой распертой ручки примостилась мама с
тощей поэтессой. «Она спит». – «Нет, у ней глаза открыты». – «Аля, ты спишь?» –
«Нет». Белые точки, головки, лошадки, мужики, дети, дома, снег... Круглый сад с
серыми грядками. Решетка черная. Серый цирковой купол с крестом. А под

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru ботаническим садом красная трехугольная чаша. Это мне приснились стихи сумасшедшего Шершеневича. Очнувшись, сбрасываю с себя одеяло из пальто на вольчьем меху. Мама совсем задушена моими ногами. Поэты ходят, сидят на полу. Я села на диване. Мама обрадовалась, что я могу дать место другим. У стола стоят два человека. Один в летнем коротком пальто, другой в зимней дохе. Вдруг короткий понесся к двери, откуда вошел худой человек с длинными ушами[86]. «Сереза, милый дорогой Сереза, откуда ты?» – «Я восемь дней ничего не ел». – «А где ты был, наш Серезенька?» – «Мне дали пол-яблока там. Даже воскресенья, не празднуют. Ни кусочка хлеба там не было. Едва едва вырвался. Холодно. Восемь дней белья не снимал. Ох, есть хочется!» – «Бедный, а как же ты вырвался?» – «Выхлопотали». – Все обступили и стали расспрашивать. Скоро мама получила 10 советских и мы стали собираться в поход. Я стала искать свои варежки и капор. Наконец, мы снарядились и пошли. Мы вышли каким-то извилистым черным ходом в темный двор Большой Консерватории. Мы вышли. По всей Никитской стоят[87] фонари. Горит примус где-то в окне. Лаёт собака. Я всё время падаю и мы идем и разговариваем о Брюсове. Освещены витрины с куклами, с книгами[88]. Я сказала: «Брюсов – камень. Он похож на дедушку Лорда Фаунтельроя. Его может полюбить только такое существо, как фаунтельрой. Если бы его повели на суд, он бы ложь говорил как правду, а правду как ложь».

* * *

Москва, начало декабря 1920 г.

Несколько дней спустя, читая «Джунгли».

– Марина! Вы знаете – кто Шер-Хан? – Брюсов! – Тоже хромой и одинокий, и у него тоже Адалис. (Приводит): «А старый Шер-Хан ходил и открыто принимал лесть»... Я так в этом узнала Брюсова! А Адалис – приبلуда, из молодых волков.

* * *

Восполню пробелы. Войдя со мной в комнату и сразу, по моему описанию, распознав Брюсова, Аля уже жила исключительно им. Так, все предложения поиграть на рояле – исключительно для него, продержаться в страхе: а что – заиграю? Брюсов усиленно не глядел, явно насторожась, чуя, что неспроста, и не зная, во что разыграется (Telle mère, telle fille). В случае чего, положение выходило нелепейшее: с семилетними (а выглядела она, по советскому худосочию, пятилетней) не связываются. (Убеждена, что считался и с двухлетними!).

Примечание второе. Декламация моих стихов к Брюсову – Брюсову же – экспромт, от которого я похолодела. Чувство, что в комнате сразу стало тесно, – не комната, а клетка, и не только волк в ней – я с ним! Точное чувство совместной запертости с волком, с той же, первых секунд, неловкостью и зверя и человека. Но было и другое. Здесь, в этой спертости почти лоб в лоб, при стольких свидетелях! услышать от семилетнего, с такими чудесными глазами! ребенка – браваду его, так еще недавно семнадцатилетней, матери. Ушами услышать! Воушию! Был бы Брюсов глубок, будь у него чувства более острые, чем: Брюсов! (нужных мыслей у него было вдоволь) – перешагни он через себя, он бы оценил эту повторяемость явлений...

Я забыла, что сердце в вас – только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!

Что поэзия ваша – из книг...

Остановилась на первой, остановилась на третьей строке. Но была, в этом вызове, кроме мести за меня, унаследованная от меня и тотчас же мною узнанная – влюбленность вражды. И, если стих внезапно не окончился поцелуем – то только из застенчивости. (Такой породы в ласке робки, не в ударе).

* * *

Что думал? Невоспитанная девочка? Нет, воспитанная. Подученная мною? Явно – нет, он же видел чистоту моего испуга. Не понравиться – внешне – тоже не могла (Вячеслав Иванов: «Раскрывает сердце и входит»). Думаю, что единственное, что он думал: «Скорей бы» И – о ужас! – он на эстраду, она (со мной) – за ним! Сидим чуть ли не рядом. Что еще ждет? Какой «экспромт»?

К его чести скажу, что волчьей шубы своей с нее, спящей, он не снял, хотя спешил. Покашливал и покашливал. Во оправдание же свое скажу, что именно его шубы не выбирала. Просто – меховая! Хорошо под мехом! Аля сможет сказать: «Я спала под шкурой врага».

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
О руке же, не снявшей:

Если умру я, и спросят меня:
«В чем твое доброе дело?»
Молвлю я: «Мысль моя майского дня
Бабочке зла не хотела».

(Бальмонт)

III. Вечер поэтесс

«Не очень много шили там,
И не в шитье была там сила»...

Летом 1920 г., как-то поздно вечером ко мне неожиданно вошла... вошел... женский
голос в огромной шляпе. (Света не было, лица тоже не было).

Привыкшая к неожиданным посещениям – входная дверь не запиралась – привыкшая ко
всему на свете и выработавшая за советские годы привычку никогда не начинать
первой, я, вполоборота, ждала.

– Вы Марина Цветаева? – Да. – Вы так и живете без света? – Да. – Почему же вы не
велите починить? – Не умею. – Чинить или велеть? – Ни того, ни другого. – Что же
вы делаете по ночам? – Жду. – Когда зажжется? – Когда большевики уйдут. – Они не
уйдут никогда. – Никогда.

В комнате легкий взрыв двойного смеха. Голос в речи был протяжен, почти что
пенье. Смех явствовал ум.

– А я Адалис. Вы обо мне не слыхали? – Нет. – Вся Москва знает. – Я всей Москвы
не знаю. – Адалис, с которой – которая... Мне посвящены все последние стихи
Валерия Яковлевича. Вы ведь очень его не любите? – Как он меня. – Он вас не
выносит. – Это мне нравится. – И мне. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы
ему никогда не нравились. – Никогда.

Новый смех. Волна обоюдной приязни растет.

– Я пришла спросить вас, будете ли вы читать на вечере поэтесс. – Нет. – Я так и
знала и сразу сказала В. Я. Ну, а со мной одной будете? – С вами одной, да. –
Почему? Вы ведь моих стихов не знаете. – Вы умны и остры и не можете писать
плохих стихов. Еще меньше – читать. (Голос вкрадчиво): – Со мной и с Радловой? –
Коммунистка? – Ну, женский коммунизм... – Согласна, что мужской монархизм лучше.
(Пауза). Донской. Но, шутки в сторону, партийная или нет? – Нет, да нет же! – И
вечер совершенно вне? – Совершенно вне. – Вы, Радлова и я. – Вы, Радлова и я. –
Платить будут? – Вам заплатят. – О, не скажите! меня любят, но мне не платят. –
Брюсов вас не любит и вам заплатит. – Хорошо, что Брюсов меня не любит! –
Повторяю, не выносит. Знаете, что он сказал, получив ваши рукописи? «Я высоко
ценю ее, как поэта, но как женщину я ее не выношу, и она у меня никогда не
пройдет!» – Но ведь стихи предлагал поэт, а не женщина! – Знаю, говорила –
говорила – непереубедим. Что у вас, собственно, с ним было?

Рассказываю, смеясь, то, что читатель уже знает. Адалис: – Он мстителен и
злопамятен. – Я никогда не считала его ни христианином, ни славянином. – И,
временами, непомерно мелок. – За «непомерно» прощаю.

* * *

С поэтессой Адалис мы, если не подружались, приятельствовали. Она часто забегала
ко мне, чаще ночью, всегда взволнованная, всегда голодная, всегда неожиданная,
неизменно-острая. – В. Я. меня к вам ревнует, я постоянно говорю о вас. – С
целью или без цели? – И так и так. От одного звука вашего имени у него лицо
темнеет. – Зачем темнить? И так не из светлых.

Внешность Брюсова. Первое: негибкость, негнушность, вплоть до щетины брызжущих из
черепа волос («бобрик»). Невозможность изгиба (невозможность юмора, причуды,
impévi – всего, что относится к душевной грации). Усы – как клыки, характерное
французское en gros. Усы нападчика, шевелящиеся в гневе. Форма головы – конус,
посадка чуть кверху, взирание и вызов, неизменное свысока. Волевой,
наполеоновский, естественнейший – сосредоточенной воли жест! – скрещивать руки.
Руки вдоль тела – не Брюсов. Либо перо, либо крест. В раскосости и скуластости –
перекличка с Лениным. Топорная внешность, топором, а не резцом, но крепко, но
метко. При негодности данных – сильнейшее данное (не дано, дал).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Здесь, как в творчестве, Брюсов явил из себя всё, что мог.

* * *

А глаза каре-желтые, волчьи.

* * *

(Уже по написании этих строк. Одна моя знакомая, на мой вопрос, какое у него было лицо, с гениальностью женской непосредственности: «Не знаю, какое-то... обутое»).

* * *

У Адалис же лицо было светлое, рассмотрела белым днем в ее светлейшей светелке во Дворце Искусств (уг. Поварской и Кудринской, д. гр. Соллогуба). Чудесный лоб, чудесные глаза, весь верх из света. И стихи хорошие, совсем не брюсовские, скорее мандельштамовские, явно-петербургские. (Брюсов совершенно вне элементарного, но в чем-то правильного деления русской поэзии на Москву и Петербург).

«Все говорят, что Брюсов мне их выправляет, – жаловалась она, – но, уверю вас...» – Вам нечего уверять. Брюсову на поэтесс везет, и если выправлять, то во всяком случае, не ему в данный час, ваши. – «Что вы думаете о его стихах?» – Думаю? многое. Чувствую? ничего. – «Но большой мастер». – Но большой мастер.

* * *

Вот один из рассказов Адалис о Брюсове. Рассказ, от которого у меня сердце щемит:

«У В. Я. есть приемш, четырехлетний мальчик, он его нежно и трогательно любит, сам водит гулять и особенно любит всё ему объяснять по дороге. «Вот это называется фронтон. Повтори: фронтон». – «Фронтон». – «А эта вот колонна – дорическая. Повтори: дорическая». – «Дорическая». – «А эта вот, завитком, ионический стиль. Повтори!» – «Ионический». И т. д., и т. д. И вот, недавно, – он мне сам рассказывал – собачка навстречу, с особенным каким-то хвостом, закорючкой. И мальчик Брюсову: – «А эта собачка – какого стиля? Ионийского или Дорийского?»

* * *

Наше совместное выступление с Адалис состоялось больше полугода спустя, кажется, в феврале 1921 г. Нельзя сказать, чтобы меня особенно вдохновили голубые афиши «Вечер поэтесс» – перечень девяти имен – со вступительным словом Валерия Брюсова. Речь шла о трех, здесь трижды три, вместо выступления – выставка. От одного такого женского смотра я в 1916 г. уже отказалась, считая, что есть в поэзии признаки деления более существенные, чем принадлежность к мужескому или женскому полу, и отродясь, брезгуя всем, носящим какое-либо клеймо женской (массовой) отдельности, как-то: женскими курсами, суффражизмом, феминизмом, армией спасения, всем пресловутым женским вопросом, за исключением военного его разрешения: сказочных царств Пенфезилеи – Брунгильды – Марьи Моревны – и не менее сказочного петроградского женского батальона. (За школы кройки, впрочем, стою.) Женского вопроса в творчестве нет: есть женские, на человеческий вопрос, ответы, как-то: Сафо – Иоанна д'Арк – Св. Тереза – Беттина Brentano. Есть восхитительные женские вопли (Lettres de M^{lle} de Lespinasse), есть женская мысль (Мария Башкирцева), есть женская кисть (Rosa Bonheur), но всё это – уединенные, о женском вопросе и не подозревавшие, его этим неподозрением – уничтожавшие (уничтожившие).

Но Брюсов, этот мужчина в поэзии par excellence, этот любитель пола вне человеческого, этот нелюбитель душ, этот: правое – левое, черное – белое, мужчина – женщина, на такие деления и эффекты, естественно, льстился. Только вспомнить его «Стихи Нелли», – анонимную книгу от лица женщины, выдавшую автора именно бездушностью своей, – и удивительное по скудосердию предисловие к стихам Каролины Павловой. И не только на деление мужчина – женщина льстился, – на всякие деления, разграничения, разъятия, на всё, что подлежало цифре и графе. Страж при сорока-четырёх-разрядном кладбище – вот толкование Брюсовым вольного братства поэзии и его роль при нем. Для Брюсова поэт без «ист» не был поэтом. Так, в 1920 г., кажется, на вопрос, почему на вечер всех поэтических направлений («кадриль литературы») не были приглашены ни Ходасевич, ни я, его ответ был: «Они – никто. Под какой же я их поставлю рубрикой?» (Думаю, что для Ходасевича, как для меня, только такое «никто» – лишний titre de noblesse).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Брюсов всю жизнь любопытствовал женщинам. Влекся, любопытствовал и не любил. И тайна его разительного неуспеха во всем, что касается женской Психеи, именно в этом излишнем любопытствовании, в этом дальнейшем разъятии и так уже трагически разъятого, в изъятии женщины из круга человеческого, в этом искусственном обособлении, в этом им самим созданном зачарованном ее кругу. Волей здесь не возьмишь, и невольно вспоминается прекрасный перевод из весьма посредственного поэта:

Спросили они: «Как красавиц привлечь.
Чтоб сами, без чары, на страстную речь
Оне нам в объятия пали?»
– Любите! – оне отвечали.
* * *

Было у Брюсова все: и чары, и воля, и страстная речь, одного не было – любви. И Психея – не говорю о живых женщинах – поэта миновала.

* * *

Вечер поэтесс был объявлен в Большом зале Политехнического Музея. Помню ожидальную, бетонную, с одной-единственной скамейкой и с пустотой от – точно только что вынесенной – ванны. Поэтесс, по афише соответствовавших числу девять (только сейчас догадалась – девять Муз! Ах, ложноклассик!), казалось не девять, а трижды столько. Под напором волнения, духов, повышенных температур (многие кашляли), сплетен и кокаина, промерзлый бетон поддался и потек. В камерке стоял пар. Сквозь пар белесые же пятна – лица, красные кляксы – губы, черные *сiгсonflех'ы* – брови. Поэтессы, при всей разномастности, удивительно походили друг на друга. Поименно и полично помню: Адалис, Бэнар, поэтессу Мальвину и Поплавскую. Пятая – я. Остальные, в пару, испарились. От одной, впрочем, уцелел малиновый берет, в полете от виска до предельно спущенного с одного плеча выреза, срезавший ровно пол-лица. В этой параллельной асимметрии берета и выреза была неприятная симметрия: симметрия двух кривизн. Одеты были поэтессы, кроме Адалис (в закрытом темном), соответственно темам и размерам своих произведений – вольно и, по времени (1921 г.) роскошно. Вижу одну, высокую, лихорадочную, сплошь танцующую – туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Она была страшна и очаровательна, тем десятого сорта очарованием, на которое нельзя не льститься, стыдятся льститься, на которое бесстыдно, во всеулышание – лыщусь. Из зрительных впечатлений, кроме красного берета и чахоточных мехов, уцелел еще гамэновсий очерк поэтессы Бэнар – головка Гавроша на вольном стволе шеи – и, тридцатых годов, подчеркнуто – неуместно – нестерпимо-невинное видение поэтессы Мальвины, – «стильной» вплоть до голубых стеклянных бус под безоблачным полушарием лба.

Выставка, внешне, обещала быть удачной. Брюсов не прогадал.

* * *

Не упомянуть о себе, перебрав, приблизительно, всех, было бы лицемерием, итак: я в тот день была явлена «Риму и Миру» в зеленом, вроде подрясника, – платьем не назовешь (перефразировка лучших времен пальто), честно (то есть – тесно) стянутом не офицерским даже, а юнкерским, 1-ой Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже, сумка (коричневая, кожаная, для полевого бинокля или папирос), снять которую сочла бы изменой и которую сняла только на третий день по приезде (1922 год) в Берлин, да и то по горячим просьбам поэта Эренбурга. Ноги в серых валенках, хотя и не мужских, по ноге, в окружении лакированных лодочек, глядели столпами слона. Весь же туалет, в силу именно чудовищности своей, снимал с меня всякое подозрение в нарочитости («*ne reut pas qu'í veut*»). Хвалили тонкость тальи, о ремне молчали. Вообще скажу, что в чужом мне мире профессионалок наркотической поэзии меня встретили с добротой. Женщины, вообще, добрей. Мужчины ни голодных детей, ни валенок не прощают. Та же П-ская, убеждена, тотчас же сняла бы с плеч свои соболя, если бы я ей сказала, что у меня голодает ребенок. Жест? Да. И цельнее жеста Св. Мартина, царственно с высоты коня роняющего нищему половину (о ирония!) плаща. (Самый бездарный, самый мизерный, самый позорный из всех жестов даяния!).

Берёт, соболя, 30-тых годов пробор, Гаврош, мой подрясник (об Адалис особо), – если не прогадал Брюсов, не прогадал и зал.

* * *

Вспомнила в процессе переписки, еще двух: грузинскую княжну, красивую, с,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru кажется, неплохими стихами, и некую Сусанну – красавицу – совсем без стихов.

* * *

Эстрада. Эстрада место явное. Явленность же и в самом звуке. «Здравствуй! радуйтесь!» Эстрада: поднятая от земли площадь, и самочувствие на ней – самочувствие на плацдарме, перед ликом толп, конного. Страсти эстрады – боевые. Уж одно то, что ты фактически – физически – выше всех, создает друзей и врагов. То, что терпимо и даже мило в комнате («нет техники, но есть чувство», «нет размера, но есть чувство», «нет голоса, но есть чувство»), на эстраде – преступно. Превысив – хотя бы на три пяди! средний уровень паркета, ты этим обязался на три сажени превысить средний (салонный) уровень в твоём искусстве. У эстрады свой масштаб: беспощадный. Место, где нет полумер. Один против всех (первый Скрябин, например), или один за всех (последний Блок, например), в этих двух формах – формула эстрады. С остальным нужно сидеть дома и увеселять знакомых.

Эстрада Политехнического Музея – не эстрада. Место, откуда читают – дно морей. Выступающий – утопленник (утопающий), на которого давит всё людское море, или же жертва, удушенная кольцевыми движениями удава (амфитеатр). Зритель на являемого – наваливается. Голос являемого – глас из глубины морей, вопль о помощи, не победы. Если освистан – конец, ибо даже того, чисто физически встающего утешения нет, что снизу. Освищенный на подмостках проваливается только до среднего уровня (зрителя), освищенный в Политехническом Музее – ниже возможного, в тартарары. Тебя освищает весь человеческий верх, вся идея верха. Эмпиреи, освищающие Тартар. И не только освищающие. Притяжение ли бездны, выявление ли чувства власти и легкости, но высота особенно располагает к швырянию предметов. Стадное чувство безнаказанности, единоличное чувство иерархически-топографического превосходства, тут же переходящее в превышение прав. Политехнический Музей – незаменимое место стадной наглости и убийственное – для авторской робости. Макс Волошин однажды (доклад о Репине) героически с ним совладал.

И, догадалась, эстрада Политического Музея – просто арена, с той разницей, что тигры и львы – сверху.

Итак, арена. Мороз. И постепенным повышением взгляда – точно молясь на зрителя! – полупечи, ожерелья, лампийные гирлянды – лиц. (Кстати, почему лица, в наш век бескровные, в 1920 же году явно зеленые, с эстрады – неизменно розовые?) Гляжу на поэтесс: синие. Зал – три градуса ниже нуля, ни одна не накинёт пальто. Вот он, героизм красоты. По грубоватости гула и сильному запаху голенищ заключаю, что зал молодой и военный.

Пока Брюсов переживает – так и не наступающую тишину, вчувствываюсь в мысль, что отсюда, с этого самого места, где стою (посмешищем), со дна того же колодца так недавно еще подымался голос Блока. И как весь зал, задержав дыхание, ждал. И как весь зал, опережая запинку, подсказывал. И как весь зал – отпустив дыхание – взрывался! И эту прорванную плотину – стремнину – лавину – всех к одному, – который один за всех! – любви.

– Товарищи, я начинаю.

Женщина. Любовь. Страсть. Женщина, с начала веков, умела петь только о любви и страсти. Единственная страсть женщины – любовь. Каждая любовь женщины – страсть. Вне любви женщина, в творчестве, ничто. Отнимите у женщины страсть... Женщина... Любовь... Страсть...

Эти три слова, всё в той же последовательности, возвращались через каждые иные три, возвращались жданно и неожиданно, как цифры выскакивают на таксометре мотора, с той разницей, что цифры новые, слова ж всё те ж. Уши мои, уже уставшие от механики, под волосами навострялись. Что до зала, он был безобразен, непрерывностью гула вынуждая лектора к все большей и большей смысловой и звуковой отрывистости. Казалось – зал читает лекцию, которую Брюсов прерывает отдельными выкриками. Стыд во мне вставал двойной: таким читать! такое читать! с такими читать! Тройной.

Итак: женщина: любовь: страсть. Были, конечно, и иные попытки, – поэтесса Ада Негри с ее гуманитарными запросами. Но это исключение и не в счет (даю почти дословно). Лучший пример такой односторонности женского творчества являет собой...

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru являет собой... – Пауза. – Являет собой... товарищи, вы все знаете... Являет собой известная поэтесса... (с раздраженной мольбой): – Товарищи, самая известная поэтесса наших дней... Является собой поэтесса...

Я, за самой его спиной, вполголоса, явственно: – Львова?

Передерг плечей и – почти что выкриком: – Ахматова! Являет собой поэтесса – Анна – Ахматова...

...Будем надеяться, что совершающийся по всему миру и уже совершившийся в России социальный переворот отразится и на женском творчестве. Но пока, утверждаю, он еще не отразился и женщины все еще пишут о любви и о страсти. О любви и о страсти...

Уши, под волосами, определенно – встали. Торопливо листаю и закладываю спичками черную конторскую книжечку стихов.

– Теперь же, товарищи, вы услышите девять русских поэтесс, может быть, различающихся в оттенках, но по существу одинаковых, ибо, повторяю, женщина еще не умеет петь ни о чем, кроме любви и страсти. Выступления будут в алфавитном порядке... (Кончил – как оторвал, и, вполборота, к девяти музам): – Товарищ Адалис?

Тихий голос Адалис: «Валерий Яковлевич, я не начну». – «Но»... – «Бесполезно, я не начну. Пусть начинает Бэнар»... Брюсов к Бэнар, тихо: «Товарищ Бэнар?» И звонкий гамэновский голосочек: «Товарищ Брюсов, я не хочу первая». В зале смешки. Брюсов к третьей, к четвертой, ответ, с варьянтами, один: «Не начну». (Варьянты: «боюсь», «невыгодно», «не привыкла первой», «стихи забыла» и пр.). Положение – крайнее. Переговоры длятся. Зал уже грохочет. И я, дождавшись того, чего с первой секунды знала, что дождусь: одной миллиардной миллиметра поворота в мою сторону Брюсова, опережая просьбу, просто дружески: «В. Я., хотите начну?» Чудесная волчья улыбка (вторая – мне – за жизнь!) и, освобожденным лаем:

– Товарищи, первый выступит (подчеркнутая пауза) поэт Цветаева.

Стою, как всегда на эстраде, опустив близорукие глаза к высокоподнятой тетрадке, – спокойная – пережидаю (тотчас же наступающую) тишину. И явственнейшей из дикций, убедительнейшим из голосов:

Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет...

А вот потомки, вспомнив старину:

– Где были вы? – Вопрос, как громом грянет,

Ответ, как громом грянет: на Дону!

– Что делали? – Да принимали муки,

Потом устали и легли на сон...

И в словаре задумчивые внуки

За словом: долг напишут слово: Дон.

Секунда переживания и – рукоплещут. Я, чуть останавливая рукой – дальше. За Доном – Москва («Кремлевские бока» и «Гришка-Вор»), за Москвой – Андрей Шенье («Андрей Шенье взшел на эшафот»), за Андреем Шенье – Ярославна, за Ярославной – Лебединый стан, так (о седьмом особо) семь стихов подряд. Нужно сказать, что после каждого стиха наставала недоуменная секунда тишины (то ли слышу?) и (очевидно, не то!) прорвалась – рукоплещут. Эти рукоплескания меня каждый раз, как Конек-Горбунок – царевича, выносили. Кроме того, подтверждали мое глубочайшее убеждение в том, что с первого раза, да еще с голосу, смысл стихов, вообще, не доходит, – скажу больше: что для большинства в стихах дело вовсе не в смысле, и – не слишком много скажу, – что на вечере поэтесс дело уже вовсе не в стихах. Здесь же, после предисловия Брюсова (пусть не слушали – слышали!) я могла разрешить себе решительно все, – *Je ravillon* (Брюсов с его любовью и страстью) *ouvre la marchandise* (меня, например, с моей Белой Гвардией). Делая такое явное безумие, я преследовала две, нет, три, четыре цели: 1) смесь женских стихов без любви и местоимения «я», 2) проверка бессмысленности стихов для публики, 3) переключка с каким-нибудь одним, понявшим (хоть бы курсантом!), 4) и главная: исполнение здесь, в Москве 1921 г., долга чести. И вне целей, бесцельное, – пуще целей! – простое и крайнее чувство: – а ну?

Произнося, вернее собираясь произнести некоторые строки: («да, ура! За царя! Ура!») я как с горы летела. Но произнесла, но сейчас – уже волей не моей, а

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
стиха – произнесу. Произношу. Неотвратимость.

Стих, оказавшийся последним, был и моей, в тот час, перед красноармейцами – коммунистами – курсантами – моей, жены белого офицера, последней правдой:

Кричали женщины ура
И в воздух чепчики бросали...
Руку на сердце положи:
Я не знатная госпожа!
Я – мятежница лбом и чревом.
Каждый встречный, вся площадь, – все! –
Подтвердят, что в дурном родстве
Я с своим родословным древом.
Кремль! Черна чернотой твоей!
Но не скрою, что всех мощней
Преценнее мне – пепел Гришки!
Если ж чепчик кидаю вверх, –
Ах! не так же ль кричат на всех
Мировых площадях – мальчишки?!
Да, ура! – За царя! – Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!
Выше башен летит чепец!
Но – минуя литой венец
На челе истукана – к звездам.
* * *

В этом стихе был мой союз с залом, со всеми залами и площадями мира, мое последнее – все розни покрывающее – доверие, взлет всех колпаков – фригийских ли, семейственных ли – поверх всех крепостей и тюрем – я сама – самая я.

– Г-жа Цветаева, достаточно, – повелительно-просящий шепот Брюсова. Вполоборота Брюсову: «Более чем», поклон залу – и в сторонку, давая дорогу –

– Сейчас выступит товарищ Адалис.

* * *

Товарищу Адалис в тот вечер, точнее в тот месяц ее жизни, выступить совсем не следовало, и выступление ее, как всякое пренебрежение возможными, неминуемыми усмешками – героизм. Усмешки были, были и, явственно, смешки. Но голос, как всегда (а есть он не всегда) сделал свое: зал втянулся, вслушался. (Не в голосовых средствах дело: «on a toujours assez de voix pour être entendu»). А – Адалис, Б – Бэнар. Стихи Бэнар, помню, показались мне ультрасовременными, с злободневной дешевкой: мир – мы, мгла – глаз, туч – стучу, рифмовкой искусственной, зрительной, ничего не дающей слуху и звучащей только у (впервые ее введшей) Ахматовой – у которой все звучит. Темы и сравнения из мира железобетонного, острота звуков без остроты смыслов, не думаю, чтобы ценные – уж очень современные! – стихи. Бэнар, кивком откланявшись, устранилась.

На смену Бэнар – элегическое явление Мальвины. У нее был альбом, и поэты вписывали в него стихи, – не какие-нибудь и не какое-нибудь, – мне посчастливилось открыть его на изысканно-простом посвящении Вячеслава («Вячеслав» не из короткости с поэтом и не из заглавной фамильярности, – из той же ненужности этому имени фамилии, по которой фамилия Бальмонт обходится без имени. Вячеслав покрывает Иванова, как Бальмонт – Константина. Иванов вслед за Вячеславом – то же, что Романов вслед за монархом – революционный протокол). Итак, перед входящим во вкус залом элегическая ручьевая ивовая Мальвина. – О чем? – О ручьях и об ивах, кажется, о беспредметной тоске весны. (Брюсов, Брюсов, где же пресловутые любовь и страсть? Я – Белую Гвардию, Адалис – описательное, Бэнар – машины, Мальвина – ручейки (причем все, кроме меня, неумышленно!). Уж не есть ли ты сам – та женщина в единственном числе, и не придется ли тебе, во оправдание слов твоих, выступить после девяти муз – десятой?).

Стихов лихорадочной меховой красавицы мне услышать не довелось – не думаю, чтобы кокаин располагал к любовному – дослушав воркование мальвининых струй, пошла проведать тотчас же по выступлении исчезнувшую Адалис. Когда я вошла, товарищ Адалис лежала на скамейке, с вострия лакированной туфельки по вострие подбородка укутанная в подобие шубы. Вид был дроглый и невеселый. – Ну как? – Все читают. –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
А В. Я.? – Слушает. – А зал? – Смотрит. – Позор? – Смотрины.

Закурили. Зубы тов. Адалис лязгали. И внезапно, сбрасывая шубу: Вы знаете, Ц-ва, мне кажется, что у меня начинается. – Воображение. – Говорю вам, что у меня начинается. – А я говорю, что кажется. – Откуда вы знаете? – Слишком эффектно: вечер поэтесс – и... Вроде папессы Жанны. Это бывает в истории, в жизни так не бывает. – Смеется. И через минуту Адалис, певуче: «Ц-ва, я не знаю, начинается или нет, но можете вы мне оказать большую услугу?» – Я, что-то чуя: – Да! – Так подите скажите В. Я., что я его зову – срочно. – Прервав чтение? – Это уж – как хотите. – Адалис, он расшвыряет. – Не посмеет, он вас боится, особенно после сегодняшнего. – Это ваше серьезное желание? – *Sérieux comme la mort.*

Вхожу в перерыв рукоплеска собольехвостой, отзываю в сторону Брюсова и, тихо и внятно, глаза в глаза: «Товарищ Брюсов, товарищ Адалис просит передать вам, что у нее, кажется, начинается». Брюсов, бровями: –? – «Что – не знаю, передаю, как сказано, просит немедленно зайти: срочно».

Брюсов отрывисто выходит, вслед не иду, слушаю следующую, одну из тех, что испарились. (Кстати, нерусскость имен и фамилий: Адалис, Бэнар, Сусанна, Мальвина, полька Поплавская, грузинская княжна на «или» «идзе». Нерусскость, на этот раз совпавшая с неорганичностью поэзии. Совпадение далеко не заведомое: Манделштам, например, не только русский, но определенной российской фамилии – поэт. Державиным я в 1916 г. его окрестила первая:

Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
И тот же Брюсов, купеческий сын, москвич, ни Москвы, ни России ни краем не
отразивший. Национальность не ничто, но не всё.)

Через четыре четверостишия явление Брюсова, на этот раз он – ко мне, – Г-жа Цветаева, товарищ Адалис просит вас зайти... – тоже тихо и внятно, тоже глаза в глаза. Вхожу: Адалис перед зеркалом пудрит нос. – Это ужасный человек, ничему не верит. – Я: – Особенно, если каждый день «начинается». – Адалис, капризно. – Почему я знаю? Ведь может же, ведь начнется же когда-нибудь!.. – Я его посылаю за извозчиком – не идет: «мое место на эстраде». – А мое – над. Давайте, схожу? – Цветаева, миленькая, но у меня ни копейки на извозчика, и мне, действительно, скверно. – Взять у Брюсова? Она, испуганно: – Нет, нет, сохрани Бог!

Вытрясаем, обе, содержание наших кошельков, – безнадежно, не хватает и на четверть извозчика.

Вдруг – порыв ветра, надушенного, многоречивого и тревожного. Это собольехвостая влетает, в сопровождении молодого человека, в куртке и шапке с ушами. Жемчуга на струнной шее гремят, соболиные хвосты летят, летят и оленье уши. – «Je vous assure, je vous assure, je vous jure»... Чистейшая французская речь с ее несравненным – в горле или в небе? нет, в веках и в крови гнездящимся – жемчужным, всю славянскую душу переворачивающим – эр. «*Mais ce que j'i voudrais bien savoir, Madame*», – это уши задыхаются, – «*si c'est Vous ou Votre mari qui m'avez vendu*»... Как слепые, как одержимые, не слышат, не видят. Молодой человек в последней степени неистовства, женщина сдерживается, только пристук лака о бетон. (Была бы змея, стучал бы самый хвостик). – Это N, – уже забыв об извозчике, нашептывает мне в ухо Адалис, – она – баронесса, недавно вышла замуж за барона, а молодой человек...

Молодой человек и женщина уже говорят одновременно, не слушая, не отвечая, не прерывая, – сплошные рулады р, каждый одно, каждый свое. – «Je Vous assure, je Vous assure, je Vous jure...» – «Je le saurai, Madame!» Частят слова: Tchéka, fusillé, perquisition. Жемчуга в крайней опасности: вот-вот оборвет, посыплется, раскатятся теми же россыпями горловых рулад. – «Je Vous assure, je Vous assure, je...»

Глаза у героини светлые, невидящие, превышающие собеседника и жизнь. На лунатическом лице только рот один живет, не смыкающийся, неустанно выбрасывающий рулады, каскады, мириады р. От этих р у меня уже глаза смыкаются, сонная одурь, как от тысячи грохочущих ручьев. Сцена из романа? Да. Из бульварного? Да. Равно бульвару по кровавости только застава. Но положение изменилось, теперь уже женщина наступает, настигает, швыряет в лицо оскорбление за оскорблением, а мужчина весь сжался, как собственные уши под меховыми, сползся, ссохся – совсем

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru на нет – нет! Загнала собольехвостая – оленьешего!

* * *

– А чорт бы ее взял – женскую поэзию! Никакого сбора! Одни курсанты да экскурсанты. Говорил я В. Я-чу, а он: «женская лырыка, женская лырыка...» Вот тебе и лырыка, – помещение да освещение!

Это физический импресарио вошел, устроитель вечера, восточный на «идзе». (Ему, кстати, принадлежит всю Москву облетевшая тогда оценка ныне покойного писателя Гершензона, после одного убыточного для него, идзе, выступления последнего: «Как мог я думать, что Союз Писателей выпустит такого дурака?!»).

Я:

– При Людовике XIV поэт Жильбер от лирики с ума сошел и ключ от рукописей проглотил, в XVIII в. англичанин Чэттертон – уже не помню, что – но от нее же, Андрей Шенье – голову обронил. Вредная вещь лирика, радуйтесь, что так дешево отделались.

– Это вы про господ поэтов говорите, – их дело, что такую профессию выбирают, – ну а я, госпожа поэтесса, при чем?

– Возле лирики околачивается. Нажить – с лирики!

– И напрасно думаете! Кто, вы думаете, устраивал вечер Игоря Северянина? Ваш покорный слуга. И отлично на этом Игоре заработал, и он в обиде не остался, дело не в поэзии, а в –

– В бабах. Вот вам и мораль: не связывайся с бабой, – всегда на бабах.

– Вам, госпожа поэтесса, смешно...

– Смешно. Женские души продавать! Вроде Чичикова! Вы бы телами занялись!

«Идзе», не слушая:

– Получите свой гонорар и (внезапно прерывая): Что там за катастрофа?

Выбегаем всё: импресарио, враждующие любовники, Адалис, я. Плотина прорвалась. Потолок не выдержал? Политехнический Музей возомнил себя Везувием? Или Москва проваливается – за грехи?

На эстраде, с милейшей, явнейшей, малиновейшей из улыбок – красный берет!

Легкое отступление. Рукоплескали нам всем. Адалис, Бэнар, поэтессе в жемчугах, Мальвине, мне – приблизительно равно: в пределах вполне удовлетворенного любопытства. Это же, это же был – успех. (Успех наперед и в кредит, ибо не успела произнести еще ни слова, но – разве дело в словах?).

И вот, все еще безмолвное, постепенное, как солнце всходит, освещая, гряду за грядой, ознакомление красного берета с амфитеатром. Должно быть, кого-то узнала в первом ряду – кивок первому ряду, и в третьем, должно быть, тоже узнала, потому что и в третий кивок, и в пятый, и в пятнадцатый, и всем разные, всем отдельные, и вообще – кивком, – кивок лукавый, кивок короткий, кивок с внезапным перебросом берета с уха на ухо, кивок поверхностный, кивок памятный... Как она была прелестна, как проста в своей радости, как скромна в своем триумфе. Рукоплесканья упорствовали, зал, не довольствуясь приветствием рук, уже пустил в ход ноги, – скоро предметы начнут швырять! А улыбка ширилась, уходила в безбрежность, переходила границы возможности и губ, малиновый берет заламывался все глубже, и глубже, совсем в поднебесье, в рай, в раёк. И – странно: зал не тяготился ожиданием, зал не торопил событий, зал не торопил, зал не хотел стихов, зал был счастлив – так.

– Товарищ Х, начинайте! – Но товарищ – берет не слышит, у него своя давность с залом. – Да начинайте же, товарищ Х! – В голосе Брюсова почти раздражение. И, естественно, из всей фата-морганы видеть только спину да макушку заломленного берета!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

По соседству возглас «идзе»:

– Вот бы ее – одну выпустить! Такая вечера не провалит!

* * *

Стихи? Да были ли? Не помню ни слов, ни смыслов. И смыслы и слова растворялись, терялись, растекались в улыбке, малиновой и широкой, как заря. Да будь она хоть гением в женском естестве, больше о нем, чем этой улыбкой своей, она бы не сказала. Это не было улыбающееся лицо – их много, они забываются, это не был рот – он в улыбке терялся, ничего не было, кроме улыбки: непрерывной раздвигаемости – губ, уже смытых ею! Улыбка – и ничего кроме, раствор мира в улыбке, сама улыбка: улыбка. И если спросят меня о земле – на другой планете – что я там видела, что запомнила там, перебрав и отбросив многое – улыбнусь.

Но, с планеты на эстраду. Это выступление было решительным торжеством красного, не флагового кровавого товарищеского красного, но с поправкой на женское (цвет лица, масть, туалет), красного не площадного – уличного, боевого – но женски-боевого.

Так, если не в творчестве, то хоть в личности поэтессы, Брюсов в своих утверждениях касательно истоков женского творчества утвержден – был.

* * *

Выступление красного берета затягивается. Сидим с неугомонной Адалис в бетонной каморке, ждем судьбы (деньги).

– Заплатят или нет? – Заплатят, но вот – сколько. Обещано по тридцати. – Значит, по десяти. – Значит, по три.

Новый звуковой обвал Вавилонской башни, – очевидно, Берет покидает пост. Вавилон валится, валится, валится... Крики, проникающие даже и в наш бетонный гроб:

– Красный дьявол! Красный дья-авол! Дья-а-вола!

Я, к Адалис, испуганно: «Неужели это ее они так?» Та, смеясь: – «Да нет, это у нее стихи такие, прощание с публикой, коронный номер. Кончит, и конец. Идемте».

* * *

Застанем последний взмах малинового берета. Все эффекты к концу! И еще один взмах (эффект) непредвиденный – широкий жест, коим поэтесса, проходя, во мгновение и на мгновение ока – чистосердечно, от избытка чувств – запахивает Брюсова в свою веселую полосатую широкошумную гостеприимную юбку.

Этот предельный жест кладет и предел вечеру. На эстраде, опоясанный девятью Музами – скашиваю для лада и склада одну из нас – «восемь девок, один я». Последние, уже животным воем, вызовы, ответные, укороченные предстоящими верстами домой, поклоны, гром виноградной гроздью осыпающегося, расходящегося амфитеатра, барьер снят, зал к барьеру, эстрада в зал.

* * *

Итог дня: не тридцать, не десять, но и не три, – девять. И цепкая ручка ивовой ручьево́й Мальвины, вьезшаяся в стальную мою. Ножки 30-х годов, ошибившись столетием, не дождавшись кареты, не справляются с советской гололедицей, и приходится мне, за отсутствием более приятной опоры, направлять их по тротуарным глетчерам начала февраля Москвы 1921 года.

* * *

Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. – И только-то? – Да, жизнь меня достоверностями, вообще, не задаривает. Блока – два раза. Кузмина – раз, Сологуба – раз, Пастернака – много – пять, столько же – Маяковского. Ахматову – никогда, Гумилева – никогда.

С Вячеславом одна настоящая беседа за жизнь. (Были и везения, но перед горечью всего невзятого...).

Больших я в жизни всегда обходила, окружала, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обременности еще гору своей любви? Ибо, если не для

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru любви – для чего же встречаться? На другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее измерениях) – то какая же любовь? В этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия – разгадка к многим (не только моим, вообще людским, потому упоминаю) разминованиям.

Беречь себя? От того, для чего в мир пришел? Нет, в моем словаре «бережение» всегда – другого.

А, может быть, так и нужно – дальше. Дальше видеть, чтоб больше видеть, чтоб бóльшим видеть. И моя доля – дали между мной и солнцами – благая.

Так, на вопрос: и только-то? мой ответ: «да– но как!».

* * *

И обращаясь к наиболее полярнейшему из солнц, мне, полярному солнцу – Брюсову, вижу. Брюсова я могла бы любить, если не как всякого другого поэта – Брюсов не в поэзии, а в воле к ней был явлен – то как всякую другую силу. И, окончательно вслушавшись, доказываю: Брюсова я под искренним видом ненависти просто любила, только в этом виде любви (оттолкновении) сильнее, чем любила бы его в ее простейшем виде – притяжении.

Брюсов же этого, тугой на сердце, не расслышал и чистосердечно не выносил сначала «девчонки», потом «женщины», весь смысл и назначение которой – утверждаю – в любви, а не в ненависти, в гимне, а не в эпиграмме.

Если Брюсов это, с высот ли низкого своего римского неба, из глубин ли готической своей высокой преисподни слышит, я с меньшей болью буду слышать звук его имени.

IV. Бальмонт и Брюсов

Но я не размышляю над стихом
И, правда, никогда не сочиняю!

Бальмонт

И ты с беспечального детства

Ищи сочетания слов.

Брюсов

Бальмонт и Брюсов. Об этом бы целую книгу, – поэма уже написана: Моцарт, Сальери.

Обращено ли, кстати, внимание хотя бы одним критиком на упорное главенство буквы Б в поколении так называемых символистов? – Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Балтрушайтис.

Бальмонт, Брюсов. Росшие в те годы никогда не называли одного из них, не назвав (хотя бы мысленно) другого. Были и другие поэты, не меньшие, их называли поодиночке. На этих же двух – как сговорились. Эти имена ходили в паре.

Парные имена не новость: Гете и Шиллер, Байрон и Шелли, Пушкин и Лермонтов. Братственность двух сил, двух вершин. И в этой парности тайны никакой. Но «Бальмонт и Брюсов» – в чем тайна?

В полярности этих двух имен – дарований – темпераментов, в предельной выявленности, в каждом, одного из двух основных родов творчества, в самой собой встающей сопоставляемости, во взаимоисключенности их.

Всё, что не Бальмонт – Брюсов, и все, что не Брюсов – Бальмонт.

Не два имени – два лагеря, две особи, две расы.

* * *

Бальмонт[89]. Брюсов. Только прислушаться к звуку имен. Бальмонт: открытость, настежь – распахнутость. Брюсов: сжатость (ю – полугласная, вроде его, мне, тогда, закрытки), скупость, самость в себе.

В Брюсове тесно, в Бальмонте – просторно.

Брюсов глухо, Бальмонт: звонко.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Бальмонт: раскрытая ладонь – швыряющая, в Брюсове – скрип ключа.

* * *

Бальмонт. Брюсов. Царствовали, тогда, оба. В мирах иных, как видите, двоевластие, обратно миру нашему, возможно. Больше скажу: единственная примета принадлежности вещи к миру иному – ее невозможность – нестерпимость – недопустимость – здесь. Бальмонто-Брюсовское же двоевластие являет нам неслыханный и немыслимый в истории пример благого двоевластия не только не друзей – врагов. Как видите, учиться можно не только на стихах поэтов.

* * *

Бальмонт. Брюсов. Два полюса творчества. Творец-ребенок (Бальмонт) и творец рабочий (Брюсов). (Ребенок, как der Spieler, игрун). Ничего от рабочего – Бальмонт, ничего от ребенка – Брюсов. Творчество игры и творчество жилы. Почти что басня «Стрекоза и муравей», да в 1919 г. она и осуществилась, с той разницей, что стрекоза моей басни и тогда, умирая с голоду, жалела муравья.

Сохрани Божи нас, пишуших, от хулы на ремесло. К одной строке словесно-неровного Интернационала да никто не будет глух. Но еще более да сохраняют нас боги от брюсовских институтов, короче: ремесло да станет вдохновением, а не вдохновение ремеслом.

Плюсы обоих полюсов ясны. Рассмотрим минусы. Творчество ребенка. Его минус – случайность, произвольность, «как рука пойдет». Творчество рабочего. Его минус – отсутствие случайности, произвольности, «как рука пойдет», то есть: минус второго – отсутствие минуса первого. Бальмонт и Брюсов точно поделили меж собой поговорку: «На Бога надейся» (Бальмонт), «а сам не плошай» (Брюсов). Бальмонт не зря надеялся, а Брюсов в своем «не плошании» – не сплеховал. Оговорюсь: говоря о творческой игре Бальмонта, этим вовсе не говорю, что он над творением своим не работал. Без работы и ребенок не возведет своей песочной крепости. Но тайна работы и ребенка и Бальмонта в ее (работы) скрытости от них, в их и неподозревании о ней. Гора щебня, кирпичей, глины. – Работаешь? – Нет, играю. Процесс работы скрыт в игре. Пот превращен в упоение.

* * *

Труд-благословление (Бальмонт) и труд-проклятие (Брюсов). Труд Бога в раю (Бальмонт, невинность), труд человека на земле (Брюсов, виновность).

Никто не назовет Бальмонта виновным и Брюсова невинным, Бальмонта ведающим и Брюсова неведающим. Бальмонт – ненасытимость всеми яблоками, кроме добра и зла, Брюсов – оскомина от всех, кроме змея. Для Бальмонта – змея, для Брюсова – змий. Бальмонт змеей любит. Брюсов у змия учится. И пусть Бальмонт хоть в десяти тысячах строк воспевае змия, в родстве с ним не он, а Брюсов!

* * *

Брюсов греховен насквозь. От этого чувства греховности его никак не отделаться. И поскольку чтение соучастие, чтение Брюсова – сопреступление. Грешен, потому что знает, знает, потому что грешен. Необычайно ощутимый в нем грех (прах). И тяжесть стиха его – тяжесть греха (праха).

При отступлении аскетизма – полное чувство греховности мира и себя. Грех без радости, без гордости, без горечи, без выхода. Грех, как обычное состояние. Грех – пребывание. Грех – тупик. И – может быть худшее в грехе – скука греха. (Таких в ад не берут, не жгут).

Грех – любовь, грех – радость, грех – красота, грех – материнство. Только припомнить омерзительное стихотворение его «Девушкам», открывающееся:

Я видел женщину. Кривясь от мук,
Она бесстыдно открывала тело,
И каждый стон ее был дикий звук...
и кончающееся:

О девушки! о мотыльки на воле!
Вас на балу звенящий вальс влечет,
Вы в нашей жизни, как цветы магнолий...
Но каждая узнает свой черед
и будет, корчась, припадать на ложе

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Всё станете зверями! тоже! тоже!
Это о материнстве, смывающем всё!

К Брюсову, как ни к кому другому, пристало слово «блудник». Унылое и
безысходное, как вой волка на большой дороге.

И, озарение: ведь блудник-то среди зверей – волк!

* * *

Бальмонт – бражник. Брюсов – блудник.

Веселье бражничества – Бальмонт. Уныние блуда – Брюсов.

И не чаро-дей он, а блудо-дей.

* * *

Но, возвращаясь к работе его, очищению его:

Труд Бога в раю (Бальмонт) и труд человека на земле (Брюсов). Восхищаясь первым,
преклонимся перед вторым.

* * *

Да, как дети играют и как соловьи поют – упоенно! Брюсов же – в природе подобия
не подберешь, хотя и напрашивался дятел – как каменщик молотит – сведенно.
Счастье повиновения (Бальмонт). Счастье преодоления (Брюсов). Счастье отдачи
(Бальмонт). Счастье захвата (Брюсов). По течению собственного дара – Бальмонт.
Против течения собственной неодаренности – Брюсов.

(Ошибочность последнего уподобления. Неодаренность, отсутствие, не может быть
течением, наличностью. Кроме того, само понятие неодаренности в явном
несоответствии с понятием текучести. Неодаренность: стена, предел, косность.
Косное не может течь. Скорей уж – лбом об стену собственной неодаренности:
Брюсов. Ошибку оставляю, как полезную для читающих и пишущих).

И, формулой: Бальмонт, как ребенок, и работая – играет, Брюсов, как гувернёр, и
играя – работает. (Тягостность его рондо, ронделей, ритурнелей, – всех
поэтических игр пера).

Брюсов: заведомо-исключенный экспромт.

* * *

Победоносность Бальмонта – победоносность восходящего солнца: «есмы и тем
побеждаю», победоносность Брюсова – в природе подобия не подберешь –
победоносность воина, в целях своих и волей своей останавливающего солнце.

Как фигуры (вне поэтической оценки) одна стоит другой.

* * *

Бальмонт. Брюсов. Их единственная связь – чужеземность. Поколением правили два
чужеземных царя. Не время вдаваться, дам вехи (пусть пашет – читатель!). После
«наируссейшего» Чехова и наи-рус-ско-интеллигентнейшего Надсона (упаси Боже –
приравнивать! в соцарствовании их повинно поколение) – после настроений –
нестроений – расслоений – после задушенностей – задушевностей – вдруг – «Будем
как солнце!» – Бальмонт, «Риму и Миру» – Брюсов.

Нет, не русский – Бальмонт, вопреки Владимирской губернии, «есть в русской
природе усталая нежность» (определение, именно точностью своей, выдающее
иностранца), русским заговорам и ворожбам, всей убедительности тем и чувств, –
нерусский Бальмонт, заморский Бальмонт. В русской сказке Бальмонт не
Иван-Царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царской дочерью всё дары жары
и морей. Не последнее лицо в сказке – заморский гость! Но – спрашиваю, а не
утверждаю – не есть ли сама нерусскость Бальмонта – примета именно русскости
его? До-российская, сказочная, былинная тоска Руси – по морю, по заморью. Тяга
Руси – из Руси вон. И, вслушиваясь, – нет. Тогда его тоска говорила бы
по-русски. У меня же всегда чувство, что Бальмонт говорит на каком-то
иностранном языке, каком не знаю, – бальмонттовском.

Здесь мы сталкиваемся с тайной. Органическая поэзия на неорганическом языке.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Ибо, утверждаю, язык Бальмонта, в смысле народности, неорганичен. Как сильна, должно быть, органичность внутренняя и личная (единоличная), чтобы вопреки неорганичности словесной – словами же – доходить! О нем бы я сказала, как один преподаватель в Парижском Alliance française в ответ на одну мою французскую поэму: «Vous êtes sûrement poète dans Votre langue».

Бальмонт, родившись, открыл четвертое измерение: Бальмонт! пятую стихию: Бальмонт! шестое чувство и, шестую часть света: Бальмонт! В них он и жил.

Его любовь к России – влюбленность чужестранца. Национальным поэтом, при всей любви к нему, его никак не назовешь. Беспоследственным (разовым) новатором русской речи – да. Хочется сказать: Бальмонт – явление, но не в России. Поэт в мире поэзии, а не в стране. Воздух – в воздухе.

Нация – в плоти, бесплотным национальный поэт быть не может (просто-поэт – да). А Бальмонт, громозди хоть он Гималаи на Анды и слонов на ихтиозавров – всегда – заведомо – пленительно невесом.

«Я вселенной гость,
Мне повсюду пир...»

Порок или преимущество? Страна больше, чем дом, земля больше, чем страна, вселенная больше, чем земля. Не-русскость (русскость, как составное) и русскость Бальмонта – вселенскость его. Не в России родился, а в мире. Только в единственном русском поэтическом гении – Пушкине (гений, второй после диапазона, вопрос равновесия и – действия сил. Вне упомянутого Лермонтов не меньше Пушкина) – итак, только в Пушкине мир не пошел в ущерб дому (и обратно). В Бальмонте же одолел – мир. Зачарованный странник никогда не вернулся домой, в дом, из которого ушел – как только в мир вошел! Все его возвраты домой – налеты. Говоря «Бальмонт», мы говорим: вода, ветер, солнце. (Меньше или больше России?) Говоря «Бальмонт», мы (географически и грубо) говорим: Таити – Цейлон – Сиера и, может быть, больше всего: Антлантида, и, может быть, меньше всего – Россия. «Москва» его – тоска его. Тоска по тому, чем не быть, где не жить. Недосыгаемая мечта чужестранца. И, в конце концов, каждый вправе выбирать себе родину.

* * *

Пушкин – Бальмонт – непосредственной связи нет. Пушкин – Блок – прямая. (Неслучайность последнего стихотворения Блока, посвященного Пушкину). Не о внутреннем родстве Пушкина и Блока говорю, а о роднящей их одинаковости нашей любви.

«Тебя, как верную любовь,
России сердце не забудет...»

Это – после Пушкина – вся Россия могла сказать только Блоку. Дело не в даре – и у Бальмонта дар, дело не в смерти – и Гумилев погиб, дело в воплощенной тоске – мечте – беде – не целого поколения (ужасающий пример Надсона), а целой пятой стихии – России. (Меньше или больше, чем мир?).

Линия Пушкин–Блок минует остров Бальмонта. И, соединяющее и заморскость, и океанскость, и райскость, и неприкрепленность Бальмонта: плавучий остров! – наконец, слово есть.

* * *

Где же поэтическое родство Бальмонта? В мире. Брат тем, кого переводил и любил.

* * *

Как сам Бальмонт – тоска Руси по зámорью, так и наша любовь к нему – тоска той же по тому же.

* * *

Неспособность ни Бальмонта, ни Брюсова на русскую песню. Для того, чтобы поэт сложил народную песню, нужно, чтобы народ вселился в поэта. Народная песня: не отказ, а органическое совпадение, сращение, созвучие данного «я» с народным. (В современности, утверждаю, не Есенин, а Блок). Для народной песни Бальмонт – слишком Бальмонт, пусть последним слогом последнего слова – он ее обальмонтит!.. Неспособность не по недостатку органичности (сплошь органичен!) – по своеобразию этого организма.

О Брюсове же и русской песне... Если Бальмонт – слишком Бальмонт, то Брюсов –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru никак не народ[90].

* * *

(Соблазнительное сопоставление Бальмонта и Гумилева. Экзотика одного и экзотика другого. Наличие у Бальмонта и, за редкими исключениями, отсутствие у Гумилева темы «Россия». Нерусскость Бальмонта и целиком русскость Гумилева).

* * *

Так и останется Бальмонт в русской поэзии – заморским гостем, подарившим, заговорившим, заворотившим ее – с налету – и так же – канувшим.

Бальмонт о Брюсове.

12-го русского июня 1920 г. уезжал из Б. Николо-Песковского переулкa на грузовике за границу Бальмонт. Есть у меня об этом отъезде – отлете! – отдельная запись, ограничусь двумя возгласами, предпоследним – имажинисту Кусикову: «С Брюсовым не дружите!» – и последним, с уже угрожающего грузовика – мне:

– А вы, Марина, передайте Валерию Брюсову, что я ему не кланяюсь!

* * *

(Не-поклона – Брюсов сильно седел – не передала).

* * *

Запало еще одно словечко Бальмонта о Брюсове. Мы возвращались домой, уж не помню с чего, советского увеселения ли, мытарства ли. (С Бальмонтом мы, игрой случая, чаще делили тягости, нежели радости жизни, – может быть, для того, чтобы превратить их в радость?).

Говорим о Брюсове, о его «летучих альманахах» (иначе: вечерах экспромтов), об Институте брюсовской поэзии (иначе: закрытом распределителе ее), о всечасных выступлениях (с кем!) и вступлениях (к чему!) – я – да простит мне Бальмонт, первое место, но этого требует ход фразы, я – о трагичности таких унижений. Бальмонт – о низости такой трагедии. Предпосылки не помню, но явственно звучит в моих ушах возглас: – Поэтому я ему не прощаю! – Ты потому ему не прощаешь, что принимаешь его за человека, а пойми, что он волк – бедный, лезущий, сидящий волк.

– Волк не только жалок: он гнусен!

Нужно знать золотое сердце Бальмонта, чтобы оценить, в его устах, такой возглас.

* * *

Бальмонт, узнав о выпуске Брюсовым полного собрания сочинений, с примечаниями и библиографией:

– Брюсов вообразил, что он классик и что он помер.

* * *

Я – Бальмонту:

– Бальмонт, знаешь слово Койранского о Брюсове? «Брюсов образец преодоленной бездарности».

Бальмонт, молниеносно:

– Непреодоленной!

* * *

Заключение напрашивается.

Если Брюсов образец непреодоленной бездарности (то есть необретение в себе, никаким трудом, «рожденна, не сотворена» – дара), то Бальмонт – пример непреодоленного дара.

Брюсов демона не вызвал.

Бальмонт с ним не совладал.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

V. Последние слова

Как Брюсов сразу умер, и привыкать не пришлось.

Я не знаю, отчего умер Брюсов. И не странно, что не попыталась узнать. В человеческий конец жизни, не в человеческом проведенной, заглядывать – грубость. Посмертное насилие, дозволенное только репортерам.

Хочу думать, что без борения отошел. Завоеватели умирают тихо.

Знаю только, что смерть эта никого не удивила – не огорчила – не смягчила. Пословица «de mortuis aut bene aut nihil» поверхностна, или люди, ее создавшие, не чета нам. Пословица «de mortuis aut bene aut nihil» – создана Римом, а не Россией. У нас наоборот, раз умер – прав, раз умер – свят, обратно римскому предостережению – русское утверждение: «лежащего не бьют». (А кто тише и ниже лежит – мертвого?). Бесчеловечность, с которой нами, русскими, там и здесь, встречена эта смерть, только доказательство нечеловечности этого человека.

* * *

Не время и не место о Блоке, но: в лице Блока вся наша человечность оплакивала его, в лице Брюсова – оплакивать – и останавливаюсь, сдержанная несоответствием собственного имени и глагола. Брюсова можно жалеть двумя жалостями: 1) как сломанный перворазрядный мозговой механизм (не его, о нем), 2) как волка. Жалостью – досадной и жалостью – растравой, то есть двумя составными чувствами, не дающими простого одного.

Этого простого одного: любви со всеми ее включаемыми, Брюсов не искал и не снискал.

Смерть Блока – громовой удар по сердцу; смерть Брюсова – тишина от внезапно остановившегося станка.

* * *

Часто сталкиваешься с обвинениями Брюсова в продаже пера советской власти. А я скажу, что из всех перешедших или перешедших-полу – Брюсов, может быть, единственный не предал и не продал. Место Брюсова – именно в С.С.С.Р.

Какой строй и какое мирозерцание могли более соответствовать этому герою труда и воли, нежели мирозерцание, волю краеугольным камнем своим поставившее, и строй, не только бросивший – в гимне – лозунг:

«Владыкой мира станет труд»,

но как Бонапарт – орден героев чести,

основавший – орден героев труда.

А вспомнить отвлеченность Брюсова, его страсть к схематизации, к механизации, к систематизации, к стабилизации, вспомнить – так задолго до большевизма – его утопию «Город будущего». Его исконную арелигиозность, наконец. Нет, нет и нет. Служение Брюсова коммунистической идее не подневольное: полюбивное. Брюсову в СССР, как студенту на картине Репина – «какой простор!». (Ширь – его узостям, теснотам его – простор). Просто: своя своих познаша.

И не Маяковский, с его булыжными, явно-российскими громами, не Есенин, если не «последний певец деревни», то – не последний ее певец, и уж, конечно, не Борис Пастернак, новатор, но в царстве Духа, останутся показательными для новой, насильственной на Руси, бездушной коммунистической души, которой так страшился Блок. Всё вышепоименованные выше (а может быть – шире, а может быть – глубже) коммунистической идеи, Брюсов один ей – бровь в бровь, кровь в кровь.

* * *

(Говорю о коммунистической идее, не о большевизме. Большевиков у нас в поэзии достаточно, те же – не знаю их политических убеждений – Маяковский и Есенин. Большевизм и коммунизм. Здесь, более чем где-либо, нужно смотреть в корень (больш – сомн –). Смысловая и племенная разность корней, определяющая разницу понятий. Из второго уже вышел III Интернационал, из первого, быть может, еще выйдет национал – Россия).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

И окажись Брюсов, как слух о том прошел, по посмертным бумагам своим не только не-коммунистом, а распромонархистом, монархизм и контрреволюционность его – бумажные. От контр, от революционера в революции – монархиста – в Брюсове не было ничего. Как истый властолюбец, он охотно и сразу подчинился строю, который в той или иной области обещал ему власть. (На какой-то точке бонапартизм с идеальным коммунизмом сходятся: «la carrière, ouverte aux talents» – Наполеон). «Брюсовский Институт» в царстве Смольных и Екатерининских – более, чем гадателен. Коммунизм же, царство спецов, с его принципом использования всего и вся, его (Брюсовский Институт) оценил и осуществил.

Коммунистичность Брюсова и анархичность Бальмонта. Плебейстичность Брюсова и аристократичность Бальмонта (Брюсов, как Бонапарт – плебей, а не демократ). Царственность (островитянская) Бальмонта и цезаризм Брюсова.

Бальмонт, как истый революционер, час спустя революции, в первый час *stabilité* ее, оказался против. Брюсов тот же час спустя и по той же причине оказался – за.

Здесь, как во всем, кроме чужестранности, еще раз друг друга исключили.

Бальмонт – если монархист, то по революционности природы.

Брюсов – если монархист, то по личной обойденности коммунистами.

Монархизм Брюсова – аракчеевские поселения.

Монархизм Бальмонта – людвиго-вагнеровский дворец.

Бальмонт – ненависть к коммунизму, затем к коммунистам.

Брюсов – возможность ненависти к коммунистам, никогда – к коммунизму.
Бюрократ-коммунист – Брюсов.

Революционер-монархист – Бальмонт.

* * *

Революции делаются Бальмонтами и держатся Брюсовыми.

* * *

(Первая примета страсти к власти – охотное подчинение ей. Чтение самой идеи власти, ранга. Властолюбцы не бывают революционерами, как революционеры, в большинстве, не бывают властолюбцами. Марат, Сен-Жюст, по горло в крови, от корысти чисты. Пусть личные страсти, дело их – надличное. Только в чистоте мечты та устрашающая сила, обрекающая им сердца толп и ум единиц. «Во имя мое», несмотря на все чудовищное превышение прав, не скажет Марат, как «во имя твое», несмотря на всю жертвенность служения идее власти, не скажет Бонапарт. Сражающая сила «во имя твое».

У молодого Бонапарта отвращение к революции. Глядя с высоты какого-то этажа на казнь Людовика XVI, он не из мягкосердечия восклицает: «Et dire qu'il ne faudrait que deux compagnies pour balayer toute cette canaille-la!»[91] Орудие властолюбца – правильная война. Революция лишь как крайнее и не этически-отвратительное средство. Посему, властолюбцы менее страшны государству, нежели мечтатели. Только суметь использовать. В крайнем же случае – властолюбия нечеловеческого, бонапартовского – новая власть. Идея государственности в руках властолюбца – в хороших руках.

Я бы на месте коммунистов, несмотря ни на какие посмертные бумажные откровения, сопричислила Брюсова к лику уже имеющих святых).

* * *

Два слова о глубочайшем анационализме (тоже соответствие с Советской властью) Брюсова. Именно об анационализме, мировоззрении, а не о безродности, русском родинно-чувствии, которого у Брюсова нет и следа[92]. Безроден Блок, Брюсов анационален. Сыновность или сиротство – чувствами Брюсов не жил (в крайнем случае – «эмоциями»). Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим, не только странам: землям: планетам. И не только планетам: муравейнику – улью –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru инфузорному кишению в капле воды.

Люблю свой острый мозг и блеск своих очей,
Стук сердца своего и кровь своих артерий.
Люблю себя и мир. Хочу природе всей
И человечеству отдаться в полной мере[93].
(Какое прохладное люблю и какое прохладное хочу. Хотения и любви ровно на четыре
хорошо срифмованных строки. Отдаться – не брюсовский глагол. Если бы вместо
отдаться – домочься – о, по-иному бы звучало! Брюсов не так хотел – когда
хотел!).

Но микроскоп или телескоп, инфузорное кишение или кипящая мирами вселенная – все
тот же бесстрастный, оценивающий, любопытствующий взгляд. Микроскоп или
телескоп, – простого человеческого (простым глазом) взгляда у Брюсова не было:
Брюсову не дан был.

* * *

В подтверждение же моих слов об ациональности отношу читателя к раннему его –
и тем хуже, что раннему! – стихотворению «Москва», в памяти не уцелевшему.
(«Москва», сборник, составленный М. Коваленским, из-ние «Универсальной
библиотеки», последняя страница. Может быть, имеется и в «Юношеских стихах».
Дата написания 1899 г.).

* * *

Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери
остался – творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи
(есть лучшие источники, чем – хотя бы даже Пушкин! Вся мировая, еще не
подслушанная, подслушанной быть долженствующая, музыка), на нем будут учиться
хотеть – чего? – без определения объекта: всего. И, может быть, меньше всего –
писать стихи.

Брюсов в хрестоматии войдет, но не в отдел «Лирика», – в отдел, и такой в
советских хрестоматиях будет: «Воля». В этом отделе (пролагателей,
преодолевателей, превозмогателей) имя его, среди русских имен, хочу верить,
встанет одним из первых.

И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока в
Москве, на самой видной ее площади, не встанет – в граните – в нечеловеческий
рост – изваяние:

Герою труда

С.С.С.Р

Прага, август 1925 г.

Эпос и лирика современной России
Владимир Маяковский и Борис Пастернак

1

Если я, говоря о современной поэзии России, ставлю эти два имени рядом, то
потому, что они рядом стоят. Можно, говоря о современной поэзии России, назвать
одно из них, каждое из них без другого – и вся поэзия все-таки будет дана, как в
каждом большом поэте, ибо поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во
всех своих явлениях – одна, одно, в каждом – вся, так же как, по существу, нет
поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира, сила,
окрашивающаяся в цвета данных времен, племен, стран, наречий, лиц, проходящих
через ее, силу, несущих, как река, теми или иными берегами, теми или иными
небесами, тем или иным дном. (Иначе бы мы никогда не понимали Виллона, которого
понимаем целиком, несмотря даже на чисто физическую непонятность иных слов.
Именно возвращаемся в него, как в родную реку.)

Итак, если я ставлю Пастернака и Маяковского рядом, – ставлю рядом, а не даю их
вместе, – то не потому, что одного мало, не потому, что один в другом нуждается,
другого восполняет; повторяю, каждый полон до краев, и Россия каждым полна (и
дана) до краев, и не только Россия, но и сама поэзия, – делаю я это, чтобы
дважды явить то, что дай Бог единожды в пятидесятилетие: здесь же в одно
пятителетие дважды явлено природой: цельное полное чудо поэта.

Ставлю их рядом, потому что они сами в эпохе, во главе угла эпохи, рядом стали и

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru останутся.

Слышу голос: «Современная поэзия России». «Пастернак-то Пастернак, но как же Маяковский, который в 1928 г...»

Во-первых, когда мы говорим о поэте – дай нам Бог помнить о веке. Второе и обратное: говоря о данном поэте, Маяковском, придется помнить не только о веке, нам непрестанно придется помнить на век вперед. Эта вакансия: первого в мире поэта масс – так скоро-то не заполнится. И оборачиваться на Маяковского нам, а может быть, и нашим внукам придется не назад, а вперед.

Когда я на каком-нибудь французском литературном собрании слышу все имена, кроме Пруста, и на свое невинное удивление: «Et Proust?» – «Mais Proust est mort, nous parlons des vivants»[94], – я каждый раз точно с неба падаю; по какому же признаку устанавливают живость и умершесть писателя? Неужели Х. жив, современен и действителен потому, что он может прийти на это собрание, а Марсель Пруст потому, что никуда уже ногами не придет, – мертв? Так судить можно только о скороходах.

И в ответ такое добродушное, такое спокойное:

– Где ж найду

Такого, как я, быстроногого?

Этими своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу современность и где-то за каким-то поворотом долго еще нас будет ждать.

Пастернак и Маяковский сверстники. Оба москвичи. Маяковский по росту, а Пастернак и по рождению. Оба в стихи пришли из другого, Маяковский из живописи, Пастернак из музыки. Оба в свое принесли другое: Маяковский «хищный глазомер простого столяра», Пастернак – всю несказанность. Оба пришли обогащенные. Оба нашли себя не сразу, оба в стихах нашли себя окончательно. (Попутная мысль: лучше найти себя не сразу в другом, чем в своем. Поплутать в чужом и обрести себя в родном. Так, по крайней мере, обойдешься без «попыток».)

Irrjahre[95] обоих кончились рано. Но к стихам Маяковский пришел еще из революции, и неизвестно, из чего больше. Из революционной деятельности. Шестнадцать лет он уже сидел в тюрьме. «Это не заслуга». – Но показатель. Для поэта не заслуга, но для человека показатель. Для этого же поэта – и заслуга: начал с платежа. Поэтический облик каждого сложился и сказался рано. Маяковский начал с явления себя миру: с показа, с громогласия. Пастернак, – но кто скажет начало Пастернака? О нем так долго никто ничего не знал. (Виктор Шкловский, в 1922 году, в беседе: «У него такая хорошая слава: подземная».) Маяковский являлся, Пастернак таился. Маяковский себя казал, Пастернак – скрывал. И если теперь у Пастернака имя, то этого так легко могло бы не быть: случайность благоприятного для дарований часа и края: la carrière ouverte aux talents, и даже не ouverte, а offerte[96], если только – ряд поэтов кормимых, но замалчиваемых – носитель этого дара не инакомыслящий.

У Маяковского же имя было бы всегда, не было бы, а всегда и было. И было, можно сказать, раньше, чем он сам. Ему потом пришлось догонять. С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себе силу, какую – не знал, он раскрыл рот и сказал: «Я!» Его спросили: «Кто – я?» Он ответил: «Я: Владимир Маяковский». – «А Владимир Маяковский – кто?» – «Я!» И больше, пока, ничего. А дальше, потом, – все. Так и пошло: «Владимир Маяковский, тот, кто: я». Смеялись, но «Я» в ушах, но желтая кофта в глазах – оставались. (Иные, увы, по сей день ничего другого в нем не увидели и не услышали, но не забыл никто.)

Пастернак же... Имя знали, но имя отца: художника Ясной Поляны, пастелиста, создателя женских и детских головок. Я и в 1921 году встречала отзвывы: «Ну, да, Боря Пастернак, сын художника, такой воспитанный мальчик, очень хороший. Он у нас бывал. Так это он пишет стихи? Но он ведь, кажется, занимался музыкой...» Между живописью отца и собственной отроческой (очень сильной) музыкой Пастернак был затерт, как между сходящимися горами ущелья. Где тут утвердиться третьему, поэту? А за плечами Пастернака было уже три полустанка (начиная с последнего): 1917 год – «Сестра моя Жизнь» (изданная только в 1922 году), 1913 год – «Поверх Барьеров» – и первая, самая ранняя, которой даже я, пишущий, не знаю имени. Чего же спрашивать с остальных? До 1920 года Пастернака знали те несколько, что

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru видят, как кровь течет, и слышат, как трава растет. О Пастернаке можно сказать словами Рильке:

...die wollen blühen,
wir wollen dunkel sein und bemühen[97].

Пастернак не хотел славы. Может быть, боялся сглазу: повсеместного, непричастного, беспредметного глаза славы. Так Россия должна беречься Интуризма.

А Маяковский ничего не боялся, стоял и орал, и чем громче орал – тем больше народу слушало, чем больше народу слушало, тем громче орал – пока не доорался до «Войны и мира» и многотысячной аудитории Политехнического музея – а затем и до 150-миллионной площади всей России. (Как про певца – выпелся, так про Маяковского: выюрался.)

У Пастернака никогда не будет площади. У него будет, и есть уже, множество одиноких, одинокое множество жаждущих, которых он, уединенный родник, поит. Идут за Маяковским и по Пастернака, как в неведомом месте по воду, куда-то по что-то – достоверно, но где? но что? – сущее, ошупью, наугад, каждый своим путем, все врозь, всегда вразброд. На Пастернаке, как на ручье, можно встретиться, чтобы вновь разойтись, каждый напившись, каждый умывшись, унося ручей в себе и на себе. На Маяковском же, как на площади, либо дерутся, либо спеваются.

Сколько читателей у Пастернака – столько голов. У Маяковского один читатель – Россия. В Пастернаке себя не забывают: обретают и себя, и Пастернака, то есть новый глаз, новый слух.

В Маяковском забывают и себя, и Маяковского.

Маяковского нужно читать всем вместе, чуть ли не хором (ором, собором), во всяком случае, вслух и возможно громче, что с каждым читающим и происходит. Всем залом. Всем веком.

Пастернака же нужно всюду носить с собой, как талисман от этих всех, хором орущих все те же две (непреложных) истины Маяковского. А еще лучше – как во все века писали поэты и читали поэтов – в лесу, одному, не заботясь, лес ли это листьями или Пастернак листьями.

Я сказала: первый в мире поэт масс. И еще прибавлю: первый русский поэт – оратор. От трагедии «Владимир Маяковский» до последнего четверостишия:

Как говорят, «инцидент исперчен»,
Любовная лодка разбилась о быт.
Мы с жизнью в расчете, и не к чему перечень
Взаимных болей, и бед, и обид, –
всюду, на протяжении всего его – прямая речь с живым прицелом. От витии до рыночного зазывалы Маяковский неустанно что-то в мозги вбивает, чего-то от нас добивается – какими угодно средствами, вплоть до грубейших, неизменно удачных.

Пример последнего:

И на кровати Александры Феодоровны
Развалился Александр Феодорович, –
то, что мы всегда знали, созвучие имен, которое все отмечали, – ничего нового,
но – здорово! И как бы мы ни относились и к Александре Феодоровне, и к
Александру Феодоровичу, и к самому Маяковскому, каждый из нас этими строками
удовлетворен, как формулой. Он тот поэт, которому всегда все удается, потому что
должно удаваться. Ибо на том краю, по которому неустанно ходит Маяковский,
ошибиться, значит – разбиться. Все творчество Маяковского балансировка между
великим и прописным. Путь Маяковского – не литературный путь. Идущие его путями
повседневно это доказывают. Сила неподражаема, а Маяковский без силы –
nonsens[98]. Общее место, доведенное до величия – вот, зачастую, формула
Маяковского. В этом он – иной век – иная речь – сходен с Гюго, которого,
напомню, – читал:

В каждом юноше – порох Маринетти,
В каждом старце – мудрость Гюго.
Недаром Гюго, а не Гёте, с которым Маяковского не роднило ничто.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Кому же говорит Пастернак? Пастернак говорит сам с собою. Даже хочется сказать: при самом себе, как в присутствии дерева или собаки, того, кто не выдаст. Читатель Пастернака, и это чувствуется всякий, – соглядатай. Взгляд не в его, Пастернакову, комнату (что он делает?), а непосредственно ему под кожу, под ребра (что в нем делается?).

При всем его (уже многолетнем) усилии выйти из себя, говорить тем-то (даже всем), так-то и о том-то – Пастернак неизменно говорит не так и не о том, а главное – никому. Ибо это мысли вслух. Бывает – при нас. Забывает – без нас. Слова во сне или спросонок. «Парки сонной лепетанье...»

«Попытка беседы читателя с Пастернаком мне напоминает диалоги из «Алисы в стране чудес», где на каждый вопрос следует либо запаздывающий, либо обскакивающий, либо вовсе не относящийся к делу ответ, – очень точный бы, ежели бы, – но здесь неуместный. Сходство объясняется введением в «Алисе» другого времени, времени сна, из которого никогда не выходит Пастернак.

Ни у Маяковского, ни у Пастернака, по существу, нет читателя. У Маяковского – слушатель, у Пастернака – подслушиватель, соглядатай, даже следопыт.

И еще одно: Маяковский в читательском сотворчестве не нуждается, имеющий (самые простые) уши – да слышит, да – вынесет.

Пастернак весь на читательском сотворчестве. Читать Пастернака немногим легче, а может быть, и совсем не легче, чем Пастернаку – себя писать.

Маяковский действует на нас, Пастернак – в нас. Пастернак нами не читается, он в нас совершается.

Есть формула для Пастернака и Маяковского.

Это – двуединая строка Тютчева:

Все во мне и я во всем.

Всё во мне – Пастернак. Я во всем – Маяковский. Поэт и гора. Маяковскому, чтобы быть (сбыться), нужно, чтобы были горы. Маяковский в одиночном заключении – ничто. Пастернаку, чтобы были горы, нужно было только родиться. Пастернак в одиночном заключении – всё. Маяковский сбывается горой. Пастернаком – гора сбывается. Маяковский, восчувствовав себя, предположим, Уралом, – Уралом стал. Нет Маяковского. Есть Урал. Пастернак, вобрав в себя Урал, сделал Урал – собою. Нет Урала. Есть Пастернак. (Распространенно: нет Урала, кроме пастернаковского Урала, как оно и есть: ссылаюсь на всех читавших «Детство Люверс» и Уральские стихи.)

Пастернак – поглощение, Маяковский – отдача. Маяковский – претворение себя в предмете, растворение себя в предмете. Пастернак – претворение предмета в себя, растворение предмета в себе: да, и самых нерастворяющихся предметов, как горные породы Урала. Все горные породы Урала растворены в его лирическом потоке, лишь оттого таком тяжелом, таком громоздком, что это – нет, даже не лава, ибо растворение однородного земного – а насыщенный (миром) раствор.

Маяковский безличен, он стал вещью, живописуемой. Маяковский, как имя, собирательное. Маяковский, это кладбище Войны и Мира, это родины Октября, это Вандомский столп, задумавший жениться на площади Конкорд, это чугунный Понятовский, грозящий России, и некто (сам Маяковский) с живого пьедестала толп – ему грозящий, это на Версаль идущее «хлеба!». Это последний Крым, это тот последний Врангель... Маяковского нет. Есть – эпос.

Пастернак останется в виде прилагательного: пастернаковский дождь, пастернаковский прилив, пастернаковский орешник, пастернаковский и так далее, и так далее.

Маяковский – в виде собирательного: сократительного.

В жизни дней Маяковский один за всех (от лица всех).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

(Десятилетие Октября)

Под скромностью ложной – радости не тая,

Ору с победителями голода и тьмы:

– «Это я!

Это – мы!»

(Ложной скромности в нем не было, но – вчитайтесь! – какая глубочайшая настоящая. Впервые поэт гордится тем, что он тоже, что он – всё!)

Пастернак: один из всех, меж всех, без всех:

Всю жизнь хотел я быть, как все,

Но мир в своей красе

Не слушал моего нытья

И быть хотел – как я.

Пастернак – невозможность слияния.

Маяковский – невозможность неслияния. Он во вражде больше сливается с врагом, чем Пастернак, в любви, с любимым. (Конечно, знаю, что и Маяковский был одинок, но одинок только в порядке исключительности силы, не единственность лица, а единоличность силы.) Маяковский насквозь человечен. У него и горы говорят человеческим языком (как в сказке, как в каждом эпосе). У Пастернака человек – горным (тем же пастернаковским потоком). Ничего нет умильнее, чем когда Пастернак пытается подражать человеку, той честности, доведенной до рабства, некоторых отрывков «Лейтенанта Шмидта». Он до такой степени не знает, как это (он или иное это) с людьми бывает, что, как последний ученик на экзамене, списывает у соседа все сплошь, вплоть до описок. И какой жуткий контраст: живой Пастернак, с его речью, и речь его, якобы объективного, героя.

Все Пастернаку дано, кроме другого – от любого до данного, во всех его разновидностях другого, живого человека. Ибо другой человек Пастернака не живой, а какой-то сборник общих мест и поговорок, – как немец хочет прихвастнуть знанием русского языка. Обыкновенный человек Пастернака самый необыкновенный. Пастернаку даны живые горы, живое море (и какое! первое море в русской литературе после моря свободной стихии и пушкинскому равное), зачем перечислять? дано живое – всё!

Здесь даже снег благоухает

И камень дышит под ногой...

– Все, кроме живого человека, который либо тот немец, либо сам Борис Пастернак, то есть единоличное, ни на что не похожее, то есть сама жизнь, а не живой человек. (Сестра моя Жизнь, так люди – жизни не зовут.)

В его гениальной повести о четырнадцатилетней девочке все дано, кроме данной девочки, цельной девочки, то есть дано все пастернаковское прозрение (и присвоение) всего, что есть душа. Дано все девчончество и все четырнадцатилетие, дана вся девочка вразброд (хочется сказать: враздробь), даны все составные элементы девочки, но данная девочка все-таки не состоялась. Кто она? Какая? Не скажет никто. Потому что данная девочка – не данная девочка, а девочка, данная сквозь Бориса Пастернака: Борис Пастернак, если был бы девочкой, то есть сам Пастернак, весь Пастернак, которым четырнадцатилетняя девочка быть не может. (Сбываться через себя людям Пастернак не дает. Здесь он обратное медиуму и магниту – если есть медиуму и магниту обратное.) Что у нас от этой повести остается? Пастернаковы глаза.

Но больше скажу: эти Пастернаковы глаза остаются не только в нашем сознании, они физически остаются на всем, на что он когда-то глядел, – в виде знака, меты, патента, так что мы с точностью можем установить, пастернаковский это лист или просто. Вобрав (лист) глазом – возвращает с глазом (глазком). (Не могу удержаться от следующей – русского слова нет – реминисценции: пастернаковская (отца) известная и прелестная пастель: «Глазок». Огромная кружка, над ней, покрывая и скрывая все лицо пьющего – детский огромный глаз: глазок... Может быть, сам Борис Пастернак в младенчестве, достоверно, Борис Пастернак – в вечности. Если бы отец знал, кто и, главное, что так пьет.)

Как я некогда, совсем иначе, лирически и иносказательно:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
И все твоими очами глядят иконы! –
об Ахматовой, так нынче, вполне достоверно и объективно, о Пастернаке:

И все твоими очами глядят деревья!

Всякий лирик вбирает, но большинство вне сита и задержки глаза, непосредственно извне в душу, окунает вещь в общелирическую влагу и возвращает ее окрашенной этой общелирической душой. Пастернак же через глаз мир – процеживает. Пастернак – отбор. Его глаз – отжим. За сетчатку пастернаковского глаза протекает – течет потоками – вся природа, проскакивает порой и человеческий фрагмент (всегда незабвенный!), за нее никогда еще не проникал ни один человек в целом. Пастернак и его неизменно растворяет. Не человек, а человеческий раствор.

Поэзия! Греческой губкой в присосках

Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.
Расти себе пышные брызги и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

Напоминаю, что губка Пастернака – сильно окрашивающая. Все, что вобрано ею, никогда уже не будет тем, чем было, и мы, вначале утверждавшие, что такого (как у Пастернака) дождя никогда не было, кончаем утверждением, что никакого, кроме пастернаковского, ливня никогда и не было и быть не может. Тот случай Уайльда воздействия искусства (иначе: глаза) на природу, то есть прежде всего на природу нашего глаза.

Живой человек Пастернака, как мы сказали, либо фантом, либо сам Пастернак, лицо всегда подставное. Маяковский также не способен на живого человека, но не потому же. Если Пастернак его раздробляет и растворяет, Маяковский его дотворяет, надставляет – и вверх, и вниз, ивширь (только не вглубь!), подводит под него постамент своей любви или помост своей ненависти, так что получается не любимая Лиля Брик, например, но Лиля Брик, возведенная в иксую степень его, Маяковского, любви: всей человеческой, мужской и почтовой любви, Лиля Брик – Собор Парижской Богоматери. То есть сама любовь, громада маяковской любви, всей любви. Если же это «белогвардеец» (враг), Маяковский наделяет его такой выразительности атрибутами, что мы не вспомним ни одного нашего живого знакомого добровольца, это будет Белая Армия глазами Красной Армии: то есть живой эпос ненависти, то есть совершенный урод (изверг), а не живой (несовершенный, то есть и с добродетелями) человек. Генерал будет – до чудовищности отросший погон и бакенбард, буржуй будет – не мясом, а целым мысом выступающий на нас живот, муж (в поэме «Любовь») – его, Маяковского, ненавистью, которой не в состоянии оправдать, если даже сложатся вместе в своем ничтожестве, целая сотня «мужей». Такого мужа нет. Но такая ненависть – есть. Чувства Маяковского не гипербола. Но живой человек – гипербола. В случае любви – собор. В случае ненависти – забор, то есть эпос наших дней: плакат.

Глазомер масс в ненависти и глазомер всей массы Маяковского в любви. Не только он, но и герои его – эпичны, то есть безымянны... В этом он опять-таки сроден Гюго, на бесконечных и густо заселенных пространствах своих Мизераблей не давшему ни одного живого человека, как он есть, а Долг (Жавера), Добро (Монсеньера), Несчастье (Вальжана), Материнство (Фантину), Девичество (Козетту) – и так далее, и так далее, – и давшему так безмерно больше «живого человека»: живые силы, миром движущие. Ибо – настаиваю на этом всем весом – всякую силу, будь то сила чисто физическая, Маяковский, при самой живой ненависти, дает живой. Искажает он только, когда презирает, когда перед лицом слабости (хотя бы целого торжествующего класса!), а не силы – хотя бы осиленной. Не прощает Маяковский, в конце концов, только немощи. Всякой мощи его мощь воздает должное. Вспомним стихи Понятовскому и, недалеко ходя, гениальные строки о последнем Врангеле, встающем и остающемся как последнее видение Добровольчества над последним Крымом, Врангеле, только Маяковским данном в росте его нечеловеческой беды, Врангеле в рост трагедии.

Перед лицом силы Маяковский обретает верный глаз, вернее его непомерный глаз здесь оказывается у места: нормальным. Пастернак ошибается в составе человека, Маяковский в размере человека.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Когда я говорю «глашатай масс», мне видится либо время, когда все такого росту, шагу, силы, как Маяковский, были, либо время, когда все такими будут. Пока же, во всяком случае, в области чувствований, конечно, Гулливер среди лилипутов, совершенно таких же, только очень маленьких. Об этом же говорит и Пастернак в своем приветствии лежащему:

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.
Не похож «живой человек» и у Пастернака, и у Маяковского еще и потому, что оба поэты, то есть живой человек плюс что-то и минус что-то.

Действие Пастернака и действие Маяковского. Маяковский отрезвляет, то есть, разодрав нам глаза возможно шире – верстовым столбом перста в вещь, а то в глаз: гляди! – заставляет нас видеть вещь, которая всегда была и которой мы не видели только потому, что спали – или не хотели.

Пастернак, мало что отпечатавшись на всем своим глазом, нам еще этот глаз вставляет.

Маяковский отрезвляет. Пастернак завораживает.

Когда мы читаем Маяковского, мы помним все, кроме Маяковского.

Когда мы читаем Пастернака, мы все забываем, кроме Пастернака.

Маяковский космически останется во всем внешнем мире. Безлично (слитно). Пастернак остается в нас, как прививка, видоизменившая нашу кровь.

Орудование массами, даже массивами («les grandes machines»[99], сам Маяковский – завод Гигант). Явление деталями – Пастернак[100]. У Маяковского тоже есть детали, весь на деталях, но каждая деталь с рояль. (По временам физика стихов Маяковского мне напоминает лицо Воскресенья из «Человека, который был Четвергом» – слишком большое, чтобы его можно было мыслить.) Оптом – Маяковский. В розницу – Пастернак.

Тайнопись – Пастернак. Явнопись, почти пропись – Маяковский. «Черного и белого не покупайте, да и нет не говорите» – Пастернак. Черное, белое. Да, нет – Маяковский.

Иносказание (Пастернак)[101]. Прямосказание, причем, если не понял, повторит и будет повторять до бесчувствия, пока не добьется. (Из сил никогда не выбьется!)

Шифр (Пастернак). – Световая реклама, или, что лучше, прожектор, или, что еще лучше, – маяк.

Нет человека, не понимающего Маяковского. Где человек, до конца понявший Пастернака? (Если он есть – это не Борис Пастернак.)

Маяковский – весь самосознание, даже в отдале:

Всю свою звонкую силу поэта
Я тебе отдаю, атакующий класс! –
с ударением на всю. Знает, что отдает!

Пастернак весь самосомнение и самозабвение.

Гомерический юмор Маяковского.

Исключительность юмора у Пастернака, разве что начало робкой (и сложной) улыбки, тут же и кончающейся.

Пастернака долго читать невыносимо от напряжения (мозгового и глазного), как когда смотришь в чрезмерно острые стекла, не по глазу (кому он по глазу?).

Маяковского долго читать невыносимо от чисто физической растраты. После Маяковского нужно много и долго есть. Или спать. Или – кто постойче – ходить.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Наверстывать, или – кто постоиче – вышагивать. И невольное видение Петра, глазами
восемнадцатилетнего Пастернака:

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке...
И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатали...
Так Маяковский нынче смотрит на российскую стройку.

У Маяковского мы всегда знаем о чем, зачем, почему. Он сам – отчет. У Пастернака
мы никогда не можем доискаться до темы, точно все время ловишь какой-то хвост,
уходящий за левый край мозга, как когда стараешься вспомнить и осмыслить сон.

Маяковский – поэт темы. Пастернак – поэт без темы. Сама тема поэта.

Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем.
Под него подпадаем. В него – впадаем. Пастернака, когда мы его понимаем, то
понимаем помимо него, помимо смысла (который есть и за прояснение которого нам –
бороться) – через интонацию, которая неизменно точна и ясна. Мы Пастернака
понимаем так, как нас понимают животные. Мы так же не умеем говорить
по-пастернаковски, как Пастернак не умеет говорить по-нашему, но оба языка есть,
и оба вняты и осмысленны, только они на разных ступенях развития. Разобщены.
Мост – интонация. Больше скажу: чем больше старается Пастернак свою мысль
развить и уяснить, чем больше громоздит придаточных предложений (строение его
фразы всегда правильно и напоминает германскую художественно-философскую прозу
начала прошлого века), тем больше он смысл затемняет. Есть темнота сжатости,
есть темнота распространенности, здесь же – говорю об иных местах его прозы –
двойная темнота поэтической сжатости и философской распространенности. В
распространенной прозе, какова, например, лекторская, должна быть вода
(обмеление вдохновения), то есть распространение должно быть повторением, а не
разъяснением: одного образа другим и одной мысли – другой.

Возьмем прозу Маяковского, тот же сокращенный мускул стиха, такая же проза его
стихов, как Пастернакова проза – проза стихов Пастернака. Плоть от плоти и кость
от кости. О Маяковском сказано – мною обо мне сказанное:

я слово беру – на прицел!

А словом – предмет, а предметом – читателя. (Мы все Маяковским убиты – если не
воскрешены!)

Важная особенность: Маяковский-поэт весь переводим на прозу, то есть рассказуем
своими словами, и не только им самим, но любим. И словаря менять не приходится,
ибо словарь Маяковского – сплошь обиходен, разговорен, прозаичен (как и словарь
Онегина, старшими современниками почитавшийся «подлым»). Утрачивается только
сила поэтической речи: маяковская расстановка: ритм.

А если Пастернака перевести на прозу, то получится проза Пастернака, место куда
темнейшее его стихов, то есть темнота, присущая самому стиху, и нами, поэтому, в
стихах узаконенная, здесь окажется именно темнотой сути, никакими стихами не
объясненная и не проясненная. Ибо, не забудем: лирика темное – уясняет, явное же
– скрывает. Каждый стих – речение Сивиллы, то есть бесконечно больше, чем сказал
язык.

Маяковский весь связан, логика же Пастернака сущая, но неисследимая связь между
собой событий, – сна, во сне, но только во сне, неопровержимая. Во сне (когда мы
читаем Пастернака) все именно так, как нужно, все узнаешь, но попробуй-ка этот
сон рассказать – то есть своими словами передать Пастернака – что останется? Мир
Пастернака держится только по его магическому слову. «И сквозь магический
кристалл...» Магический кристалл Пастернака – его глазной хрусталик.

Маяковского рассказать пусть берется каждый, говорю заранее: удастся, то есть
половина Маяковского останется. Пастернака же может рассказать только сам
Пастернак. Что и делает в своей гениальной прозе, сразу ввергающей нас в
сновидение и в сновидение.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Пастернак – чара.

Маяковский – явь, белейший свет белого дня.

Но основная причина нашего первичного непонимания Пастернака – в нас. Мы природу слишком очеловечиваем, поэтому вначале, пока еще не заснули, в Пастернаке ничего не узнаем. Между вещью и нами – наше (вернее, чужое) представление о ней, наша застилающая вещь привычка, наш, то есть чужой, то есть дурной опыт с вещью, все общие места литературы и опыта. Между нами и вещью наша слепость, наш порочный, порченный глаз.

Между Пастернаком и предметом – ничего, оттого его дождь – слишком близок, больше бьет нас, чем тот из тучи, к которому мы привыкли. Мы дождя со страницы не ждали, мы ждали стихов о дожде. Поэтому мы говорим: «Это не дождь!» и «Это не стихи!» Дождь забарабанил прямо по нас:

На листьях сотни запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Природа явила себя через самое беззащитное, лунатическое, медиумическое существо – Пастернака.

Пастернак неисчерпаем. Каждая вещь в его руке, вместе с его рукой, из его руки уходит в бесконечность – и мы с нею – за нею. Пастернак только Invitation au voyage[102] – самораскрытия и мирораскрытия, только отправной пункт: то, откуда. Наш отчал. Ровно столько места, чтобы – сняться. На Пастернаке мы не замедливаем, мы медлим над Пастернаком. Над пастернаковской строкой густейшая и тройная аура – пастернаковских, читательских и самой вещи – возможностей. Пастернак сбывается над строкою. Чтение Пастернака надстрочное, – параллельное и перпендикулярное. Меньше читаешь, чем глядишь (думаешь, идешь) от. Наводящее. Заводящее. Можно сказать, что Пастернака читатель пишет сам.

Пастернак неисчерпаем.

Маяковский – исчерпывает. Исчерпаема только его сила, с которой он так исчерпывает предмет. Сила, готовая, как земля, каждый раз все заново, каждый раз – раз навсегда.

За порогом стихов Маяковского – ничего: только действие. Единственный выход из его стихов – выход в действие. Его стихи нас из стихов выталкивают, как белый день с постели сна. Он именно тот белый день, не терпящий ничего скрытого. – Die Sonne bringt es an den Tag![103] Посмотрите на его тени – разве это не ножом отрезанные, ограниченные тени полдня, на которые нельзя не наступить ногой. Пастернак: неисчерпаемость (неограниченность) ночи.

Над строками Маяковского – ничего, предмет весь в его строке, он весь в своей строке, как гвоздь весь ушел в доску: мы же уже непосредственно у дела и с молотком в руках.

От Пастернака думается.
От Маяковского делается.
После Маяковского ничего не остается сказать.
После Пастернака – всё.
И, в каком-то последнем, конечном счете:

«Мне борьба мешала быть поэтом» – Пастернак.

«Песни мне мешали быть бойцом» – Маяковский.

Ибо упор Пастернака в поэте.

Ибо упор Маяковского в бойце.

«Певец в стане русских воинов» – вот Пастернак в российской современности.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Боец в стане мировых певцов – вот Маяковский в поэтической современности.

И – кто знает – куда бы дошел, до какой глубины бы дошел Пастернак, если бы не невольная, тоже медиумическая, привлеченность общественностью: данным часом России, века, истории. Отдавая все должное Пятому Году – гению Пастернака во образе Пятого Года, – не могу не сказать, что Шмидт и без Пастернака остался бы Шмидтом, Пастернак и без Шмидта остался бы Пастернаком, а с чем-нибудь иным чем Шмидт, с чем-нибудь неназванным оказался бы – дальше.

Если час для поэтической карьеры – внешнего прохождения и дохождения поэта – ныне в России благоприятный, то для поэтической одинокой дороги он неблагоприятен. События питают, но они же и мешают, и, в случае лирического поэта, больше мешают, чем питают. События питают пустого (незаполненного, опустошенного, временно пустующего), переполненному они – мешают. События питают Маяковского, у которого была только одна полнота – сил. События питают только бойца. У поэта – свои события, свое самособытие поэта. Оно в Пастернаке если не нарушено, то отклонено, заслонено, отведено. Тот же отвод рек. Видоизменение русл.

Пастернак, по благородству сущности, сам свои пороги упразднил – поскольку мог. Пастернак в полной добросовестности, – старается не впасть в Каспийское море.

Может быть, может быть. Но – жаль Неясыти. И той Волги – жаль.

«Песни мне мешали быть бойцом» – Маяковский. Да, ибо есть борьба более непосредственная, чем словом, – телом! – и более действенная, чем словом, – делом, общее дело рядовой борьбы. А Маяковский никогда не стоял рядовым. Его дар его от всех его собоюцов – товарищей – отъединил, от всякого, кроме разговорного, дела отставил. Маяковскому, этому самому прямому из бойцов, пришлось драться иносказательно, этому самому боевому из бойцов – биться окольно. И сколько ни заявляй Маяковский: «Я – это все! Я – это мы!» – он все-таки одинокий товарищ, неравный ровня, атаман – ватаги, которой нет, или настоящий атаман которой – другой. Вот стихи рабочего:

Вспоминаю тебя и тебе пою
Как сталь звучащую песнь мою.
К тебе вздымается песнь! К тебе
И больше ни к кому.
Ты слабости не знал в себе,
Был тверд. И потому
Всю молодость мою
Тебе я отдаю.
Нет лучшего, чем ты, у нас
И не было в веках.
Весна. И лето уж недалеко.
Воды бурлят, содрогаясь до дна.
Улицы мира вздыхают глубоко.
Шли года и года,
Но никто никогда
Не жил, так нас любя,
Как ты.
И уж нет тебя.
И все ж я стою пред тобою.
Ты жив... И будешь – пока земля
Будет. Мощным звоном с башен Кремля
Падают ритмы Парижской Коммуны.
Все гонимые в мире сердца
Натянули в груди твоей общие струны.
На старых камнях площади Красной,
С весенним вихрем один на один,
Победоносный и властный,
Окраинной улицы сын
Поет тебя.

Это стихи – не Маяковскому. Они тому, кто, по слуху народной славы выписав себе полное собрание сочинений Маяковского, прочел две страницы и навсегда отложил, сказав: «А все-таки Пушкин – лучше писал!»

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
А я скажу, что без Маяковского русская революция бы сильно потеряла, так же как сам Маяковский – без Революции.

А Пастернак бы себе рос и рос...

Если у нас из стихов Маяковского один выход – в действие, то у самого Маяковского из всей его действенности был один выход – в стихи. Отсюда и их ошеломляющая физика, их подчас подавляющая мускульность, их физическая ударность. Всему бойцу пришлось втесниться в строки. Отсюда и рваные размеры. Стих от Маяковского всеместно треснул, лопнул по швам и без швов. И читателю, сначала в своей наивной самонадеянности убежденному, что Маяковский это для него ломается (действительно ломался: как лед в ледоход!), скоро пришлось убедиться, что прорывы и разрывы Маяковского не ему, читателю, погремушка, а прямое дело жизни – чтобы было чем дышать. Ритмика Маяковского физическое сердцебиение – удары сердца – застоявшегося коня или связанного человека. (Про Маяковского можно сказать чудным ярмарочным словом владельца карликовой труппы, ревновавшего к соседнему бараку: «Чего глядите? Обнакнавленный великан!») Нет гнета большего – подавленной силы. А Маяковский, даже в своей кажущейся свободе, связан по рукам и по ногам. О стихах говорю, ни о чем другом.

Если стихи Маяковского были делом, то дело Маяковского не было: писать стихи.

Есть рожденные поэты – Пастернак.

Есть рожденные бойцы – Маяковский.

А для рожденного бойца – да еще такой идеи – всякая дорога благоприятнее поэтовой.

Еще одно необходимое противопоставление. Маяковский при всей его динамичности – статичен, та непрерывность, предельность, однородность движения, дающая неподвижность. (Недвижный столб волчка. Волчок движется только, когда останавливается.)

Пастернак же – динамика двух впертых в стол локтей, подпирающих лоб – мыслителя.

Так неподвижно море – в самую бурю.

Так динамично небо, которым идут тучи.

Статичность Маяковского от его статуарности. Даже тот быстроногий бегун он – мраморный. Маяковский – Рим. Рим риторства. Рим действия. «Карфаген должен быть разрушен!» (Если ругать его, так только: «статуй».) Маяковский – живой памятник. Гладиатор вживе. Вглядитесь в лобные выступы, взгляните в глазницы, взгляните в скулы, взгляните в челюсти. Русский? Нет. Рабочий. В этом лице пролетарии всех стран больше чем соединились – объединились, сбились в это самое лицо. Это лицо такое же собирательное, как это имя. Безымянное имя. Безличное лицо. Как есть лица с печатью интернациональной авантюры, так это лицо – сама печать Пролетариата, этим лицом Пролетариат мог бы печатать свои деньги и марки.

Маяковский среди рабочих мира был настолько свой, он – настолько они, что спокойно мог дымить на них английским табаком из английской трубки и сверкать на них черным лаком парижских башмаков и собственной парижской машины – только радость: своему повезло, и говорить рабочим «ты» (весь Пастернак напряженное «вы», на «ты» он только с Гёте, Рильке, такими. «Ты» братственности, ученичества, избранничества. У Маяковского – рядовое «ты» товарищества). Маяковский в коммунизме настолько свой, что он вопреки всем попрекам Есенину и наказам комсомолке Марусе, отравившейся, потому что не было лаковых туфель (из-за них-то и милый бросил!), –

Помни ежедневно, что ты – зодчий
И новых отношений и новых любовей, –
И станет ерундовым любовный эпизодчик
Какой-нибудь Любы к любому Воле, –
мог покончить с собой из-за частной, несчастной любви так же просто, как тогда резался в карты. Своему все позволено, чужому – ничего. Свой среди своих. Только те рабочие живые, этот – каменный.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Боюсь, что несмотря на народные похороны, на весь почет ему, весь плач по нем Москвы и России, Россия и до сих пор до конца не поняла, кто ей был дан в лице Маяковского. Маяковскому в России только один – ровня. (Не говорю: в мире, не говорю: в слове, говорю: в России.) Если тот был «хлеба», этот был «зрелищ», то есть первым шагом души из хлеба, первой новой российской душой. Маяковский первый новый человек нового мира, первый грядущий. Кто этого не понял, не понял в нем ничего. Недаром я, слушая с голоса те уже приведенные стихи рабочего «Весна», где все свелось к одному: ему: ушедшему, сразу сказала: – либо Маяковскому – либо.

Пролетариат может печатать только двумя лицами. Должен печатать двумя лицами.

Даже известная ограниченность его – ограниченность статуи. Статуя может только менять положение: угрозы, защиты, страха и т. д. (Весь античный мир одна статуя в различных положениях.) Видоизменять положения, но не менять материал, который раз навсегда ограничен, и раз навсегда ограничивающий возможности. Вся статуя в себя включена. Она из себя не выйдет. Потому-то она и статуя. Для того-то она и статуя. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister[104]. Может быть, в этом смысле Маяковский более Meister и Meisterwerk[105], чем Пастернак, которого так же дико, как Рильке, искать в ограниченном мире мастерства и так же естественно, как Рильке, находить в неограниченном, ничем от нас не отграниченном мире чуда.

Лаокоон из кожи не вылезет никогда, но вылезает всегда, но не вылезет никогда, и так далее до бесконечности. В Лаокооне дано вылезание из: статика динамики. Ему, как морю, положен закон и предел. Эта же неподвижность бойца дана и в Маяковском.

Теперь прошу о предельном внимании. Из кожи Маяковского лез только боец, лез только размер. Как из его глазниц – глазомер. Дай ему тело и дело в тысячу раз больше ему положенных, тело и дело его силы, весь Маяковский отлично в себе уместится, ибо распределится в непрерывности живого движения, и не будет статуей. Статуей он стал. Его трагедия опять-таки вопрос количества, а не качества (разнокачественности). В этом он еще раз одинок среди поэтов, ибо лез-то он именно из кожи слова, ставшей роковым образом его собственной и которую он повсеместно прорвал – в действенный мир, тогда как все поэты именно из кожи действенного мира лезут. Все поэты: из физики – в психику. Маяковский из психики – в физику – с нашей точки зрения, – ибо для Маяковского, обратно всем поэтам, слово было тело, а дело – душа. Пусть для лирика и поэзия тесна, Маяковскому именно она была тесна. Маяковский за письменным столом – физическое несоответствие. Уже больше видишь его за «grandes machines»[106] декоративной живописи, где, по крайней мере, руке есть где взмахнуть, ноге – куда отступить, глазу – что окинуть. Из кожи поэзии рвался еще и живописец. Та секунда, когда Маяковский впервые уперся локтем в стол, – начало его статуарности. (Окаменел с локтя.) Россия в эту секунду обрела самого живого, самого боевого, самого неотразимого из своих поэтов, в эту секунду любые ряды боя – первый ряд боя, все первые ряды всех боев мира утратили своего лучшего, самого боевого, самого неотразимого бойца.

Приобрел эпос, потерял миф.

Самоубийство Маяковского, в другом моем смысловом контексте встающее, как убийство поэтом – гражданина, из данного моего контекста встает расправой с поэтом – бойца. Самоубийство Маяковского было первым ударом по живому телу, это тело – первым живым упором его удару, а все вместе – его первым делом. Маяковский уложил себя, как врага.

Если Маяковский в лирическом пастернаковском контексте – эпос, то в эпическом действенном контексте эпохи он – лирика. Если он среди поэтов – герой, то среди героев – он поэт. Если творчество Маяковского эпос, то только потому, что он, эпическим героем задуманный, им не стал, в поэта всего героя взял. Приобрела поэзия, но пострадал герой.

Герой эпоса, ставший эпическим поэтом – вот сила и слабость и жизни и смерти Маяковского.

С Пастернаком проще, на этот раз Пастернак Темный – читается с листа. Пастернаку, как всякому лирическому поэту, всюду тесно, кроме как внутри, во

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru всем мире действия тесно, особенно же в самом месте мирового действия – нынешней России.

Иль я не знаю, что в потемках тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота?
Иль я урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней!

Пастернаку, как всякому поэту, как всякому большому о счастье не думающему, приходится снижаться до цифрового сопоставления счастья ста и сотен тысяч, до самого понятия счастья как ценности, орудовать двумя неизвестными, если не заведомо подозрительными ему величинами: счастья и цифрового количества.

Пастернаку, который так недавно, высунув голову в фортку – детям:

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе? –
приходится по полной доброй воле, за которую никто ему не благодарен (кому досадно, кому жалко, кому умилительно и всем неловко), мериться пятилеткой.

Весь Пастернак в современности – один большой недоуменный страдальческий глаз – тот самый глазок над кружкой – тот самый глаз из фортки – глаз непосредственно из грудной клетки – с которой он не знает, как быть, ибо видимое и сущее в ней, так Пастернаку кажется, сейчас никому не нужно. Пастернак из собственных глазниц вылезает, чтобы увидеть то, что все видят, и ко всему, что не то, ослепнуть. Глаз тайновидца, тшщийся стать глазом очевидца. И так хочется от лица мира, вечности, будущего, от лица каждого листка, на который он так глядел, уговорить Пастернака тихими словами его любимого Ленау («Bitte»).

Weil auf mir du dunkles Auge,
Uebe deine ganze Macht[107].

Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века: отношению к России.

Здесь Пастернак и Маяковский – единомышленники. Оба за новый мир и оба, – но вижу, что первое оба останется последним, ибо если Пастернак явно за новый мир, то вовсе не с такой силой явности против старого, который для него, как бы он ни осуждал политический и экономический строй прошлого, прежде всего и после всего – его огромная духовная родина. «Кто не с нами, тот против нас». Мы для Пастернака не ограничивается «атакующим классом». Его мы – все те уединенные всех времен, порознь и ничего друг о друге не зная делающие одно. Творчество – общее дело, творимое уединенными. Под этим, не сомневаюсь, подпишется сам Борис Пастернак не боец (kein Umstürzler)[108]. Пастернак – сновидец и прозорливец. В своей революционности он ничем не отличается от всех больших лириков, всех, включая роялиста Виньи и казненного Шенье, стоявших за свободу – других (у поэта – своя свобода), равенство – возможностей, и братство, которым каждый поэт, несмотря на свое одиночество, а может быть, и благодаря своему одиночеству, переполнен до самых краев сердца. В своей «левизне» он ничем не отличается от каждого человека, у которого сердце на месте, то есть – слева.

Вот признание самого Пастернака, недавнее, после пятнадцати лет Революции, признание:

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта – только след
Ее путей – не боле,
И так как я лишь ей задет,
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революционной воле –

то есть то же слово Виньи сто лет назад: «Après avoir réfléchi sur la destinée des femmes dans tous les temps et chez toutes les nations, j'ai fini par penser que tout homme devrait dire à chaque femme, au lieu de Bonjour: – Pardon!»[109]

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru И опять-таки от данного к общему, окольный – чисто-поэтов! – приход, через деталь и обход веками обманутой девушки – да через Гретхен же! – в Революцию. Как к лесу – через лист. И показательно, что самосознающий себя, боевой, волевой Маяковский с его самосознающим себя даром:

Всю свою звонкую силу поэта
я тебе отдаю, атакующий класс! –
со всей своей волей и личностью в этом своем выборе – растворяется. Пастернаково же признание:

То весь я рад сойти на нет
В революционной воле
нами, вопреки убежденности Пастернака и очевидности букв, читается:

я рад бы весь сойти на нет –

то есть Пастернак в нашем сознании, несмотря на Лейтенанта Шмидта и все, что еще такого напишет, в этой революционной воле, как вообще ни в какой людской, не растворяется, ибо ни с какой волей, кроме мировой, всей мировой – и действующей непосредственно через него – не только не слиянен, но и не знаком. Каждый подвластен, но каждый подвластен иному. За Пастернака знает кто-то больший, чем он, и иной, чем мы.

Маяковского ведут массы, хочется сказать по-французски: гений масс, потому он их и ведет. Массы будущего, потому он и ведет массы настоящего. И чтобы не было двусмысленности в толковании: Маяковского ведет история.

Маяковский: ведущий – ведóмый. Пастернак – только ведомый.

Единомыслие – не мера сравнения двух поэтов. У Маяковского единомышленники – если не вся Россия, то вся русская молодежь. Каждый комсомолец больший и, во всяком случае, более явный единомышленник Маяковскому, чем Пастернак. Сходятся (едино мыслят) эти двое только раз – в теме поэм: Октябрь и Пятый Год. Один написал Октябрь, другой Декабрь, но какой Октябрь и какой Декабрь, да и Декабрь-то от Октября сильно разнится... И напиши Пастернак завтра же свой Октябрь, это прежде всего будет его Октябрь, где центр боевых действий будет перенесен на вершины метущихся деревьев.

Второго, а по существу первого и единственного вопроса: об отношении к Богу того и другого, Бога к тому и другому, я сейчас намеренно не подымаю. В свой час.

В разные устья, из разных истоков, разные в источниках, из которых пьют, в жаждущих, которых поят – зачем перечислять? – не разные во всем, а люди разных измерений, они равны только в одном: силе. В силе творческого дара и отдачи. Следовательно, и в силе, по нас, удара.

Маяковский наш силомер. Пастернак наш глубино-мер: лот.

Но есть у этих двух, связанных только одной наличностью – силы, и одно общее отсутствие: объединяющий их пробел песни. Маяковский на песню неспособен, потому что сплошь мажорен, ударен и громогласен. Так шутки шутят («не гораздо хорошие») и войсками командуют. Так не поют. Пастернак на песню не способен, потому что перегружен, перенасыщен и, главное, единоличен. В Пастернаке песне нету места, Маяковскому самому не место в песне. Поэтому блоковско-есенинское место до сих пор в России «вакантно». Певучее начало России, расструенное по небольшим и недолговечным ручейкам, должно обрести единое русло, единое горло.

Для того чтобы быть народным поэтом, нужно дать целому народу через тебя петь. Для этого мало быть всем, нужно быть всеми, то есть именно тем, чем не может быть Пастернак. Целым и только данным, данным, но зато целым народом – тем, чем не хочет быть Маяковский: глашатай одного класса, творец пролетарского эпоса.

Ни боец (Маяковский), ни прозорливец (Пастернак) песен не слагают.

Для песни нужен тот, кто наверное уже в России родился и где-нибудь, под великий российский шумок, растет. Будем жить.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

...Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих.
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.
Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал со всех ног, со всех лодыг,
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен этне
В предгорье трусов и трусик.
Пастернак – Маяковскому
Кламар, декабрь 1932
Живое о живом
(Волошин)

...И я, Лозэн, рукой белей чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозэн, вещал, что полноправны
Под солнцем – дворянин и дровосек!
Одиннадцатого августа – в Коктебеле – в двенадцать часов пополудни – скончался
поэт Максимилиан Волошин.

Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было, после естественного удара смерти – удовлетворенность: в полдень: в свой час. Жизни ли? Не знаю. Поэту всегда пора и всегда рано умирать, и с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня. Но, во всяком случае, в свой час суток и природы. В полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира – в свой час, в волошинский час.

И достоверно – в свой любимый час природы, ибо 11 августа (по-новому, то есть по-старому конец июля), – явно полдень года, самое сердце лета.

И достоверно – в самый свой час Коктебеля, из всех своих бесчисленных обликов запечатлевающегося в нас в облике того солнца, которое как Бог глядит на тебя неустанно и на которое глядеть нельзя.

Эта печать коктебельского полдневного солнца – на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб. Солнца такого сильного, что загар от него не смывался никакими московскими зимами и земляничными мылами, и такого доброго, что, невзирая на все свои пятьдесят градусов – от первого дня до последнего дня, – десятилетиями позволяло поэту сей двойной символ: высшей свободы от всего и высшего уважения: непокрытую голову. Как в храме.

Пишу и вижу: голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях, узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили (особенно дамы), есть ли или нет под ним штаны.

Парусина, полынь, сандалии – что чище и вечнее, и почему человек не вправе предпочитать чистое (стирающееся, как парусина, и сменяющееся, но неизменное, как сандали и полынь) – чистое и вечное – грязному (городскому) и случайному (модному)? И что убийственнее – городского и модного – на берегу моря, да еще такого моря, да еще на таком берегу! Моя формула одежды: то, что не красиво на ветру, есть уродливо. Волошинский балахон и полынный веночек были хороши на ветру.

И так в свой час – в двенадцать часов пополудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, ибо любил архаику и весомость слов, в свой час суток, природы и Коктебеля. Остается четвертое и главное: в свой час сущности. Ибо сущность Волошина – полдневная, а полдень из всех часов суток – самый телесный, вещественный, с телами без теней и с телами, спящими без снов, а если их и видящими – то один сплошной сон земли. И, одновременно, самый магический, мифический и мистический час суток, такой же маго-мифо-мистический, как полночь. Час Великого Пана, Démon de Midi [110], и нашего скромного русского полуденного, о котором я в детстве, в Калужской губернии, своими ушами: «Лёнка, идем

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru купаться!» – «Не пойду-у: полуденный утащит». – Магия, мифика и мистика самой земли, самого земного состава.

Таково и творчество Волошина, в котором, по-женски-гениально-непосредственному слову поэтессы Аделаиды Герцык, меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем реки. Творчество Волошина – плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той – мало насквозь прогретой, – сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек («семь пудов мужской красоты», как он скромно оповещал) был необычайный ходок, и жилистые ноги в сандалиях носили его так же легко и заносили так же высоко, как козьи ножки – козочек. Неутомимый ходок. Ненасытный ходок. Сколько раз – он и я – по звенящим от засухи тропкам, или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок, без помощи рук, с камнем во рту (говорят, отбивает жажду, но жажду беседы он у нас не отбивал), итак, с камнем во рту, но, несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совместность – как только свидевшиеся друзья – в непрерывности беседы и ходьбы – часами – летами – все вверх, все вверх. Пот лил и высыхал, нет, высыхал, не успев пролиться, беседа не пересыхала – он был неутомимый собеседник, то есть тот же ходок по дорогам мысли и слова. Рожденный пешеход. И такой же лазун.

Не таким он мне предстал впервые, в дверях залы нашего московского дома в Трехпрудном, о, совсем не таким! Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе выющейся недлинной бороды.

Вкрадчивый голос: «Можно мне видеть Марину Цветаеву?» – «Я». – «А я – Макс Волошин. К вам можно?» – «Очень!»

Прошли наверх, в детские комнаты. «Вы читали мою статью о вас?» – «Нет». – «Я так и думал и потому вам ее принес. Она уже месяц, как появилась».

Помню имена: Марселина Деборд-Вальмор, Ларю-Мардрюс, Ноайль – вступление. Потом об одной мне – первая статья за жизнь (и, кажется, последняя большая) о моей первой книге «Вечерний альбом». Помню о романтике сущности вне романтической традиции – такую фразу: «Герцог Рейхштадтский, княжна Джаваха, Маргарита Готье – герои очень юных лет...», цитату:

Если думать – то где же игра? –

и утверждение: Цветаева не думает, она в стихах – живет, и главный упор статьи, стихи «Молитва»:

Ты дал мне детство лучше сказки,
И дай мне смерть – в семнадцать лет!
Вся статья – самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию.

«Она давно появилась, больше месяца назад, неужели вам никто не сказал?» – «Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат». – «А вы – в гимназии? Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии?» – «Пишу стихи».

Некоторое молчание, смотрит так пристально, что можно бы сказать, бессовестно, если бы не широкая, все ширеющая улыбка явного расположения – явно располагающая.

– А вы всегда носите это?..

– Чепец? Всегда, я бритая.

– Всегда бритая?

– Всегда.

– А нельзя ли было бы... это... снять, чтобы я мог увидеть форму вашей головы. Ничто так не дает человека, как форма его головы.

– Пожалуйста.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Но я еще руки поднять не успела, как он уже – осторожно – по-мужски и по-медвежьи, обеими руками – снял.

– У вас отличная голова, самой правильной формы, я совершенно не понимаю...

Смотрит взглядом ваятеля или даже резчика по дереву – на чурбан – кстати, глаза точь-в-точь как у Врубелевского Пана: две светящиеся точки – и, просительно:

– А нельзя ли было бы уж зараз снять и...

Я:

– Очки?

Он, радостно:

– Да, да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки.

Я, на этот раз опережая жест:

– Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.

Он спокойно:

– Вам видеть не надо, это мне нужно видеть.

Отступает на шаг и, созерцательно:

– Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверно, это часто говорят?

– Никогда, потому что никто не видел меня бритой.

– Но зачем же вы тогда бреетесь?

– Чтобы носить чепец.

– И вы... вы всегда будете бриться?

– Всегда.

Он, с негодованием:

– И неужели никто никогда не полюбопытствовал узнать, какая у вас голова? Голова, ведь это – у поэта – главное!.. А теперь давайте беседовать.

И вот беседа – о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю – полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого – и каких глаз: светлых почти добела, острых почти до боли (так слезы выступают, когда глядишь на сильный свет, только здесь свет глядит на тебя), не глаз, а сверл, глаз действительно – прозорливых. И оттого, что не больших, только больше видящих – и видных. Внешне же: две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок, за которой бы зажгли – что? ничего, такие брызги остаются на руках, когда по ночному волошинскому саду несутся с криками: скорей! скорей! море светится! Не две капли морской воды, а две искры морского живого фосфора, две капли живой воды.

Под дозором этих глаз, я тогда очень дикая, еще дичаю, не молчу, а не смолкаю: сплошь – личное, сплошь – лишнее: о Наполеоне, любимом с детства, о Наполеоне II, с Ростановского «Aiglon»[111], о Саре Бернар, к которой год назад сорвалась в Париж, которой там не застала и кроме которой там все-таки ничего не видела, о том Париже – с N тајис повсюду – с заглавным N на взлобьях зданий – о Его Париже, о моем Париже.

Улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, изредка, в перерывы моего дыхания, вставляя:

– А Бодлера вы никогда не любили? А Артюра Рембо – вы знаете?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Знаю, не любила, никогда не буду любить, люблю только Ростана и Наполеона I и Наполеона II – и какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на св. Елену и с Вторым в Шенбрунн.

Наконец, в секунду, когда я совсем захлебнулась:

– Вы здесь живете?

– Да, то есть не здесь, конечно, а...

– Я понимаю: в Шенбрунне. И на св. Елене. Но я спрашиваю: это ваша комната?

– Это – детская, бывшая, конечно, а теперь Асина, это моя сестра – Ася.

– Я бы хотел посмотреть вашу.

Провожу. Комната с каюту, по красному полю золотые звезды (мой выбор обоев: хотелось с наполеоновскими пчелами, но так как в Москве таковых не оказалось, примирилась на звездах) – звездах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами Отца и Сына – Жерара, Давида, Гро, Лавренса, Мейссонье, Верещагина – вплоть до киота, в котором богоматерь заставлена Наполеоном, глядящим на горящую Москву. Узенький диван, к которому вплотную письменный стол. И все.

Макс, даже не попробовавший протиснуться:

– Как здесь – тесно!

Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку. Никогда не ощущала ее избытком жира, всегда – избытком жизни, как оно и было, ибо он ее легко носил (хочется сказать: она-то его и носила!) и со своими семью пудами никогда не возбуждал смеха, всегда серьезные чувства, как в женщинах любовь, в мужчинах – дружбу, в тех и других – некий священный трепет, никогда не дававший сходитьсь с ним окончательно, вплотную, великий барьер божественного уважения, то есть его божественного происхождения, данный еще и физически, в виде его чудного котового живота.

– Как здесь тесно!

Действительно, не только все пространство, несуществующее, а весь воздух вытеснен его зевесовым явлением. Одной бы его головы хватило, чтобы ничему не уместиться. Так как сесть, то есть пролезть, ему невозможно, беседуем стоя.

Вкрадчивый голос:

– А франси Жамма вы никогда не читали? А Клоделя вы...

В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не франси Жамму и Клоделю, а – к Ростану, к Ростану, к Ростану.

Et maintenant il faut que Ton Altesse dorme...[112]

– Вы понимаете? Тон (любовь) – и все-таки Altesse!

Ame pourquoi la mort fût une quérison...[113]

– А для кого – не?

Dorme dans le tombeau de sa double prison

De son cercueil de bronze et de son uniforme[114].

– Вы понимаете, что Римского короля похоронили в австрийском!

Слушает истово, теперь вижу, что меня, а не Ростана, мое семнадцатилетнее во всей чистоте его самосожжения – не оспаривает – только от времени до времени – робко:

– А Анри де Ренье вы не читали – «La double maINTresse?»[115] А Стефана Малларме вы не...

И внезапно – au beau milieu Victor hugo'ской оды[116] Наполеону II – уже не

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
вкрадчиво, а срочно:

– А нельзя ли будет пойти куда-нибудь в другое место?

– Можно, конечно, вниз тогда, но там семь градусов и больше не бывает.

Он, уже совсем сдавленным голосом:

– У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков, – знаете... задыхаюсь.

Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. В зале – совсем пустой и ледяной –
вздыхает всей душой и телом и с ласковой улыбкой, нежнейше:

– У меня как-то в глазах зарябило – от звезд.

Кабинет отца с бюстом Зевеса на вышке шкафа.

Сидим, он на диване, я на валике (я – выше), гадаем, то есть глядим: он мне в
ладонь, я ему в темя, в самый водоворот: волосоворот. Из гадания, не слукая, помню только одно:

– Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем
помечтать. Ушел подальше, чтобы помечтать, подольше. Кстати, я должен идти, до
свиданья, спасибо вам.

– Как? Уже?

– А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов, я пришел в два, а
теперь семь. Я скоро опять приду.

Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка...

Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем
помечтать.

– Барышня, а гость-то ваш – никак, ушли?

– Только что проводила.

– Да неужто вам, барышня, не стыдно – с голой головой – при таком полном барине,
да еще кудреватом таком! А в цилиндре пришли – ай жених?

– Не жених, а писатель. А чепец снять – сам велел.

– А-а-а... Ну, ежели писатель – им виднее. Очень они мне пондравились, как я вам
чай подавала: полные, румяные, солидные и улыбочивые. И бородатые. А вы уж,
барышня, не сердитесь, а вы им, видать – ух! – пондравились: уж так на вас
глядел, уж так на вас глядел: в са-амый рот вам! А может, барышня, еще пойдете
за них замуж? Только поскорей бы косе отрусть!

Через день письмо, открываю: стихи:

К вам душа так радостно влекома!
О, какая веет благодать
От страниц Вечернего Альбома!
(Почему альбом, а не тетрадь?)
Отчего скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах очки?
Я отметил только взгляд покорный
И младенческий овал щеки.
Я лежу сегодня – невралгия,
Боль, как тихая виолончель...
Ваших слов касания благие
И стихи, крылатый взмах качель,
Убаюкивают боль: скитальцы,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Мы живем для трепета тоски...
Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?
Ваша книга – это весть оттуда,
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: чудо – есть!
Разрываясь от восторга (первые хорошие стихи за жизнь, посвящали много, но плохие) и только с большим трудом забирая в себя улыбку, – домашним, конечно, ни слова! – к концу дня иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двадцать лет и которой я уже, естественно, рассказала первую встречу. Еще в передней молча протягиваю стихи.

Читает:

– «К вам душа так радостно влекома – О, какая веет благодать – От страниц Вечернего Альбома – Почему альбом, а не тетрадь?»

Прерывая:

– Почему – альбом? На это вы ему ответите, что в тетрадку вы пишете в гимназии, а в альбом – дома. У нас в Смольном у всех были альбомы для стихов.

Почему скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах – очки?
А, вот видите, он тоже заметил и, действительно, странно: такая молодая девушка, и вдруг – в чепце! (Впрочем, бритая было бы еще хуже!) И эти ужасные очки! Я всегда вам говорила... – «Я отметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки». – А вот это очень хорошо! Младенческий! То есть на редкость младенческий! «Я лежу сегодня – невралгия – Боль как тихая виолончель – Ваших слов касания благие – И стихи, крылатый взмах качель – Убаюкивают боль. Скитальцы. – Мы живем для трепета тоски...» – Да! Вот именно для трепета тоски! (И вдруг, от слога к слогу все более и более омрачивая и на последнем, как туча):

Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?
Ну вот видите – пальцы... Фу, какая гадость! Я говорю вам: он просто пользуется, что вашего отца нет дома... Это всегда так начинается: пальцы... Мой друг, верните ему это письмо с подчеркнутыми строками и припишите: «Я из порядочного дома и вообще...» Он все-таки должен знать, что вы дочь вашего отца... Вот что значит расти без матери! А вы (заминка), может быть, действительно, от избытка чувств, в полной невинности, погладили его... по... виску? Предупреждаю вас, что они этого совсем не понимают, совсем не так понимают.

– Но – во-первых, я его не гладила, а во-вторых, – если бы даже – он поэт!

– Тем хуже. В меня тоже был влюблен один поэт, так его пришлось – Юлию Сергеевичу – сбросить с лестницы.

Так и ушла с этим неудобным видением будущего: массивного Максимилиана Волошина, летящего с нашей узкой мезонинной лестницы – к нам же в залу.

Дальше – хуже. То есть через день: бандероль, вскрываю: Henri de Requier, «Les rencontres de Monsieur de Bréot»[117].

Восемнадцатый век. Приличный господин, но превращающийся, временами, в фавна. Праздник в его замке. Две дамы – маркизы, конечно, – гуляющие по многолюдному саду и ищущие уединения. Грот. Тут выясняется, что маркизы искали уединения вовсе не для души, а потому, что с утра не переставая пьют лимонад. Стало быть – уединяются. Подымают глаза: у входа в грот, заслоняя солнце и выход, огромный фавн, то есть тот самый Monsieur de Bréot.

В негодовании захопываю книгу. Эту – дрянь, эту – мерзость – мне? С книгой в руках и с неизъяснимым чувством брезгливости к этим рукам за то, что такую дрянь держат, иду к своей приятельнице и ввожу ее непосредственно в грот. Вскрикивает, верней, выскакивает, как ожженная.

– Милый друг, это просто – порнография! (Пауза.) За это, собственно, следовало

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru бы сослать в Сибирь, а этого... поэта, во всяком случае, ни в коем случае, не пускайте через порог! (Пауза.) Нечего сказать – маркизы! Вы видите, как я была права! Милый друг, выбросьте эту ужасную книгу, а самого его, с этими (брезгливо) холодными висками... спустите с лестницы! Я вам говорю, как мать, и это же бы вам сказал ваш отец – если бы знал... Бедный Иван Владимирович!

Тотчас же садитесь и пишите: «Милостивый государь» – нет, какой же он государь! – просто без обращения: Москва, число. – После происшедшего между нами – нет, не надо между нами, а то он еще будет хвастаться – тогда так: «Ставлю вас в известность, что после нанесенного мне оскорбления в виде присланного мне порнографического французского романа вы навсегда лишились права преступить порог моего дома. Подпись». Все.

– По-моему – слишком торжественно. Он будет смеяться. И я совсем не хочу, чтобы он больше ко мне никогда не пришел.

– Ну, как знаете, но предупреждаю вас, что: те стихи, эта книга – а третье будет... словом, он поведет себя как тот Monsieur – как его? – в том... нечего сказать! – гроте.

Мое письмо вышло проще, но не кротче. «Совершенно не понимаю, как вы, зная книги, которые я люблю, решились прислать мне такую мерзость, которую вам тут же, без благодарности, возвращаю».

На следующий день – явление самого Макса, с большим пакетом под мышкой.

– Вы очень на меня сердитесь?

– Да, я очень на вас сердилась.

– Я не знал, что вам не понравится, вернее, я не знал, что вам понравится, вернее, я так и знал, что вам не понравится – а теперь я знаю, что вам понравится.

И книга за книгой – все пять томов Жозефа Бальзамо Дюма, которого, прибавлю, люблю по нынешний день, а перечитывала всего только прошлой зимой – все пять томов, ни страницы не пропустив. На этот раз Макс знал, что мне понравится.

(Выкладывая пятый том:

– Марина Ивановна! Как хорошо, что вы не так пишете, как те, кого вы любите!

– Максимилиан Александрович! Как хорошо, что вы не так себя ведете, как герои тех книг, которые вы любите!)

Чтобы не оставлять ни тени на безупречном друге стольких женских душ и бескорыстном созерцателе, а когда и строителе стольких судеб, чтобы не оставлять ни пятнышка на том солнце, которым был и есть для меня Макс, установлю, что вопреки опасениям моей заботливой и опытной в поэтах приятельницы – здесь и тени не было «развращения малолетних». Дело несравненно проще и чище. Макс всегда был под ударом какого-нибудь писателя, с которым уже тогда, живым или мертвым, ни на миг не расставался и которого внушал – всем. В данный час его жизни этим живым или мертвым был Анри де Ренье, которого он мне с первой встречи и подарил – как самое дорогое, очередное самое дорогое. Не вышло. Почти что наоборот – вышло. Не только я ни романов Анри де Ренье, ни драм Клоделя, ни стихов франси Жамма тогда не приняла, а пришлось ему, на двадцатилетие старшему, матерому, бывалому, проваливаться со мной в бессмертное младенчество од Виктора Гюго и в мое брэнное собственное и бродить со мною рука об руку по пяти томам Бальзамо, шести Мизераблей и еще шести Консуэлы и Графини Рудольштадт Жорж Занд. Что он и делал – с неизбывным терпением и выносливостью, и с только, иногда, очень тяжелыми вздохами, как только собаки и очень тучные люди вздыхают: вздохом всего тела и всей души. Первое недоразумение оказалось последним, ибо первый же том Мемуаров Казановы, с первой же открывшейся страницы, был ему возвращен без всякой обиды, а просто:

– Спасибо: гроты, вроде твоего маркиза, возьми, пожалуйста, – в чем меня очень поддержала мать Максимилиана Волошина, Елена Оттобальдовна.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru «В семнадцать лет – Мемуары Казановы, Макс, ты просто дурак!» – «Но, мама, эпоха та же, что в Жозефе Бальзамо и в Консуэле, которые ей так нравятся... Мне казалось...» – «Тебе казалось, а ей не показалось. Ни одной порядочной девушке в семнадцать лет не могут показаться Мемуары Казановы!» – «Но сам Казанова, мама, нравился каждой семнадцатилетней девушке!» – «Дурам, а Марина умная, итальянкам, а Марина – русская. А теперь, Макс, точка».

Каждая встреча начинается с ошупи, люди идут вслепую, и нет, по мне, худших времен – любви, дружбы, брака – чем пресловутых первых времен. Не худших времен, а более трудных времен, более смутных времен.

Очередной подарок Макса, кроме Консуэлы, Жозефа Бальзамо и Мизераблей – не забыть восхитительной женской книги «Трагический зверинец» и прекрасного Аксёля – был подарок мне живой героини и живого поэта, героини собственной поэмы: поэтессы Черубины де Габриак. Знаю, что многие это имя знают, для тех же, кто не знает, в двух словах:

Жила–была молодая девушка, скромная школьная учительница, Елизавета Ивановна Димитриева, с маленьким физическим дефектом – поскольку помню – хромала. Из ее преподавательской жизни знаю один только случай, а именно вопрос школьникам попечителя округа:

– Ну кто же, дети, ваш любимый русский царь? – и единогласный ответ школьников:

– Гришка Отрепьев!

В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая. Максимилиан Волошин этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной – имя, этой обездоленной – судьбу. Как он это сделал? Прежде всего он понял, что школьная учительница такая-то и ее стихи – кони, плащи, шпаги, – не совпадают и не совпадут никогда. Что боги, давшие ей ее сущность, дали ей этой сущности обратное – внешность: лица и жизни. Что здесь, перед лицом его – всегда трагический, здесь же катастрофический союз души и тела. Не союз, а разрыв. Разрыв, которого она не может не сознавать и от которого она не может не страдать, как непрерывно страдали: Джордж Элиот, Шарлотта Бронте, Жюли де Леспинас, Мэри Вебб и другие, и другие, и другие некрасивые любимцы богов. Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре: в свободном самораскрытии души. Очная ставка двух зеркал: тетради, где ее душа, и зеркала, где ее лицо и лицо ее быта. Тетради, где она похожа, и зеркала, где она не похожа. Жестокий самосуд ума, сводящийся к двум раскрытым глазам. Я такую себя не могу любить, я с такой собой – не могу жить. Эта не я.

Это о Елизавете Ивановне Димитриевой между двух зеркал: настольным и настенным, Елизавета Ивановна Димитриева насмерть обиженная бы – даже на острове, без единого человека, Елизавета Ивановна Димитриева наедине сама с собой.

Но есть еще Елизавета Ивановна Димитриева – с людьми. Максимилиан Волошин знал людей, то есть знал всю их беспощадность, ту – людскую, – и, особенно, мужскую – ничем не оправданную требовательность, ту жесточайшую несправедливость, не ищущую в красавице души, но с умницы непременно требующую красоты, – умные и глупые, старые и молодые, красивые и уроды, но ничего не требующие от женщины, кроме красоты. Красоты же – непреложно. Любят красивых, некрасивых – не любят. Таков закон в последней самоедской юрте, за которой непосредственно полюс, и в эстетской приемной петербургского «Аполлона». Руку на сердце положи, – может школьная, скромная, хромяя, может Е. И. Д. оплатить по счету свои стихи? Может Е. И. Д. надеяться на любовь, которую не может не вызвать ее душа и дар? Стали бы, любя ее ту, любить такую? На это отвечу: да. Женщины и большие, совсем большие поэты, да и то – большие поэты! – вспомним Пушкина, любившего неодушевленный предмет – Гончарову. Стало быть, только женщины. Но думает ли молодая девушка о женской дружбе, когда думает о любви, и думает ли молодая девушка о чем-либо другом кроме любви? Такая девушка, с такими стихами...

Следовательно, надежды на любовь к ней в этом ее теле – нет, больше скажу: это ее физическое явление равняется безнадежности на любовь. Напечатай Е. И. Д. завтра же свои стихи, то есть влюбись в них, то есть в нее, весь «Аполлон» – и приди она завтра в редакцию «Аполлона» самолично – такая, как есть, прихрамывающая, в шапочке, с муфточкой – весь «Аполлон» почувствует себя обокраденным, и мало

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru разлюбит, ее возненавидит весь «Аполлон». От оскорбленного: «А я-то ждал, что...» – до снисходительного: «Как жаль, что...» Ни этого «ждал», ни «жаль» Е. И. Д. не должна прослышать.

Как же быть? во-первых и в-главных: дать ей самой перед собой быть, и быть целиком. Освободить ее от этого среднего тела – физического и бытового, – дать другое тело: ее. Дать ей быть ею! Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть, дать ей тело этой души. Какое же у этой души должно быть тело? Кто, какая женщина должна, по существу, писать эти стихи, по существу, эти стихи писала?

Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, о, несметно богатая, явно (Байрон в женском облики, но даже без хромоты), то есть внешне счастливая, явно, чтобы в полной бескорыстности и чистоте быть несчастной по-своему. Роскошь чисто внутренней, чисто поэтовой несчастности – красоте, богатству, дару вопреки. Торжество самой субстанции поэта: вопреки всему, через все, ни из-за чего – несчастность. И главное забыла: свободная – явно: от страха своего отражения в зеркале приемной «Аполлона» и в глазах его редакторов.

Как же ее будут звать? Черубина рождалась в Коктебеле, где тогда гостила Е. И. Д. Однажды, год спустя, держу у Макса на башне какой-то окаменелый корень, принесенный приливом, оставленный отливом.

«А это, что у тебя сейчас в руках, это – Габриак. Его на песке, прямо из волны, взяла Черубина. И мы сразу поняли, что это – Габриак». – «А Габриак – что?» – «Да тот самый корень, что ты держишь. По нему и стала зваться Черубина». – «А Черубина откуда?» – «Керубина, то есть женское от Херувим, только мы К заменили Ч, чтобы не совсем от Херувима». Я, впадая: «Понимаю. От черного Херувима».

Итак, Черубина де Габриак. французенка с итальянским именем, либо итальянка с французской фамилией. Единственная дочь, живет в строгой католической семье, где девушки одни не ходят и стихов не пишут, а если пишут – то уж, конечно, не печатают. Гонорара никакого не нужно. В «Аполлон» никогда не придет. Пусть и не пытаются выследить – не выследят никогда, если же выследят – беда и ей, и им. Единственная достоверность: по воскресеньям бывает в костеле, но невидима, ибо поет в хоре. Все.

Как же все это – «Аполлону», то есть людям, то есть всему внешнему миру внушить? Как вообще вещи внушают: в нее поверив. Как в себя такую поверить? Заставить других поверить. Круг. И в этом круге, благом на этот раз, постепенное превращение Е. И. Д. в Черубину де Габриак. Написала, – поверила уже буквам нового почерка – виду букв и смыслу слов поверил адресат, – ответу адресата, то есть вере адресата – многоликого адресата, единству веры многих – поверила Е. И. Д. и в какую-то секунду – полное превращение Елизаветы Ивановны Димитриевой в Черубину де Габриак.

– Начнемте, Елизавета Ивановна?

– Начнемте, Максимилиан Александрович!

В редакцию «Аполлона» пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи. Женские. В листке заложен не цветок, пахучий листок, в бумажном листке – древесный листок. Адрес «До востребования Ч. де Г.».

В редакцию «Аполлона» через несколько дней пришло другое письмо – опять со стихами, и так продолжали приходиться, переложенные то листком маслины, то тамариска, а редакторы и сотрудники «Аполлона» – как начали, так и продолжали ходить как безумные, влюбленные в дар, в почерк, в имя – неизвестной, скрывшей лицо.

Где-то в Петербурге, через ров рода, богатства, католичества, девичества, гения, в неприступном, как крепость, но достоверном – стоит же где-то! – особняке живет девушка. Эта девушка присылает стихи, ей отвечают цветами, эта девушка по воскресеньям поет в костеле – ее слушают. Увидеть ее нельзя, но не увидеть ее – умереть.

И вот началась эпоха Черубины де Габриак.

Влюбился весь «Аполлон» – имен не надо, ибо носители иных уже под землей – будем

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru братъ «Аполлон» как единство, каковым он и был – перестал спать весь «Аполлон», стал жить от письма к письму весь «Аполлон», захотел увидеть весь «Аполлон». Их было много, она – одна. Они хотели видеть, она – скрыться. И вот – увидели, то есть выследили, то есть изобличили. Как лунатика – окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубининога замка – на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги.

– Елизавета Ивановна Димитриева – Вы?

– Я.

Одно имя назову – Сергея Маковского, поведшего себя, по словам М. Волошина, безупречным рыцарем, то есть не только не удивившегося ей, такой, а сумевшего убедить ее, что все давно знал, а если не показывал, то только затем, чтобы дать ей, Е. И. Д., самораскрыть себя в Черубине до конца. За этот кровный жест – Сергею Маковскому спасибо.

Это был конец Черубины. Больше она не писала. Может быть, писала, но больше ее никто не читал, больше ее голоса никто не слышал. Но знаю, что ее дружбе с М. В. конца не было. Из стихов ее помню только уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти – строки:

В небе вьется красный плащ, –
Я лица не увидела!
И еще:

Даже Ронсара сонеты
Не разомкнули мне грусть.
Все, что сказали поэты,
Знаю давно наизусть!
И – в ответ на какой-то букет:

И лик бесстыдных орхидей
Я ненавижу в светских лицах! –
образ ахматовский, удар – мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня – до того правильно мое утверждение, что все стихи, бывшие, сущие и будущие, написаны одной женщиной – безмянной.

И последнее, что помню:

О, суждено ль, чтоб я узнала
Любовь и смерть в тринадцать лет! –
магически и естественно перекликающееся с моим:

Ты дал мне детство лучше сказки
И дал мне смерть – в семнадцать лет!
С той разницей, что у нее суждено (смерть), а у меня – дай. Так же странно и естественно было, что Черубина, которой я, под непосредственным ударом ее судьбы и стихов, сразу послала свои, из всех них, в своем ответном письме, отметила именно эти, именно эти две строки. Помню узкий лиловый конверт с острым почерком и сильным запахом духов, Черубинины конверт и почерк, меня в моей рожденной простоте скорее оттолкнувшие, чем привлечшие. Ибо я-то, и трижды: как женщина, как поэт и как неэстет любила не гордую иностранку в хорах и на хорах жизни, а именно школьную учительницу Димитриеву – с душой Черубины. Но дело-то ведь для Черубины было – не в моей любви.

Черубина де Габриак умерла два года назад в Туркестане. Не знаю, знал ли о ее смерти Макс.

Почему я так долго на этом случае остановилась? Во-первых, потому, что Черубина в жизни Макса была не случаем, а событием, то есть он сам на ней долго, навсегда остановился. Во-вторых, чтобы дать Макса в его истой сфере – женских и поэтовых душ и судеб. Макс в жизни женщин и поэтов был providentiel'[118], когда же это, как в случае Черубины, Аделаиды Герцык и моем, сливалось, когда женщина оказывалась поэтом или, что вернее, поэт – женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек событийный. Как вся его душа – прежде всего – сосуществование,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru которое иные, не глубоко глядящие, называли мозаикой, а любители ученых терминов – эклектизмом.

То единство, в котором было все, и то все, которое было единством.

Еще два слова о Черубине, последних. Часто слышала, когда называла ее имя:

«Да ведь, собственно, это не она писала, а Волошин, то есть он все выправлял». Другие же: «Неужели вы верите в эту мистификацию? Это просто Волошин писал – под женским и, нужно сказать, очень неудачным псевдонимом». И сколько я ни оспаривала, ни вскипала, ни скрежетала – «Нет, нет, никакой такой поэтессы Черубины не было. Был Максимилиан Волошин – под псевдонимом».

Нет обратнее стихов, чем Волошина и Черубины. Ибо он, такой женственный в жизни, в поэзии своей – целиком мужественен, то есть голова и пять чувств, из которых больше всего – зрение. Поэт – живописец и ваятель, поэт – мирозерцатель, никогда не лирик как строй души. И он так же не мог написать стихов Черубины, как Черубина – его. Но факт, что люди были знакомы, что один из них писал и печатался давно, второй никогда, что один – мужчина, другой – женщина, даже факт одной и той же полны в стихах – неизбежно заставляли людей утверждать невозможность куда бóльшую, чем сосуществование поэта и поэта, равенство известного с неизвестным, несущественность в деле поэтической силы – мужского и женского, естественность одной и той же полны в стихах при одном и том же полынном местопребывании – Коктебеле, право всякого на одну полын, лишь бы полын выходила разная, и, наконец, самостоятельный Божий дар, ни в каких поправках, кроме собственного опыта, не нуждающийся. «Я бы очень хотел так писать, как Черубина, но я так не умею» – вот точные слова М. В. о своем предполагаемом авторстве.

Макс больше сделал, чем написал Черубины стихи, он создал живую Черубину, миф самой Черубины. Не мистификация, а мифотворчество, и не псевдоним, а великий аноним народа, мифы творящего. Макс, Черубину создав, остался в тени, – из которой его ныне, за руку, вывожу на белый свет своей любви и благодарности – за Черубину, себя, всех тех, чьих имен не знаю – благодарности.

А вот листочки, которыми Черубина перекладывала стихи, – маслина, тамариск, полын – действительно волошинские, ибо были сорваны в Коктебеле.

Эта страсть М. В. к мифотворчеству было сказала и на мне.

– Марина! Ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и сплошь – замечательных!.. А ты не хочешь (вкрадчиво) все свои стихи о России, например, напечатать от лица какого-нибудь его, ну хоть Петухова? Ты увидишь (разгораясь), как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие. И ты никогда (подымает палец, глаза страшные), ни-ког-да не скажешь, что это ты, Марина (умоляюще), ты не понимаешь, как это будет чудесно! Тебя – Брюсов, например, – будет колоть стихами Петухова: «Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать собственные зеленые глаза, обратилась к родимым зеленым полям, как г. Петухов, которому тоже семнадцать лет...» Петухов станет твоей *bête noire*[119], Марина, тебя им замучит, Марина, и ты никогда – понимаешь? никогда! – уже не сможешь написать ничего о России под своим именем, о России будет писать только Петухов, – Марина! ты под конец возненавидишь Петухова! А потом (совсем уж захлебнувшись) нет! зачем потом, сейчас же, одновременно с Петуховым мы создадим еще поэта, – поэтессу или поэта? – и поэтессу и поэта, это будут близнецы, поэтические близнецы, крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, чего еще не было, то есть гениальных близнецов. Они будут писать твои романтические стихи.

– Макс! – а мне что останется?

– Тебе? Все, Марина. Все, чем ты еще будешь!

Как умолял! Как обольщал! Как соблазнительно расписывал анонимат такой славы, славу такого анонимата!

– Ты будешь, как тот король, Марина, во владениях которого никогда не заходило солнце. Кроме тебя, в русской поэзии никого не останется. Ты своими Петуховыми и

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru близнецами выживешь всех, Марина, и Ахматову, и Гумилева, и Кузмина...

– И тебя, Макс!

– И меня, конечно. От нас ничего не останется. Ты будешь – всё, ты будешь – всё. И (глаза белые, шепот) тебя самой не останется. Ты будешь – те.

Но Максина мифотворчество роковым образом преткнулось о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни все, что пишу, – подписывать. А хороший был бы Петухов поэт! А тех поэтических близнецов по сей день оплакиваю.

Сосуществование поэта с поэтом – равенство известного с неизвестным. Я сама тому живой пример, ибо никто никогда с такой благоговейной бережностью не относился к моим так называемым зрелым стихам, как тридцатишестилетний М. В. к моим шестнадцатилетним. Так люди считаются только с патентованным, для них – из-за большинства голосов славы – несомненным. Ни в чем и никогда М. В. не дал мне почувствовать преимуществ своего опыта, не говоря уже об имени. Он меня любил и за мои промахи. Как всякого, кто чем-то был. Ничего от мэтра (а времена были сильно мэтровые!), все от спутника. Могу сказать, что он стихи любил совершенно так, как я, то есть как если бы сам их никогда не писал, всей силой безнадежной любви к недоступной силе. И, одновременно, всякий хороший стих слушал, как свой. Всякая хорошая строка была ему личным даром, как любящему природу – солнечный луч. («Было, было, было», – а как это бывшее несравненно больше есть, чем сущее! Как есть навсегда есть! Как бывшего – нет!) Помню одну, только одну его поправку, попытку поправки – за весь толстый «Вечерний альбом» в самом начале знакомства:

И мы со вздохом, в темных лапах,
Сожжем, тоскуя, корабли...

– А вы не думаете, Марина (пауза, выжидательные глаза)... Ивановна, что это немножко трудно – и сложно – сжигать корабли – в темных лапах? что для этого – в лапах – как будто мало места? Причем, несомненно, в медвежьих, то есть очень сильных лапах, которые сильно жмут. Ведь корабли как будто принято сжигать на море, а здесь – медвежьи лапы – явно – лес, дремучий. Трудно же предположить, что медведь расположился с вами на берегу моря, на котором – тут же – горят ваши корабли.

Так это у меня и осталось в памяти: коктебельский пустынный берег, на нем медведь, то есть Макс, со мной, а тут же у берега, чтобы удобнее, целая флотилия кораблей, которые горят.

Еще одно, тоже полушуточное, но здесь скобка о шутке. Я о Максе рассказываю совершенно так же, как Макс о тех, кого любил, и я о Максе – нынче, совершенно так же, как о Максе – вчера, то есть с живой любовью, улыбки не только не боящейся, но часто ее ищущей – как отвода и разряда.

Итак, из всех изустных стихов одного его посещения мне больше всего, до тоски, понравилось такое двустишие:

Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью темной,
Сблизятся две головы – три отразятся в воде. –
Максимилиан Александрович, а почему не четыре, ведь каждый вспоминает своего!

– Четыре головы – это было бы две пары, две пары голов скота, и никаких стихов бы не было, – вежливо, но сдержанно ответил Макс.

Сраженная доводом, а еще больше видением четырех рогастых голов в глубине версальского водоема, от поправки отказываюсь. В следующий приход, протягивая ему его же в первый приход подаренную книгу:

– Впишите мне в нее те, ну самые чудные, мои любимые: «Вместе в один водоем забредем ли мы осенью темной...»

Он негодуя:

– То есть как – забредем (убежденно) – заглянем! (спохватываясь) – заглядим! – то есть поглядим, конечно, вы меня совсем сбили! (Пауза. Задумчиво.) А вы

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru знаете, это тоже хорошо: забредем, так, кажется, еще лучше...

Я:

– Да, как две коровы, которые забрели и поют (с озарением) – Максимилиан Александрович! Да ведь это же те самые и есть! Две пары голов рогатого скота!

Помню еще, из сразу любимых стихов Макса:

Теперь я мертв, я стал листами книги,
И можешь ты меня перелистать...
Послушно и внимательно перелистываю и – какая-то пометка, вглядываюсь:

(Демон)
Я, как ты, тяжелый, темный,
И безрылый, как и ты..
Над безрылым, чернилом, увесистое К., то есть бескрылый.

Макс этой своей опечаткой всегда хвастался.

Максина книга стихов. Вижу ее, тут же отданную в ярко-красный переплет, в один том – в один дом – со стихами Аделаиды Герцкы.

Не царевич я, похожий
На него – я был иной.
Ты ведь знаешь, я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
Мы друг друга не забудем,
И, целуя дольний прах,
Понесу я сказку людям
О царевне Таиах.

Эти стихи я слушала двойною болью: оставленной и уходящего, нет, еще третьей болью: оставшейся в стороне: не мне! А эту царевну Таиах воочию вскоре увидела в мастерской Макса в Коктебеле: огромное каменное египетское улыбающееся женское лицо, в память которого и была названа та, мне неизвестная, любимая и оставленная земная женщина.

Но тут уместен один рассказ матери Макса:

– Макс тогда только что женился и вот, приезжает в Коктебель с Маргаритой, а у нас жила одна дама с маленькой девочкой. Сидим все, обедаем. Девочка смотрит, смотрит на молодых, то на Макса, то на Маргариту, то опять на Маргариту, то опять на Макса, и громким шепотом – матери: «Мама! Почему эта царевна вышла замуж за этого дворника?» А Маргарита, действительно, походила на царевну, во Флоренции ее на улице просто звали: Ангел!

– И никто не обиделся?

– Никто, Маргарита смеялась, а Макс сиял.

От себя прибавлю, что дворник в глазах трехлетней девочки существо мифическое и на устах трехлетней девочки слово мистическое. Дворник рубит дрова огромным колуном, на который страшно и смотреть. Дворник на спине приносит целый лес, дворник топит печи, то есть играет с огнем огромной железной, которая называется кочерга. А кочерга – это Яга. Дворник стоит по шею в снегу и не замерзает, лопаты у дворника вдсятеро больше девочкиной, а сапог выше самой девочки. Дворник и в воде не тонет, и в огне не горит. Дворник может сделать то, на чем кататься, и то, с чего кататься, салазки и гору. Дворник, в конце концов, единственное видение мужественности в глазах девочки того времени. Папа ничего не может, а дворник – все. Значит, дворник – великан. А может быть, если рассердится – и людоед. Так, один трехлетний мальчик, пришедший к нам в гости и упорно не желающий играть в нижних комнатах: «Убери того белого людоеда!» – «Но какого?» – «С бородой! На меня со шкафа смотрит! Глаза белые! Убери того страшного дворника!»

Страшный дворник – Зевес.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Я сказала, что стихи Макса я переплела со стихами А. Герцык. Сказать о ней – мой отдельный живой долг, ибо она в моей жизни такое же событие, как Макс, а я в ее жизни событие, может быть, больше, чем в жизни Макса. Пока же –

Одно из жизненных призваний Макса было сводить людей, творить встречи и судьбы. Бескорыстно, ибо случалось, что двое, им сведенные, скоро и надолго забывали его. К его собственному определению себя как коробейника идей могу прибавить и коробейника друзей. Убедившись сейчас, за жизнь, как люди на друзей скупы (почти как на деньги: убудет! мне меньше останется!), насколько все и всех хотят для себя, ничего для другого, насколько страх потерять в людях сильнее радости дать, не могу не настаивать на этом рожденном Максином свойстве: щедрости на самое дорогое, прямо обратной ревности. Люди, как Плюшкин ржавый гвоздь, и самого завалившего знакомого от глаз берегут – а вдруг в хозяйстве пригодится? Да, ревности в нем не было никакой – никогда, кроме рвения к богатству ближнего – бывшего всегда. Он так же давал, как другие берут. С жадностью. Давал, как отдавал. Он и свой коктейбельский дом, таким трудом добытый, так выколоченный, такой заслуженный, такой его по духовному праву, кровный, внутренне свой, как бы с ним сорожденный, похожий на него больше, чем его гипсовый слепок, – не ощущал своим, физически своим. Комнаты (по смехотворной цене) сдавала Елена Оттобальдовна. Макс физически не мог сдавать комнат друзьям. Еще меньше – чужим. Этот человек, никогда ни перед кем ни за что ни в чем не стеснявшийся, в человеческих отношениях – плававший, стоял перед вами, как малый ребенок или как бык, опустив голову.

– Марина! Я правда не могу. Это невыносимо. Поговори с мамой... Я... – И топот убегающих сандалий по лестнице.

Зато море, степь, горы – три коктейбельских стихии и собирательную четвертую – пространство, он ощущал так своими, как никакой кламарский рантье свой «павильон». Полюнь он произносил как: моя. А Карадаг (название горы) просто как: я. Но одна физическая собственность, то есть собственность признания и физически, у него была: книги. Здесь он был лют. И здесь, и единственно здесь – капризен, давал, что хотел, а не то, что хотел – ты.

«Макс, можно?..» – «Можно, Марина, только уверяю, что тебе не понравится... Возьми лучше...» – «Нет, не понравится, а ты боишься, что слишком понравится и что я, как кончу, буду опять сначала, и так до конца лета». – «Марина, уверяю тебя, что...» – «Или что замажу в черешнях. Макс, я очень аккуратна». – «Я знаю, и дело не в том, а в том, что тебе гораздо будет интересней Капитан Фракасс». – «Но я не хочу Фракасс, я хочу Жанлис. Макс, милый Макс, дорогой Макс, Плюшкин-Макс, ведь ты же ее сейчас не читаешь!» – «Но ты мне обещаешь, что никому не дашь из рук, даже подержать? Что ты вернешь ее мне не позже как через неделю, здесь же, из рук в руки и в том же виде...» – «Нет, на три секунды раньше и на три страницы толще! Макс, я ее удлиню!»

Давал, голубчик, но со вздохом, вздохом, который был еще слышен на последней ступеньке лестницы. Давал – все, давал – всем. Но сколько выпущенных из рук книг – столько побед над этой единственной из страстей собственничества, для меня священной: страстью к собственной книге. Святая жадность.

Возвратимся к Аделаиде Герцык. В первую горячую голову нашего с ним схождения он живописал мне ее: глухая, некрасивая, немолодая, неотразимая. Любит мои стихи, ждет меня к себе. Пришла и увидела – только неотразимую. Подружились страстно. Кстати, одна опечатка – и везло же на них Макс! В статье обо мне, говоря о моих старших предшественницах: «древние заплатки Аделаиды Герцык»... «Но, М. А., я не совсем понимаю, почему у этой поэтессы – заплатки? И почему еще и древние?» Макс, сияя: «А это не заплатки, это заплачки, женские народные песни такие, от плача». А потом А. Герцык мне, философски: «Милая, в опечатках иногда глубокая мудрость: каждые стихи в конце концов – заплатка на прорехах жизни. Особенно – мои. Слава Богу еще, что древние! Ничего нет плачевнее – новых заплат!»

И вот, может быть год спустя нашего с А. Г. схождения, Макс мне: «Марина! (мы давно уже были на «ты»), а ты знаешь, что я тебя тогда Аделаиде Казимировне – подарил». – «То есть как?» – «Разве ты не знаешь (глубоко серьезно), что можно дарить людей – без их ведома и что это неизменно удается, то есть что тот, кого ты даришь, становится неотъемлемой духовной собственностью того, кому даришь. Но я тебя в хорошие руки подарил». – «Макс, а случайно – не продал?» Он, совершенно

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru серьезно: «Нет. А мог бы. Потому что А. Г. очень жадна на души, она тебя у меня целый вечер выпрашивала и очень многих предлагала взамен: и Булгакова, и Бердяева, и какую-то переводчицу с польского. Но они, во-первых, мне были не нужны, а во-вторых, я друзьям друзей только дарю... В конце вечера она тебя получила. Ты довольна?»

Молчание. Он, заискивающе: «Я ведь знал, кому тебя дарю. Как породистого щенка – в хорошие руки». – «Макс, а тебе не жаль?» – «Нет. Мне никогда не жаль и никогда не меньше. (Пауза.) Марина, а тебе – жаль?» – «Макс, я теперь собака – другого садовника!»

А как было жаль, как сердце сжалось – от такой свободы, своей от него, его от меня, его от всех. Хотя и расширилось радостью, что А. Г., которая мне так нравилась, меня целый вечер выпрашивала. Сжалось – расширилось – в этом его, сердца, и жизнь.

При первом свидании с Аделаидой Казимировной: «А я теперь знаю, почему вы меня так особенно любите! Нет, нет, не за стихи, не за Германию, не за сходство с собой – и за это, конечно, – но я говорю особенно любите...» – «Говорите!» – «Потому что Макс вам меня подарил. Не глядите, пожалуйста, такими невинными глазами! Он мне сам рассказал». – «Марина! (Молчит, переводя дыхание.) Марина! Макс Александрович вас мне не подарил, он вас мне проиграл». – «Что-о-о?» – «Да, милая. Когда он мне принес вашу книгу, я сразу обнаружила полное отсутствие литературных влияний, а М. А. настаивал на необнаруженном. Мы целый вечер проспорили и в конце держали пари: если М. А. в течение месяца этого влияния не обнаружит, он мне вас проигрывает, как самую любимую вещь. Потому что он вас очень любил, Марина, и еще любит, но только так и поскольку разрешаю – я. Никакого влияния, кроме Наполеона, который не есть влияние литературное, он обнаружить не мог – потому что, я это сразу знала, никакого литературного влияния и не было – и я вас через месяц, день в день, час в час – получила. О, он очень старался вас отстоять, то есть вашего духовного отца изобличить, он даже пытался представить Наполеона, как писателя, ссылаясь на его воззвания к солдатам: «Soldats, du haut de ces pyramides quarante siècles vous regardent...[120] Но тут я его изобличила и заставила замолчать. Так, милая, вы и сделали моей собственностью. (С неподдельным негодованием:) А сам теперь ходит и хвастается, что подарил... это очень некрасиво».

Макс стоял на своем. Аделаида Казимировна стояла на своем. Совместно я их спросить как-то не решилась. Может быть, тайно боясь, что вдруг – в порыве великодушия – начнут меня друг другу передаривать, то есть откажутся оба, и опять останусь собака без хозяина либо, по сказке Киплинга, кошка, которая гуляет сама по себе. Так правды я и не узнала, кроме единственной правды своей к ним обоим любви и благодарности. Но – проиграл или подарил – «Передайте Марине», – писала она в последнем письме тому, кто мне эти слова передал, – «что ее книга «Версты», которую она нам оставила, уезжая, – лучшее, что осталось от России». Это ответственное напутствие я привожу не из самохвальства, а чтобы показать, что она Максимым подарком – или проигрышем – до конца осталась довольна.

Так они и остались – Максимилиан Волошин и Аделаида Герцык – как тогда сопереплетенные в одну книгу (моей молодости), так ныне и навсегда сплетенные в единстве моей благодарности и любви.

Коктебель

Пятого мая 1911 года, после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельскую землю, перед самым Максимым домом, из которого уже огромными прыжками, по белой внешней лестнице, несся мне навстречу – совершенно новый, неузнаваемый Макс. Макс легенды, а чаще сплетни (злостной!), Макс, в кавычках, «хитона», то есть попросту длинной полотняной рубашки, Макс сандалий, почему-то признаваемых обывателем только в виде иносказания «не достоин развязать ремни его сандалий» и неизвестно почему страстно отвергаемых в быту – хотя земля та же, да и быт приблизительно тот же, быт, диктуемый прежде всего природой, – Макс полынного веночка и цветной подпояски, Макс широченной улыбки гостеприимства, Макс – Коктебеля.

– А теперь я вас познакомлю с мамой. Елена Оттобальдовна Волошина – Марина Ивановна Цветаева.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Мама: седые отброшенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом, белый, серебром шитый, длинный кафтан, синие, по щиколотку, шаровары, казанские сапоги. Переложив из правой в левую дымящуюся папиросу: «Здравствуйте!»

Е. О. Волошина, рожденная – явно немецкая фамилия, которую сейчас забыла [121]. Внешность явно германского – говорю германского, а не немецкого – происхождения: Зигфрида, если бы прожил до старости, та внешность, о которой я в каких-то стихах:

– Длинноволосым я и прямоносым

Германцем славила богов.

(Что для женщины короткие волосы – то для германца длинные.) Или же, то же, но ближе, лицо старого Гёте, явно германское и явно божественное. Первое впечатление – осанка. Царственность осанки. Двинется – рублем подарит. Чувство возвеличенности от одного ее милостивого взгляда. Второе, естественно вытекающее из первого: опаска. Такая не спустит. Чего? Да ничего.

Величественность при маленьком росте, величие – изнизу, наше поклонение – сверху. Впрочем, был уже такой случай – Наполеон.

Глубочайшая простота, костюм как прирос, в другом немыслима и, должно быть, неузнаваема: сама не своя, как и оказалось, два года спустя на крестинах моей дочери: Е. О., из уважения к куму – моему отцу – и снисхождения к людским навыкам, была в юбке, а юбка не спасла. Никогда не забуду, как косился старый замоскворецкий батюшка на эту крестную мать, подушку с младенцем державшую, как ларец с регалиями, и вокруг купели выступавшую как бы церемониальным маршем. Но вернемся назад, в начало. Все: самокрутка в серебряном мундштуке, спичечница из цельного сердолика, серебряный обшлаг кафтана, нога в сказочном казанском сапожке, серебряная прядь отброшенных ветром волос – единство. Это было тело именно ее души.

Не знаю, почему – и знаю, почему – сухость земли, стая не то диких, не то домашних собак, лиловое море прямо перед домом, сильный запах жареного барана, – этот Макс, эта мать – чувство, чтоходишь в Одиссею.

Елена Оттобальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля, доживавшего в Калуге последние дни. «Ты бы у нас первая красавица была, на Кавказе, если бы у тебя были черные глаза». (Уже сказала – голубые.) Напоминают ему его младшего любимого сына, насильную чужую Калугу превращает в родной Кавказ. Младенчество на коленях побежденного Шамиля – как тут не сделаться Кавалером Надеждой Дуровой или, по крайней мере, не породить поэта! И так, Шамиль. Но следующий жизненный шаг – институт. Красавица, все обожают. «Поцелуй меня!» – «Дашь третье за обедом – поцелую». (Целоваться не любила никогда.) К концу обеда перед корыстной бесстрастной красавицей десять порций пирожного, то есть десять любящих сердец. Съев пять, остальными, царственным жестом, одаривала: не тех, кто дали, а тех, кто не дали.

Каникулы дома, где уже ходит в мужском, в мальчишеском – пижам в те времена (шестьдесят лет назад!) не было, а для пиджака, кроме его куцега уродства, была молада.

О ее тогдашней красоте. Возглас матроса, видевшего ее с одесского мола, купающейся: «И где же это вы, такие красивые, родитесь?!» – самая совершенная за всю мою жизнь словесная дань красоте, древний возглас рыбака при виде Афродиты, возглас – почти что отчаяния! – перекликающийся во мне с недавними строками пролетарского поэта Петра Орешина, идущего полем:

Да разве можно, чтоб фуражки

Пред красотой такой не снять?

Странно, о родителях Е. О. не помню ни слова, точно их и не было, не знаю даже, слышала ли что-нибудь. И отец, и мать для меня покрыты орлиным крылом Шамиля. Его сын, не их дочь.

После института сразу, шестнадцати лет, замужество. Почему так сразу и именно за этого, то есть больше чем вдвое старшего и совсем не подходящего? Может быть, здесь впервые обнаруживается наличие родителей. Так или иначе, выходит замуж и в замужестве продолжает ходить – тонкая, как тростинка – в мальчишеском, удивляя и забавляя соседей по саду. Дело в Киеве, и сады безмерные.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Вот ее изустный рассказ:

– Стою на лесенке в зале и белю потолок – я очень любила белить сама – чтобы не замазаться, в похуже – штанах, конечно, и в похуже – рубашке. Звонок. Кого-то вводят. Не оборачивая головы, белю себе дальше. К Максину отцу много ходили, не на всех же смотреть.

«Молодой человек!» – не оборачиваюсь. – «А молодой человек?» Оборачиваюсь. Какой-то господин, уже в летах. Гляжу на него с лестницы и жду, что дальше. «Соблаговолите передать папаше... то-то и то-то...» – «С удовольствием». Это он меня не за жену, а за сына принял. Потом рассказываю Максину отцу – оказался его добрым знакомым. «Какой у вас сынок шустрый, и все мое к вам дело передал толково, и белит так славно». Максин отец – ничего. «Да, – говорит, – ничего себе паренек». (Кстати, никогда не говорила муж, всегда – Максин отец, точно этим указывая точное его значение в своей жизни – и назначение.) Сколько-то там времени прошло – у нас парадный обед, первый за мою бытность замужем, все Максина отца сослуживцы. Я, понятно: уже не в штанах, а настоящей хозяйкой дома: и рюши, и буфы, и турнюр на задку – все честь честью. Один за другим подходят к ручке. Максин отец подводит какого-то господина: «Узнаешь?» Я-то, конечно, узнаю – тот самый, которого я чуть было заодно не побелила, а тот: «Разрешите представиться». А Максин отец ему: «Да что ты, что ты! Давно знакомы». – «Никогда не имел чести». – «А сынишку моего на лестнице помнишь, потолок белил? Она – самый». Тот только рот раскрыл, не дышит, вот-вот задохнется. «Да я, да оне, да простите вы меня, сударыня, ради Бога, где у меня глаза были?» – «Ничего, – говорю, – там где следует». Целый вечер отдышаться не мог!

Из этой истории заключаю, что рожденная страсть к мистификации у Макса была от обоих родителей. Языковой же дар – явно от матери. Помню, в первое коктебельское лето, на веранде, ее возмущенный голос:

– Как ужасно нынче стали говорить! Вот Лиля и Вера, – ведь не больше, как на двести слов словарь, да еще как они эти слова употребляют! Рассказывает недавно Лиля о каком-то своем знакомом, ссыльном каком-то: «И такой большой, печальный, интеллигентный глаз...» Ну, как глаз может быть интеллигентным? И все у них интеллигентное, и грудной ребенок с интеллигентным выражением, и собака с интеллигентной мордой, и жандармский полковник с интеллигентными усами... Одно слово на все, да и то не русское, не только не русское, а никаковское, ведь по-французски INTElligent – умный. Ну, вы, Марина, знаете, что это такое?

– Футляр для очков.

– И вовсе не футляр! Зачем вам немецкое искаженное Futtera1, когда есть прекрасное настоящее русское слово – очешник. А еще пишете стихи! На каком языке?

Но вернемся к молодой Е. О. Потеряв первого ребенка – обожаемую, свою, тоже девочку-мальчика, четырехлетнюю дочку Надю, по которой тосковала до седых и белых волос, Е. О., забрав двухлетнего Макса, уходит от мужа и селится с сыном – кажется, в Кишиневе. Служит на телеграфе. Макс дома, с бабушкой – ее матерью. Помню карточку в коктебельской комнате Е. О., на видном месте: старинный мальчик или очень молодая женщина являют миру стоящего на столе маленького Геракла или Зевеса – как хотите, во всяком случае нечто совсем голое и очень кудрявое.

Два случая из детского Макса. (Каждая мать сына, даже если он не пишет стихов, немного мать Гёте, то есть вся ее жизнь о нем, том, рассказы; и каждая молодая девушка, даже если в этого Гёте не влюблена, при ней – Беттина на скамеечке.)

Жили бедно, игрушек не было, разные рыночные. Жили – нищенски. Вокруг, то есть в городском саду, где гулял с бабушкой, – богатые, счастливые, с ружьями, лошадами, повозками, мячиками, кнутиками, вечными игрушками всех времен. И неизменный вопрос дома: – Мама, почему у других мальчиков есть лошади, а у меня нет, есть вожжи с бубенчиками, а у меня нет?

На который неизменный ответ:

– Потому что у них есть папа, а у тебя нет.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

И вот после одного такого папы, которого нет, – длительная пауза и совершенно отчетливо:

– Женитесь.

Другой случай. Зеленый двор, во дворе трехлетний Макс с матерью.

– Мама, станьте, пожалуйста, носом в угол и не оборачивайтесь.

– Зачем?

– Это будет сюрприз. Когда я скажу можно, вы обернетесь!

Покорная мама орлиным носом в каменную стену. Ждет, ждет:

– Макс, ты скоро? А то мне надоело!

– Сейчас, мама! Еще минутка, еще две. – Наконец: – Можно!

Оборачивается. Плывущая улыбкой и толщиной трехлетняя упоительная морда.

– А где же сюрприз?

– А я (задохновение восторга, так у него и оставшееся) к колодцу подходил – до-олго глядел – ничего не увидел.

– Ты просто гадкий непослушный мальчик! А где же сюрприз?

– А что я туда не упал.

Колодец, как часто на юге, просто четырехугольное отверстие в земле, без всякой загородки, квадрат провала. В такой колодец, как и в тот наш совместный водоем, действительно можно забрести. Еще случай. Мать при пятилетнем Максe читает длинное стихотворение, кажется, Майкова, от лица девушки, перечисляющей все, чего не скажет любимому: «Я не скажу тебе, как я тебя люблю, я не скажу тебе, как тогда светили звезды, освещая мои слезы, я не скажу тебе, как обмирало мое сердце, при звуке шагов – каждый раз не твоих, я не скажу тебе, как потом взошла заря», и т. д. и т. д. Наконец – конец. И пятилетний, глубоким вздохом:

– Ах, какая! Обещала ничего не сказать, а сама все взяла да и рассказала!

Последний случай дам с конца. Утро. Мать, удивленная долгим неприходом сына, входит в детскую и обнаруживает его спящим на подоконнике.

– Макс, что это значит?

Макс, рыдая и зевая:

– Я, я не спал! Я – ждал! Она не прилетала!

– Кто?

– Жар-птица! Вы забыли, вы мне обещали, если я буду хорошо вести себя...

– Ладно, Макс, завтра она непременно прилетит, а теперь – идем чай пить.

На следующее утро – до-утро, ранний или очень поздний прохожий мог бы видеть в окне одного из белых домов Кишинева, стойком, как на цоколе – лбом в зарю – младенческого Зевеса в одеяле, с прильнувшей у изножья, другой головой, тоже кудрявой. И мог бы услышать – прохожий – но в такие времена, по слову писателя, не проходит никто:

«Si quelgu'un était à passer... Mais il ne passe jamais personne...»[122]

И мог бы услышать прохожий:

– Ма-а-ма! Что это?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

– Твоя Жар-птица, Макс, – солнце!

Читатель, наверное, уже отметил прелестное старинное Максимо «Вы» матери – перенятое им у нее, из ее обращения к ее матери. Сын и мать уже при мне выпили на брудершафт: тридцатишестилетний с пятидесятишестилетней – чокнулись, как сейчас вижу, коктейльным напитком ситро, то есть попросту лимонадом. Е. О. при этом пела свою единственную песню – венгерский марш, сплошь из согласных.

Думаю, что те из читателей, знавшие Макса и Е. О. лично, ждут от меня еще одного ее имени, которое сейчас произнесу:

Пра – от прабабушки, а прабабушка не от возраста – ей тогда было пятьдесят шесть лет, – а из-за одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, Кавалерственной Дамы Кириенко (первая часть их с Максом фамилии) – о которой, мистификации, как вообще о целом мире коктейльского первого лета, когда-нибудь отдельно, обстоятельно и увлекательно расскажу.

Но было у слова Пра другое происхождение, вовсе не шутивное – Праматерь, Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых, Верховод всей нашей молодости, Прародительница Рода – так и не осуществившегося, Праматерь – Матриарх – Пра.

Никогда не забуду, как она на моей свадьбе, в большой приходской книге, в графе свидетели, неожиданно и неудержимо через весь лист – подмахнула:

«Неутешная вдова Кириенко-Волошина».

В ней неизменно играло то, что немцы называют Einfall («в голову пришло»), и этим она походила, на этот раз, уже на мать Гёте, с которым вместе Макс любовно мог сказать:

Von Mütterchen – die Frohnatur
Und Loust zum Fabulieren[123].

А сколько я еще не рассказала! О ней бы целую книгу, ибо она этой целой книгой – была, целым настоящим Bilderbuch'ом[124] для детей и поэтов. Но помимо ее человеческой и всяческой исключительности, самооценности, неповторимости – каждая женщина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рассказали, независимо даже от удачности или неудачности этого рачения. Важна сумма усилий, то есть одинокий подвиг одной – без всех, стало быть – против всех. Когда же эта одинокая мать оказывается матерью поэта, то есть высшего, что есть после монаха – почти пустынного и всегда мученика, всякой хвалы – мало, даже моей.

На какие-то деньги, уж не знаю, какие, во всяком случае, нищенские, именно на гроши, Е. О. покупает в Коктебеле кусок земли, и даже не земли, а взморья. Макс на велосипеде ездит в феодосийскую гимназию, восемнадцать верст туда, восемнадцать обратно. Коктебель – пустыня. На берегу только один дом – волошинский. Сам Коктебель, то есть болгарско-татарская деревня этого наименования, за две версты, на шоссе. Е. О. ставит редким проезжающим самовары и по вечерам, от неизбывного одиночества, выходит на пустынный берег и воет. Макс уже печатается в феодосийском листке, за ним уже слава поэта и хвост феодосийских гимназисток:

– Поэт, скажите экспромт!

Е. О. В. никогда больше не вышла замуж. Это не значит, что она никого не любила, это значит, что она очень любила Макса, больше любимого и больше себя тоже. Отняв у сына отца – дать ему вотчима, сына обратить в пасынка, собственного сына в чужого пасынка, да еще такого сына, без когтей и со стихами... Были наезды какого-то стройного высокого всадника, были совместные и, нужно думать, очень высокие верховые прогулки в горы. Был, очевидно, последний раз: «Да?» – «Нет!» – после которого высокий верховой навсегда исчез за поворотом. Это мне рассказывали феодосийские старожилы и даже называли имя какого-то иностранца. Увез бы в свою страну, была бы – кто знает – счастливой... но – Максимилиан Александрович того приезжего терпеть не мог, – это говорит старожил, от которого все это слышала, – всех любил, ко всем был приветлив, а с этим господином сразу не пошло. И господин этот его тоже не любил, даже презирал за то, что мужского в нем мало: и вина не пьет, и верхом не ездит, разве что на велосипеде... А к стихам

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru этот господин был совсем равнодушен, он и по-русски неважно говорил, не то немец, не то чех. Красавец зато! Так и остались М. А. с мамашей, одни без немца, а зато в полном согласии и без всяких неприятностей.

Это была неразрывная пара, и вовсе не дружная пара. Вся мужественность, данная на двоих, пошла на мать, вся женственность – на сына, ибо элементарной мужественности в Максе не было никогда, как в Е. О. элементарной женственности. Если Макс позже являл чудеса бесстрашия и самоотверженности, то являл их человек и поэт, отнюдь не муж (воин). Являл в делах мира (перемирия), а не в делах войны. Единственное исключение – его дуэль с Гумилевым из-за Черубины де Габриак, чистая дуэль защиты. Воина в нем не было никогда, что особенно огорчало воительницу душой и телом – Е. О.

– Погляди, Макс, на Сережу, вот – настоящий мужчина! Муж. Война – дерется. А ты? Что ты, Макс, делаешь?

– Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают, что думают иначе, чем я.

– Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая – делать.

– Такие времена, мама, всегда у зверей – это называется животные инстинкты.

Настолько не воин, что ни разу не рассорился ни с одним человеком из-за другого. Про него можно сказать, «qu'il n'épousaiy pas les querelles de ses amis»[125].

В начале дружбы я часто на этом с ним сшибалась, расшибалась – о его неуязвимую мягкость. Уже без улыбки и как всегда, когда был взволнован, подымая указательный палец, даже им грозя:

– Ты не понимаешь, Марина. Это совсем другой человек, чем ты, у него и для него иная мера. И по-своему он совершенно прав – так же, как ты – по-своему.

Вот это «прав по-своему» было первоосновой его жизни с людьми. Это не было ни мало-, ни равно-душие, утверждаю. Не малодушие, потому что всего, что в нем было, было много – или совсем не было, и не равнодушие, потому что у него в миг такого средостояния душа раздваивалась на целых и цельных две, он был одновременно тобою и твоим противником и еще собою, и все это страстно, это было не двоедушие, а вседушие, и не равнодушие, а некое равенство всего существа, то солнце полдня, которому все иначе и верно видно.

О расчете говорить нечего. Не став ни на чью сторону, или, что то же, став на обе, человек чаще осужден обеими. Ведь из довода: «он так же прав, как ты» – мы, кто бы мы ни были, слышим только: он прав и даже: он прав, когда, действительно, дело идет о нас, равенства в правоте нету. Не становясь на сторону мою или моего обидчика, или, что то же, становясь на сторону и его, и мою, он просто оставался на своей, которая была вне (поля действия и нашего зрения) – внутри него и au-dessus de la mêlée[126].

Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому, и даже Иисус Навин, остановивший солнце, остановил его и для врага. Человек и его враг для Макса составляли целое: мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну, и меня с моим неизбывным врагом – всеми. Так можно видеть только сверху, никогда сбоку, никогда из гуши. А так он видел не только чужую вражду, но и себя с тем, кто его мнил своим врагом, себя – его врагом. Вражда, как дружба, требует согласия (взаимности). Макс на вражду своего согласия не давал и этим человека разоружал. Он мог только противо-стоять человеку, только предстоянием своим он и мог противостоять человеку: злу, шедшему на него.

Думаю, что Макс просто не верил в зло, не доверял его якобы простоте и убедительности: «Не все так просто, друг Горацио...» Зло для него было тьмой, бедой, напастью, гигантским недоразумением – du bien mal entendu[127] – чьим-то извечным и нашим ежечасным недосмотром, часто – просто глупостью (в которую он верил) – прежде всего и после всего – слепостью, но никогда – злом. В этом смысле он был настоящим просветителем, гениальным окулистом. Зло – бельмо, под ним – добро.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Всякую занесенную для удара руку он, изумлением своим, превращал в опущенную, а бывало, и в протянутую. Так он в одно мгновение ока разоружил злопыхавшего на него старика Репина, отошедшего от него со словами: «Такой образованный и приятный господин – удивительно, что он не любит моего Иоанна Грозного!» И будь то данный несостоявшийся наскок на него Репина, или мой стакан – через всю террасу – в дерзкую актрису, осмелившуюся обозвать Сару Бернар старой кривлякой, или, позже, распря русских с немцами, или, еще позже, белых с красными, Макс неизменно стоял вне: за каждого и ни против кого. Он умел дружить с человеком и с его врагом, причем никто никогда не почувствовал его предателем, себя – преданным, причем каждый (вместе, как порознь) неизменно чувствовал всю исключительную его, М. В., преданность ему, ибо это – было. Его дело в жизни было – сводить, а не разводить, и знаю, от очевидцев, что он не одного красного с белым человечески свел, хотя бы на том, что каждого, в свой час, от другого спас. Но об этом позже и громче.

Миротворчество М. В. входило в его мифотворчество: мифа о великом, мудром и добром человеке.

Если каждого человека можно дать пластически, Макс – шар, совершенное видение шара: шар универсума, шар вечности, шар полдня, шар планеты, шар мяча, которым он отпрыгивал от земли (походка) и от собственника, чтобы снова даться ему в руки, шар шара живота, и молния, в минуты гнева, вылетающая из его белых глаз, была, сама видела, шаровая.

Разбейся о шар. Поссорься с Максом.

Да, земной шар, на котором, как известно, горы, и высокие, бездны, и глубокие, и который все-таки шар. И крутился он, бесспорно, вокруг какого-то солнца, от которого и брал свой свет, и давал свой свет. Спутничество: этим продолжительным, протяжным словом дан весь Макс с людьми – и весь без людей. Спутник каждого встречного и, отрываясь от самого близкого, – спутник неизвестного нам светила. Отдаленность и неуклонность спутника. То что-то, вечно стоявшее между его ближайшим другом и им и ощущаемое нами почти как физическая преграда, было только – пространство между светилом и спутником, то уменьшавшееся, то увеличивавшееся, но неуклонно уменьшавшееся и увеличивавшееся, ни на пядь ближе, ни на пядь дальше, а в общем все то же. То равенство притяжения и отдаления, которое, обрекая друг на друга два небесных тела, их неизменно и прекрасно рознит.

Помню, относительно его планетарности, в начале встречи – разминовение. В ответ на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа, вместо ободрения или, по крайней мере, одобрения – самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!) – либо... И его ответ: спокойный, любящий, бесконечно-отрешенный, непоколебимо-уверенный, кончавшийся словами: «Итак, до свидания – до следующего перекрестка!» – то есть когда снова попаду в сферу его влияния, из которой мне только кажется – вышла, то есть совершенно как светило – спутнику. Причем – умилительная наивность! – в полной чистоте сердца неизменно воображая, что спутник в человеческих жизнях – он. Сказанного, думаю, достаточно, чтобы не объяснять, почему он никогда не смог стать попутчиком – ни тамошним, ни здешним.

Макс принадлежал другому закону, чем человеческому, и мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был планета. И мы, крутившиеся вокруг него, в каком-то другом, большом круге, крутились совместно с ним вокруг светила, которого мы не знали.

Макс был знающий. У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. Она была в его белых, без улыбки, глазах, всегда без улыбки – при неизменной улыбке губ. Она была в нем, жила в нем, как постороннее для нас, однородное ему – тело. Не знаю, сумел ли бы он сам ее назвать. Его поднятый указательный палец: это не так! – с такой силой являл это так, что никто, так и не узнав этого так, в существовании его не сомневался. Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией – не глубоко. Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек – и

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru то, что он знает; здесь же было единство. Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер – своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М. В. – ни в стихах, ни в друзьях, – самотайна, унесенная каждым в землю.

– Есть духи огня, Марина, духи воды, Марина, духи воздуха, Марина, и есть, Марина, духи земли.

Идем по пустынному уступу, в самый полдень, и у меня точное чувство, что я иду – вот с таким духом земли. Ибо каким (дух, но земли), кроме как вот таким, кем, кроме как вот этим, дух земли еще мог быть!

Макс был настоящим чадом, порождением, исчадием земли. Раскрылась земля и породила: такого, совсем готового, огромного гнома, дремучего великана, немножко быка, немножко Бога, на коренастых, точеных как кегли, как сталь упругих, как столбы устойчивых ногах, с аквамаринами вместо глаз, с дремучим лесом вместо волос, со всеми морскими и земными солями в крови («А ты знаешь, Марина, что наша кровь – это древнее море...»), со всем, что внутри земли кипело и остыло, кипело и не остыло. Нутро Макса, чувствовалось, было именно нутром земли.

Макс был именно земнородным, и все притяжение его к небу было именно притяжением к небу – небесного тела. В Максе жила четвертая, всеми забываемая стихия – земли. Стихия континента: сушь. В Максе жила масса, можно сказать, что это единоличное явление было именно явлением земной массы, гущи, толщи. О нем, как о горах, можно было сказать: массив. Даже физическая его масса была массивом, чем-то непрорубным и неразрывным. Есть аэролиты небесные. Макс был – земной монолит, Макс был именно обратным мозаике, то есть монолитом. Не составленным, а сорожденным. Это одно было создано из всего. По-настоящему сказать о Максе мог бы только геолог. Даже черепная коробка его, с этой неистойвой, неистоимой растительностью, которую даже волосами трудно назвать, физически ощущалась как поверхность земного шара, отчего-то и именно здесь разразившаяся таким обилием. Никогда волосы так явно не являли принадлежности к растительному царству. Так, как эти волосы росли, растет из трав только мята, полынь, ромашка, все густое, сплошное, пружинное, и никогда не растут волосы. Растут, но не у обитателей нашей средней полосы, растут у целых народов, а не у индивидуумов, растут, но черные, никогда – светлые. (Росли светлые, но только у богов.) И тот полынный жгут на волосах, о котором уже сказано, был только естественным продолжением этой шевелюры, ее природным завершением и пределом.

– Три вещи, Марина, вьются: волосы, вода, листва. Четыре, Марина, – пламя.

О пламени. Рассказ. Кто-то из страстных поклонников Макса, в первый год моего с Максом знакомства, рассказал мне почти шепотом, что:

...в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, из него – кончиков пальцев и кончиков волос – было пламя, настоящее, жгучее. Так, однажды за его спиной, когда он сидел и писал, загорелся занавес.

Возможно. Стоял же над Екатериной Второй целый столб искр, когда ей чесали голову. А у Макса была шевелюра – куда екатерининской! Но я этого огня не видала никогда, потому не настаиваю, кроме того, такой огонь, от которого загорается занавес, для меня не в цене, хотя бы потому, что вместо и вместе с занавесом может неожиданно спалить тетрадь с тем огнем, который для меня только один и в цене. На огне не настаиваю, на огнеиспускаемости Макса не настаиваю, но легенды этой не упускаю, ибо каждая – даже басня именно о нас – есть басня именно о нас, а не о соседе. (Низкая же ложь – автопортрет самого лжеца.)

Выскакивал или не выскакивал из него огонь, этот огонь в нем был – так же достоверно, как огонь внутри земли. Это был огромный очаг тепла, физического тепла, такой же достоверный тепловой очаг, как печь, костер, солнце. От него всегда было жарко – как от костра, и волосы его, казалось, так же тихонько, в концах, трещали, как трещит хвоя на огне. Потому, казалось, так и вились, что горели (crépitement[128]). Не могу достаточно передать очарования этой физики, являвшейся целой половиной его психики, и, что важнее очарования, а в жизни – очарованию прямо обратно – доверия, внушаемого этой физикой.

О него всегда хотелось потереться, его погладить, как огромного кота, или даже медведя, и с той же опаской, так хотелось, что, несмотря на всю мою

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru семнадцатилетнюю робость и дикость, я однажды все-таки не вытерпела: «М. А., мне очень хочется сделать одну вещь...» – «Какую вещь?» – «Погладить вас по голове...» – Но я и договорить не успела, как уже огромная голова была добросовестно подставлена моей ладони. Провожу раз, провожу два, сначала одной рукой, потом обеими – и изнизу сияющее лицо: «Ну что, понравилось?» – «Очень!» И, очень вежливо и сердечно: «Вы, пожалуйста, не спрашивайте. Когда вам захочется – всегда. Я знаю, что многим нравится», – объективно, как о чужой голове. У меня же было точное чувство, что я погладила вот этой ладонью – гору. Взлобье горы.

Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, – каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину, но ничего не вышло, из-за явного наличия широченной бороды, которой профиль и уходил в море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала огромному телу, скрытому под всем Черным морем. Голова спящего великана или божества. Вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы – пустившего бы волну, смывшую бы все побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и остался.

Скобка о руке

Когда я писала о том, как гладила Макса, я невольно поглядела на свою руку и вспомнила, как, в одно из наших первых прощаний, Макс – мне:

– М. И., почему вы даете руку так, точно подкидываете мертвого младенца?

Я, с негодованием:

– То есть?

Он, спокойно:

– Да, да, именно мертвого младенца – без всякого пожатия, как посторонний предмет. Руку нужно давать открыто, прижимать вплоть, всей ладонью к ладони, в этом и весь смысл рукопожатия, потому что ладонь – жизнь. А не подсовывать как-то боком, как какую-то гадость, ненужную ни вам, ни другому. В вашем рукопожатии отсутствие доверия, просто обидеться можно. Ну дайте мне руку, как следует! Руку дайте, а не...

Я, подавая:

– Так?

Он сияя:

– Так!

Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожатия и с ними пришедшему доверию к людям. Жила бы, как прежде, – не доверяла бы, как прежде, может быть, лучше было бы – но хуже. И, чтобы кончить о руке, один Максин возглас, дающий весь тон наших отношений:

– Марина! Почему у тебя рука так удивительно похожа на заднюю ногу Одноглаза?!

Макс с мифом был связан и через коктебельскую землю – киммерийскую, родину амазонок. Недаром его вечная мечта о матриархате. Вот, со слов очевидца, разговор в 1920 году, накануне разгрома Крыма. Феодосийский обыватель: «М. А., вы, который все знаете, чем же все это кончится?» Макс, спокойно: «Матриархатом». Феодосиец, испуганно: «Как?» Макс невозмутимо: «Просто, вместо патриарха будет матриарх». Шутка, конечно, ибо что же иное ответить, когда к тебе идут, как к гадалке, но, как та легенда о сгоревшем занавесе, – не случайная шутка. О женском владычестве слышала от Макса еще в 1911 году, до всяких германских и гражданских войн.

Киммерия. Земля входа в Аид Орфея. Когда Макс, полдневными походами, рассказывал мне о земле, по которой мы идем, мне казалось, что рядом со мной идет – даже не Геродот, ибо Геродот рассказывал по слухам, шедший же рядом повествовал, как

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru свой о своем.

Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество: внутренним оком – всех времен. Очевидец всех времен есть тайновидец. И никакой тут «тайны» нет.

Этому, по полицейским и литературным паспортам, тридцатилетнему французскому модернисту в русской поэзии было, по существу, много тысяч лет, те много тысяч лет назад, когда природа, создав человека и коня, женщину и рыбу, не окончательно еще решила, где конец человеку, где коню, где женщине, где рыбе, – своих творений не ограничила. Макс мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами, которые скорее являлись принадлежностью его сознания. Макс сам был миф.

Макс, я. На веслах турки-контрабандисты. Лодка острая и быстрая: рыба-пила. Коктебель за много миль. Едем час. Справа (Максина определение, – счастлива, что сохранила) реймские и шартрские соборы скал, чтобы увидеть вершины которых, необходимо свести затылок с уровнем моря, то есть опрокинуть лодку – что бы и случилось, если бы не противовес Макса: он на носу, я на корме. Десятисаженный грот: в глубокую грудь скалы.

– А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. – Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только искры морской воды, забрасываемой нашими веслами на наседающие, наседающие и все-таки расступающиеся – как расступились и тогда – базальтовые стены входа. Конца гроту, то есть выхода входу, не помню; прорезали ли мы скалу насквозь, то есть оказался ли вход воротами, или, повернув на каком-нибудь морском озере свою рыбу-пилу, вернулись по своим, уже сглаженным следам, – не знаю. Исчезло. Помню только: вход в Аид.

Об Орфее я впервые, ушами души, а не головы, услышала от человека, которого – как тогда решила – первого любила, ибо надо же установить первого, чтобы не быть потом в печальной необходимости признаться, что любила всегда или никогда. Это был переводчик Гераклита и гимнов Орфея. От него я тогда и уехала в Коктебель, не «любить другого», а не любить – этого. И уже перестрадав, отбыв – вдруг этот вход в Аид, не с ним!

И в ответ на мое молчание о нем – так издалека – точно не с того конца лодки, а с конца моря:

– В Аид, Марина, нужно входить одному. И ты одна вошла, Марина, я – как эти турки, я не в счет, я только средство, Марина, как эти весла...

Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея – сама не знаю. Но Макса, введшего меня в Аид на деле, введшего с собой и без себя – мне никогда не забыть. И каждый раз, будь то в собственных стихах или на «Орфее» Глюка, или просто слово Орфей – десятисаженная щель в скале, серебро морской воды на скалах, смех турок при каждом удачном весловом заносе – такой же высокий, как всплеск...

Сколько водили меня по черным ходам жизни, заводили и бросали, – выбирайся как знаешь. Что я в жизни видела, кроме черного хода? и чернейших людских ходов?

А вот что: вход в Аид!

Еще одно коктебельское воспоминание. Большой поход, на этот раз многолюдный. По причуде бесед и троп и по закону всякой русской совместности, отбились, разбрелись, и вот мы с Максом, после многочасового восхождения – неизвестно на какой высоте над уровнем моря, но под самым уровнем неба, с которого непосредственно нам на головы льет сильный отвесный дождь, на пороге белой хаты, первой в ряду таких же белых.

– Можно войти переждать грозу?

– Можно, можно.

– Но мы совершенно мокрые.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
– Можно ошаг посушить.

Так как снять нам нечего: Макс в балахоне, а я в шароварах, садимся мокрые в самый огонь и скромно ждем, что вот-вот его загасим. Но старушка в белом чепце подбрасывает еще кизяку. Огонь дымит, мы дымимся.

– Как барышня похощ на свой папаш! (Старичок.)

Макс, авторски-скромно:

– Все говорят.

– А папаш (старушка) ошень похощ на свой дочк. У вас много дочк?

Макс уклончиво:

– Она у меня старшая.

– А папаш и дочк ошень похощ на свой царь.

Следим за направлением пальца и сквозь дым очага и пар одежд различаем Александра III, голубого и розового, во всю стену.

Макс:

– Этот царь тоже папаш: нынешнего царя и дедушка будущего.

Старичок:

– Как вы хорошо сказаль: дэдушк будущий! Дай Бог здорофь и царь, и папаш, и дочк!

Старушка, созерцательно:

– А дочк ф панталон.

Макс:

– Так удобнее лазить по горам.

Старичок, созерцательно:

– А папаш в камизоль.

Макс, опережая вопрос о штанах:

– А давно вы здесь живете?

Старички (в один голос):

– Дафно. Сто и двадцать лет.

Колонисты времен Екатерины.

Полдневных походов было много, больше чем полуночных. Полуночные были приходы – после дня работы и, чаще уединенных, восхождений на Карадаг или другую гору – полуночные приходы к друзьям, рассеянным по всему саду. Я жила в самой глубине. Но тут не миновать коктебельских собак. Их было много, когда я приехала, когда я пожила, то есть обжилась, их стало – слишком много. Их стало – стаи. Из именных помню Лапко, Одноглаза и Шоколада. Лапко – орфография двойная: Лапко от лапы и Лобко от лоб, оправдывал только последнюю, от лба, ибо шел на тебя лбом, а лапы не давал. Сплошное: иду на вы. Это был крымский овчар, что то же, огромный волк, порода, которую только в издевку можно приставлять к сторожке овец. Но, слава Богу, овец никаких не было. Был огромный красавец-волк, ничего и никого не стороживший и наводивший страх не на овец, а на людей. Не на меня. Я сразу, при первом его надвигании лбом, взяла его обеими руками за содрогающиеся от рычания челюсти и поцеловала в тот самый лоб, с чувством, что целую, по крайней мере,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Этно. К самому концу лета я уже целовала его без рук и в ответ получала лапу. Но каждый следующий приезд – та же гремящая морда под губами, – Лапко меня за зиму забывал наглухо, и приходилось всю науку дружбы вбивать – вцеловывать ему сызнова. Таков был Лапко. Вторым, куда менее казистым, был Одноглаз, существо совершенно розовое от парши и без никаких душевных свойств, кроме страха, который есть свойство физическое. Третий был сын Одноглаза (оказавшегося Одноглазкой) – Шоколад, в детстве дивный щенок, позже – дикий урод. Остальных никак не звали, потому что они появлялись только ночью и исчезали с зарей. Таких были – сонмы. Но – именные и безымянные – все они жили непосредственно у моего дома, даже непосредственно у порога. И вот однажды утром, на большой террасе, за стаканом светлого чая с бубликом и даже без бублика (в Коктебеле ели плохо, быстро и мало, так же, как спали), Макс мне: «Марина! Ты знаешь, что я к тебе вечером шел» (вечером на коктебельском языке означало от полуночи до трех). – «Как – шел?» – «Да, шел и не дошел. Ты расплодила такое невероятное количество... псов, что я всю дорогу шел по живому, то есть по каким-то мертвым телам, которые очень гнусно и грозно рычали. Когда же я наконец протолкался через эту гущу и захотел ступить к тебе на крыльцо, эта гуща встала и разом, очень тихо, оскалила зубы. Ты понимаешь, что после этого...»

Никогда не забуду, как я в полной черноте ночи, со всего размаху кинувшись на раскинутое плетеное кресло, оказалась лежащей не на раскидном кресле, а на огромной собаке, которой тут же была сброшена – и с нее и с шезлонга.

Макс собак не то чтобы любил. Не любил, но убеждена, что без людей с собакой, с тем же Лапко, беседовал совершенно как со мной, вовсе не интонациями, а словами, и не пропуская ни одного. К примеру, выгоняя Одноглаза с плантажа: «Одноглаз! Я тебе советую убираться, пока тебя не видела мама», – так же подняв палец, не повышая голоса, холодно, как когда выгонял с плантажа мальчишку. И Одноглаз так же слушался, как мальчишка: не от страха мамы, а от священного страха Макса. Для Макса собака была человеком, сам же Макс был больше чем человек. И Одноглаз Макса слушался не как родного Бога, а как чужого Бога. Никогда не помню, чтобы Макс собаку гладил, для него погладить собаку было так же ответственно, как погладить человека, особенно чужого! Лапко, самая надменная, хмурая и несобачья из коктебельских собак, ибо был волк, нехотя, за версту назад, но за Максом – ходил. В горах высоко жили дикие овчары, разрывавшие на части велосипедиста и его велосипед. Когда Макс был вдвое моложе и тоньше, он тоже был велосипедист с велосипедом. И вот однажды – нападение: стая овчаров на велосипед с велосипедистом. А пастух где-то на третьем холму, профилем, в синей пустоте, изваянием, как коза. Овец – ни следу... «Как же ты, Макс, отбился?» – «Не буду же я, в самом деле, драться с собаками! А я с ними поговорил».

Если Керенского когда-то, в незлую шутку, звали Главноуговаривающим, то настоящим главноуговаривающим был Макс – и всегда успешным, ибо имел дело не с толпами, а с человеком, всегда одним, всегда с глазу на глаз: с единственной совестью или тщеславием одного. И будь то комиссар, предводитель отряда или крымский овчар, вожак стаи, – успех был обеспечен.

Уговоры, полагаю, происходили вот как:

Макс, отведя самого лютого в сторону:

– Ты, как самый умный и сильный, скажи, пожалуйста, им, что велосипед, во-первых, невкусен, во-вторых, мне нужен, а им нет. Скажи еще, что очень неприлично нападать на безоружного и одинокого. И еще непременно напомни им, что они овчары, то есть должны стеречь овец, а не волки, – то есть не нападать на людей. Теперь позволь мне пожать твою благородную лапу и поблагодарить за сочувствие (которое, пока что, вожак изъясил только рычанием).

Так ли уж убежден был Макс в человечности овчара или озверевшего красного или белого командира, во всяком случае он их в ней убеждал. Не сомневаюсь, что, когда, годы спустя, к его мирной мифической даче подходили те или иные банды, первым его делом, появившись на вызовы, было длительное молчание, а первым словом: «Я бы хотел поговорить с кем-нибудь одним, – желание всегда лестное и требование всегда удовлетворимое, ибо во всякой толпе есть некий (а иногда даже несколько), ощущающий себя именно тем одним. Успех его уговоров масс был только взыванием к единственности.

Чтобы кончить о собаках. Два года спустя – я ту зиму жила в Феодосии – редкий

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru праздник явления Макса, во всем тирольском рубчатом – как мельник, или сын мельника, или кот в сапогах.

– Марина! А я к тебе гостей привел. Угадай! Скорей, скорей! Они очень волнуются.

Выбегаю. За спиной Макса – от крыльца до калитки, в три сторожевых поста, в порядке старшинства и красоты: Лапко – Одноглаз – Шоколад.

– Марина! Ты очень рада? Ты ведь по ним соскучилась?

Нужно знать всю непонятность для Макса такого моего скучанья и степень уродства Шоколада и Одноглаза, с которыми ему пришлось идти через весь город, чтобы по достоинству оценить этот приход и привод.

В революцию, в голод, всех моих собак пришлось отравить, чтобы не съели болгары или татары, евские похуже. Лапко участи избежал, ибо ушел в горы – сам умирать. Это я знаю из последнего в Москве письма Макса, того, с которым ходила в Кремль, по вызову Луначарского, доложить о голодающих писателях Крыма.

К зиме этого собачьего привода относится единственная наша новогодняя встреча с Максом за всю нашу дружбу. Выехали в метель, Сережа Эфрон, моя сестра Ася и я. В такой норд-ост никто бы не повез, а пешком восемнадцать верст и думать нечего – сплошной сногосшиб. И так бы Макс нас и не дождался, если бы не извозчик Адам, знавший и возивший Макса еще в дни его безбородости и половинного веса и с тех пор, несмотря на удвоенный вес и цены на феодосийском базаре, так и не надбавивший цены. Возил, можно сказать, даром – и с жаром. Взгромоздились в податливый разлзатый рыдван, Адам накрыл чем мог – поехали. Поехали и стали. Лошади на свежем снегу скользили, колеса не скользили, но чего не могут древнее имя Адам, пара старых коней и трое неудержимых седоков, которым всем вместе пятьдесят четыре года? Так или иначе, до заставы доехали. Но тут-то и начинались те восемнадцать верст пространства – между нами и Максиной башней, нами и новым 1914 годом. Метель мела, забивала глаза и забивалась не только под кожаный фартук, но и под собственную нашу кожу, даже фартуком не ощущаемую. Норд-ост, ударив в грудь, вылетал между лопаток, ни тела, ни дороги, никакой достоверности не было: было поприще норд-оста. Нет, одна достоверность была: достоверная снеговая стена спины Адама, с появлявшейся временами черно-белой бородой: «Что, как, панычи, живы?»

Холодно не было, нечему было, ничего не было, ехали голые веселые души, которым не страшно вывалиться, которым ничего не делается. «Ася!» – «Да, Марина, так будем ехать после смерти!» Ехала, впрочем, еще веская достоверная корзина, с которой все делается и которой есть чем вывалиться. Если мы тогда – все с конями, с повозкой, с Адамом – не сорвались в небо, то только из-за новогоднего фрахта Максиного любимого рислинга, который нужно было довести.

А этот смех! Как метель – мела, так мы от смеха – мотались, как норд-ост – налетал, так смех из нас – вылетал. Метель Вожатого из «Капитанской дочки». И у Адама та же борода!

Не вывалил норд-ост, не выдал Адам. Дом. Огонь. Макс.

– Сережа! Ася! Марина! Это – невозможно. Это – неверо-ятно.

– Макс, а разве ты забыл:

Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко видеть: чудо – есть!
Тройным чудом, то есть тремя мокрыми чудами выпрастываемся из повозки, метели, корзины, вожжей, стоим в жаркой Максиной мастерской, обтекаем лужами. Поим рислингом Адама так же щедро, как он нынче вечером будет поить коней.

Макс совсем один, Е. О. в Москве. Дом нетопленный, ледяной и нежилой – что мрачнее летних мест зимою, прохладных синих от лета белых стен – в мороз? – Море еще ближе, чем было, ворочается у изножья башни, как зверь. Мы на башне. Башня – маяк. Но нужно сказать о башне. Была большая просторная комната, со временем Макс надстроил верх, а потолок снял, – получилась высота в два этажа и в два света. Внизу была мастерская, из которой по внутренней лестнице наверх, в

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru библиотеку, расположенную галереей. Там же Макс на чем-то рыжем, цвета песка и льва, спал. На вышке башни, широкой площадке с перилами, днем, по завистливому выражению дачников, «поклонялись солнцу», то есть попросту лежали в купальных костюмах, мужчины и дамы отдельно, а по ночам, в той же передаче дачников, «поклонялись луне», то есть беседовали и читали стихи.

Мастерская пустая, только мольберт и холсты, верх, с подавляющей головой египтянки Таиах, полон до разрыва. Много тысяч томов книг, чуда и дива из всех Максиных путешествий – скромные ежедневные чуда тех стран, где жил: баскский нож, бретонская чашка, самаркандские четки, севильские кастаньеты – чужой обиход, в своей стране делающийся чудом, – но не только людской обиход, и морской, и лесной, и горный, – куст белых кораллов, морская окаменелость, связка фазаньих перьев, природная горка горного хрусталя...

В башне жара. Огромный Макс носится вверх и вниз с чашками без ручек и с ножами без черенков.

– Мама, уезжая, все заперла, чтобы не растащили, а кому растаскивать? – собаки вилками не едят.

– Макс, а где же...

– Все на даче Юнге, потому что, ты знаешь, от меня и объедков не остается (делая страшные глаза): Je mange tout[129]. Пожили, пожили со мною недели две и, видя, что это верная голодная смерть, ушли к Юнге. Просыпаюсь – ни одной.

Красное жерло и вой чугунной печи. Но об этой печи – рассказ. До моего знакомства с Волошиными Е. О. и Максу по летам, когда съезжались, прислуживала пара: татарин и его жена, с татарским именем, в Максином переводе Животея. Животея эта была старая, тощая и страшная: татарин решил жениться на молодой. Некоторые антропософские девушки, гостившие тогда у Макса, стали татарина уговаривать: «Как тебе не стыдно! Она тебе так предана, ты всю жизнь с нею прожил, и теперь хочешь жениться на молодой. Разве молодость важна? Красота важна? Важна душа, Селим, понимаешь. Душа, которая всегда полна и всегда молода!» Татарин слушал, слушал и, поняв, что они указывают ему на то, что он не может внести калыма за невесту: «Твоя правда, баришня, бедному человеку и с душой жить приходится».

Эта самая душа, с которой бедному человеку приходится жить, была страшная воровка, по-научному сказали бы: клептоманка, по-народному – сорока. Макс задумал ставить печь. Сам купил, сам принес, сам стал ставить. Поставил. Зажег. Весь дым в дом. Ничего, в первый раз, обживется. Но второй и третий день, – дымит, как паровоз! Думал, гадал, главное нюхал, проверил трубы, колена – разгадки нет. И вдруг озарение: Животея! Бежит, бычьи опустив голову, в ее камору; лезет под кровать, в самую ее грабилровку, – и в самой глубине – колено, крохотное, не колено, а коленце, самое необходимое, то. «Зачем же ты взяла, Животея? – Молчит. – Зачем оно тебе? – Молчит. – Ты понимаешь, что я из-за тебя мог угореть. У-ме-реть». Та молча перекатывает на желтом лице черные бусы-глаза. Рассказывают, что Макс от обиды – плакал.

Глядим в красное жерло чугуна, загадываем по Максиной многочитанной Библии на Новый, 1914 год. За трехгранником окна – норд-ост. Море бушует и воет. Печка бушует и воет. Мы на острове. Башня – маяк. У Макса под гигантской головой Таиах его маленькие преданные часики. Что бы они ни показывали – правильно, ибо других часов нет. Еще двадцать минут, еще пятнадцать минут. «Давай погадаем, доехал Адам или нет». С некоторой натяжкой и в несколько иносказательной форме выходит, что доехал. Еще десять минут. Еще пять. Наполняем и сдвигаем три стакана и одну чашку и пьем за Новый – 1914-й – тогда еще не знали, какой – первый из каких годов – год. И Ася: «Макс, ты не находишь, что странно пахнет?» – «Здесь всегда так пахнет, когда норд-ост». Читаем стихи. Макс, я. Стихов, как всегда, много, особенно у меня.

И – что это? Из-под пола, на аршин от печи, струечка дыма. Сначала думаем, что заматает из печи. Нет, струечка местная, именно из данного места пола – и странная какая-то, легкими взрывами, точно кто-то, засев под полом, пускает дымные пузыри. Следим. Переглядываемся и, Сережа, внезапно срываясь:

– Макс, да это пожар! Башня горит!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Никогда не забуду ответного, отсутствующего лица Макса, лица, с которого схлынула всякая возможность улыбки, его непонимающих-понимающих глаз, сделавшихся вдруг большими.

– Внизу ведро? Одно?

– Неужели же ты думаешь, Сережа, что можно затушить ведрами?

Мчимся – Сережа, Ася, я – вниз, достаем два ведра и один кувшин, летим, гремя жестью в руках и камнями из-под ног, к морю, врываемся, заливая лестницу – и опять к морю, и опять на башню..

Дым растет, уже два жерла, уже три. Макс, как сидел, так и не двинулся. Внимательно смотрит в огонь, всем телом и всей душой. Этот пожар – конец всему. В секундный перерыв между двумя прибегами, кто-то из нас: – Да неужели ты не понимаешь, что сгореть не может. Ну??

И – в ответ – первый проблеск жизни в глазах. Очнулся! Проснулся.

– Мы – водой, а ты... Да ну же!

И опять вниз, в норд-ост, гремя и спотыкаясь, в явном сознании, что раз мы – только водой, так эта вода быть – должна.

И на этот раз, взбежав – молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой – воздетой рукой, что-то неслышно и отдельно говорящего в огонь.

Пожар – потух. Дым откуда пришел, туда и ушел. Двумя ведрами и одним кувшином, конечно, затушить нельзя было. Ведь горело подполье! И давно горело, ибо запах, о котором сказала Ася, мы все чувствовали давно, только за радостью приезда, встречи, года, осознать не успели.

Ничего не сгорело: ни любимые картины Богаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завилась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восставленный любовью и волей одного человека, уцелел весь. Хозяин здешних мест, не пожелавший спасти одно и оставить другое, Максимилиан Волошин, и здесь не пожелавший выбрать и не смогший предпочесть, до того он сам был это все, и весь в каждой данной вещи, Максимилиан Волошин сохранил все.

Что наши ведра? Только добрая воля тех, кто знает, что он огня не остановит поднятием руки, что ему руки даны – носить. Только выход энергии: когда горит – не сидеть руки сложа.

Пожар был остановлен – словом.

Самое замечательное в этой примечательной новогодней ночи, что мы с Асей, принесли очередное, уже явно ненужное ведро, внезапно и каменно заснули. Каждая, где стояла. Так потихонечку и сползли. И до того заспались, что, увидев над собой широченную во все лицо улыбку Макса – в эту секунду лицо равнялось улыбке и улыбка – лицу, – невольно зажмурились от него, как от полдневного солнца.

Макс и сказка

Чем глубже я гляжусь в бездонный колодец памяти, тем резче встают мне навстречу два облика Макса: греческого мифа и германской сказки. Гриммовской сказки. Добрый людоед, ручной медведь, домовитый гном и, шире: дремучий лес, которым прирученный медведь идет за девушкой. Макс был не только действующим лицом, но местом действия сказки Гримма. Медведь-Макс за Розочкой и Беляночкой пробирался по зарослям собственных кудрей.

Помню картинку над своей детской кроватью: в лесу, от роста лежащего кажущемся мхом, в мелком и курчавом, как мох, лесу, на боку горы, как на собственном, спит великан. Когда я десять лет спустя встретила Макса, я этого великана и этот лес узнала. Этот лес был Макс, этот великан был Макс. Так, через случайность детской картинки над кроватью, таинственно восстанавливается таинственная принадлежность Макса к германскому миру, моим тем узнаванием в нем Гримма – подтверждается. О германской крови Макса я за всю мою дружбу с ним не думала, теперь, идя назад к истокам его прародин и моего младенчества – я эту кровь в нем знаю и утверждаю.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

В его физике не было ничего русского. Даже курчавые волосы (в конце концов не занимать статью: у нас все добрые молодцы и кучера курчавые) за кучерские не сошли. (Свойство русского волоса – податливость, вьются как-то от всего, у Макса же волос был неукротимый.) И такие ледяные голубо-зеленые глаза никогда не сияли под соболиными бровями ни одного доброго молодца. Никому и в голову не приходило наградить его «богатырем». Богатырь прежде всего тяжесть (равно как великан прежде всего скорость). Тяжесть даже не физическая, а духовная. Физика, ставшая психикой. Великан – шаг, богатырь – вес. Богатырь и по земле ступить не может, потому что провалится, ее, землю, провалит. Богатырю ничего не остается, кроме как сидеть на коне и на печке сиднем. (Один даже от собственной силы, то есть тяжести, ушел в землю, сначала по колено, потом по пояс, а потом совсем.) Сила богатыря есть сила инерции, то есть тяжесть. В Максе ни сидня, ни тяжести, ни богатыря. Он сам был конь! Помню, как на скамейке перед калиткой – я сидела, он стоял – он, читая мне свой стих, кончающийся названием греческих островов, неожиданно: Наксос – прыжок, Делос – прыжок и Микэн – до неба прыжок!

Его веское тело так же не давило землю, как его веская дружба – души друзей. А по скалам он лазил, как самая отчаянная коза. Его широкая ступня в сандалии держалась на уступе скалы только на честном слове доверия к этой скале, единстве с этой скалой.

Еще особенность наших сказок: полное отсутствие уюта: страшные – скрызь. Макс же в быту был весь уют. И чувство, которое он вызывал даже в минуты гнева, был тот страх с улыбкой, сознание, что хорошо кончится, которое неизменно возбуждают в нас все гриммовские великаны и никогда не возбудит Кащей или другое какое родное чудовище. Ибо гнев Макса – как гнев божества и ребенка – мог неожиданно кончиться смехом – дугой радуги! Гнев же богатыря неизменно кончается ударом по башке, то есть смертью. Макс был сказка с хорошим концом. Про Макса, как про своего сына, – кстати, в детстве они очень похожи, – могу сказать, что:

...славянской скуки –
Ни тени в красоте твоей!
Позднеславянской, то есть интеллигентской.

Физика Макса была широкими воротами в его сущность, физическая обширность – только введением в обширность духовную, физический жар его толстого тела только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели; вся физическая сказочность его – только входом и вводом в тот миф, который был им и которым он был.

Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник: мифотворец. О, сказочник прежде всего. Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет. Усиление основы за счет «условий», сужденности за счет случайности, судьбы за счет жизни. Героев Гомера мы потому видим, что они гомеричны. Мифотворчество: то, что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому, что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения – Максом, человеком и нами – только их. Все остальное: мелкое, пришлое, случайное, отметалось. То есть тот же творческий принцип памяти, о которой от того же Макса слышала: «La mémoire a bon goût»[130], то есть несущественное, то есть девяносто сотых – забывает.

Макс о событиях рассказывал, как народ, а об отдельных людях, как о народах. Точность его живописания для меня всегда была вне сомнения, как несомненна точность всякого эпоса. Ахилл не может быть не таким, иначе он не Ахилл. В каждом из нас живет божественное мерило правды, только перед коей прегрешив человек является лжецом. Мистификаторство, в иных устах, уже начало правды, когда же оно дорастает до мифотворчества, оно – вся правда. Так было у Макса в том же случае Черубины. Что не насущно – лишне. Так и получают боги и герои. Только в Максинах рассказах люди и являлись похожими, более похожими, чем в жизни, где их встречаешь не так и не там, где встречаешь не их, где они просто сами-не-свои и – неузнаваемы. Помню из уст Макса такое слово маленькой девочки. (Девочка впервые была в зверинце и пишет письмо отцу:)

– Видела льва – совсем не похож.

У Макса лев был всегда похож. Кстати, чтобы не забыть. У меня здесь, в Кламаре,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru на столе, на котором пишу, под чернильницей, из которой пишу, тарелка. Столы и чернильницы меняются, тарелка пребывает, вывезла ее в 1913 году из Феодосии и с тех пор не расставалась. В моих руках она стала еще на двадцать лет старше. Тарелка страшно тяжелая, фаянсовая, старинная, английская, с коричневым побелу бордюром из греческих героев и английских полководцев. В центре лицо, даже лик: лев. Собственно, весь лев, но от величины головы тело просто исчезло. Грива, переходящая в бороду, а из-под гривы маленькие белые сверла глаз. Этот лев самый похожий из всех портретов Макса. Этот лев – Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс. На этот раз жизнь занялась мифотворчеством.

Один-единственный пример на живой мне. В первый же день приезда в Коктебель – о драгоценных камнях его побережья всякий знает – есть даже бухта такая: Сердоликовая, – в первый день приезда в Коктебель я Макс: «М. А., как вы думаете, вы могли бы отгадать, какой мой самый любимый камень на всем побережье?» И уже час спустя, сама о себе слышу: – «Мама! Ты знаешь, что мне заказала М. И.? Найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье!» Ну, не лучше ли так и не больше ли я? Я была тот черновик, который Макс мгновенно выправил.

Острый глаз Макса на человека был собирательным стеклом, собирательным – значит зажигательным. Все, что было своего, то есть творческого, в человеке, разгоралось и разрасталось в посильный костер и сад. Ни одного человека Макс – знанием, опытом, дарованием – не задавил. Он, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. «Когда мне нужен я – я ухожу, если я к тебе прихожу – значит, мне нужен ты». Хотела было написать «ненасытность на подлинное», но тут же вспомнила, даже ушами услышала: «Марина! Никогда не употребляй слово «подлинное». – «Почему? Потому что похоже на подлое?» – «Оно и есть подлое. Во-первых, не подлинное, а подлинное, подлинная правда, та правда, которая под линьками, а линьки – те ремни, которые палач вырезает из спины жертв, добываясь признания, лжепризнания. Подлинная правда – правда застенка».

Все, чему меня Макс учил, я запомнила навсегда.

Итак, Макс, ненасытностью на настоящее, заставлял человека быть самим собой. Знаю, что для молодых поэтов, со своим, он был незаменим, как и для молодых поэтов – без своего. Помню, в самом начале знакомства, у Алексея Толстого литературный вечер. Читает какой-то титулованный гвардеец: луна, лодка, сирень, девушка... В ответ на это общее место – тяжелое общее молчание. И Макс вкрадчиво, точно голосом ступая по горячему: «У вас удивительно приятный баритон. Вы – поете?» – «Никак нет». – «Вам надо петь, вам непременно надо петь». Клянусь, что ни малейшей иронии в этих словах не было; баритону, действительно, надо петь.

А вот еще рассказ о поэтессе Марии Паппер.

– М. И., к вам еще не приходила Мария Паппер?

– Нет.

– Значит, придет. Она ко всем поэтам ходит: и к Ходасевичу, и к Борису Николаевичу, и к Брюсову.

– А кто это?

– Одна поэтесса. Самое отличительное: огромные, во всякое время года, калоши. Обыкновенные мужские калоши, а из калош на тоненькой шейке, как на спичке, огромные темные глаза, на ниточках, как у лягушки. Она всегда приходит с черного хода, еще до свету, и прямо на кухню. «Что вам угодно, барышня?» – «Я к барину». – «Барин еще спят». – «А я подожду». Семь часов, восемь часов, девять часов. Поэты, как вы знаете, встают поздно. Иногда кухарка, сжалившись: «Может, разбудить барина? Если дело ваше уж очень спешное, а то наш барин иногда только к часу выходят. А то и вовсе не встают». – «Нет, зачем, мне и так хорошо». Наконец кухарка, не вытерпев, докладывает: «К вам барышни одни, гимназистки или курсистки, с седьмого часа у меня на кухне сидят, дожидаются». – «Так чего ж ты, дура, в гостиную не провела?» – «Я было хотела, а оне: мне, мол, и здесь хорошо. Я их и чаем напоила – и сама пила, и им наливала, обиды не было».

Наконец встречаются: «барин» и «барышня». Глядят: Ходасевич на Марию Паппер, Мария Паппер на Ходасевича. «С кем имею честь?» Мышиный голос, как-то все на и:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
«А я – Мария Па-аппер». – «Чем могу служить?» – «А я стихи-и пи-ишу...»

И, неизвестно откуда, огромный портфель, департаментский. Ходасевич садится к столу, Мария Паппер на диван. Десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов. Мария Паппер читает. Ходасевич слушает. Слушает – как зачарованный! Но где-то внутри – пищевода или души, во всяком случае, в месте, для чесания недосыгаемом, зуд. Зуд все растет. Мария Паппер все читает. Вдруг, первый зевок, из последних сил прыжок, хватаясь за часы: «Вы меня – извините – я очень занят – меня сейчас ждет издатель – а я – я сейчас жду приятеля». – «Так я пойду-у, я еще при-иду-у».

Освобожденный, внезапно поласковевший Ходасевич:

– У вас, конечно, есть данные, но надо больше работать над стихом...

– Я и так все время пи-ишу...

– Надо писать не все время, а надо писать иначе...

– А я могу и иначе... У меня есть...

Ходасевич, понимая, что ему грозит:

– Ну конечно, вы еще молоды и успеете... Нет, нет, вы не туда, позвольте я провожу вас с парадного...

Входная дверь защелкнута, хозяин блаженно выхрустывает суставы рук и ног, и вдруг – бурей – пронося над головой обутые руки – из кухни в переднюю – кухарка:

– Ба-арышни! Ба-арышни! Ай, беда-то какая! Калошки за-были!

..Вы знаете, М. И., не всегда так хорошо кончается, иногда ей эти калоши летят вслед... Иногда, особенно если с верхнего этажа, попадают прямо на голову, но на голову или на ноги, Ходасевич или (скромно) со мной тоже было – словом: неделю спустя сидит поэт, пишет сонет... «Барин, а барин?» – «Что тебе?» – «Там к вам одне барышни пришли, с семи часов дожидаются... Мы с ними уже два раза чайку попили... Всю мне свою жизнь рассказали... (Конфузливо.) Писательницы».

Так некоторых людей Макс возводил в ранг химер.

Книжку ее мне Макс принес. Называлась «Парус». Из стихов помню одни:

Во мне кипит, бурлит волна
Горячей крови семитической,
Я вся дрожу, я вся полна
Заветной тайны эстетической.
Иду я вверх, иду я вниз.
Я слышу пенье разнотонное, –
Родной сестрой мне стала рысь,
А братом озеро бездонное.
И еще такое четверостишие:

Я великого, нежданного,
Невозможного прошу,
И одной струей желанного
Вечный мрамор орошу.
Сказка была у него на всякий случай жизни, сказкой он отвечал на любой вопрос.
Вот одна, на какой-то – мой:

Жил-был юноша, царский сын. У него был воспитатель, который, полагая, что все зло в мире от женщины, решил ему не показывать ни одной до его совершеннолетия. («Ты, конечно, знаешь, Марина, что на Афоне нет ни одного животного женского пола, одни самцы».) И вот в день его шестнадцатилетия воспитатель, взяв его за руку, повел его по залам дворца, где были собраны все чудеса мира. В одной зале – все драгоценные ткани, в другой – все оружие, в третьей – все музыкальные инструменты, в четвертой – все драгоценные ткани, в пятой, шестой (ехидно) – и так до тридцатой – все изречения мудрецов в пергаментных свитках, а в тридцать

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru первой – всё редкостные растения и, наконец, в каком-то сотом зале – сидела женщина. «А это что?» – спросил царский сын своего воспитателя. «А это, – ответил воспитатель, – злые демоны, которые губят людей».

Осмотрев весь дворец со всеми его чудесами, к концу седьмого дня воспитатель спросил у юноши: «Так что же тебе, сын мой, из всего виденного больше всего понравилось?»

– А, конечно, те злые демоны, которые губят людей!»

– Марина! Марина! слушай!

Когда же вырос Гáкон,
Ему дал царство БОГ,
Но песни той никак он
Забыть уже не МОГ:

Шибче, шибче, мальчик мой!
Бианкой конь зовется твой!

Сейчас попытаюсь восстановить: что? откуда? Явно, раз Гáкон – норвежское, явно, раз «шибче, шибче, мальчик мой» – колыбельная или скаковая песня мальчику – матери, некоей вдовствующей Бианки – обездоленному Гáкону, который все-таки потом добился престола. Начало песенки ушло, нужно думать: о врагах, отнявших престол и отцовского коня, ничего не оставивших, кроме престола и коня материнских колен. Перевод – Макса. Вижу, как сиял. Так сияют только от осуществленного чуда перевода.

А вот еще песенка из какой-то детской книжки Кнебеля:

У Мороза-старика
Дочь – Снегурочка.
Полюбился ей слегка
Мальчик Юрочка...

– Марина, нравится?

– Очень.

– К сожалению, не я написал.

И еще одна, уже совсем умильная, которую пел – мне:

Баю-бай-бай,
Медведёвы детки,
Косо – лапы,
Да лох – маты...

Все, что могло тогда понравиться мне, Макс мне приволакивал как добычу. В зубах. Как медведь медвежонку. У Макса для всякого возраста был свой облик. Моему, тогда, почти детству он предстал волшебником и медведем, моей, ныне – зрелости или как это называется – он предстает мифотворцем, миротворцем и миротворцем. Все Макс давал своим друзьям, кроме непрерывности своего присутствия, которое, при несчетности его дружб, уже было бы вездесущим, то есть физической невозможностью. Из сказок, мне помнится, Макс больше всего любил звериные, самые старые, сказки прародины, иносказания – притчи. Но об отдельной любви к сказке можно говорить в случае, когда существует не-сказка. Для Макса не-сказки не было, и он из какой-нибудь лисьей истории так же легко переходил к случаю из собственной жизни, как та же лиса из лесу в нору.

Одним он не был: сказочником письменным. Ни его сказочность, ни сказочничество в его творчество не перешли. Этого себя, этих двух себя он в своем творчестве – очень большом по охвату – не дал. Будь это я, я бы так на его сказочности не настаивала. Он сам был из сказки, сам был сказка, сама сказка, и, закрепляя этот его облик, я делаю то же, что все собиратели сказок, с той разницей, что собиратели записывают слышанную, я же виденную и совместно с Максом: житую: véсие[131].

На этом французском незаменимом и несуществующем слове (vie véсие – житая жизнь, так у нас не говорят, а прожитая – уже в окончательном прошлом, не передает)

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru остановлюсь, чтобы сказать о Максе и Франции.

Явным источником его творчества в первые годы нашей встречи, бывшие последними до войны, была бесспорно и явно Франция. Уже хотя бы по тем книгам, которые он давал друзьям, той же мне: Казанова или Клодель, Аксель или Консуэла – ни одной, за годы и годы, ни немецкой, ни русской книги никто из его рук не получал. Ни одного рассказа, кроме как из жизни французов – писателей или исторических лиц – никто из его уст тогда не слышал. Ссылка его всегда была на Францию. Оборот головы всегда на Францию. Он так и жил, головой, обернутой на Париж. Париж XIII века или нашего нынешнего, Париж улиц и Париж времен был им равно исхожен. В каждом Париже он был дома, и нигде, кроме Парижа, в тот час своей жизни и той частью своего существа, дома не был. (Не говорю о вечном коктебеле, из которого потом разрослось – все.) Его ношение по Москве и Петербургу, его всеприсутствие и всеместность везде, где читались стихи и встречались умы, было только воссозданием Парижа. Как некоторые из нас, во всяком случае, русские няни, Arc de triomphe[132] превращают в Триумфальные или даже Трухмальные ворота и Пасси в Арбат, так и Макс в те годы превращал Арбат в Пасси и Москва-реку в Сену. Париж прошлого, Париж нынешний, Париж писателей, Париж бродяг, Париж музеев, Париж рынков, Париж парижан, Париж – калужан (был и тогда такой!), Париж первой о нем письменности и Париж последней песенки Мистенгетт, – весь Париж, со всей его, Парижа, вместимостью, был в него вмещен. (Вмещался ли в него весь Макс?)

Одного, впрочем, Макс в Париже не вместил. Сейчас увидите, чего. «М. А., что вам больше всего нравится в Париже?» Макс молниеносно: «Эйфелева башня». – «Неужели?» – «Да, потому что это единственное место, откуда ее не видеть». Макс Эйфелеву ненавидел так, как никогда не мог ненавидеть живое лицо. «Знаешь, Марина, какая рифма к Эйфелевой? – И, боясь, что опережу: – Тейфелева!» (То есть чертова.)

У меня нет его первой книги, но помню, что, где ни раскроешь, везде Париж. Редкая страница нас не обдаст Парижем, если не прямым Парижем, то Парижем иносказанным. Первая книга его, на добрую половину, чужестранная. В этом он сходится с большинством довоенных поэтов: Бальмонт – заморье, Брюсов – все истории, кроме русской, ранний Блок – Незнакомка, запад; Золото в лазури Белого – готика и романтика. И, позже: Гумилев – Африка, Кузмин – Франция, даже первая Ахматова, Ахматова первой книжки, если упоминает Россию, то как гостя – из страны Любви, которая в России тоже экзотика. Только иноземность Макса (кроме «экзотики» Ахматовой) была скромнее и сосредоточеннее.

Теперь оговорюсь. Как все предшествующее: о Максе и мире, о Максе и людях, о Максе и мифе – достоверность, то есть безоговорочно, то есть как бы им подписано или даже написано, так последующее – только мои домыслы, непроверяемые только для меня. Справиться, увы, мне не у кого, ибо только ему одному поверила бы больше, чем себе.

Я сказала: явным источником его творчества, но есть источники и скрытые, скрытые родники, под землей идущие долго, всё питающие по дороге и прорывающиеся – в свой час. Этих скрытых родников у Макса было два: Германия, никогда не ставшая явным, и Россия, явным ставшая – и именно в свой час. О физическом родстве Макса с Германией, то есть простой наличности германской крови, я уже сказала. Но было, по мне, и родство духовное, глубокое, даже глубинное, которого – тут-то и начинается опасная и очень ответственная часть моего утверждения – с Францией не было. Да простит мне Макс, если я ошибаюсь, но умолчать не могу.

Возьмем шире: у нас с Францией никогда не было родства. Мы – разные. У нас к Франции была и есть любовь, была, может быть, еще есть, а если сейчас нет, то, может быть, потом опять будет – влюбленность, наше взаимоотношение с Францией – очарование при непонимании, да, не только ее – нас, но и нашем ее, ибо понять другого – значит этим другим хотя бы на час стать. Мы же и на час не можем стать французами. Вся сила очарования, весь исток его – в чуждости.

Расширим подход, подойдем надлично. Мы Франции обязаны многим – обязан был и Макс, мы от этого не отказываемся – не отказываюсь и за Макса, какими-то боками истории мы совпадаем, больше скажу: какие-то бока французской истории мы ощущаем своими боками. И больше своими, чем свои.

Возьмем только последние полтора столетия. Французская революция во всем ее охвате: от Террора и до Тампля (кто за Террор, кто за Тампль, но всякий русский

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru во французской революции свою любовь найдет), вся Наполеониада, 48-й год, с русским Рудиним на баррикадах, вся вечерняя жертва Коммуны, даже катастрофа 70-го года.

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine.

Mais notre corur vous ne l'aurez jamais...[133] –

все это наша родная история, с молоком матери всосанная. Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Занд, и многие, и многие – наши родные писатели, не менее, чем им современные русские. Все это знаю, во всем этом расписываюсь, но – все это только до известной глубины, то есть все-таки на поверхности, только ниже которой и начинается наша суть, Франция чуждая.

На поверхности кожи, ниже которой начинается кровь.

Наше родство, наша родня – наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую мы – если когда-то давно ее в лице лучших голов и сердец нашей страны и любили, – никогда не были влюблены. Как не бываешь влюблен в себя. Дело не в историческом моменте: «В XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине XIX-го Германию», дело не в истории, а в до-истории, не в моментах, преходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прародине, в том вине, о котором русский поэт Осип Манделштам, в самый разгар войны:

А я пою вино времен –

Источник речи италийской,

И в колыбели праарийской

Славянский и германский лен.

Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза.

Вернемся к Макс. Голословным утверждением его германства, равно как ссылкой хотя бы на очень сильную вещь: кровь – я и сама не удовлетворюсь. Знаю одно: германство было. Надо дознаться: в чем. В жизни? На первый взгляд нет. Ни его живость, ни живопись, ни живописность, ни его – по образу многолюбия: многодружие, ни быстрота его схождения с людьми, ни весь его внешний темп германскими не были. Уж скорее бургундец, чем германец. (Кстати, Макс вина, кроме как под Новый год, в рот не брал: не нужно было!)

Но – начнем с самого простого бытового – аккуратность, даже педантичность навыков, «это у меня стоит там, а это здесь, и будет стоять», но – страсть к утренней работе: функция утренней работы, но культура книги, но культ книжной собственности, но страсть к солнцу и отвращение к лишним одеждам (Luettbad, Sonnenbad) [134], но – его пешеходчество и, мы на пороге больших вещей – его одиночество: восемь месяцев в году один в Коктебеле со своим ревушим морем и собственными мыслями, – но действительная страсть к природе, вне которой физически задыхался, равенство усидчивости за рабочим столом (своего Аввакума, по его выражению, переплавил семь раз) и устойчивости на горных подъемах, – Макс не жил на большой дороге, как русские, он не был ни бродягой, ни, в народном смысле, странником, ни променёром, он был именно wanderer [135], тем, кто выходит с определенной целью: взять такую-то гору, и к концу дня, или лета, очищенный и обогащенный, домой – возвращается. Но – прочность его дружб, без сносу, срок его дружб, бессрочных, его глубочайшая человеческая верность, тщательность изучения души другого были явно германские. Друг он был из Страны Друзей, то есть Германии. Для ясности: при явно французской общительности – германская качественность дружбы, сразу, как бургундец, но раз навсегда, как германец. Здесь действительно уместно помянуть достоверную и легендарную deutsche Treue [136], верность, к которой ни один народ, кроме германского, не может приставить присвоительного прилагательного.

Это о жизни бытовой и с людьми, самой явной. Но важнее и неисследимее жизни с людьми жизнь человека без людей – с миром, с собой, с Богом, жизнь внутри. Тут я смело утверждаю германство Макса. Глубочайший его пантеизм: всебожественность, всебожие, всюдубожие, – шедший от него лучами с такой силой, что самого его, а по соседству и нас с ним, включал в сонм – хотя бы младших богов, – глубочайший, рожденнейший его пантеизм был явно германским, – прагерманским и гётеевским. Макс, знал или не знал об этом, был гётеевцем, и здесь, я думаю, мост к его штейнерианству, самой тайной его области, о которой ничего не знаю, кроме того, что она в нем была, и была сильнее всего.

Это был – скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного учения о

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru тайном. Мистик – мало скрытый – зарытый. Никогда ни одного слова через порог его столь щедрых, от избытка сердца глаголящих уст. Из этого заключаю, что он был посвященный. Эта его сущность, действительно, зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь там, на коктебельской горе, где он лежит, еще окажется – неизвестно кем положенная – мантия розенкрейцеров.

Знаю, что германства я его не доказала, но знаю и почему. Германством в нем были родник его крови и родник его мистики, родники, скрытые из скрытых и тайные из тайных.

Француз культурой, русский душой и словом, германец – духом и кровью.

Так, думаю, никто не будет обижен.

В другой свой дом, Россию, Макс явно вернулся. Этот французский, нерусский поэт начала – стал и останется русским поэтом. Этим мы обязаны русской революции.

Думали, нищие мы, нету у нас ничего...

Действие нашей встречи длилось: 1911 год – 1917 год – шесть лет.

1917 год. Только что отгремевший Московский Октябрь. Коктебель. Взлохмаченные седины моря. Макс, Пра, я и двое, вчерашнего выпуска, офицеров, только что живыми выпущенных большевиками из Московского Александровского училища, где отбивались до последнего часа. Один из них тот Сережа, который с таким рвением в ту новогоднюю ночь заливал пожар дырявым ведром.

Вот живые записи тех дней:

Москва, 4 ноября 1917 года.

Вечером того же дня уезжаем: С., его друг Гольцев и я, в Крым. Гольцев успевает получить в Кремле свое офицерское жалованье (200 р.). Не забыть этого жеста большевиков.

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физическая жгущая радость Макса В. при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

Видение Макса на приступочке башни, с Тьером на коленях, жарящего лук. И, пока лук жарится, чтение вслух, С. и мне, завтрашних и послезавтрашних судеб России.

– А теперь, Сережа, будет то-то...

И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картину за картиной – всю русскую революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лица, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

25 ноября 1917 года я выехала в Москву за детьми, с которыми должна была тотчас же вернуться в Коктебель, где решила – жить или умереть, там видно будет, но с Максом и Пра, вблизи от Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон.

Адам. Рывдан. Те самые кони. Обнимаемся с Пра.

– Только вы торопитесь, Марина, тотчас же поезжайте, бросайте все, что там вещи, только тетради и детей, будем с вами зимовать...

– Марина! – Максина нога на подножке рывдана. – Только очень торопись, помни, что теперь будет две страны: Север и Юг.

Это были его последние слова. Ни Макса, ни Пра я уже больше не видала.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
В ноябре 1920 года, тотчас же после разгрома Крыма, я получила письмо от Макса, первое за три года, и первое, что прочла, – была смерть Пра. Восстанавливаю по памяти:

«Такого-то числа умерла от эмфиземы легких мама. Она за последний год очень постарела, но бодрилась и даже иногда по-прежнему напевала свой венгерский марш. Главной ее радостью все эти последние годы был Сережа, в котором она нашла (подчеркнуто) настоящего сына – воина. Очень обрадовало ее и Алино письмо, ходила и всем хвастала – ты ведь знаешь, как она любила хвастать: «Ну и крестница! Всем крестницам крестница! Ты, Макс – поэт, а такого письма не напишешь!»

Описание феодосийского и коктебельского голода, трупов, поедаемых не собаками, а людьми, и дальше, о Пра: «Последние месяцы своей жизни она ела орлов, которых старуха Антонида – ты, наверное, ее помнишь – ловила для нее на Карадаге, накрыв юбкой. Последнее, что она ела, была орлятина». И дальше: «О Сереже ты не тревожься. Я знаю, что он жив и будет жив, как знал это с первой минуты все эти годы».

11 августа 1932 года я, в лавчонке всякого барахла возле кламарского леса, вижу пять томов Жозефа Бальзамо. Восемь франков, все пять в переплете. Но у меня только два франка, на которые покупаю Жанну д'Арк англичанина Андрию Ланга – кстати (и естественно), лучшую книгу о Жанне д'Арк. И, под бой полдня в мэрии, иду домой, раздираясь между чувством предательства – не вызволила Бальзамо, то есть Макса, то есть собственной молодости – и радости: вызволила из хлама Жанну д'Арк.

Вечером того же дня, в гостях у А. И. Андреевой, я о большевиках и писателях:

– Волошин, например, ведь с их точки зрения – явный контрреволюционер, а дали ему пенсию, 240 рублей в месяц, и, убеждена, без всякой его просьбы.

А. И.:

– Но разве Волошин не умер?

Я, в каком-то ужасе:

– Как умер! Жив и здоров, слава Богу! У него был припадок астмы, но потом он совсем поправился, я отлично знаю.

16 августа читаю в «Правде»:

11 августа, в 12 часов пополудни скончался в Коктебеле поэт Максимилиан Волошин, – то есть как раз в тот час, когда я в кламарской лавчонке торговала Бальзамо.

А вот строки из письма моей сестры Аси: «Макса похоронили на горе Янычары, высоко – как раз над ней встает солнце. Это продолжение горы Хамелеон, которая падает в море, левый край бухты. Так он хотел, и это исполнили. Он получал пенсию и был окружен заботой. Так профилем в море по один бок и могилой по другой – Макс обнял свой коктебель».

А вот строки из письма, полученного о. Сергием Булгаковым: «Месяца за полтора был сильный припадок астмы, такой тяжелый, что после него ждали второго и на благополучный исход не надеялись. Страдал сильно, но поражал кротостью. Завещал похоронить его на самом высоком месте. Самое высокое место там – так называемая Святая гора (моя скобка: там похоронен татарский святой), – на которую подъем очень труден и в одном месте исключительно труден».

А вот еще строки из письма Екатерины Алексеевны Бальмонт (Москва):

«...Зимой ему было очень плохо, он страшно задыхался. К весне стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Летом решили его везти в Ессентуки. Но у него сделался грипп, осложненный эмфиземой легких, от чего он и умер в больших страданиях. Он был очень кроток и терпелив, знал, что умирает. Очень мужественно ждал конца. Вокруг него было много друзей, все по очереди дежурили при нем и все удивлялись

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru ему. Лицо его через день стало замечательно красиво и торжественно. Я себе это очень хорошо представляю. Похоронили его, по его желанию, в скале, которая очертанием так напоминала голову Макса в профиль. Вид оттуда изумительной красоты на море.

Его дом и библиотека им уже давно были отданы Союзу писателей. Оставшиеся бумаги и рукописи разбирают его друзья».

Ася пишет Янычары, по другим источникам – на Святой горе, по третьим в скале «собственного профиля»... Вот уже начало мифа, и, в конце концов, Макс окажется похороненным на всех горах своего родного Коктебеля. Как бы он этому радовался!

Макса Волошина в Революцию дам двумя словами: он спасал красных от белых и белых от красных, вернее, красного от белых и белого от красных, то есть человека от своры, одного от всех, побежденного от победителей. Знаю еще, что его стихи «Матрос» ходили в правительственных листовках на обоих фронтах, из чего вывод, что матрос его был не красный матрос и не белый матрос, а морской матрос, черноморский матрос.

И как матрос его – настоящий матрос, так поэт он – настоящий поэт, и человек – настоящий человек, по всем счетам, то есть по единственному счету внутренней необходимости – плативший. За любовь к одиночеству – платившийся восемью месяцами в год одиночества абсолютного, а с 17-го года и всеми двенадцатью, за любовь к совместности – неослабностью внутреннего общения, за любовь к стихам – слушанием их, часами и томами, за любовь к душам – не двухчасовыми, а двадцати и тридцатилетними беседами, кончившимися только со смертью собеседника, а может быть, не кончавшимися вовсе? За любовь к друзьям – делом, то есть всем собой, за любовь к врагам – тем же.

Этого человека чудесно хватило на все, все самое обратное, все взаимно-исключающееся, как: отшельничество – общение, радость жизни – подвижничество. Скажу образно: он был тот самый святой, к которому на скалу, которая была им же, прибегал полечить лапу больной кентавр, который был им же, под солнцем, которое было им же.

На одно только его не хватило, вернее, одно только его не захватило: партийность, вещь заведомо не человеческая, не животная и не божественная, уничтожающая в человеке и человека, и животное, и божество.

Не политические убеждения, а мироубежденность, не мировоззрение, а миротворчество. Мифотворчество – миротворчество, и, в последние годы своей жизни и лиры, миротворчество – творение мира заново.

Бытовой факт его пенсии в 240 рублей, пенсии врагов, как бы казалось, врагу – вовсе не бытовой и вовсе не факт, а духовный акт победы над самой идеей вражды, самой идеей зла.

Так, окольными путями мистики, мудрости, дара, и прямым воздействием примера, Макс, которого как-то странно называть христианином, настолько он был все, еще все, заставил тех, которые его мнили своим врагом, не только простить врагу, но почтить врага.

Поэтому все, без различия партий, которых он не различал, преклонимся перед тем очагом Добра, который есть его далекая горная могила, а затем, сведя затылок с лопатками, нахмурившись и все же улыбнувшись, взглянем на его любимое полдневное солнце – и вспомним его.

Последнее видение

И ризу ветхую мою

Сушу на солнце под скалою.

«...Встретившись с остальными под скалой, мы заговорились и незаметно забрели в восточную часть бухты. Знакомая, давно примелькавшаяся фигура старика, в длинной толстовке, с длинной широкой и белой бородой, в широких простых брюках, в развалившихся допотопных туфлях, вышла навстречу нам из-за поворота дороги, осторожно ощупывая дорогу палкой.

– Это что за мухомор такой? – спросил я шедшего с нами журналиста И. Грозного.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Мне никто не ответил, но «Клара Цеткин» (особа блудная и неразборчивая, охотно принимавшая участие во всех заседаниях Ц. К., что буквально означает «целую крепко») уже тархтела, обращаясь к старику.

– А, премудрый старец Волошин, наше вам пролетарское, сколько лет, сколько зим!

Грозный цыкнул на нее и оттолкнул, а сам, склонившись над ухом старика, почтительно отрекомендовался:

– Здравствуйте, Максимилиан Максимилианович! Это я, Грозный.

Старик прищурился, сложил руку трубочкой у уха и остановился, держа в другой руке корзинку с... камнями.

Журналист, заметя мое недоумение, раздраженно шепнул:

– Вы не знаете Волошина? Когда-то гремел на всю Россию, поэт...

– Нет, не слышал. Что это они морочат мне голову, что ли?

Но старик тем временем продолжал:

– Литературой сейчас не занимаюсь. Не печатают. Говорят, выжил из ума. Рисованием занимаюсь, иногда курортники что-нибудь купят, тем и живу. Да вот камешки собираем.

Вас. Вас. зевнул с хрустом в челюстях и сказал:

– Поехали! Что с ним разговаривать...»

(Перепечатано из «Последних Новостей». Москвин: «Хождение по ВУзам».)

Милый Макс, тебе было только пятьдесят семь лет, ты же дан старцем, ты был Александрович, тебя дали Максимилиановичем, ты был чуток как лис – тебя дали глухарем, ты был зорок как рысь – тебя дали слепцом, ты был Макс – тебя дали Кузьмичом, ты – вчитайся внимательно! – ничего не говорил, тебя заставили «продолжать», ты до последнего вздоха давал – тебя заставили «продавать»... Не останови автор руки, ты бы вот-вот, наставив ухо щитком, сказал бы:

– Ась?

И все-таки ты похож. Величием.

Говорил или не говорил ты приписываемых тебе слов, так ли говорил то, что говорил, или иначе, смеялся ли ты в последний раз над глупостью, вживаясь в роль выжившего из ума старика, или просто отмахивался от назойливых вторженцев («э! да что с ними говорить...»)

– рой вихревых видений: Мельник – Юродивый – Морской Дед – Лир – Нерей –

– мистификация или самооборона, последняя игра или в последний раз мифотворчество.

Скала. Из-за скалы – один. На этого одного – все. Меж трех пустынь: морской, земной, небесной – твое последнее перед нами, за нас предстояние, с посохом странника в одной, с уловом радужной игры в другой, с посохом, чтобы нас миновать, с радугой, чтобы нас одарить. И последнее мое о тебе, от тебя, озарение: те сердолики, которые ты так тщательно из груди простых камней, десятилетиями подряд вылавливал, – каждый зная в лицо и каждый любя больше всех, – Макс, разве не то ты, десятилетия подряд, делал с нами, из каждой груди – серой груди простых камней – неизбежно извлекая тот, которому цены нет! И последнее о тебе откровение: лик твоего сердца: сердолик!

Та отрава, которая на тебя тогда наскочила, тебе послужила, ибо нашелся в ней один грамотей, который, записав тебя, как мог, неизбежно стал твоим рапсодом.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Седобородый и седогривый как море, с корзиной в руках, в широких штанах, которые так легко могли быть, да и были хламидой – полдень, посох, песок – Макс, это могло быть – тогда, было – всегда, будет – всегда.

Так ты, рукой безвестного бытописца (проходимца) [137] еще до воссоединения своего со стихами, заживо взят в миф.

1932

Мой Пушкин

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей – Jane Eyre – Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».

Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, – об этом животе поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу – в слове «живот» для меня что-то священное, – даже простое «болит живот» меня заливают волной содрогающегося сочувствия, исключаящего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова, как и Николай I – всегда найдется.

* * *

– Нет, нет, нет, ты только представь себе! – говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты, – смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал, и еще сам себе сказал: браво! – тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: – Смертельно раненный, в крови, а простил врагу! Отшвырнул пистолет, протянул руку, – этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти, и не подозревая, какой урок – если не мести, так страсти – на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревец, черная и белая картина – «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта – чернюю.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность – я поделила мир на поэта – и всех, и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой – «явление Христа народу», с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале – «Татары» – татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и – в спальне матери – «Дуэль». Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и «Крещение» с никогда не виденными черными

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru кудрявыми орлоносими голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух, – и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.

* * *

Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, – черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. Раз негр – черные[138].

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт – негр, поэт – негр, и поэта – убили.

(Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и сущих не негр, и какого поэта – не убили?)

Но и до «Дуэли» Наумова – ибо у каждого воспоминанья есть свое и до-воспоминание, предок-воспоминание, пращур-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень – которая всегда оказывается – или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые, высочайшие и далечайшие звезды, – но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин – когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин – всегда и от всегда, – до «Дуэли» Наумова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец – реку, – черный человек выше всех и чернее всех – с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом – о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и усиленные африканские плечи! – плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина – до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега, кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина – посидим», чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина – верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая[139].

Памятник Пушкина был – обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городской Игнатъев – кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко – памятник Пушкина был одна из двух, третьей не было, ежедневных неизбежных прогулок – на Патриаршие Пруды – или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала – к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андриюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость, – лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножью мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку – они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос – знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, – приставлять к гигантову подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост – сравнивать.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! – и так как черный был явлен гигантом, а белый комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь»... с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто меня, тогда – может, потому что я ведь еще вырасту»... И, одновременно: а если одна на другую сто фигурок, выйду – я? И ответ: – нет, не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые.

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом – и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным – я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки – то, что Памятник-Пушкина – для меня. Но что же тогда для фигурки – Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья – внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает – дом. Или – гром. А она для него – такая уж маленькая, что он ее тоже – просто не видит. Он думает – просто блоха. А меня – видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

...Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной и снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, – к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, от него – спиной, и к нему – спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо.)

Памятник-Пушкина я любила за черноту – обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина – совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник-Пушкина был черный как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин – негр, я бы знала, что Пушкин – негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщенность всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным – рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, – черный памятник Пушкина моего дограмотного младенчества и всея России.

...Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он – всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы – всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество и под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот – всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

– На Патриаршие Пруды или...?

– К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах – патриархов не было.

* * *

Чудная мысль – гиганта поставить среди детей. Черного гиганта – среди белых

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru детей. Чудная мысль белых детей на черное родство – обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я – так явно предпочитаю – черную. Памятник Пушкина, опережая события – памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой – лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает – слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ – самых далеких и как будто бы – самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство – ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет – раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибалы, с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма – за гения.

Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль – чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль – наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклона – дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии – Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль – гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень – цепь, камень – цепь, камень – цепь, все вместе – круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний, Пушкин, ты – мой Пушкин» и разомкнувшийся только дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой, прошлой, сущей, будущей, качалась – не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. – «Ампир»? – Ампир. – Empire – Николая 1-го Империя.

Но с цепями и с камнями – чудный памятник. Памятник свободе – неволе – стихии – судьбе – и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески постыдная и поэтически бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен... –
с таким не-пушкинским, антипушкинским введением пользы в поэзию – подмена, позорившая Жуковского и Николая 1-го без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1884 года – установка памятника, – наконец заменена словами пушкинского памятника:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава большая – безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин – Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша – ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище – в слове:

А там, в полях необозримых,
Служа небесному царю –
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.
* * *

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит – либо сидела под роялем, затылком в уровень

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо:

– Муся! Ты видела этого господина?

– Да.

– Так это – сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно – гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг – пройдет.

Прошел он – и именно вдруг, – но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она перехватила мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди – звезда.

– Ну, Муся, видела сына Пушкина?

– Видела.

– Ну, какой же он?

– У него на груди – звезда.

– Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...

– Так смотри, Муся, запомни, – продолжал уже отец, – что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, – няниному: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

– Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина.

– Что, барышня?

– У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала.

– Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли... – неопределенно отозвался Ваня.

– Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину, – вмешалась няня. – Небось сами – полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?

– Знаю.

– Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство.

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки, и от родительского приказа смотреть и помнить, – связанного у меня только с предметами – белый медведь в Пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский, и т. д. – а никак не с человеками, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам – так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина – тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник–Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.

Так и у меня был свой Командор.

* * *

А шел, верней, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него – не зная, не узнавая, не подозревая – в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой – узнала это только в Париже, в 1928 году – оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.

* * *

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, ведь дом был – тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – «Собрание сочинений А. С. Пушкина».

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков – другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф – обманный, зеркальный, в две створки, в каждой – я, а если удачно поместиться – носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один – неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в грудь и прямо в мозг.

Мой первый Пушкин – Цыганы. Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще – Старик. Я стариков знала только одного – сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у которого рука отсохла – потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А. Д. Мейн, – не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово – любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь – любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это – любовь. Я думала – у всех так, всегда – так. Оказывается – только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена – в Цыган: в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом: взрослым – потому что краденое, детям – потому что я их презираю, а главное – потому что тайна: моя – с красной комнатой, моя – с синим томом, моя – с грудной ямкой.

Но, в конце концов, любить и не говорить – разорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух – в лице Асиной няньки, Александры Мухиной, и ее приятельницы – швей, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася – спала.

– А у нас Мусенька – умница, грамотная, – говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. – А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того барабанщика.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пять лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот, однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

– Я могу рассказать про Цыган.

– Цы-ган? – нянька, недоверчиво, – про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребушие?

– Это не такие. Это – другие. Это – табор.

– Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит – молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоём талане...», – а старая чертовка – белье с веревки, али уж прямо – бриллиантовую брошь с барынина туалета...

– Не такие цыгане. Это – другие цыгане.

– Ну, пуцай, пуцай расскажет! – приятельница, чуя в моем голосе слезы, – может, и вправду другие какие... Пуцай расскажет, а мы – послушаем.

– Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыганы шумною толпой – по Бессарабии кочуют – Они сегодня над рекой – В шатрах изодранных ночуют – Как вольность весел их ночлег – и так далее – без передышки и без серединных запятых – до: звон походной наковальни, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто – принимаю.

– А складно говорит! как по писаному! – восклицает швея, тайно меня любящая, но не смеющая, потому что нянька – Асина.

– Мед-ве-едь... – осуждающе произносит нянька, повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово. – А вправду – медведь. Маленькая была, старики рассказывали – завсегда цыгане медведя водили. «А ты, Миша, попляши!» И пляса-ал.

– Ну, а дальше-то, дальше-то что было? (швея).

– И вот, к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алэко.

Нянька:

– Ка-ак?

– Алэко!

– Ну уж и зовут! И имени такого нет. Как, говоришь, зовут?

– Алэко.

– Ну и Алека – калека!

– А ты – дура. Не Алека, а Алэко!

– Я и говорю: Алека.

– Это ты говоришь Алека, я говорю: Алэко: э-э-э! о-о-о!!

– Ну, ладно: Алека – так Алека.

– Алеша, значит, по-нашему (приятельница, примиряюще). Да дай ей, дура, сказать, – она ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку, она дура, неученая, а ты грамотная, тебе и знать.

– Ну, эту дочь звали Земфира. (Грозно и громко.) Земфира – эта дочь – говорит старику, что Алеко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала.

А старик обрадовался и сказал, что мы все поедem в одной телеге: «В одной телеге мы поедem – та-та-та-та, та-та-та-та – И села обходить с медведем»...

– С медве-едem, – нянька, эхом.

– И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах...

– Как это – в корзинах?..

– Так: «Ослы в перекидных корзинах – Детей играющих несут – Мужья и братья жены девы – И стар и млад вослед идут – Крик шум цыганские припевы – Медведя рев его цепей».

Нянька:

– Да уж будет про медведя! Со стариком-то – что?

– Со стариком – ничего, у него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и эта тоже, Земфира, – ушла. Сначала все пела: – Старый муж, грозный муж! Не боюсь я тебя! – это она про него, про отца своего, пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла.

Обе в голос:

– Ай-а-ай! Ну и душегуб! Так и зарезал ножом? А старик-то – что?

– Старик – ничего, старик сказал: «Оставь нас, гордый человек!» – и уехал, и все уехали, и весь табор уехал, а Алеко один остался.

Обе в голос:

– Так ему и надо. Не побивши – убивать! А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал, – да ты, Мусенька, не слушай, – (громким шепотом) застал с любовником. И его враз, и ее. Потом на каторгу пошел. Васильем звали. Да-а-а... Какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.

* * *

Пушкин меня заразил любовью. Словом – любовь. Ведь разное: вещь, которую никак не зовут, – и вещь, которую так зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся – это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется – это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся – это любовь. Когда розово-газовых нафталиновых кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу – это любовь. То есть это – от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол – так же и там же жжет, как от Земфиры, и Алеко, и Мариулы, и Могилы.

А вот волк и ягненок – не любовь, хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно: – Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутит... – Но волк – тоже хороший! Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он съел ягненка, а ягненка я любить – хотя и съеденного и белого – не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».

* * *

Сказав «волк», я назвала Вожатого. Назвав Вожатого – я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего – любить.

Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что Вожатый

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru заведет нас далеко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех любимых собак, больше всех закаченных в подвал мячей и потерянных перочинных ножииков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был – главная тайна. Больше Цыган, потому что он был – черней цыган, темней цыган.

И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил – Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил... Вожатый.

* * *

Под влиянием непрерывного воровского чтения естественно обогащался и словарь.

– Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюрнбергская или крестнина парижская?

– Парижская.

– Почему?

– Потому что у нее глаза страстные.

Мать, угрожающе:

– Что-о-о?

Я, спохватываясь:

– Я хотела сказать: страшные.

Мать, еще более угрожающе:

– То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно. Но поняла – неправильно. Не глаза – страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами (и розовым газом, и нафталином, и словом «Париж», и делом – сундук, и недоступностью для меня куклы), приписала – глазам. Не я одна. Все поэты. (А потом стреляются – что кукла не страстная!) Все поэты – и Пушкин первый.

* * *

Немного позже – мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год – в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер – рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом Рогнеду – и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы – не любовь, что это – любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он, и все время говорит, а она не говорит ни слова.

– Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – мать, по окончании.

– Татьяна и Онегин.

– Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не Рогнеда?

– Татьяна и Онегин.

– Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла! Ну, что ты там могла понять?

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru Молчу.

Мать, торжествующе:

– Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

– Татьяна и Онегин.

– Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: – Татьяна и Онегин! Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что – сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

– Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? – с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами: – Потому что – любовь.)

– Она, наверное, уже седьмой сон видит! – подходящая Надежда Яковлевна Брюсова[140], наша лучшая и старшая ученица, – и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

– А это, Муся, что? – говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ – улыбки благодарности. На обратном пути – тихом, позднем, санном – мать ругается: – Опозорила! Не поблагодарила за мандарин! Как дура – шесть лет – влюбилась в Онегина!

Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее – немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда – когда расставались. Никогда – когда садились, всегда – когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, любила она, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес – она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула, и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на нелюбовь – обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его – так, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда – знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной – одиночной – всей на себя взятой – любви – прямо гений на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку – и руки, не страшась суда, – то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах – сделала. И если я потом, когда уходили (всегда – уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

* * *

У кого из народов – такая любовная героиня: смелая – и достойная, влюбленная – и непреклонная, ясновидящая – и любящая.

Ведь в отповеди Татьяны – ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому – то Онегин и стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее в руках, чтобы отомстить и свести его с ума, все козыри – чтобы унижить, втоптать в землю той скамьи, сровнять с паркетом той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: – Я вас люблю, – к чему лукавить?

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать – к чему? А вот на это действительно нет ответа для Татьяны – внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда – в зачарованном кругу сада, – в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда – непонадобившаяся, сейчас – вожденная, и тогда и ныне – любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она – не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь – первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них – и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь – и дородясь.

Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А. Д. Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала – отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьяновски, ибо «для бедной Тани все были жребии равны» – а моя мать выбрала самый тяжелый жребий – вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, – на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить – того, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т. д., ответила: – Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива... (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я – не его дочь!)

Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны – не было бы меня.

Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала – должно быть, все-таки – пожалела девочку...

* * *

С младенчества посейчас весь «Евгений Онегин» для меня сводится к трем сценам: той свечи – той скамьи – того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и может быть, не прочти я его до семи лет... но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть развороченная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркетные (как у нас в зале), и есть любовь (как у меня в грудной ямке).

Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века»). Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

* * *

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин – уже не краденый, а дареный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, – обезвреженный, прирученный Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.

В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей – поэтической. Портрет в две дали – назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал.

Книжку я не любила, это был другой Пушкин, в нем и Цыганы были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной... Но помимо содержания, отвращало уже само название: для городских училищ, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно – лица учеников городских училищ – бедные лица: некормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица – внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Тощие, синие и злобные. Два кулака. Поперек запавшего живота – с огромной желтой бляхой городских училищ, ремень.

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая птичица? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напева, что никому, кажется, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту птичку проверить – и меньше всего шестилетней тогдашней мне. Раз сказано так – так. В стихах – так. Эта птичка – поэтическая вольность. Интересно, что думают об этой птичке трезвые школьники Советской России?

«Зима, крестьянин, торжествуя» на второй странице городских училищ Пушкина я средне-любила, любила (раз стихи!), но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда не грозит уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. «В тулупе, в красном кушачке» – это Андрюша, а «крестьянин, торжествуя» – это дворник, а дровни – это дрова, а мать – наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку к Памятник-Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, потому что мы во дворе никогда не играли – только им проходили – потому что вдруг у андреевских детей (семьи, снимавшей флигель) окажется скарлатина? И жучку в салазки не садили, а салазки – были, синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказанного, «Зима, крестьянин, торжествуя» под видом стихов были басни, которые под видом стихов – проза и которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала – последними. Сейчас же скажу: «Зима, крестьянин, торжествуя» были – идиллия, т. е. та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения которой я так никогда и не поняла.

Чтобы кончить о синем, городских училищ, Пушкине: он для любви был слишком худ, – ни с трудом поднять, ни, тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно-швейцарскому и неизменно-тесному фартуку, – ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел.

Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю – еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь: – А длинная? – Нет, маленькая повесть. – Ну, тогда читать не буду.

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распирало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и «Ты опять не спишь?» – Николенькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России.

Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу: он читать не любил и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, я же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматия была – только любовь. Мать не отнимала: раз хрестоматия – ничего преждевременного. Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

(Андрюша, на вопрос матери: – А я почему знаю?)

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

...Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Не знаю, как другие дети: так как я из всего четверостишия понимала только злодея, и так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось – три: Гетман, Царь-Петр и Кочубей, и я долго потом не могла понять (и сейчас не совсем еще понимаю), что злодей – один, и кто именно. Гетман для меня по сей день – Кочубей и Царь-Петр, а Кочубей – по сей день Гетман и т. д., и три стало одно, а это одно – злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы, не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю – возможности написать донос. Так и осталось: летит казак под несуществующе-ярким (сновиденным!) небом, где одновременно (никогда не бывает!) и звезды, и луна, летит казак – осыпанный звездами и облитый луною – точно чтобы его лучше видели! – а на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь донос – донос на Гетмана-злодея Царю-Петру от Кочубея.

Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была – злодейство. Больше скажу: когда я во время Гражданской войны слышала «Гетман» (с добавлением: Скоропадский), я сразу видела того казака, который – падает.

Но с Царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча: «кто он?» и опять мать Андрише: – Ну, Андриша, кто же был – он? И опять Андриша, честно, тоскливо и даже возмущенно: – а я почему знаю? (Что за странный мир – стихи, где взрослые спрашивают, а дети отвечают!) – Ну, а ты, Муся? Кто же был – он? – Великан. – Почему великан? – Потому что он сразу все починил. – А что значит «и на счастье Петрово»? – Не знаю. – Ну, что значит Петрово? (В голове ничего, кроме начертания слова: Петрово.) Ты не знаешь, что такое Петрово? – Нет. – А Андришино – знаешь? – Да. Андришин штекенпферд, Андришин велосипед, Андришины салазки... – Довольно, довольно. Ну, и Петрово – то же самое. Петрово – понимаешь? Счастье – понимаешь? (Молчу.) Счастья не понимаешь? – Понимаю. Счастье – это когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати... – Достаточно. На счастье Петрово – значит на Петрово счастье. А кто это Петр? – Это... – Кто он? – Что? – То есть чудесный гость. «Смотрит долго в ту сторонку – Где чудесный гость исчез»... – А как этого чудесного гостя зовут? – Я, робко: – Может быть – Петр? – Ну, слава Богу!.. (с внезапной подозрительностью.) Но Петров – много. Какой же это был Петр? – И, отчаявшись в ответе: – Это был тот самый Петр, который...

Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.
Поняла?

Еще бы! Но и увы! Только было начавший проясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-лунную, казачье-скачущую, шапочно-доносную ночь, и, что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем Кочубеем и Гетманом. И опять встал под гигантский – в новый месяц! – вопросительный знак: кто? Когда Петр – то всегда: кто? Петр – это когда никак нельзя догадаться.

Но и обратное: как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра.

Отчего пальба и клики
В Петербурге-городке?

Ответ: – Понятно, Петр! Но что же он именно сделал, ибо раз подсказывают – не то, все, что подсказывают, – не то. Особенно же и до смешного не то:

Родила ль Екатерина,
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

«Родила» я не понимала, понимала только «родилась», ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай-Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах – есть. Ну, женатый чудотворец.

Но, Боже, какое облегчение, когда после стольких «отчего» и стольких явно-ложных

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru подсказок, наконец, блаженное «оттого»! «Оттого-то шум и клики – В Петербурге-городке».

Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: – Отчего пальба и клики? – Кто он? – Кто при звездах и при луне? – Черногорцы, что такое? и т. д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это – нарочно, что он не спрашивает, а знает, и, чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказке не веря, я каждую, невольно, видела – строка за строкой, как умела, по-своему, стихи – видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями.

Но не могу, от своего тогдашнего и своего теперешнего лица, не сказать, что вопрос, в стихах – прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое отчего требует и сулит оттого и этим ослабляет самоценность всего процесса, все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике.

Зато в «Утопленнике» – ни одного вопроса. Зато – сюрпризы. Во-первых, эти дети, то есть мы играем одни на реке, во-вторых, мы противно зовем отца: тятя, а в-третьих, – мы не боимся мертвеца. Потому что кричат они не страшно, а весело, вот так, даже подпевают: «Тятя! Тятя! Наши сети! Притащили! Мертвеца! – Врите, бесенята, – заворчал на них отец. – Ох, уж эти мне ребята! Будет вам, ужо, мертвец!» Этот ужо-мертвец был, конечно, немножко уж, уж, которого, потому что стихи, зовут ужо. Я говорю: немного – уж, уж, которого я никогда не додумывала и, из-за его не совсем-определенности, особенно громко выкрикивала, произнося так: – Будет вам! Ужо-мертвец! Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая: в земле живут ужи – и мертвецы, а этого мертвеца зовут Ужо, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал.

Ужей я знала по Тарусе, по Тарусе и утопленников. Осенью мы долго, долго, до ранних черных вечеров и поздних темных утр, заживались в Тарусе, на своей одинокой – в двух верстах от всякого жилья – даче, в единственном соседстве (нам – минуту сбежать, тем – минуту взойти) реки – Оки – «Рыбы мало ли в реке!» – но не только рыбы, потому что летом всегда кто-нибудь тонул, чаще мальчишки – опять затянуло под плот, – но часто и пьяные, а часто и трезвые, – и однажды затонул целый плотогон, а тут еще дедушка Александр Данилович умер, и мать с отцом уехали на сороковой день, и потом остались из-за завещания, и хотя я знала, что это грех – потому что дедушка любил меня больше Аси, и глупость – потому что дедушка совсем не утонул, а умер от рака... – от рака? но ведь:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились!

...словом, сквозь стеклянную дверь столовой – привиденские столбы балкона, а под ними, со всей рекой, притащившейся по пятам:

Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,
И утопленник стучится

Под окном и у ворот... –

Ужо-мертвец с неопределенным двоящимся лицом дедушки Александра Даниловича и затонувшего плотогона.

Зато другие страшные стихи «Вурдалак» были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки – своим потом и от страху бледностью – возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них (во мне) – страсти страха. «Это верно кости гложет красногубый вурдалак». Кто вообще гложет кости? Собака. Вурдалак – собака, с красными губами. Черная (потому что – ночь) собака с красными губами. А дурак (бедняк) испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать, собаке. Страшилище-вурдалак сразу оказывается той собакой, которая у Пушкина оказывается только в последней строке, т. е. ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только слово вурдалак, т. е. название стихотворения. Конечно, слово

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru вурдалак – неприятное (немножко лакающее), и та самая собака – не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак, и красные губы ее, видимые даже ночью, сомнительны, и занятие ее – приносить свою кость именно на могилу, – несколько гадостное, но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Вот если бы Ваня шел через кладбище без всякой собаки – тогда было бы страшно. А так собака, наоборот, оживляет. (То же, что в «Вии», где страшно только одиночество Хомы с покойницей и где страх – явление Вия, а потом и виев – разряжается. Когда много – всегда весело.).

Ну, странная подозрительная собака, а Ваня – явный бессомнительный дурак – и бедняк – и трус. И еще – злой: «Вы представьте Вани злость!» И – представляем: то есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом. Потому что – злой... Ибо для правильного ребенка бóльшего злодейства нет, чем побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака – действие этим соседством предудказано.

И кончилось, как всегда со всем любимым, – слезами: такая хорошая серо-коричневая, немножко черная собака с немножко красными губами украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла, и вдруг какой-то трус Ваня шел мимо и дал ей сапогом. В ее чудную мокрую морду. У-у-у...

Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были – «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи – Невидимкою луна...»

Все страшно – с самого начала: луны не видно, а она – есть, луна-невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и – о, сладкое обмирание! – ими! Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл, и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом ты – летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною, – той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним – Бесов, и над Пушкиным и Бесами – сама летит.

Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было – меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в Бесах и к бесам! Собаку я жалела – утробно: низкой и жаркой сочувственной жалостью чрева, жалостью – защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть, и самого Ваню на съедение. Бесов же – жалостью высокой, жалостью – восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что «домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» – только так, что никого они не похорони и не выдай замуж – все равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают – чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что, – а потому, что они – они и никогда другими не будут и быть не могут. (Шепотом: потому что Бог их проклял!) Любовь к проклятому.

И еще: я ведь знала, что они – тучи! Что они – серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, ими – можно только мчаться! Что это воздух, который воет! Что их – нет.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» – опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны... туманы...). «На печальные поляны льет печальный свет она...» О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано – печалью, точно Пушкин этим повторением «печаль» луною как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика», то сразу попадала в:

Вы, очи, очи голубые,
Зачем сгубили молодца?
О люди, люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?
И эти очи голубые – опять были луною, точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы-души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи, очи голубые» – не Пушкин, а песня, а может быть,

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru и романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где всё – еще всё, этого не знаю, потому что «разрывая сердце мне» и «сердечная тоска», молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь – одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. Вошли в состав.

«Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» – как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и рокочущий, сизо-голубой и голубиный двор. (Моя няня была бы – голубка, а Асина – Му-хина.)

Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать (А не думаешь ли, голубка? – А не полагаешь ли, голубка? – А Бог с ними, голубка!) – кроме как «голубка» не называл никак, но подруга было новое, мы с Асей росли одиноко, и друг у нас не было. Слово «подруга» – самое любовное из всех – впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка – значит очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта – голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. Скажу: подруга, скажу: голубка – и заболит.

Кого я жалела? – Не няню. Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом, все-таки, няня сидит, вяжет, мы ее видим, а он – что? А он – где? «Одна в глуши лесов сосновых – Давно, давно ты ждешь меня». Она – одна, а его совсем нет! Леса сосновые я тоже знала, у нас в Тарусе, если идти пачёвской ивовой долиной – которую мать называла Шотландией – к Оке, вдруг – целый красный остров: сосны! С шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия – целый пожар!

Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом, я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. «Ты под окном своей светлицы»... – у нее очень светлое окно, она его все время протирает (как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа) – чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не едет. Не приедет никогда.

Но любимое во всем стихотворении было «Горюешь будто на часах», причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела... Соответствующих часовых видений – множество. Сидит няня и горюет, а над ней – часы. Либо горюет и вяжет и все время смотрит на часы. Либо – так горюет, что даже часы остановились. На часах было и под часами, и на часы, – дети к падежам нетребовательны. Некая же все же смутность этого на часах открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения: есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларем – лунные, и есть в материнской спальне кукушка, с домиком, – с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая... А няня ведь с первой строки – голубка...

Так, на часах было и под часами, и на часы, и, в конце концов, немножко и в часах, и все эти часы еще подтверждались последующей строкою, а именно – спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое «К няне».

Составитель хрестоматии, очевидно, усумнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечасности. Конечно, я, кроме своей тоски, из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но – заполнила. И – запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами – секундная заминка, точно это пушкинский конец к тому хрестоматическому – приращён. Да, что знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве – не знаешь на всю жизнь.

Из знакомого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была не женщина. Из «К няне» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину – потому что родная – можно любить больше, чем молодую – потому что молодая и даже потому что – любимая. Такой нежности слов у Пушкина не

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru нашлось ни к одной.

Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения – Марселя Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности.

* * *

Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до-семилетней и семилетней были – ряд загадочных картинок, – загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала – я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто – видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными.

Делибаш. «Перестрелка за холмами – Смотрит лагерь их и наш – На холме пред казаками – Вьется красный делибаш». Делибаш – бес. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются – казак с бесом. Каково же было мое изумление и огорчение, когда в Праге, в 1924 году, сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего, услышала, что делибаш – черкесское знамя, а вовсе не сам черкес (бес). – Помилуйте, ведь у Пушкина «Вьется красный делибаш»! Как же черкес может виться? Знамя – вьется! – Отлично может виться. Весь черкес со своей одеждой. – Ну, уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениальность. Что может виться? Знамя. – Я всегда понимала «Делибаш уже на пике, а казак без головы» – что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось. – Чистейшая поэтическая фантазия! Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся! «Делибаш уже на пике» значит – знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен. – Ну, так мне что-то обидно: почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как знамя может быть на пике? Мне по-моему больше нравилось. – Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал. Не будете же вы исправлять Пушкина, как большевики!

Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш – знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения – выдумала, и вдруг – в 1936 г. – сейчас вот – глазами стихи перечла, и – о радость!

Эй, казак, не рвися к бою!
Делибаш на всем скаку
Срежет саблю кривою
С плеч удалую башку!
Это знамя-то срежет саблю кривою казаку с плеч башку?

Так бедный семилетний варвар правильнее понял умнейшего мужа России, нежели в четырежды его старшие воспитанники Пражского университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Что такое? – Бонапарте спросил» – с двумя неизвестными, по одному на каждую строку: черногорцами и Бонапарте, черногорцами, усугублено неизвестными – своей неизвестностью второму неизвестному – Бонапарте.

«А Бонапарте – что такое?» – нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя одну с ней нашу для меня злосчастную прогулку «на пеньки»: мою первую и единственную за все детство попытку вопроса: – Мама, что такое Наполеон? – Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон? – Нет, мне никто не сказал. – Да ведь это же – в воздухе носится!

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей опозоренности: я не знала того, что в воздухе носится! Причем «в воздухе носится», я, конечно, не поняла, а увидела: что-то, что называется Наполеоном и что в воздухе носится, что очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими «Воздушным кораблем» и «Ночным смотром».

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми – представляла, Пушкиными – представляла, и горы, на которых живет это племя злое, – совершенно черными: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы – по крохотному злему черному черногорчику (просто – чертику). А Бонапарте, наверное, красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте – тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить – забыла.)

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин.

* * *

– Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! – это длинный, быстрый, с немножко волчьей – быстрой и смущенной – улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. – У мамы сейчас был доктор Ярхо – и сказал, что у нее чахотка – и теперь она умрет – и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я – я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

– Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедem к морю. Вы рады, что мы едем к морю?

– Нет! – уже всхлипывала Ася, – потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться...

– Врет! врет! врет!

– ...вся в белом. Правда, Муся, он говорил?

– Правда, Муся, что я не говорил? Что это она сказала?

– Во всяком случае, кто бы ни сказал, – а сказал, конечно, ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, – сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а наоборот – мы все поедem к морю.

К морю.

Все предшествовавшее лето 1902 г. я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на пеньки, чтобы мое было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь потом – от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлогоднего предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженного до неносимости и невыносимости платья, – обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикэя, переписываю черным отвесным круглым крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку – К Морю. Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка – десть писчей бумаги, сложенной ввосемьмеро, где нужно разрезанной и прошитой посредине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается – вроде меня в моих пикэях и шевиотах, – как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый бульжник – с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето – которая? Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы – и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом – гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десть – и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: – Прощай, свободная стихия!

Стихия, конечно – стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай! Потому что когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» – предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще – это туда. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами – Ока, еще в La Chaux de Fonds, в тетинo детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Gué, bon gué! Il a frappé dix

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru heures!» – и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму, вотще – это в чужую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и другим именем – может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.

Ты ждал, ты звал. Я был окован.

Вотще рвалась душа моя!

Могучей страстью очарован,

У берегов остался я.

Вотще – это туда, а могучей страстью – к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания туда Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет – что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с моими детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда вотще, туда, то, там начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами... И как мы люто ошибаемся, называя это – тем, и как не ошибались – тогда!)

Но вот имя – без отчества, имя, к которому на могильной плите последние, верные, с непогрешимым чутьем малых сих отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) – и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы..

Там погружались в хладный сон

Воспоминая величавы:

Там угасал Наполеон..

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?»

Наполеон – тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало – чтобы полюбить на всю жизнь?

...И вслед за ним, как бури шум,

Другой от нас умчался гений,

Другой властитель наших дум.

Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.

Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть – море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится гений. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море...» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду...» – ведь он же это морю – обещает, как я – моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что – забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду – Твой гул в вечерние часы...» (Не забуду – буду.)

В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

И вот – видение: Пушкин, переносящий, проносающий над головой все море, которое

еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое – точно он

весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем

(Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так

этот перенесет на себе – все море – в пустыню и там прольет его – и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила волн, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже

иногда приходилось начинать новую десть.

* * *

Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru 1902 г. мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю, – она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит К Морю, т. е. дает обещание, которого не может сдержать.

С этой минуты я ехала К Морю, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома – упорное – сомнамбулическое – и диктаторское и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что мечта и один – одно, что мечта – уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество – драконов ее закон и единственное поле действия, – пока с этим смиришься – жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.

– Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

– Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

– Ася! Я тебе дам то, Сергей Семеныча, яичко.

– Ты его треснула.

– Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

– Тогда давай. Только очень скоро давай – помечтаем, потому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли – и дачи – и глицинии – в скалу Деву и в скалу Монах, во все, что угодно, превращалось – кроме самого себя, и от моего моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме тоскливого неузнавания.

Чего же я от них – Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, – хотела?

Может быть – памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним – говора волн? Но нет – даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем к морю не было, были шумы – той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения – того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное – звуки слов, и – самое главное – тоска: пушкинского призвания и прощания.

И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать – назвать – ничего.

* * *

Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловойской из того самого Nervi, куда ехали – мы. Вся – синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.

Черно-синие сосны – светло-синяя луна – черно-синие тучи – светло-синий столб от луны – и по бокам этого столба – такой уж черной синевы, что ничего не видно, – море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное – море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны, – лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: – Приезжайте скорее. Здесь чудесно.

Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец – со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила –

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru как та же девушка с любимым – тайно, опасно, запретно, блаженно.

На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало – море. Мое море, совсем черное от черноты парты – и дела. Ибо украла я его – чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие – забыли. Чтобы я одна. Чтобы – мое.

Так, с глубоко и жарко-розовой австралийской раковиной у уха, с сине-черной открыткой у глаз, я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил день.

* * *

– Ася! Муся! Глядите! Море!

– Где? Где?

– Да – вот!

«Вот» – частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу – плоская, серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той, на картине явления Христа народу.

Это – море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.

Но – мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив – всегда так. То море – завтра.

Но завтра и много, много завтра опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы – отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это – залив.

Словом, я все еще к Морю ехала, и чем ближе подъезжала – тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам – утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море – все отступало, ибо, когда мы, наконец, после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Викторов-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» – была ночь, и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».

Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами – ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет – и будет наши оба здесь.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами – все блаженство оттяжки.

О, как я в эту ночь к морю – ехала! (К кому потом так – когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь – через всю черноту ночи – ехало: ко мне одной – всем собой.

Море было здесь, и завтра я его увижу. Здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.

Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу – то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.

Это был самый великий канун моей жизни.

Море – здесь, и его – нет.

* * *

Утром, по дороге к морю, Валерия:

– Чувствуешь, как пахнет? Отсюда – пахнет!

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Еще бы не чувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но... в том-то и дело, что не узнаю: свободная стихия так не пахла, и синяя открытка так не пахла.

Настораживаюсь.

* * *

Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)

Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки. «Эта скала называется Лягушка, – торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. – Это – наша лягушка».

От меня до лягушки – немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).

– А это – грот, – поясняет Володя, глядя себе под ноги, – тоже наш грот, здесь все наше, – хочешь, полезем! Только ты провалишься!

Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну – чтобы мать не узнала.

Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка – еще вода, много, чем дальше, тем бледней, и что кончается она белой блестящей линейной чертой – того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая – и башмаки соленые.

Море голубое – и соленое.

И внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:

Прощай, свободная стихия!

Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом – нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется – какое желание? – ах, к морю! – но, значит, уже никакого желания нет? но все равно – даже и без желания! я должна дописать, до волны, все дописать до волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:

Александр Сергеевич Пушкин

и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как тот гранит...

* * *

Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться – точь-в-точь как юноша, мечтающий о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое к морю было – пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом и плеском и говором волн его души, и естественно, что я в Средиземном море со скалой Лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди – не узнала.

В пушкинскую грудь – в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.

(А вернее всего – в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)

К морю было: море + любовь к нему Пушкина, море + поэт, нет! – поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно – Борис Пастернак:

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

Стихия свободной стихии

С свободной стихией стиха, –
опустив или подразумев третью и единственную: лирическую.

Но К морю было еще и любовь моря к Пушкину: море – друг, море, зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин – забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает и вновь обещает. Море – взаимное, тот единственный случай взаимности, до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.

Такое море – мое море – море моего и пушкинского К морю могло быть только на листке бумаги – и внутри.

И еще одно: пушкинское море было – море прощания. Так – с морями и людьми – не встречаются. Так – прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин – навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.

Мое море – пушкинской свободной стихии – было море последнего раза, последнего глаза.

Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» – или без всякого оттого – я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь – а на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием – с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила – белым по серому – шифером по шиферу, – и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И – больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась – прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются – никогда.

1937

Сноски

1

«Любовная дружба» (фр.).

2

Второй брак – это посмертный адюльтер (фр.).

3

Поэт, ученик Студии Вахтангова. (Прим. М. Цветаевой.)

4

Горизонтальным ремеслом (нем.).

5

С досады (фр.).

6

Герой моей пьесы «Фортуна» (примеч. М. Цветаевой).

7

Предмет роскоши и искусства (фр.).

8

«Не раскидывай мои письма!» (фр.)

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

9

Ударяются и отрываются первый, четвертый и последний слоги: Há – берегу – реки.
– М. Ц.

10

Ударяется и отрывается первый слог. Помечено не везде. – М. Ц.

11

Звенящие, лопающиеся гроздья (фр.).

12

Да здравствует! (лат.)

13

На голубом Дунае (нем.).

14

О, я больше не могу, я задыхаюсь! (фр.)

15

Модных в то время духов.

16

Стихотворение перенесено сюда из будущего, по внутренней принадлежности. (Прим. М. Цветаевой.)

17

Два последних стихотворения перенесены сюда из будущего по внутренней принадлежности. (Прим. М. Цветаевой.)

18

О любимый! Тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят как пьяные и любят торжественность... Гёльдерлин. – М. Ц.

19

Memento mori – помни о смерти (лат.).

20

То есть вместо этого камня (горы на мне) будет плоский (плита). – М. Ц.

21

Здесь: память (лат.).

22

Здесь и далее, до цикла «Сивилла», даты даются по старому стилю.

23

Скользят по поверхности (фр.).

24

И если останется только один – им буду я (фр.).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

25

Сидящего напротив (фр.).

26

С учетом пропорций (фр.).

27

С еще большим учетом пропорций (фр.).

28

NB! Лучше.

29

Мой сын Георгий (Мур), родившийся в полный разгар мечты о Крысолове и первой главы его – 1 февраля 1925 г., в воскресенье, ровно в полдень, в безумную (последнюю!) вьюгу, в избе, в деревне Вшеноры, близ Праги. (Прим. М. Цветаевой.)

30

Ударение, как: Миргород, Белгород и пр. (Прим. М. Цветаевой.)

31

Burg по-немецки «крепость». (Прим. М. Цветаевой.)

32

Подразумевается: запах. (Прим. М. Цветаевой.)

33

В последующих строках ударяются слоги: первый, второй и последний. (Прим. М. Цветаевой.)

34

Убийца Коцебу. (Прим. М. Цветаевой.)

35

Колонна (нем.). (Твоя смерть). Повторение не мысли, а явления, однородную мысль вызывающего. Недаром я Блока ощущаю братом Р<ильке>, его младшим в святости – и мученичестве. Знаю, что из всех русск<их> поэтов Р<ильке> больше всего любил бы Блока. (Прим. М. Цветаевой.)

36

Впоследствии, точь-в-точь, слово в слово о Р<ильке>.

37

Дословно: магистр чернил (нем.).

38

Свои! (Прим. М. Цветаевой.)

39

«Доигрались» – Блок и Гумилев (Прим. М. Цветаевой).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
40

Вместо мантилии (фр.).

41

Боже сил... (фр.)

42

Сердечная волна не вздымалась бы столь высоко И не становилась бы Духом, когда бы на ее пути не вставала Старая немая скала – Судьба (нем.).

43

Речь идет о детской песенке о кораблике (фр.).

44

В скобках текст М. Цветаевой.

45

В скобках текст М. Цветаевой.

46

Со знанием дела (фр.).

47

Выражение иносказательное. Говорю об <не дописано>. (Прим. М. Цветаевой.)

48

Пропуск в рукописи.

49

В скобках, помеченных звездочкой, приводится текст М. Цветаевой.

50

Магистр чернил (нем.).

51

Здесь – в поднебесье (фр.).

52

Козочка (фр.).

53

Ах, ты выйдешь, Бикетта, Бикетта. Ах, ты выйдешь из этого кочна! (фр.)

54

Локонов (фр.).

55

Зубной боли в сердце (нем.).

56

Миньона (фр.).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

57

Какой кажусь, такой я стану! // Не троньте белый мой убор! (нем.)

58

Душа, смятенная вечностью (фр.).

59

Августу фон Платену – его друзья (нем.).

60

Нуль (фр.).

61

Перетанцовывает (нем.).

62

Я перелетаю через вас! (нем.)

63

(Духи в сенях) Один из нас в ловушке! (нем.)

64

Роковой, фатальный (нем.).

65

«Перед» вставлено потом. (Прим. М. Цветаевой.)

66

Удар молнии. Здесь: любовь с первого взгляда (фр.).

67

Овсяная похлебка (нем.).

68

Brühe – похлебка; Brüten – высиживать (птенцов); Milchsuppe – молочный суп (нем.).

69

Зоопарк (нем.).

70

Название торговой фирмы (нем.).

71

Папка, по-немецки – Марре, а Рарре – бессмыслица. (Прим. М. Цветаевой.)

72

Ты (нем.).

73

После меня – потоп! (фр.)

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

74

Дальше! (нем.)

75

(Духи в сенях) и он освободился! (нем.)

76

Поколение поэтов ведь та же Россия, и не худшая.

77

Есть и у Брюсова «Памятник». Кто читал – помнит.

78

Теперь думаю иначе.

79

NB! Брюсову, например, конкурс.

80

Лучше бы: не повторю.

81

Литературный отдел.

82

Запись, не измененная ни в одном знаке.

83

Муж с декабря 1917 г. был в армии.

84

Офицерской походной.

85

Подчеркнуто в подлиннике.

86

Сергей Есенин.

87

Но не горят.

88

По ночам – от воров – комиссионных магазинов.

89

Прошу читателя, согласно носителю, произносить с ударением на конце.

90

Язык Бальмонта для русского слишком личен (единоличен). Язык Брюсова для

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
русского слишком общ (национально-безличен).

91

НВ. Отвращение к революции в нем, в этот миг, равно только отвращению к королю,
так потерявшему голову.

92

Безродность, безысходность, безраздельность, безмерность, бескрайность,
бессрочность, безвозвратность, безоглядность – вся Россия в без.

93

Все цитаты из памяти. Но если и есть обмолвки, словарь их – брюсовский.

94

«А Пруст?» – «Но Пруст ведь умер, а мы говорим о живых» (фр.).

95

Годы исканий (нем.).

96

Поприще открыто для таланта, и даже не открыто, а даровано (фр.).

97

Их цель была – цвести, а мы хотим трудиться незаметно (нем.).

98

Бессмыслица (фр.).

99

Орудиями, бутафорией (фр.).

100

Всесильный Бог любви, Всесильный Бог деталей, Ягайлов и Ядвиг. (Б. П.) (Прим. М.
Цветаевой.)

101

Беру любой пример. Смерть поэта: Лишь был на лицах влажный сдвиг, Как в складках
прорванного бредня. Слезный, влажный сдвиг, сдвинувший все лицо. Бредень
прорван, проступила вода. – Слезы. (Прим. М. Цветаевой.)

102

Приглашение в путь (фр.).

103

Солнце выявит это! (нем.)

104

Лишь в чувстве меры мастерство приятно (нем.).

105

Мастер и шедевр (нем.).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
106

Орудиями, бутафорией (фр.).

107

(Мольба) Темный взор, на мне покойся, Покори меня всего (нем.).

108

Не ниспровергатель! (нем.)

109

После размышлений о судьбе женщин во все времена и у всех народов я пришел к заключению, что вместо слова приветствия «здравствуй» каждый мужчина должен говорить женщине: «Прости меня!» (фр.)

110

Демон Полудня (фр.).

111

«Орленка» (фр.).

112

А теперь нужно, чтобы твое сиятельство уснуло... (фр.)

113

Душа, для которой смерть была исцелением (фр.).

114

Пусть спит в гробнице своей двойной тюрьмы. Своего бронзового гроба и мундира (фр.).

115

«Дважды любовница»? (фр.)

116

Посреди оды Виктора Гюго (фр.).

117

Анри де Ренье, «Встречи господина де Брэо» (фр.).

118

Ниспосланным провидением, провидцем (фр.).

119

Наваждением (фр.).

120

Солдаты, с этих пирамид сорок веков смотрят на вас... (фр.)

121

Нотабене! Вспомнила! Тиц. (5 апреля 1938 года, при окончательной правке пять лет спустя!) (Прим. М. Цветаевой).

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru
122
Если бы кто-нибудь прошел мимо... Но никто никогда не проходит здесь (фр.).

123
От матушки – веселый нрав и страсть к сочинительству (нем.).

124
Книгой с иллюстрациями (нем.).

125
Что он не ввязывался в ссоры своих друзей (фр.).

126
Над схваткой (фр.).

127
Плохо понятым добром (фр.).

128
Треск (фр.).

129
Я ем все (фр.).

130
У памяти хороший вкус (фр.).

131
Пережитую (фр.).

132
Триумфальную арку (фр.).

133
Вы захватили Эльзас и Лотарингию, Но сердец наших не завоюете никогда... (фр.)

134
Воздушная ванна, солнечная ванна (нем.).

135
Путником (нем.).

136
Немецкую верность (нем.).

137
Заменено по требованию В. В. Руднева – дабы не обидеть автора записи. (Прим. М. Цветаевой.)

138
Пушкин был светловолос и светлоглаз.

Мне нравится, что Вы больны не мной... Марина Ивановна Цветаева tsvetaevamarina.ru

139

Там верстою небывалой Он торчал передо мной... («Бесы») Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты... Глушь и снег... Навстречу мне Только версты полосаты Попадаются одне... («Зимняя дорога»)

140 Сестра Валерия Брюсова.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://tsvetaevamarina.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!